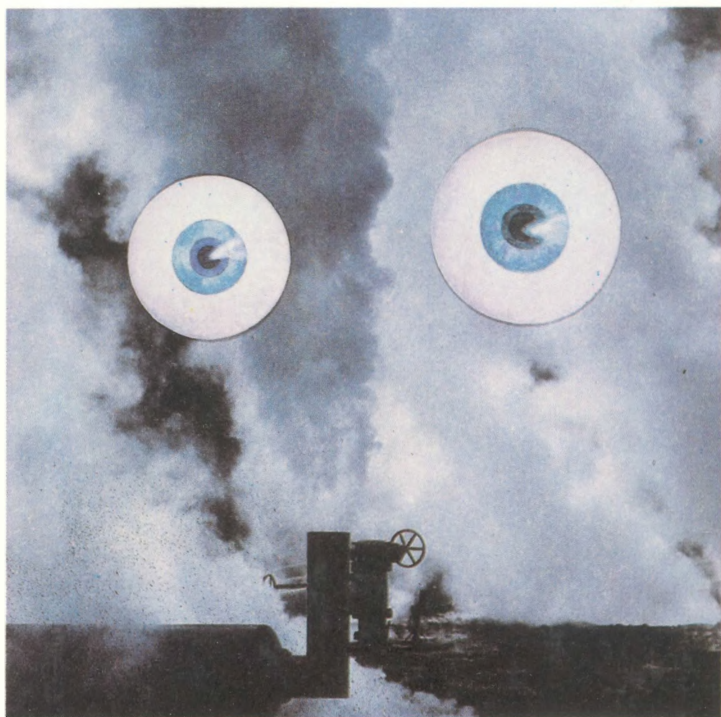


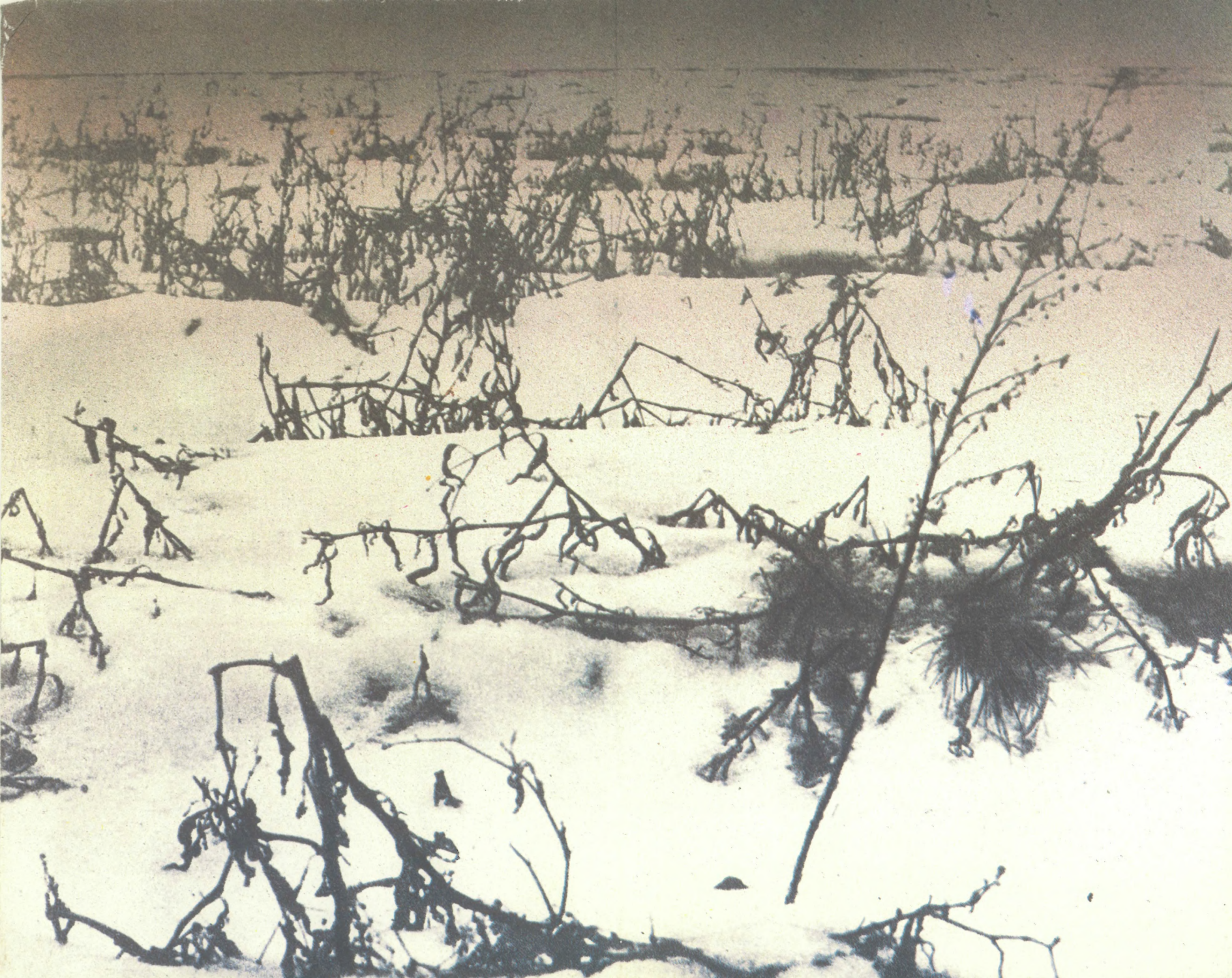
А. Стругацкий Б. Стругацкий

Аркадий
Стругацкий

Борис
Стругацкий



Сценарии
«Жиды города Питера...»
Сталкер



Аркадий Стругацкий Борис Стругацкий

*первый
дополнительный
том*

По своему дарованию Стругацкие
не драматурги,
их стихия — повести и романы.
Стругацких часто приглашали
писать киносценарии,
они соглашались далеко не всегда.
В годы гонений шли на это
для заработка:
книги не выходят, а жить надо.
Бывали редкие удачи — сотрудничество
с талантливыми режиссерами —
Тарковским, Сокуровым,
работа с ними приносила радость.
Но все сценарии Стругацких —
самостоятельные литературные
произведения.
Таково свойство подлинных мастеров:
даже на чужом поле
они добиваются победы.
Инсценируя свои повести,
Стругацкие открывают в них
новую глубину,
новые идеи и повороты.
Пьеса «Жиды города Питера...» —
не инсценировка,
это — последнее совместное
творение братьев,
законченное ровно за полтора года
до смерти Аркадия Натановича.
Пьеса короткая — на одном дыхании,
как завещание.
Как призыв к нам: не трусьте,
выбирайте дорогу, не оглядываясь
на дрянной опыт советской жизни.
Будьте тверды,
ибо предстоят тяжелые испытания,
но не ожесточайтесь сердцем.

А р к а д и й
Стругацкий

Б о р и с
Стругацкий

День затмения
Понедельник начинается в субботу
Машина желаний
Отель «У Погибшего Альпиниста»
Пять ложек Эликсира
Туча
сценарии

«Жида города Питера...»,
или Невеселые беседы при свечах
пьеса

Сталкер
литературная запись кинофильма

84(2)
С87

Издание подготовлено совместно
с литературно-издательской студией «РИФ»

Художник Владимир Любаров

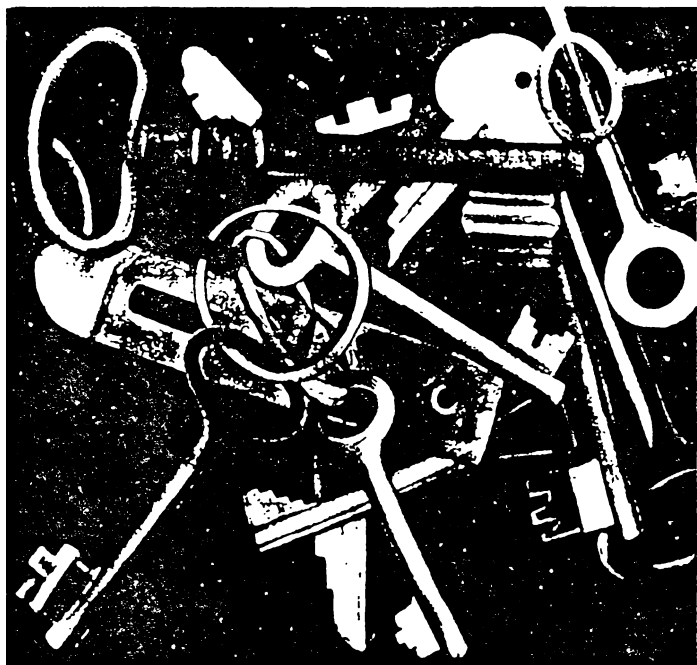
С $\frac{4702010201-042}{93}$ подп.

ISBN 5-87106-065-X

© А. Стругацкий, Б. Стругацкий, 1993

© «Текст» — литературная запись кинофильма «Сталкер»,
состав, художественное оформление, 1993

Сценарии



День затмения

Жара.

Раскаленный воздух дрожит над выгоревшим пористым шифером крыш, над размягчившимся асфальтом прямых пустынных улиц. В жарком мареве колыхнутся бледно-желтые стены сейсмостойких домов, редкие колючие деревья, заросли телеантенн над домами. Улицы пусты, город словно бы заброшен.

Вот на панель выбежал из пыльного палисадника еж, большой, ушастый. Повел носом, поджался и кинулся прочь, оставляя на асфальте цепочку птичьих следов.

И тихо. Только подвывают — почти мелодично — торчащие из окон мелкоребристые ящики кондиционеров, истекающие струйками водяного конденсата.

Жара.

Дмитрий Алексеевич Малянов, полнеющий мужчина лет тридцати с небольшим, сидел в одних трусах за столом и довольно бойко перепечатывал на машинке свою статью. В комнате стоял желтоватый от задернутых штор сумрак, было жарко, душно и накурено. Волосатый торс Малянова и небритая его физиономия покрыты крупными каплями пота. На столе дымилась последним окурком набитая до отказа пепельница, горой лежали справочники, свернутые в трубку чертежи и графики, папки с бумагами, картотечные ящики.

Впрочем, Малянов чувствовал себя отлично. Он тарахтел клавишами, вслух зачитывал избранные абзацы, время от времени затягивался окурком и что-нибудь поправлял в рукописи. Он работал и был доволен своей работой. Жары и духоты он не замечал.

— Из уравнения четырнадцать, — диктовал он сам себе, — и системы неравенств семь легко видеть... легко видеть...

Очевидно, видеть было не легко, потому что Малянов прекратил печатать текст, взял листок черновика и глубоко над ним задумался.

Грянул телефон.

— Легко видеть! — сказал Малянов телефонному аппарату.

Телефон гремел. Малянов взял трубку.

— Это база? — осведомился квакающий телефонный голос.

Малянов высоко задрал брови и вытянул толстые губы дудкой.

— А вам какую именно? — вкрадчиво поинтересовался он. — У нас здесь, знаете ли, военно-воздушная. Интересно?

— Чего? — квакнул голос недоуменно. — Это ты, что ли, Печкин?

— Какой я Печкин? Я Спичкин! — провозгласил Малянов и повесил трубку.

— Легко видеть... — снова пробормотал он, глядя на листок.

Телефон зазвонил опять.

— Спасу нет от вас, — сказал Малянов аппарату, вылез из-за стола и, подсмкнув трусы, прошел на кухню. Там он опустился на корточки перед холодильником и отворил дверцу. В холодильнике было пусто, если не считать мятой алюминиевой кастрюли да крошечного кусочка сала, устроившегося на зимовку в морозильнике среди сугробов инея.

Телефон все звонил.

Малянов захлопнул дверцу холодильника и все тем же манером вернулся к письменному столу. Действовал он совершенно механически — глаза его были обращены вовнутрь, губы шевелились.

Он взял трубку.

— Да?

— Это коммиссионный? — спросил другой голос, скорее даже приятный.

— Да, это коммиссионный, — проговорил Малянов без всякого выражения.

— Скажите, пожалуйста, моя вещь продана?

— Да, ваша вещь продана.

— Можно получить деньги?

— Можно. Можно получить.

— Огромное спасибо! Сейчас приеду!

— Приезжайте-приезжайте... — пробормотал Малянов, кладя трубку. Он покопался в хаосе на столе, развернул черновой график на миллиметровке и погрузился в него.

— Ничего себе — легко видеть! — произнес он с горечью.

Снова зазвонил телефон.

— Пошел к черту! — сказал ему Малянов. — К дьяволу тебя. К свиньям. К собачьим. К свинячьим... — Мысли его были далеко.

Телефон замолк ненадолго, потом зазвонил опять. Малянов снял трубку.

— Алло.

— Димка? Это Захаров говорит. Ну как ты там? Нетленку лепишь?

— Нетленку, нетленку... Чего тебе надобно, Захаров?

— А что так неприветливо?

— Слушай, отец. Я специально отпуск взял. За свой счет. Чтобы поработать как следует. В приятном далеке. Так ведь нет же!..

— Ну извини. Я хотел узнать, ключ от восемнадцатой не у тебя?

— Нет, не у меня. На доске ищи, в проходной.

— Я искал, там нет...

Брови Малянова пошли вверх, губы вытянулись дудкой.

— Так ты что же, отец, хочешь, чтобы я работу свою бросил, вернулся из отпуска и все для того, чтобы найти тебе ключ?

— Ну ладно, ладно! Ну извини. Тут, понимаешь, слух пронесся, что тебе предложили филиал и ты нас покидаешь.

— Не верь.

— А я и не поверил.

— Но, однако же, решил проверить...

— Так если вся контора гудит! Малянова академик вызывал, Малянову филиал дают, Малянов уходит...

— Все правильно, Захарыч, но я отказался.

— Ну и дурак.

— Тебя не спросили... — сказал Малянов и повесил трубку.

Он стоял в ванной и ждал. Смеситель трясся, грозно рычал, хрипел, плевался брызгами. В ванне воды не было и наполовину. Водопровод в последний раз заворчал на весь дом и затих окончательно.

Тогда Малянов нагнулся над ванной и принялся ополаскиваться. При этом он брызгался и рычал — почти как водопровод. Пока он вытирался обширным полотенцем, в комнате опять зазвонил телефон.

— Это родильный дом? — нарочитым басом спросил Малянов у полотенца и сам себе ответил тоненьким голосом

ком: — Нет, это зоологический магазин.— И снова басом: — А можно у вас купить красные кровяные тельца? — И снова пискляво: — Нет, у нас в продаже только желтые, синие и зеленые...

Не помогло. Телефон надрывался. Широко шагая, Малянов вернулся в комнату и схватил трубку. Сыроватые его волосы сбились в косматый колтун, и он стал похож на толстую, не совсем нормальную ведьму.

— Вторая образцово-показательная психиатрическая клиника! — объявил он и, поскольку трубка молчала в ошеломлении, добавил: — В чем дело, клиент? Сообщите ваш адрес!

— Дима, это ты? — осторожно осведомился низкий размеренный голос.

— Да... Это кто?

— Вечеровский. Здравствуй.

— Тьфу ты, дьявол! Извини, Фил. С утра, понимаешь, наяривают...

Раздался звонок в дверь — длинный и настойчивый.

— Ч-чер-рт! С цепи сорвались, ей-богу! Подожди минутку, Фил, теперь в дверях наяривают...

— Дима! Стой!..

Но Малянов уже бросил трубку на стол в груды бумаг, а сам устремился в прихожую.

— Дима, алло. Дима, Дима, алло. Дима... — монотонно повторяла брошенная трубка.

На кухонном столе возвышалась среди недопитых стаканов с чаем внушительная картонная коробка, обклеенная тонкими полосками липкой ленты. Из-за коробки выглядел плюгавый мужичонка в кургузом пиджачке неопределенного цвета, небритый, потный и несчастный видом. Он искательно улыбался и протягивал Малянову обширные квитанции, переложенные фиолетовой копиркой. Малянов квитанции отвергал.

— Ты способен понять, отец, что я ничего не заказывал? — втолковывал он плюгавому.

— Ну, может, жена заказывала... — лепетал плюгавый.

— Нет у меня жены! Два года, как нет! И денег у меня нет и никогда не было — такие заказы делать!

— Так денег же и не надо! — оживился плюгавый. — Заплочено!

И точно, наискосок по квитанциям шла большими фиолетовыми буквами надпись: «Оплачено».

— Отец! Это ошибка какая-то!

— Не может быть никакой ошибки. Распишитесь вот тут...

— Отец! Из своего кармана вложишь!

— Расписывайтесь, расписывайтесь...

Малянов расписался, и плюгавый тотчас выхватил у него из рук квитанцию и упрятал ее за пазуху. Потное лицо его выражало теперь полнейшую растерянность — он словно перестал понимать, где находится, почему и зачем. Он воровато оглядел кухню, втянул голову в плечи и принялся пятиться, глядя на Малянова исподлобья.

Малянов тоже оглядел кухню, но ничего особенного в ней не обнаружил.

— Гос-споди...— слабо проскрипел вдруг плюгавый и опрометью кинулся вон. Ахнула входная дверь, что-то просыпалось за обоями, и стало тихо.

— Ну и денек,— сказал Малянов и посмотрел на коробку. Оказывается, коробка успела за это время покрыться инеем. Иней неестественно сверкал на солнце, над коробкой дымился парок. Малянов решительно разорвал картон и, выкативши глаза, извлек на свет громадный полиэтиленовый пакет с глубокозамороженным вареным омаром, пламенеющим красно-коричневым панцирем.

Малянов грохнул на стол окаменелое членистоногое, схватил квитанцию и принялся заново изучать ее.

А день потихоньку катился на убыль, но солнце стояло еще высоко. Воздух над городом раскалился до предела. Все живое замерло, расползлось, попряталось...

По кривым узким улочкам старого города, мимо раздражающе, ослепительно белых глинобитных домиков, пыля брезентовым верхом, катился грязно-зеленый УАЗ-469, в просторечии именуемый «газик».

Очередная улочка вывела его на довольно широкую дорогу, и по сторонам пошли новые здания — дома, выстроенные в период так называемых архитектурных излишеств, и странные дома в восточном стиле, — рядом с ними особенно нелепо выглядели серые корпуса производственных зданий с блеклыми разводами на глухих бетонных стенах.

Коротко остриженный лопухий мальчишка-шофер переключил скорость, и «газик», завывая коробкой передач, резво покатился в гору. Выскочив на холм — город сверху казался совершенно покинутым, — шофер лихо заложил вираж, и машина на хорошей скорости понеслась под уклон... Поворот, еще поворот, открылась новая улица,

устроенная однообразными аккуратными пятиэтажными домами, у подъезда одного такого дома «газик» затормозил.

Пассажир распахнул дверцу и неторопливо выбрался наружу, стараясь не слишком испачкаться о пыльный борт. Он был высок ростом и вообще обширен во всех своих измерениях. Все у него было крупное, массивное — руки, ступни, мясистое грубое лицо, изуродованное старыми шрамами и ожогом.

Он осторожно огляделся — довольно странное движение, совсем, казалось бы, этому человеку не свойственное, — и скользнул взглядом по фасаду дома. В окне второго этажа виднелся Малянов, сидящий на подоконнике. Седой человек приветствовал его, подняв растопыренную пятерню. Малянов с готовностью ответил ему тем же.

Он сидел на подоконнике. Солнце уже ушло в другую сторону дома, и шторы теперь можно было раздвинуть. В руке Малянов держал гигантский бутерброд, пышно разукрашенный зеленью. Зелень торчала во все стороны, и, откусывая от бутерброда, Малянов погружался в эту зелень, как лошадь в сено.

— ...Представляешь? — говорил он, не переставая жевать. — Моам? Моуа... И причем жратва первоклассная! Омары, например. Кстати, ты не знаешь, что с омарами делают?

Сидя в единственном кресле, его внимательно слушал Филипп Вечеровский, элегантный, как дипломат на приеме, в великолепном костюме, ослепительной сорочке... галстук единственно возможной расцветки... запонки... в руке трубка, и, разумеется, не какое-нибудь там ширпотребовское барахло за три пятнадцать, а настоящий «Данхилл» с белой точкой. Бледное вытянутое лицо его было непроницаемо спокойно, белесые ресницы помаргивали.

— Знаю, — сказал он, и это прозвучало, как приговор.

— Это я и сам знаю, — сказал Малянов. — Но как его приготовить? Он же, подлец, глубокозамороженный...

За окном Малянов видел лопухого мальчишечку-шофера и седого человека с изуродованным лицом. Они стояли возле газика и разговаривали, причем седой поминутно и очень неумело озирался по сторонам. Оба — в черных мешковатых костюмчиках и в старомодных бобочках с отложными воротничками. Седой держал в руке объемистый кожаный портфель.

— Дима,— сказал Вечеровский, помолчав,— это правда, что тебе предложили филиал?

— Да. А ты откуда знаешь? Уже и до твоего, значит, института...

— Ты согласился?

— Нет.

— Почему?

Малянов отвернулся и стал смотреть в окно. Седого уже не было около «газика». Шофер в одиночестве стоял, рассматривая обширную грязную тряпку, которую держал, расправив перед собой. Потом он пошел вокруг машины, отряхивая от пыли брезентовый кузов.

— Не хочу,— сказал Малянов, все еще глядя в окно.— Я, извините за выражение, ученый. Я не хочу быть директором.

— У тебя не осталось идей?

— У меня есть идеи, Фил. Именно поэтому я не хочу превращаться в администратора. Пока что-то еще шевелится здесь...— Он стукнул себя кулаком в потный лоб.— Пока еще не омертвело напрочь...

— Насколько я знаю, филиалу будут выделены большие деньги. Это задумано как очень серьезное предприятие, и человек, имеющий идеи...

— Ты, кажется, тоже вознамерился уговаривать меня, как девку красную.

— Нет. Я просто хотел бы понять, почему ты отказался.

Малянов смотрел, как шофер, прекратив пыльное свое занятие, заталкивает тряпку за противотуманную фару. Седой вышел из парадной и двинулся к машине. Портфеля с ним не было — он держал под мышкой толстенькую ядовито-зеленую папку. Вторая папка, тоже зеленая, но еще более толстая, висела у него в авоське в другой руке. Шофер кинулся ему помогать, они погрузились в автомобиль и уехали.

— А черт его знает, почему я отказался,— проговорил наконец Малянов.— Зло взяло. Какого дьявола? В прошлом году о Малянове и разговаривать не хотели — молод, видите ли, недостаточно зрел и вообще — участник бракоразводного процесса. Ладно, отцы! Я на это наплевал и забыл. А теперь вот, когда у меня самое что ни на есть пошлб... Ты помнишь, я тебе рассказывал про полости макроскопической устойчивости?

— Полости Малянова? — сказал Вечеровский, усмехнувшись.

— Ладно-ладно! Нечего!.. Так вот, я доказал, кажется, что они существуют. Ты понимаешь, что это означает и что отсюда следует?

— Откровенно говоря, не совсем.

— Не совсем!.. Я и сам еще не совсем понимаю, но я тебе гарантирую, что это — новая теория звездообразования как минимум, а может быть, и вообще самая общая теория образования материи в физическом понимании этого слова. Сечешь?

— Секу помаленьку,— сказал Вечеровский. Он произнес эти слова так, как мог бы их произнести просвещенный дворянин девятнадцатого века.

— Это — нобелевка, отец! — сказал Малянов, выкатывая глаза и понизив голос.— Это нобелевкой пахнет! А они хотят, чтобы я все бросил и занялся ихним дурацким филиалом? Да гори он огнем! Я и без всяких филиалов работать не успеваю. Отпуск взял. Представляешь, за свой счет. Чтобы никакая собака не мешала. Нет же — звонят с утра: почему не хочешь быть директором? И вообще все как с цепи сорвались — телефон обезумел, дядьки какие-то прутся с доставкой на дом...

Вечеровский немедленно встал, и Малянов спохватился:

— Стой! Я же не про тебя, Фил!.. Давай кофейку сейчас сварганим...

— Спасибо, нет... Да и не умеешь ты кофе варить, если откровенно...

— Ну ты заваришь! По-венски, а? А потом омара будем тушить. С картошкой!

Но Вечеровский уже неудержимо продвигался к двери.

— Я ведь, собственно, забежал к тебе на минутку. У меня же еще лекция сегодня... Да, кстати, фамилия Снеговой тебе ничего не говорит?

— Арнольд Палыч? — удивился Малянов.— Он вот в той квартире живет. Дверь дерматином обита.

Они стояли на пороге маляновской квартиры и через лестничную площадку смотрели на обитую дерматином дверь. Потом Вечеровский проговорил медленно:

— Вот как?

— А в чем дело? — спросил Малянов. Реакция Вечеровского была ему непонятна и показалась странной.— Он тебе нужен? Так он уехал только что, я видел в окно...

Вечеровский пару раз моргнул, все еще глядя на дерматиновую дверь, потом спросил:

— А кто он, собственно, такой?

— Инженер, по-моему. А что?

— А где работает?

— Не знаю. Кажется, на объекте. Знаешь объект на Южном мысе? По-моему, там. А что случилось, Фил?

— Где? — странно спросил Вечеровский, обратив наконец на Малянова свои белесые глаза. Малянов от такого вопроса смешался, и Вечеровский, отдав ему что-то вроде чести указательным пальцем, направился к лестнице.

Малянов работал. Пишмашинка с вставленным полу-исписанным листом стояла теперь на полу в стороне. Ее место на столе занял микрокалькулятор, и Малянов, нависая над ним, пыхтя и обливаясь потом, пальцем левой руки набирал программу, считывая ее с длинного листка бумаги. Набрал, запустил счет. Калькулятор замигал красным окошечком дисплея, а Малянов удовлетворенно откинулся на спинку стула, отдуваясь и слизывая пот с верхней губы.

Затрещал телефон. Малянов приподнял и тут же опустил трубку жестом совершенно механическим.

За окном уже надвигался вечер. Люди появились на улице. У подъезда на скамеечке сидели неподвижные черные старухи. Жара спадала. Медно-красное солнце тяжело висело над голыми скалами-сопками, окружившими город.

Малянов быстро писал формулы, строчка за строчкой, густо, ровно, как по линейке. Потом вывел с особой тщательностью: «Легко видеть». Обвел рамкой. Второй. Третьей... Нервно захихикал, подсигивая на стуле. Застыл с идиотской улыбкой, выкатив невидящие глаза.

— Легко видеть! — провозгласил он.

Голос у него был хриплый, и он откашлялся. Телефон брякнул неуверенно. Малянов строго посмотрел на него и сказал:

— Теперь, на самом деле, надо насчет пучностей уточнить... На самом деле, насчет пучностей чушь какая-то у нас получилась, Малянов... — Он принялся перебирать листочки, разбросанные по столу и по полу. — «Отсюда ясно...» — прочитал он. — Вот тебе и ясно. Ясно, что ничего не ясно...

И тут раздался звонок в дверь.

За порогом квартиры стояла понуро, словно отбывая некое неведомое наказание, нескладная молоденькая девица в

унылой длинной юбке и затрапезной кофте неопределенного фасона. Испуганные слегка косящие глаза за толстыми стеклами очков. Костлявые лапки прижимают к животу тоскливого вида ридикюль. И возвышается у ног чудовищный полуторный чемодан, обвязанный белой бечевкой...

Малянов, свирепо хмурясь и играя желваками, еще раз перечитал записку.

— Узнаю свою первую жену,— произнес он с горечью.

— Она сказала, что вы будете только рады...— пролепетала девица.

— Ну еще бы! — сказал Малянов саркастически. — «Она тебе оч. понрав.», — процитировал он из записки. — Это вы. Вы мне оч. понрав.

— Да... — угасающим голосом проблеяла девица. — Но я не буду мешать.

Малянов глянул на нее почти злобно, но тут же спохватился. В сущности, он был человек добрый и склонный к сочувствию.

— Ладно,— сказал он. — Победила дружба. Заходите. Лидочка?

— Да,— сказала девица, счастливо заулыбавшись. У нее даже глаза за очками увлажнились подозрительно. Она подхватила свой чудовищный чемодан и двинулась вперед. Малянов еле-еле успел перехватить.

— Ого! — крикнул он. — Что у вас там? Походная библиотека? Нет, вот сюда, налево...

Он почти протолкнул растерявшуюся Лидочку в бывшую детскую.

Здесь в углу пестрели заброшенные и забытые игрушки. Стены были увешаны яркими детскими картинками. Кое-где темнели квадраты невыгоревших обоев — там, где какие-то картинки были сняты...

Малянов грохнул чемодан в угол и приказал Лидочке сесть. Она поспешно и послушно опустилась на кушетку, глядя на Малянова овечьим взглядом.

— Спать будете здесь! — распорядился Малянов. — Окно можете открыть. Белье — в шкафу. Сортир — налево за углом. Найдете. Ванна там же. Очень удобно. Я буду работать. Пока я работаю, в доме должна царить абсолютная тишина. Ваша подруга, она же моя первая жена, этого не понимала, поэтому я ее выгнал. Сечете?

В косеньких глазах появился ужас. Малянову это очень понравилось.

— Можете лежать, сидеть, читать. Можете играть вот с тем зайцем. Но тихо! Никакой беготни, никаких этих считалок, песенок и тэ дэ...

Внезапно чудовищный чемодан поехал сам собою по полу и повалился на бок. Загудело за окном. Качнулась люстра. Лидочка ошеломленно ойкнула и вцепилась обеими руками в кушетку.

— Спокойно! — сказал Малянов. — Это маленькое землетрясение. В вашу честь. У нас тут бывает... А завтра ожидается даже небольшое солнечное затмение. Тоже — в вашу, как я понимаю, честь...

За окном было уже совсем темно. Малянов включил настольную лампу и сидел за столом, положив волосатые кулаки по обе стороны от чистого листка бумаги, набычившись, выдвинув челюсть, словно собирался наброситься на кого-то, кто сидит по ту сторону стола. Но там никого не было. И в комнате никого не было. Дверь закрыта. Слышно, как ворчит вода в ванной и позвякивает посудой Лидочка на кухне. Потом там раздается отчаянный сдавленный вопль, дребезг стекла, и наступает мертвая тишина.

Малянов вздрогнул и посмотрел на закрытую дверь. Выражение лица его переменялось. Он вытянул губы дудкой, повел носом, как всегда, когда намеревался состричь, но тут же забыл обо всем, схватил фломастер и нарисовал на листке жирный красный контур, а на контуре — стрелку. Взял другой фломастер — зеленый. Рядом со стрелкой красиво вывел «е». Откинулся на спинку, чиркнул спичкой, закурил удовлетворенно, но тут скрипнула дверь, и Лидочка, просунувшись в комнату половинкой жалкой физиономии, пролепетала горестно:

— Дмитрий Алексеевич, я чашку разбила.

— Как! — театрально провозгласил Малянов, развлекаясь. — Еще одну?

— Да. Синюю. С корабликом.

Малянов встал.

— Черт побери! — сказал он уже без всякой театральности. — Извините, Лидия, но вы все-таки поразительная корова!

— Я нечаянно, Дмитрий Алексеевич!..

Малянов проследовал на кухню. Стол там был накрыт к ужину, и со вкусом. Кушанья разложены по тарелочкам. Салат. Зелень. Капельки воды весело искрились на свежемытой редиске...

А на углу стола лежала синяя чашка в трех частях. Малянов взял в руки одну из частей и бережно покрутил ее в пальцах. Взял вторую. Попытался сложить. Части сложились охотно, и образовалась золотистая надпись: «...ому папе на день рожде...»

Малянов посмотрел на Лидочку. Та обессиленно опустилась под его взглядом на табуретку, и поза ее выразила такое отчаяние, что он смягчился.

— Ладно уж,— сказал он.— Долой сантименты! Где ведро?

— Не надо в ведро,— сказала Лидочка.— Я сама склею.

— С вашими способностями вам знаете, что надо склеивать?

— Не знаю,— сказала Лидочка отчаянно.— Я вам еще доску расколола.

— Какую доску?!

— Деревянную. Для хлеба.

Малянов картинно развел руки.

— Ну это уже все! — провозгласил он.— Вызываю специалиста. Пора.

— Не смейтесь! — сказала Лидочка.— Ничего смешного здесь нет! Вы просто ничего не понимаете... Вы как каменный... Шуточки, прибауточки, а глаза — мертвые, пустые, и весь вы там... — Она ткнула пальцем в сторону кабинета.— С вашими дурацкими проклятыми формулами!.. Вы же не соизволили узнать меня. Я для вас сейчас чучело гороховое, посмешище, а тогда ухаживали, руки целовали... цветы...

Малянов не глядя нащупал стул и уселся.

— Какие цветы? — сказал он растерянно.— Когда?

— Четыре года назад. В Гаграх. Вы еще ходили в такой желтенькой рубашке с надписью «Дельта сайнс фикшн»... — Она вдруг улыбнулась сквозь слезы.— Помните, как вы меня тогда дразнили: «Лидия! Отвратительная мидия!..» Мы с вами мидий собирали и варили из них похлебку с луком. Ну неужели вы совсем ничего не помните?!

Малянов, растерянно тарачивший на нее глаза, не успел ничего ответить, потому что в дверь забарабанили и затрезвонили разом, будто целая толпа хулиганов рвалась в квартиру, но оказалось, что это всего-навсего один тощий старикашка — сосед с нижнего этажа.

— Вы что тут — с ума все сошли?! — ужасным фальцетом вопил он.— Ведь у меня же там все затопило! Что вы

тут делаете? Куда смотрите? Потолок же обваливается... обои! Книги!..

Малянов метнулся в ванную. Ванна была переполнена, на полу — по щиколотку воды. Горячей. С паром.

— Лидия! — загремел Малянов. — Ведь я же предупредил вас, что сток не работает!..

Он схватил тряпку, пустое эмалированное ведро и шагнул в ванную.

Он собирал воду тряпкой и отжимал ее в ведро. Она работала мусорным совком, и довольно ловко. Оба они были мокрые от пота, воды и пара, а старикашка реял над ними, не переставая браниться и жаловаться.

— Надо быть самой фантастической короной...

— Не предупреждали вы меня! Не предупреждали и все!

— Самой надо соображать! Самой! Голова вам на что?

— Нет, таких людей нельзя селить в современном доме! — Это уже старикашка. — Это же дикие люди! Таким надо жить в деревне, в кишлаке... Из шайки мыться!..

— Я вам говорил, что струя слишком сильная?

— Нет, не говорили!

— Я вам...

— Не говорили, не говорили, не говорили!!!

— Из шайки, из корыта мыться, но не в ванне...

— Второе ведро возьмите, я вам говорю! В кладовке!

— Откуда мне знать, где тут у вас кладовка!..

— Нет, я все понимаю! — Это — старикашка. — Я сам интеллигентный человек. Но ежегодно устраивать потоп... Ежегодно!

И звенит совок о край ведра, и всхлипывает залитая слезами Лидочка, и ужасно кряхтит Малянов, ползая на коленках по мокрому кафелю пола.

Малянов стоял над своим рабочим столом, тщательно утирался большим махровым полотенцем и тупо рассматривал огненно-красный контур на чертеже, забытом на столе. По всей квартире было натоптано мокрыми ногами, входная дверь распахнута настежь, гремел мусоропровод с лестницы, и доносились из кухни душераздирающие рыдания.

Малянов тяжело вздохнул, смял чертеж с красным контуром, бросил бумажный комок на пол и, растирая полотенцем спину, направился на кухню.

Все уладилось, впрочем, наилучшим образом. Они вкусно и с аппетитом поужинали, выпили водочки из роскошной

импортной бутылки, потом откупорили хванчку. Лидочка покраснелась, развеселилась и чудо как похорошела. Малянов, в свежей белой сорочке и причесанный, выглядел почти элегантно — мешала, однако, трехдневная щетина. Разговоры велись самые легкомысленные. Например, о ложной памяти.

— Да нет же, Дмитрий Алексеевич! Я все помню совершенно отчетливо! И эту вашу ярко-желтую рубашечку, и голос ваш, и какие стихи вы мне читали над морем...

— Какие же?

— «Старый бродяга в Аддис-Абебе, покоривший многие племена...»

— Гм. Мо-от быть, мо-от быть... Но, золотко мое...

— Ирина нас познакомила, а потом сама же и ревновала ужасно...

— Вполне! Вот это — вполне! Очень похоже на мою первую жену. Но, Лидочка, поймите... Да, я люблю женщин. К чему скрывать? И они меня любят. И у меня было их много. И моей первой жене это чертовски не нравилось... Но, деточка, не настолько же много их у меня было, чтобы я забывал целые эпизоды!

— А как пограничники за нами гнались, тоже не помните?

— Нет. А почему это за нами вдруг гнались пограничники?

— Мы сидели с вами на пляже поздно вечером. Они прошли мимо, а вы прошептали им вслед таким зловещим шепотом, на весь пляж: «Место посадки обозначьте кострами...»

Малянов радостно ржал, мотал щеками и приговаривал:

— И все-таки не было этого ничего. Не было! Ложная память, дитя мое, ложная память... Это все вам приснилось...

Лидочка с почти священным трепетом рассматривала пустой уже панцирь омара, в то время как Малянов излагал ей предысторию сегодняшнего ужина.

— ...И вино, и водка, и зелень, и все эти вкусы... Представляешь, мать? — Они уже были на «ты».

— И все оплачено?

— И все оплачено! Кем? Не знаю. Как все это получилось? Представления не имею...

— Но ведь ты понимаешь, Митя, что так не бывает. Даром ничего не бывает. За все приходится когда-нибудь платить. И хорошо, если деньгами. Потому что если не деньгами, то чем же?

Лидочка говорила все это так серьезно, с такой неожиданной печалью и горечью в голосе, что Малянов, убиравший столовой ложкой остатки салата, приостановил свое занятие и посмотрел на нее с сомнением.

Строгая и грустная девушка сидела перед ним. Красивая. Очень чужая и странная. За спиной ее качалась и шевелилась на стене огромная бесформенная тень. А омар в тонких пальцах шевелился как живой и словно пытался вырваться, освободиться, поползти куда-нибудь подальше.

В легком разговоре возник явный и неприятный перебой. Оба молчали. Оба искали, что сказать, и не находили. Малянов несколько судорожно схватил бутылку и принялся старательно подливать вино в стаканы, и без того полные.

— Ну-ну уж, прямо-таки...— проямлил он.— С-слушай... Да! А какие у тебя, мать, планы в нашем прекрасном городишке?

— Планы? — Этот простой вопрос привел, по-видимому, Лидочку в полное недоумение. Она явно не знала, что на него ответить.— У меня?

— У тебя, у тебя?..

— А что тут у вас есть?

— Ну-ну, как что? Море. Пустыня вон, за сопками... Все есть. Обсерватория. Старый город... Мечеть одиннадцатого века... Слушай, старуха, ты все равно стоишь, достань-ка вон там, с полки, альбом...

Лидочка сейчас же послушно вскочила за альбомом, и Малянов, оживившись, принялся рассказывать про мечеть и про обсерваторию, иллюстрируя свою импровизированную лекцию фотографиями из альбома.

Потом, когда со стола было убрано, сели пить чай с вареньем. Малянов все порывался рассказать о своей работе, но Лидочку это совсем не интересовало. Более того, разговоры о маляновской работе не то злили, не то раздражали ее.

— Не надо, Митя! Не хочу!

— Нет, мать. Ты попробуй представить себе эту картину: жуткая черная бездна, пустота... пустота абсолютная, человек не может себе такую даже вообразить — ни пылинки, ни искорки, ничего! И ледяной холод. Мрак и холод. И вдруг, словно судорога,— взрыв, беззвучный, конечно, звуков там тоже нет... И эта мрачная пустота... это пустое пространство содрогается и сминается, как пластилиновая лепешка...

— Ну не надо, Митя! Я прошу вас, пожалуйста... Не могу я, когда вы об этом говорите и даже думаете... Я не шучу, не смейтесь...

— Старуха! — возмущился Малянов. — Ведь мы с тобой выпили на брудершафт!

— Ну, хорошо, ну, ты... Только не надо больше про это...

— Эх, Ньютону бы об этом рассказать! Вот бы старик воспламенился! Это он только языком трепал: гипотез, мол, не измышляю. Гордое смирение! А у самого воображение работало ого-го!

— Я, слава богу, не Ньютон.

— Старушечья! Я же популярно... без математики...

— И популярно не надо. Не думай об этом.

— Невозможно, мать. Когда я работаю, я думаю только о работе.

— А ты не думай. И не работай. Черт побери, Дмитрий! Ты ведь сидишь рядом с женщиной!.. И что это за мужики пошли...

— Дети и книги делаются из одного материала, — процитировал Малянов не без скабрёзности.

— Что это такое?

— Бальзак. Или Флобер. Не помню точно.

— Не понимаю.

— А что тут понимать? Либо детей делать, либо книги. Одновременно — не пойдёт. Материала не хватит.

— Глупости какие!

— Безусловно. Но сказано элегантно. А может быть, не так уж и глупо, если призадуматься.

— Не надо призадумываться!

— Ох, до чего же вы, бабы, не любите призадумываться!

— А нам это ни к чему. Мы и так все знаем. Наперед. Ведь Ева съела яблоко, а Адам, бедняжка, только надкусил.

Малянов посмотрел на нее критически. Да, она явно кокетничала. Она пыталась ему понравиться, бедняжка. Старалась показаться значительнее и умнее. Но слишком уж она была непривлекательна в дурацком своем наряде и безобразных очках. И косая вдобавок!

— Эх, мать... — Малянов поднялся и налил еще чаю, себе и ей. — Жаль мне вас. Думать — это, брат, прекрасно! Это единственное, что отличает нас от обезьяны. Иногда меня вдруг осеняет: вот сижу я за столом, такой маленький, такой жалкий, ничтожный, крошка, пылинка, полпы-

линки... а в мозгу у меня — вспыхивают и гаснут вселенные!.. Когда я осознаю это... Старуха! Это ощущение я не променяю ни на какую женщину!.. Вот дети, это — да! Ребенок — это сгусток будущего. Это, мать, будит воображение... Это, знаешь ли... На самом деле... — Он вдруг оживился. — На самом деле, настоящие идеи — они похожи на детей. Честное слово. Они зарождаются под черепушкой, как дети во чреве, и копошатся там, и сладко так толкаются... Ты рожала когда-нибудь, старуха? Нет? Ну ты тогда не поймешь...

Все это он говорит без тени юмора. Ему и в голову не приходит, что в его устах это звучит забавно. Аналогия только что пришла ему в голову и страшно его увлекла.

— ...Заметь, они требуют усиленного питания — духовного, конечно, в первую очередь... и всяческого внимания, и бережного отношения, и времени... Упаси бог поторопиться — будет выкидыш!.. А потом происходит таинство... акт появления на свет... роды, если угодно... Бог ты мой, как это на самом деле мучительно! Если бы ты понимала! Роды ее, перенеси на бумагу, дай ей словесную, знаковую плоть... И какая она жалкенькая сразу после рождения — даже самая могучая идея! — какая она беспомощная, сырая, уродливая...

Тут вдруг Лидочка посмотрела Малянову через плечо и отчаянно взвизгнула. Малянов резко повернулся, повалив табурет. В полусумраке коридорчика страшно светилось изуродованное лицо Снегового.

Секунду стояла напряженная тишина, а потом Снеговой проговорил хрипло:

— Извините меня, Дмитрий Алексеевич, но дверь у вас была настежь...

— Бога ради, бога ради! — зачастил опомнившийся Малянов. — Замок дрянь, не защелкивается... Да вы заходите, Арнольд Палыч, садитесь.

— Нет-нет! Ни в коем случае, Дмитрий Алексеевич... — Снеговой был вполне корректен и вел себя совсем по-светски, но странно было, что, разговаривая с Маляновым, он почти неотрывно смотрит на Лидочку. — Ни в коем случае! Я ведь почему зашел? Книгу! Книгу же я вам обещал и совсем забыл... Вы, может быть, заглянете сейчас ко мне?

— Какую книгу? — ошеломленно бормотал Малянов. — Что-то я не прип...

— А то я, знаете ли, завтра убываю, и надолго... — продолжал Снеговой, беря Малянова за рукав халата и

увлекая его за собой.— Я забираю его у вас буквально на минутку,— обратился он к Лидочке.— Извините меня...— И снова к Малянову:— Было бы глупо, если бы я был... Сам же обещал, даже навязывал, и сам же был... Однако же, слава богу, вспомнил в последнюю минуту...

Продолжая молотить одно и то же, как заведенный, он протаскивал Малянова через прихожую, а на лестничной площадке, когда Малянову удалось наконец освободить свой рукав и он уже рот раскрыл, чтобы разразиться негодующей речью, Снеговой близко глянул ему в глаза и вдруг поднял и прижал к своим губам толстый корявый палец.

После этого немислимого жеста Малянов, потрясенный и заинтригованный, полностью покорился, и они осторожно, почти на цыпочках, прокрались через лестничную площадку к обитой дерматином двери.

В квартире Снегового свет горел повсюду — в прихожей, в обеих комнатах, в кухне и даже в ванной. Все мыслимые источники были включены. И вообще квартира производила довольно-таки странное впечатление. Повсюду — на полках, на столах, на стенах — располагались десятки и сотни разнообразнейших раковин и улиток — от огромных тропических, рогатых и многоцветных, до самых невидных, маленьких и скромных, россыпью наваленных в огромное блюдо на журнальном столике. И не только улитки — самые неожиданные спирали и их красочные изображения наполняли квартиру. Винты, шурупы (и среди них — гигантские!), спиральные пружины, шнеки, яркие схемы каких-то спиральных образований и даже великолепные цветные фотографии спиральных галактик чуть ли не в полстены размер...

— Кто эта женщина? — негромко, но как-то очень напористо и с непонятной неприязнью спросил Снеговой, едва они вошли в комнату.

— Лидочка. Знакомая.... Просто знакомая.

— Давно знакомы?

— Н-нет... Сегодня приехала... с запиской от жены...

— Вы же в разводе.

— Да. Но не могу же я отказать...— Малянов спохватился.— Арнольд Палыч, в чем дело? Вы ее знаете? Она что?..

— Стойте. Спрашивать буду я. Времени у нас нет, Дмитрий Алексеевич, вот что. Давайте по порядку. В первых, возьмите книгу.

— Какую?

— Любую,— сказал Снеговой нетерпеливо.— Возьмите вот эту и держите в руках, чтоб потом не забыть... И давайте присядем на минутку.

В полном обалдении Малянов взял со стола толстый том и, зажав его под мышкой, опустился на диван у торшера. Снеговой сел рядом и тотчас же закурил. На Малянова он не глядел.

Снеговой, видимо, и в самом деле собирался уезжать. На полу и на стульях были расставлены раскрытые чемоданы, наполовину забитые одеждой, книгами и какими-то папками. На распахнутой дверце шкафа висел на распялочке темно-синий парадный костюм с орденскими лентами, сорочка, галстук... Сам Снеговой был в обширной полосатой пижаме, в домашних стоптанных тапочках.

— Значит, по порядку...— прогудел он, глядя в угол и поминутно затягиваясь.— Во-первых. Над чем вы сейчас работаете?

— Я? А что?

— Вы ведь, кажется, астроном? Так?

— Так.

— Наблюдатель?

— Нет. Теоретик.

— А такая фамилия — Губарь — вам ничего не говорит?

— Губарь? Губарь... Нет. Арнольд Палыч, что случилось?

Снеговой раздавил окурочек в пепельнице и тут же закурил снова.

— А фамилия Глухов?

— Глухов? Тоже нет... Хотя подождите, у Вечеровского есть же приятель Глухов... Владлен... Владлен...

— Историк?

— Д-да... кажется.

— Так! — Снеговой поднялся и, жуя окурочек, прошелся по комнате, засунув огромные свои лапы в карманы пижамы.— А Вечеровский?..

— Да я же вас с ним знакомил! Он биолог, очень крупный, с европейским именем...

— Да-да... Помню... Вечеровский...— прогудел Снеговой.— Помню, конечно... Спасибо, Дмитрий Алексеевич. Это очень ценно, что вы мне сообщили... Да! Так над чем вы сейчас работаете?

И тут Малянову стало страшно. Снеговой был не похож на себя. Вопросы его скрывали какую-то тайную угрозу... И Малянов разозлился:

— Слушайте, Арнольд Павлович! — сказал он. — Я не понимаю!..

— Я тоже! — сказал Снеговой резко. — Я тоже не понимаю, а понять надо! Пока не поздно. Рассказывайте. Подождите!.. У вас закрытая тема?

— Какого черта закрытая! — сказал Малянов раздраженно. — Общая космология, немного астрофизики и звездной динамики... теория гравитации... Я доказываю, что некоторые виды сингулярностей устойчивы... Да вы все равно ничего не поймете, Арнольд Павлович.

— Сингулярности... — медленно проговорил Снеговой и пожал плечами. — В огороде бузина, а в Киеве дядька... И не закрытая? Ни в какой части?

— Ни в какой букве!

— И Губаря не знаете?

— И Губаря не знаю.

Снеговой засмолил третью папиросу. Он стоял перед Маляновым, нависая над ним — огромный, сгорбившийся, страшный, — и молчал. Потом он сказал:

— Ну, на нет и суда нет. Извините меня, Дмитрий Алексеевич. У меня все.

— Да, но у меня не все! — сварливо сказал Малянов, поднимаясь. — С вашего позволения, Арнольд Павлович, я бы хотел узнать...

— Не могу, — сказал Снеговой как отрезал. — Не имею права.

И, не обращая более никакого внимания на Малянова, он подошел к столу и принялся разгружать карманы пижамы. Носовой платок, грязный, мятый, — в угол. Пачка «Беломора». На стол. Коробок спичек. Еще один коробок спичек... Какие-то сложенные бумажки... авторучка...

Потом он извлек на свет огромный пистолет и сунул его небрежно в правый ящик стола.

Увидев этот пистолет, Малянов приоткрыл рот и тихонько попятился к двери.

На пороге своей квартиры Малянов задержался и прислушался. Дверь была приоткрыта, виднелся свет в щели, но звуков никаких слышно не было, кроме, впрочем, ворчания водопровода. Тогда Малянов осторожно прошел в прихожую. Дверь при этом отчаянно заскрипела, и Малянова всего перекосило от этого скрипа.

В кухне было пусто. Стол прибран, чисто протерт. Вся грязная посуда — в мойке. Пол подметен. Газ выключен. И никого.

И в ванной тоже никого. Висят на бельевой веревке розовые трусики и такой же лифчик.

Малянов прошел в кабинет, положил на край стола толстый справочник Снегового и некоторое время стоял в нерешительности, озирая свое хозяйство: включенный калькулятор с красными цифрами на дисплее, груды исписанной бумаги, рулоны графиков, бумажные листы, разбросанные по всему полу...

Потом он вытянул губы дудкой, задрал брови повыше, словно собирался отмочить какую-нибудь шутку, повернулся и на цыпочках, но решительно направился в бывшую детскую.

Лидочка мирно спала. Мигающий фонарь за окном выхватывал из темноты контуры ее тела, закутанного в простыню, бледное, без кровинки лицо с поджатыми губами. Лицо это было сейчас таким непривлекательным и даже страшноватым, что Малянов, казалось, оставил свои решительные намерения и остановился на полдороге, неспособный решить, так ли уж ему нужно то, за чем он сюда приперся.

И вдруг давешний гул прокатился за окном, снова подпрыгнул и повернулся на месте огромный Лидочкин чемодан, и фонарь на улице сперва замигал и задержался, словно припадочный, а потом вдруг разгорелся в полную силу.

Всю комнату залило ртутным мертвенно-синим светом, и в этом свете Лидочка вдруг поднялась с постели, села, придерживая на груди простыню, и уставилась на Малянова ясными, широко раскрытыми глазами. Будто и не спала вовсе.

— Трясет... — сказал Малянов, словно оправдываясь. — Кому-то мы очень не нравимся...

— Дмитрий Алексеевич, — сказала Лидочка негромко. — Идите сейчас же спать.

Голос у нее был, что называется, «железный», и опытное ухо Малянова не улавливало в нем ни тени надежды. Само по себе это, может быть, и не остановило бы его, но... Все было не так, как должно быть и бывает обычно в подобных случаях. И резкий беспощадный свет в окно — словно любопытствующий прожектор. И подрагивающие стены, и шорох штукатурки, осыпающейся где-то от подземных толчков. И женщина в постели... Не женщина сидела там, выпрямившись, прижавшись лопатками к стене, — ведьма это сидела, кутаясь в простыню. Сухая

кожа туго обтягивала лицо, и обнажились верхние зубы — то ли в улыбке, то ли в оскале каком-то.

— Так уж прямо и спать...— глупо сказал Малянов, переминаясь с ноги на ногу.— Рано еще спать. Пусть дети спят.

Лидочка молча смотрела на него. Ведьма на допросе.

— Ну что ты в самом деле! — сказал он, слегка приободрясь.— Лидия! Отвратительная мидия!

Лицо ее дрогнуло, она словно бы расслабилась мгновенно.

— Что ты глядишь на меня, как ведьма на допросе? — Он шагнул вперед и оказался на краешке кушетки. Женщина снова напряглась и чуть отодвинулась.— Ну ладно. Ну не буду. Как хочешь. Пойду тогда работать. Сегодня весь день не давали работать. Как с цепи сорвались, честное слово. Сначала — телефонные звонки. Потом этот деятель с замороженным омаром. Потом Вечеровский приперся...

— Потом я,— сказала Лидочка тихо.

— Потом ты,— согласился Малянов.

— А кто это сейчас приходил?

— Сосед.

— Зачем?

— Да так... Ерунда разная. Про тебя расспрашивал, между прочим.

— И что ты ему сказал?

— Сказал: это одна моя знакомая ведьмочка...— промурлыкал Малянов, предпринимая кое-какие разведывательные действия.

— А он?

— А он... всякие глупости спрашивал... про общих знакомых...

— А ты?

Малянов не ответил.

Он проснулся утром от выстрела. Выстрел ахнул у него прямо над ухом, так что он подскочил на тахте и сел, озираясь. В комнате все было, как вчера, но из раскрытого окна доносился какой-то галдеж, там рычали двигатели, высокий голос повторял: «Не создавайте препятствия... Проезжайте... Проезжайте быстрее...» И какой-то смутный галдеж доносился из-за входной двери, с лестничной площадки.

Малянов прыгнул с тахты и прежде всего высунулся в окно. У подъезда толпился народ, стояли неподвижно и ерзали, пристраиваясь поудобнее, многочисленные автомо-

били: милицейская ПМГ с мигалкой, «скорые», «газик» Снегового и еще четыре «Волги» — три пропыленные, жеванные, черные и одна новенькая, ослепительно белая. Половина проезжей части была всем этим перегорожена. Проезжающие машины притормаживали, останавливались, гаишник с жезлом прогонял их прочь, покрикивая высоким голосом. Белая «Волга» вдруг газанула, из выхлопной трубы вылетел клубок светлого дыма, выстрелило оглушительно, и «Волга» заглохла...

Малянов кое-как оделся и выскочил на лестничную площадку.

Здесь, оказывается, тоже было полно народу. Малянов узнал кое-кого из соседей, но были и незнакомые, и все они концентрировались около распахнутой настезь квартиры Снегового. Были там среди прочих майор милиции, сержант милиции, двое в штатском, врач в белом халате и дворничиха...

— Что случилось? — спросил Малянов давешнего старикашку из квартиры снизу.

— Смерть случилась, дорогой мой, — торжественно и печально произнес старикашка. — Смерть, голубчик... Беда-то какая, а?

— Кто? С кем?

— Снегового, Арнольда Павловича, знали вы? Из одиннадцатой квартиры...

— Ну?!

— Умер. Все. Ушел из жизни.

— Не... не может быть... — пролепетал Малянов, холодея.

— Увы. Уже и вынесли. Все. Финита ля комедия.

— Да что случилось?

Старикашка приблизил горбатый нос к маляновскому уху и прошептал:

— Застрелился он этой ночью. Вот сюда пулю послал... — Он постучал себя по виску. — И ни записки, ничего...

Малянов дико глянул на него и, оскользаясь в домашних шлепанцах, ссыпался по ступенькам. Внизу, в маленьком вестибюле, опять же толклись люди. Здесь был лопухий мальчишечка-шофер — он силился отворить вторую половинку двери в подъезде. Еще один сержант милиции. Какие-то вовсе бездельные, глазющие люди и два санитара, держащие на весу носилки с длинным громоздким телом, укрытым простыней...

Пока давались со всех сторон советы, пока ковыряли

дверь, пока со скрипом распахивали ее, Малянов стоял столбом, глядя на белое, длинное, мертвое... Он не в силах был ни уйти, ни подойти ближе.

Потом дверь распахнулась, носилки понесли, и только тогда Малянов протолкался к ним и пошел рядом. И вдруг он увидел глаз. Простыня была продрана, и сквозь дыру смотрел на Малянова широко открытый мертвый и потому совсем незнакомый глаз.

Вернувшись домой, Малянов сразу бросился к телефону, набрал номер и долго слушал длинные гудки. Потом пробормотал: «Ну да, у него же лекции с утра...» — и положил трубку. Он все еще не мог прийти в себя. Все еще стоял у него перед глазами огромный страшный Снеговой — как он выволакивает из кармана пижамы и засовывает в стол черный тусклый пистолет... И звучал мрачный голос: «Не имею права...» И мертвый глаз сквозь дыру в простыне смотрел на Малянова, словно с того света...

Малянова передернуло. «Жуть-то какая, господи!.. И глупо же, глупо!» Он бормотал эти слова, не замечая собственного бормотания, а сам снова и снова набирал телефон Вечеровского, уже забыв, что тот с утра на лекции. Телефон вел себя странно: то было занято, то шли бесконечные длинные гудки.

Потом он швырнул трубку и помчался к дверям детской. Постучал. Никакого ответа. Потряс дверь. То же самое. Заглянул внутрь. Все очень чисто, все прибрано и... пусто. Ничего и никого. И исчез громоздкий чемодан, занимавший весь передний угол, где игрушки.

В полном остолбенении Малянов прошел по квартире, заглядывая во все углы. Никого и ничего. И все прибрано, вычищено, вылизано — ни пылинки в доме. И только в ванной на бельевой веревочке сиротливо покачивались на сквознячке розовый лифчик и розовые же трусики.

— Нет, отцы, это чушь какая-то, — громко сказал Малянов.

Медленно, шаркая ступнями по полу, он вернулся в свой кабинет, присел было за стол, но тут же сорвался в прихожую, схватил с вешалки пиджак, обшарил карманы, вытащил бумажник, несколько скомканных кредиток, оглядел все это со стыдливым изумлением и сунул обратно.

— Все равно, — сказал он громко. — Тут что-то не то. Что-то тут, отцы мои, не получается...

Он вернулся в кабинет, снова набрал номер Вечеровского, снова оказалось занято. Он бросил трубку, рас-

сеянно взял несколько листочков из папки, пробежал их глазами, нашарил в столе фломастер и старательно вычеркнул из рукописи очередное «легко видеть, что...».

И в этот момент в кухне звякнула ложечка.

Малянов вздрогнул и уронил листки.

В кухне кто-то был. Кто-то двигался там — шаркнули подошвы, снова брякнул металл о стекло, чиркнула спичка... Малянов слез с края стола и осторожно двинулся в направлении кухни.

Там спиною к Малянову стоял теперь низкорослый странный человек. Он колдовал с чайником над газовой плитой и, когда повсрнулся к Малянову, в одной руке держал заварочный чайник, в другой — распечатанную пачку чая. Это был огненно-рыжий горбун в душном черном костюме. Сорочка под пиджаком у него была тоже черная, а галстук белый. И лицо — белое, длинное, а борода клином, рыжая и ухоженная.

Малянов только рот раскрыл, чтобы рывкнуть: «Кто вы такой, черт вас побери совсем!», как горбун быстро заговорил:

— Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Меня зовут Губарь, Захар Захарович Губарь... Нет-нет, меня не Лидия сюда к вам пустила, нет, ее уж не было здесь... Я сам зашел, ибо дверь была настежь... Нет-нет, это вам показалось только, что кухня пуста, я вот тут стоял, видите? А вы заглянули и сразу же ушли. Вот я и решил, покуда вы звоните Филиппу Павловичу, дай-ка я чайку заварю... Но Снеговой, а? Какой кошмар! Тут уж поневоле голова кругом пойдет и всякое начнет мерещиться... Но нельзя, нельзя, Дмитрий Алексеевич! Нельзя! Поддаваться никак нельзя, крепиться надо, держаться... Да вы садитесь, садитесь, я уж у вас тут успел разобраться, где что, и вас обслужу по первому разряду, и себя не забуду, правильно?

Он говорил быстро, весело, но в то же время как бы и с приличествующей печалью, он отвечал на незадаанные вопросы Малянова и упреждал его инстинктивные действия. И стоило Малянову подумать (с некоторым испугом): «Губарь?.. Это ведь Снеговой что-то там говорил о Губаре...» — как горбун уже подхватывал:

— Губарь, Губарь моя фамилия. И Снеговой вас именно обо мне спрашивал, мы с ним были знакомы... познакомились в свое время...

Какая-то неприятно угрожающая интонация прорвалась у горбуна в последней фразе, но он тут же спохватился:

— А вот и чаек! Прошу вас, Дмитрий Алексеевич. Сейчас, сейчас я все вам расскажу, зачем я у вас оказался, и почему, и с какой целью... Тогда вы сами убедитесь, Дмитрий Алексеевич, насколько все это серьезно и важно...

Малянов молча принял свою любимую чашку — большую цветастую — и отпил из нее. Ему по-прежнему не удавалось вставить ни одного слова, но ответы на большинство своих вопросов он уже получил.

— Знаю, Дмитрий Алексеевич, — продолжал между тем горбун, орудуя чайником, — сам знаю — странно. Все странно. И мое появление тут странно, и мое поведение, и сами слова, коими я ваши вопросы заглушаю. Однако же — терпение. Терпение, Дмитрий Алексеевич, и скоро все разъяснится. Ситуация складывается не совсем обычная, вот почему так странно все и необычно...

В паузах горбун не забывал отхлебнуть чайку. Он и чай даже пил не как все. Редко кто пьет сейчас чай так — из блюдца, поставив его на растопыренные пальцы, с шумом и подсасыванием, через кусочек рафинада.

— Нам с вами надобно разрешить всего лишь одну проблему, Дмитрий Алексеевич, но проблема эта... как бы это выразиться... мучительная проблема, Дмитрий Алексеевич. И для меня мучительная, и в особенности для вас... А для начала позвольте вопросик, всего один: над чем вы сейчас работаете?

Вопрос этот показался Малянову не менее странным и неуместным, чем все прочее. Он представить себе не мог, что, собственно, понадобилось этому удивительному горбуну в его, Малянова, доме. Скорее всего, что-то связанное с исчезновением Лидочки, но, может быть, и не с этим... может быть, с кончиной Снегового... В самом деле, не маляновская же работа привела его сюда!

— Над чем работаю? — повторил Малянов, растерявшись. — Что-то последнее время все интересуются, над чем я работаю...

— А кто еще? — сейчас же спросил горбун. — Кто еще интересовался?

Он сидел напротив Малянова, далеко отведя в сторону руку с растопыренными пальцами, на которых картинно дымилось блюдце с чаем, и смотрел пристально и недобро, как смотрят на противника, а не просто собеседника.

Впрочем, выражение лица его тут же переменялось на приятное.

— Ну да, ну да! — проворковал он, заговорщически подмигивая. — Снеговой же и спрашивал... Естественно!

Что ему оставалось делать? Никак он не мог поверить, что все это никак не случайное совпадение...

— Что «не случайное совпадение»? — спросил Малянов резко. — О чем это вы все время говорите?

Торжество и неприязнь почудились ему в голосе горбуна, и он вдруг почувствовал приступ страха. Пусть пока еще необоснованного. Инстинктивного. И как всегда в такие минуты, голос его слегка сел и захотелось откашляться. Он откашлялся.

— Да все — не случайное совпадение, — небрежно сказал горбун, вновь принимаясь отхлебывать и причмокивать. — Неужели же и вы, Дмитрий Алексеевич, ученый, интеллигент, неужели и вы считаете, что все это случайные совпадения? И что вам директорство предложили, филиал... в прошлом году и кандидатуру вашу обсуждать не стали, а в этом — бац! — и без всякого обсуждения взяли и предложили? И что телефонные звонки вам жить не дают? И омаров вам на дом поставляют... и женщин... Причем очень недурных женщин, согласитесь!..

Страшная и отвратительная мысль поразила Малянова, но горбун снова не дал ему раскрыть рта.

— Нет, нет и нет! — очень громко и очень напористо вскричал он. — Ни в коем случае! И думать не можете, Дмитрий Алексеевич! Вы же и сами должны понимать, что это смехотворно. Ну какой же я агент иностранной разведки? Ну сами же посудите: агент должен быть человек тихий, скромный, малоприметный... А я? Да на меня же любая лошадь на улице оборачивается! Каждый, можно сказать, верблюд! Нет, нет и нет!.. Да вы ведь и тайн-то никаких не знаете. Может быть, вы думаете, что нам неизвестно, над чем вы сейчас работаете? Да прекрасно известно! Вы же в прошлом году на семинаре сообщение делали, а в феврале догадались, что надо преобразования Гартвига применить, вот у вас дело сразу и сдвинулось с мертвой точки, пошло как по маслу... Я ведь вам вопрос о работе только потому задал, что проблема у нас с вами, повторяю, мучительная... Ее не то что решить — даже и подойти-то к ней трудно. Надо же было мне как-то завязывать разговор, вот я и начал с вашей работы — для плавности, так сказать...

— Ну вот что... — начал было Малянов и даже поднялся почти, упираясь кулаками в столешницу, но горбун вдруг сказал ему: «Сядьте!» — да так жестко, что Малянов сразу же сел.

— Давайте без истерик! — продолжал горбун, все так

же жестко и уже без всякого ерничества в голосе. — Никакой измены Родине от вас не потребуется. Выкиньте этот бред из головы. Речь будет идти только о вас и о вашей работе. Больше ни о чем. Никаких государственных и военных тайн, никаких подписок, ничего подобного. Все дело в вашей работе, точнее, в вашей последней статье, еще точнее — в вашей теореме о макроскопической устойчивости. Нам это мешает, и мы самым убедительным образом просим вас дальнейшие размышления в этом направлении прекратить. Самым убедительным образом, Дмитрий Алексеевич! — Он постучал ногтем указательного пальца по крышке стола, для вящей убедительности, что ли, и продолжал все так же жестко, словно гвозди вбивал: — К сожалению, скрытыми средствами отвлечения вас остановить не удалось. Администратором вы стать не желали, даже крупным. Обыкновенные житейские помехи на вас не действуют. Женщина вас по-настоящему ни отвлечь, ни увлечь не в состоянии. Даже смерть Снегового... — Горбун резко и словно бы с отвращением отодвинул от себя блюдце с недопитым чаем. — Даже смерть Снегового, к сожалению... — Он снова не закончил фразы. — Впрочем, об этом у вас еще будет время подумать... Сейчас вы должны ясно понять следующее. Ваша работа нам мешает. Следовательно, она вредна. Следовательно, ее надлежит прекратить. Следовательно, она и будет прекращена. Настоятельно советую вам проявить благоразумие, Дмитрий Алексеевич!

Малянов слушал все это, холодея. Неправдоподобность и даже иррациональность происходящего возбудила в нем животный страх, какой у нормального добропорядочного человека бывает разве что в тяжелом душном кошмаре. И как в кошмаре, он испытывал дурное оцепенение, язык не слушался его и руки-ноги тоже.

А горбун — опять же ни с того ни с сего, словно его переключили на другую программу, — вдруг засуетился, замельтешил почти угодливо.

— А как насчет еще чайку? А? Свеженького? Пбнято! Айн момент! — И он мигом принялся за дело, вновь и вновь опережая Малянова в вопросах и движениях. — Кто такие «мы», чтобы требовать от вас чего-то, советовать, угрожать и так далее? Какое мы на то имеем право и откуда у нас на это власть? Резонно, резонно, но вы уж поверьте мне, Дмитрий Алексеевич, есть у нас и такое право, и такая власть... Ах, почему не живем мы с вами в благословенном девятнадцатом веке! Представился бы я вам гене-

ралом какого-нибудь таинственного ордена или жрецом Союза Девяти... Слыхали про Союз Девяти? Он учрежден был в незапамятные времена легендарным индийским царем Ашокою и существует до сих пор. Чудесно, тайно, авторитетно... Девять почти бессмертных старцев пристально следят за развитием науки на Земле, следят, чтобы слепая жажда познания не привела людей к преждевременной кончине человечества. Вы же знаете, какие бывают ученые: все ему трын-трава, лишь бы узнать, возможна какая-нибудь там цепная реакция или нет. Потом он узнает, конечно, что реакция да, возможна, но уже поздно! Вот Союз Девяти и следит за порядком в этой области. Если кто-то вырвется слишком далеко вперед, опасно вырвется, не вовремя, вот тут-то и принимаются надлежащие меры! А иначе нельзя, Дмитрий Алексеевич. Никак нельзя! Знаете, что было бы, если бы Эйнштейну удалось построить единую теорию поля? Ведь там, в этой теории, есть такие нюансики... Бац! — и тишина. Надолго!

— Так вы что, жрец Союза Девяти? — спросил Малянов с усмешкой, принимая новую чашку чая.

Горбун замер в неудобной позе. Глаза его торопливо забегали по Малянову, лицо неприятно перекошилось, словно он забыл контролировать свою мимику.

— Не похоже, верно? — проговорил он наконец. — Чушь какая-то получается... Но ведь мы же с вами не в благословенном девятнадцатом. У нас на дворе — конец двадцатого. Электричество вот, газ, на мысу атомный опреснитель строят... Какие уж тут могут быть жрецы?

— Что вам от меня надо, вот чего я никак не могу понять, — сказал Малянов почти благодушно. — Если вы жулик, то...

— Стоп-стоп-стоп! — запротестовал горбун. — Мне от вас вот что надо: а — чтобы вы поняли свое положение, и бэ — чтобы при этом не свихнулись, не принялись бы драться или — упаси бог! — палить себе в висок из казенного пистолета... Понимаете? Чтобы вы все осознали, повели бы себя правильно и чтобы все было тихо-мирно, по-семейному. Вот что мне надо. Я вам специально передышку даю, психологическую, когда рассказываю про Союз Девяти. Бог с ним, с союзом этим, не до него нам сейчас...

— Ну а если я сейчас сюда милицию вызову? Приедет ПМГ...

— Да бросьте вы, в самом деле, милицией пугать, Дмитрий Алексеевич! Что это, в самом деле, за манера:

чуть что — сразу милиция, ПМГ... Вы лучше судьбу Глухова вспомните!

— Какого Глухова?

— Да Владлен Семеныча.

— Не знаю я никакой судьбы Глухова...

— Ну тогда Снегового вспомните, Арнольд Палыча. Вспомните ваш с ним последний разговор... вспомните, какой он был, наш Арнольд Палыч... Между прочим, очень, очень твердый человек оказался. Иногда просто вредно быть таким твердым, честное слово... И куда он только ни обращался — и в милицию, и по начальству... Да только кто же ему поверит, посудите сами?

Тогда Малянов вытянул губы дудкой, поднялся с демонстративной неторопливостью и, повернувшись спиной, направился к телефону. Горбун продолжал говорить ему вслед, все повышая голос и все быстрее выстреливая слова:

— ...Вот и осталось ему одно, бедолаге, — пулю в висок. А куда деваться? Куда? Показания его — бред. А, так сказать, обвиняемый, то есть лично я, сегодня здесь, а завтра...

Он вдруг замолчал, словно его выключили. Малянов обернулся. Кухня была пуста. На столе оставался обсосанный кусочек сахара, блюдце с чаем, чашка... И все. И тишина. Особенная, тяжелая, ватная тишина, какая бывает в болезненном бреду.

И вдруг свет в кухне померк, будто облако закрыло солнце. Но небо за окном было по-прежнему чистое, знойное, белесое. И однако, что-то там тоже было не в порядке: там, на улице, пронесся вдруг желтый пыльный вихрь, хлопнуло где-то окно, стекла зазвенели, разлетаясь, и раздались какие-то крики — не то отчаянные, не то радостные. И вдруг завыла собака. И другая. И еще...

Малянов, лунатически переступая, вышел на балкон, огляделся (никого на балконе, разумеется, не было), поднял глаза к небу.

Начиналось затмение.

Некоторое время Малянов следил равнодушно, как черный диск наползает на солнце, как бегают и прыгают ребятишки на улице, размахивая закопченными стеклами, как мечутся собаки... Потом вернулся на кухню, налил в стакан воды из-под крана, жадно выпил, залив себе грудь и живот. Резко повернулся: горбун сидел на прежнем месте, улыбался — почему-то грустно — и наливал чай из чашки в блюдце.

— Сегодня я здесь, а завтра... А завтра меня здесь нет,— проговорил он.— И никакая милиция меня не найдет. Так что давайте уж лучше без милиции, Дмитрий Алексеевич...

— Кто вы? — хрипло спросил Малянов.

— Меня зовут Губарь Захар Захарович,— с готовностью представился горбун еще раз.— Но я понимаю, вы не об этом меня спрашиваете... Кто мы? Это трудный вопрос, вот в чем дело. Давайте не будем его обсуждать. Поверьте, это совершенно неважно, кто мы. Важно, что мы — сила, неодолимая сила, или, как говорят на флоте, форсмажорная сила. Преодолеть нас вы не сможете, вот что важно. Вы либо подчинитесь, либо погибнете — вот и весь ваш выбор, вот это, Дмитрий Алексеевич, вам действительно важно понять. А кто мы? В девятнадцатом веке мы называли бы себя Союзом Девяти, в средние века я был бы Мефистофелем, а нынче... Ну, разумеется, вы считаете меня ловким иллюзионистом, гипнотизером, хотя и сами в это не верите... Нет-нет, я не умею читать мысли, успокойтесь, я только умею их вычислять... Поймите, я не жулик и не шпион, я не гипнотизер и не фокусник...

— Пришелец с другой планеты...— хрипло сказал Малянов и откашлялся.

Горбун вскинул на него глаза — веселые, с сумасшедшинкой.

— Вы это сказали!

— Чушь, вздор...

— Не такая уж чушь, голубчик! Не такой уж и вздор! Пришелец с другой планеты, представитель сверхмощной внеземной цивилизации — это такая же информационная реальность двадцатого века, как Мефистофель пятнадцатого или какие-нибудь туги-душители девятнадцатого... Не отмахивайтесь с пренебрежением! Подумайте! Ведь вам же легче станет, проще, понятнее... Сопоставьте факты. Ваша работа обещает в далеком будущем могучий рывок для всей земной цивилизации. А нашей цивилизации совсем не нужен соперник в Галактике, зачем нам соперник? И поэтому мы этот рывок уничтожаем самым безболезненным способом, еще в зародыше — работу вашу останавливаем и прекращаем...

— Убирайтесь,— сказал Малянов негромко.— Убирайтесь вон!

— Дмитрий Алексеевич! Подумайте хорошенько.

— Пошел вон, сволочь! Работу тебе мою? Вот тебе — мою работу! — Малянов привстал на стуле и сделал мало-

пристойный жест.— Я ее вам не отдам. Я ее доведу до конца. Понял? Она моя. Я эту идею двенадцать лет вынашиваю, она меня измучила. Пошел вон отсюда! Ничего не получишь, пришелец ты или жулик... Мне все равно... Работу ему мою!..

Он замолчал и принялся гулко глотать остывший чай. Молчал и горбун. А в кухне становилось все темнее, и выли за окном собаки.

Потом зазвонили в дверь. Малянов поднялся было, но приостановился и поглядел на горбуна. Тот покивал.

— Давайте-давайте! Это к вам.

Малянов все смотрел на него. В дверь позвонили снова.

— Открывайте-открывайте,— сказал горбун.— Не мытьем, так катаньем, Дмитрий Алексеевич. У нас, знаете ли, тоже выхода нет. Приходится пользоваться самыми разными средствами...

Тогда Малянов осторожно снял с гвоздя шипастый тяжелый молоток для отбивания мяса, демонстративно взвесил его в руке и неспешно двинулся через прихожую к входной двери.

За порогом, на площадке, стоял мальчик лет семи. На мальчике были трогательные короткие штанишки с двумя ляточками через плечи и с поперечной ляточкой на груди — так одевали обеспеченных мальчиков в тридцатые — сороковые годы, и вообще он производил впечатление ребенка из тех времен, а короткая стрижка с челочкой еще и усиливала это впечатление.

Больше на лестничной площадке никого не было. Мальчик стоял один — хмурый, насупленный, руки за спиной.

— Тебе кого надо? — спросил Малянов, не зная, куда теперь девать шипастый молоток.

— Я к тебе,— ясным голосом ответил мальчик.— Я теперь буду у тебя жить.

— Что еще за глупости,— сказал Малянов сурово.— Кто это тебя, интересно, подучил?

— Ай! — вскрикнул вдруг мальчик, отступая на шаг и заслоняясь ладонями и локтями. Он глядел мимо Малянова, за спину ему, в коридор, и Малянов сейчас же обернулся, заранее отводя молоток для удара.

Но в коридоре никого не оказалось, а мальчишка, довольно гадко хихикнув, прошмыгнул мимо Малянова и по-хозяйски пошел по квартире, отворяя все двери и заглядывая во все комнаты. Ошеломленный Малянов следовал за ним как привязанный.

— Это детская, ясно...— говорил мальчик, подшмыгивая носом.— Твоего Петьки комната? Ничего себе комната — светлая, квадратная... Ага. Это у тебя санузел. А почему ванна грязная? Ванну надо мыть — и до, и после... И полотенца небось месяц не стираны... Кухня. Ясненько...— В кухне мальчик чуть задержался, искоса поглядел на стол (пустое блюдо, обсосанный кусочек сахара, чашка, а горбуна, разумеется, и в помине нет), но ничего не сказал, проследовал на балкон.— Здесь что? Ага, здесь затмение... Хорошо. И балкон у тебя хороший, только бутылки надо вовремя сдавать...— Он вернулся в кухню и снова задержался у стола.— А этот... Ушел, что ли? Давно?

Малянов обрел наконец дар речи:

— Послушай-ка,— сказал он.— Кто тебя подослал?

— А в общем-то, ушел — и слава богу,— сказал мальчик, не обращая внимания на вопрос.— Главное, что его тут нет. И воздух чище. Ты знаешь, ты с ним лучше не связывайся. Ты вообще с ними не связывайся...

— С кем?!

— Тебе-то, может, и ничего не будет, а вот меня они не пожалеют...

Тут Малянов поймал его за плечи и, усевшись, поставил у себя между колен.

— А ну, давай рассказывай все, что знаешь!

Но мальчик вывернулся. Он не хотел стоять (посыновьи) между маляновских колен.

— А я еще меньше твоего знаю,— сказал он небрежно.— Да тут и знать-то нечего. Сказано тебе: прекрати, вот и прекращай. А то грамотные все очень стали, рассуждают все: что да как... А тут, знаешь, рассуждать нечего. Тут — закон джунглей. Или ты ложись на спинку и лапки кверху, или... это... не жалуйся.

Малянов поднялся.

— Пойдешь со мной,— объявил он.

— Куда это?

— Пошли,— сказал Малянов, беря мальчика за плечо.

Мальчик послушно позволил вывести себя в прихожую, подождал, пока Малянов отворит наружную дверь, и тут вдруг словно взорвался.

Он мигом вскарабкался по Малянову, как кот по столбу, и принялся лупить его коленками, кулаками, локтями, драл его ногтями и все норовил прихватить зубами щеку или ухо. При этом он орал. Он ужасно орал, выл и верещал, как истязуемый:

— Ой, дяденька, не надо! Ой, больно! Ой, я больше не буду! Дяденька! Не надо! Это не я! Это не я! Не бей меня, я больше не буду!..

Малянов шарахнулся, пытаясь отодрать от себя этого маленького дьявола, но тщетно. Мальчишка дрался и орал как оглашенный, а по всей лестнице уже захлопали двери, зашаркали шаги.

— Что там такое?..— раздавались голоса.— Что случилось? У кого это? Кажется, ребенок...

Малянов ввалился обратно в квартиру, и мальчишка тут же очень ловко ногой захлопнул входную дверь. Потом он отпустил Малянова, легко соскользнул на пол, шмыгнул носом.

— Вот так-то лучше,— сказал он как ни в чем не бывало.— А то выдумал — милицию в это дело впутывать. Это же дело деликатное, неужели до сих пор не ясно? Посадят тебя в психушку — и все дела. Не балуй, дядя!

И он не спеша, руки в карманы, проследовал в маляновский кабинет. Огляделся там. Подошел к столу, вскарабкался в маляновское рабочее кресло, небрежно перебрал несколько листов.

— Все истину ищешь...— пробормотал он осудительно.— Гармонию!.. Не подпирай стенку, сядь. Придется мне вогнать тебе ума в задние ворота... Это кто? — Он выкопал из бумаг фотографию мальчика под стеклом на подставочке.— А, Петька... Сын, стало быть. Вот ты гармонию ищешь,— обратился он к Малянову проникновенно,— а понимаешь ли ты, что вот сына твоего не тронут, это, видите ли, дешевый прием, запрещенный, видите ли... Тебя самого, скорее всего, тоже не станут уничтожать, хотя это вопрос более сложный... А вот со мной церемониться не будут!

— Почему? — спросил очень маленький и очень тихий Малянов, сидящий на краешке тахты у двери.

— А чего со мной церемониться? Кто я такой, чтобы со мной церемониться? Нет, со мной церемониться не будут, не надейся! Ты будешь искать здесь вечную гармонию, весь такой погруженный в мир познания, а меня тем временем... — Он не закончил, сполз с кресла и пошел наискосок через комнату к книжным полкам.— А меня тем временем за это, то есть за искания твои, за твои чистые, бескорыстные искания истины... Вот! — Он перелистнул том Достоевского: — «Да не стбит она (то есть твоя гармония, дяденька) слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка!» Помнишь, откуда? «Братья Карамазовы».

Это Иван говорит Алеше. «И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены». Вот сказал так сказал! На сто лет вперед сказал! А может, и на двести? Ведь слова-то никогда и ничего не решали...— Он захлопнул книгу и вдруг попросил: — Кушать хочу! Кушинькаты!..

Он сидел на кухне на толстом справочнике, подложенном под него на табуретку, уплетал ложкой яичницу из сковородки и продолжал уговаривать Малянова:

— А ты брось, в самом деле. Брось, и все. Не ты первый, не ты последний... Главное, было бы из-за чего спорить! Я ведь посмотрел, что там у тебя,— закорючки какие-то, цифирки, ну кому это надо, сам посуди! Кому от них легче станет, чья слеза высохнет, чья улыбка расцветет?..

— Нет, старик, ты не понимаешь...— проникновенно втолковывал в ответ Малянов. Он основательно хватил из фигурной бутылки с ликером, и настроение его теперь менялось в очень широком диапазоне.— Во-первых, глупости, что это никому не надо. Тогда и Галилеевы упражнения с маятниками, они тоже никому были не нужны? Или там про вращение Земли — кому какое дело, вертится она или не вертится? Да и не в этом же дело! Не могу! Не могу я это бросить, паря! Это же моя жизнь, без этого я ничто... Ну откажусь я, ну забуду — и чем же я тогда стану заниматься? Жить для чего? И вообще — что делать? Марки собирать? Подчиненных на ковре распекать? Ты способен понять, какая это тоска, вундеркинд ты с ляпочками? И потом — никакая сволочь не имеет права вмешиваться в мою работу!..

— Галилей ты задрипанный! — убеждал мальчик. — Ну что ты строишь из себя Джордано Бруно? Не тебе же гореть на костре — мне! Как ты после этого жить будешь со своими макроскопическими неустойчивостями? Ты об этом подумал? Без работы он, видите ли, жить не сможет...

— Да вранье все это. Запугали они тебя, паря! Ты мне только скажи, кто они такие...

— Дурак! Ой, дурак какой!

— Не смей взрослого называть...

— Да поди ты! Сейчас не до церемоний! Вот подожди...— Мальчик снова раскрыл том Достоевского и прочитал с выражением: — «Скажи мне сам прямо, я зову тебя — отвечай: представь, что это ты сам возводишь зда-

ние судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданище, вот того самого ребенка... м-м-м... и на его слезках основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях...» А? Согласился бы?

Малянов слушал его, полуоткрыв рот. Мальчишка читал плохо, по-детски, но смысловые ударения ставил правильно. Он понимал все, что читает. И когда мальчик кончил, Малянов замотал щеками, словно сиюсь прийти в себя, и пробормотал:

— Бред, бред... Ну и ну!

— Ты не нуинукай! — наступал мальчик. — Ты отвечай, согласился бы или нет?

— Как тебя зовут, странное дитя?

— Не отвлекайся! Да или нет?

— Ну нет! Нет, нет, конечно.

— О! Все говорят нет, а посмотри, что кругом творится! Крохотные созданища мрут, как подопытные мухи, как дрозифилы какие-нибудь, а вокруг все твердят: нет! ни в коем случае! дети — цветы жизни!.. — Он вдруг широко зевнул. — Спатиныки хочу. А ты думай. И не будь равнодушным ослом. Я ведь знаю, ты детей любишь. А начнешь себя убеждать да накачивать: дело прежде всего! потомки нас не простят!.. Ты же понимаешь, что ты не Галилей. В историю тебя все равно не включат. Ты — человек средненький. Просто повезло тебе с этими полостями устойчивости — додумался раньше прочих... Но ведь ты человек вполне честный? Зачем тебе совесть-то марать, ради чего?.. — Он снова зевнул. — Ой, спатиныки хочу. Спатки!

Он протянул к Малянову руки, вскарабкался ему на колени и положил голову на грудь. Глаза у него тут же закрылись, а рот приоткрылся. Он уже спал.

Некоторое время Малянов тихо сидел, держа его на руках. Он и в самом деле любил детишек и ужасно скучал по сыну. Потом все-таки поднялся, осторожно уложил мальчика на тахту в кабинете, а сам взялся за телефон.

— Вечеровский? Фил, я найду к тебе. Можно?

— Когда? — спросил Вечеровский, помолчав.

— Немедленно.

— Я не один.

— Женщина?

— Нет... один знакомый.

У Малянова вдруг широко раскрылись глаза.

— Горбун? — спросил он, понизив голос. — Рыжий?

Вечеровский хмыкнул.

— Да нет. Он скорее лысый, чем рыжий. Это Глухов.

Ты его знаешь.

— Ах, Глухов? Прелестно! Не отпускай его! Пусть-ка он нам кое-что расскажет. Я иду! Не отпускай его. Жди.

Малянов подкатил на своем старинном велосипеде к высокому антисейсмическому дому, окруженному зеленым палисадником, соскочил у подъезда и принялся привычным движением заводить велосипед в щель между стеной и роскошной белой «тридцать второй» «Волгой» (с белыми «мишленовскими» шинами на магниевых литых дисках).

Пока он этим занимался, дверь подъезда растворилась, и из дома вышел давешний лопухий шофер, который возил только вчера Снегового. Выйдя, он оглянулся по сторонам как бы небрежно, но небрежность эта была явно показной. Шофер чувствовал себя не в своей тарелке и сильно вздрогнул, даже как-то дернулся, словно собирался броситься наутек, когда из-за угла вывернула и протарахтела мимо какая-то безобидная малолитражка. Малянова и появление шофера, и поведение его несколько удивили, но ему было не до того, и, когда шофер, торопливо усевшись в кабину своего «газика», уехал, Малянов тут же забыл о нем.

Он вошел в подъезд и нажал кнопку квартиры 22.

— Да? — отозвался хрипловатый радиоголос.

— Это я, — сказал Малянов, и дверь перед ним распахнулась.

Он медленно пошел по лестнице на четвертый этаж. Он ступал тяжело, тяжело сопел, и лицо его стало тяжелым и мрачным. Лестница была пуста и чиста — до блеска, до невозможности. Сверкали хромированные перила, сверкали ряды металлических заклепок на обитых коричневой кожей дверях — Вечеровский жил в каком-то образцово-показательном доме, где все было по классу «А».

У Вечеровского и квартира образцово-показательная, где все было по классу «А». Изящная люстра мелкого хрусталя, строгая финская стенка, блеклый вьетнамский ковер, несомненно, ручной работы, круглый подсвеченный аквариум с величественно неподвижными скаляриями, ультрасовременная Хай-Фай-аппаратура, тугие пачки пластинок, блоки компакт-кассет... В углу гостиной — черный журнальный столик, в центре его — деревянная

чаша с множеством курительных трубок самой разной величины и формы.

Хозяин в безукоризненном замшевом домашнем костюме (белая сорочка с галстуком! дома!!!) помещался в глубоком ушатом кресле. В зубах — хорошо уравновешенный «бриар», в руках — блюдечко и чашечка с дымящимся кофе. Все дьявольски элегантно. Антикварный кофейник на лакированном подносе. И по чашечке кофе (чашечки — тончайшего фарфора) — перед каждым из гостей.

По левую руку от Вечеровского прилепился в роскошном кресле Глухов, совсем не роскошный маленький человечек, лысоватый, очкастенький, в рубашечке-безрукавочке, в подтяжках, с брюшком. Бледные волосатые ручки сложены и засунуты между колен. Все внимание направлено на Малянова.

Малянов — особенно крупный, потный и взлохмаченный сейчас, среди всей этой невообразимой элегантности, — закончил свой рассказ словами:

— ...Я лично считаю, что все это — ловкое жульничество. Но не понимаю, зачем и кому это нужно. Потому что на самом деле... на самом деле! Ну что с меня взять? Ну кандидат, ну старший научный сотрудник... Ну и что? Сто рублей на сберкнижке, восемьсот рублей долгу...

Он энергически пожал плечами и, помотав щеками, откинулся в кресле. При этом задел ногой столик, чашечка его подпрыгнула в блюдце и опрокинулась.

— Пардон... — проворчал Малянов рассеянно.

— Еще кофе? — сейчас же осведомился Вечеровский.

— Нет. А впрочем, налей...

Вечеровский принялся осторожно, словно божественную амброзию, разливать кофе по чашечкам, а Глухов глубоко вздохнул и забормотал как бы про себя:

— Да-да-да... Удивительно, удивительно... И ведь в самом деле, не пожалуешься, не обратишься... никто не поверит. Да и как тут поверить?

— Ты полагаешь, — сказал Вечеровский Малянову, — что твоя работа действительно тянет на Нобелевскую премию?

— А черт его знает, на самом деле. Как я могу судить? Что я тебе — Нобелевский комитет? Классная работа. Экстра-класс. Люкс. Это я гарантирую. Но мне же ее еще надо докончить! Они ведь мне ее докончить не дают!..

— Да-да-да... — снова заторопился Глухов. — Да! Но ведь, с другой-то стороны... Вы только вдумайтесь, друзья

мои, представьте это себе отчетливо... Дмитрий Алексеевич! Кофе какой — прелесть! Сигаретка, дымок голубоватый, вечер за окном — прозрачность, зелень, небо... Ах, Дмитрий Алексеевич, ну что вам эти макроскопические неустойчивости, все эти диффузные газы, сингулярности... Неужели это настолько уж важно, что из-за этого следует... Ну, вот, например, возьмем звезды. Право же, есть что-то в этой вашей астрономии... что-то такое... непристойное, что ли, подглядывание какое-то... А зачем? Звезды ведь не для того, чтобы подглядывали за ними, за их жизнью... Звезды ведь для того, чтобы ими любоваться, согласитесь...

Он не спорил, не настаивал, этот маленький тихий Глухов, он, скорее уж, уговаривал, просил, умолял даже каждой черточкой своего невыразительного серого личика. Но на Малянова эта его речь подействовала почему-то раздражающе, и он, не думая, брякнул:

— А ведь он и вас упоминал, Владлен Семенович!

— Кто?

— Горбун. Рыжий этот, бандит-пришелец.

— Меня?

— Вот именно, вас. «Вспомните,— говорит,— что случилось с Глуховым!..» — Тут Малянов осекся, потому что Глухов побелел, даже позеленел как-то и совсем задвинулся в глубину огромного кресла. Никогда еще Малянов не видел до такой степени испуганного человека.

— А что со мной случилось? — пробормотал Глухов затравленно.— Со мной все в порядке. Ничего со мной не случилось... и не случилось...

Вечеровский, не глядя, протянул руку вправо, извлек из скрытого холодильника сифон и высокий стакан. Зашипела струя, стакан очутился перед Глуховым, но тот пить не стал, даже в руки его не взял и посмотрел на него, как будто это отравка какая-то. Он только облизнул сухие губы сухим языком и еще глубже засунул слабые свои лапки между колен.

— Это все вздор... Это вздор какой-то, Алексей Дмитр... Дмитрий Алексеевич,— шелестел он.— Вы не верьте. Как можно верить?.. Явные жулики...

Малянов смотрел на него пристально.

— Если это жулики, надо их вывести на чистую воду, так? — спросил он свирепо.

— Конечно, конечно... Но как?

— Для начала каждый должен рассказать все, что знает про них.

— Безусловно, разумеется...— Глухов снова облизнулся.— Но ведь я... Вы, кажется, решили, будто я что-то знаю про них. Но ведь я ничего не знаю, уверяю вас.

— Ничего?

— Право же, ничего... Тут какая-то ошибка...

— Так-таки и ничего? — продолжал наседать Малянов, значительно прищуриваясь.

— Ни-че-го! — неожиданно твердо отчеканил Глухов. Словно точку поставил на этой теме.

Глухов выпростал руки из колен, проглотил свой кофе и сейчас же запил водой из стакана. На лице его вновь обозначился румянец. Он улыбнулся и, неумело изображая развязность, вольготно расположился в кресле, засунув большие пальцы рук под подтяжки.

Малянов ел его глазами, но Глухова все эти взгляды вроде бы и не волновали вовсе — он, казалось, совершенно оправился от своего неодолимого страха и держал теперь себя как ни в чем не бывало.

— Но сами-то вы верите, что это жулики? — спросил наконец Малянов.

— А представления не имею,— ответил Глухов все с той же судорожной развязностью.— Откуда же мне это знать, посудите сами, Дмитрий Алексеевич?

— Ну а все-таки?..

— Отстань от человека,— негромко сказал Вечеровский.— Ты прекрасно понимаешь, что это не жулики.

— То есть? Откуда это следует?

— Если бы ты считал их обыкновенными жуликами, ты бы уже был в милиции, а не здесь...

— Как это, интересно, я попрусь в милицию? А факты?

— Вот именно,— сказал Вечеровский.— Факты. Факты, дорогой мой! Так что не тешь себя иллюзиями, это не жулики. Какое дело жуликам до твоих полостей устойчивости?

— А какое до них дело инопланетным пришельцам?

— Тебе же объяснили, какое. И объяснили весьма логично. Твоя работа в перспективе выводит человечество в ряды сверхцивилизаций, делает нас их соперниками во Вселенной. Естественно, они предпочитают расправиться с соперником, пока тот еще в колыбели. Как это сделать? Высаживать десанты? Взрывать арсеналы? Зачем? Надо именно так: тихо, бесшумно, почти безболезненно скальпелем по самому ценному, что есть у человечества,— по перспективным исследованиям...

— Бог ты мой, Фил! Ты же сам говоришь — это сверхцивилизация, а значит, сверхразум, сверхгуманность, сверхдоброта!..

Вечеровский кривовато усмехнулся.

— Милый мой, откуда тебе знать, как ведет себя сверхдоброта? Не доброта, заметь себе, пожалуйста, а сверхдоброта.

— Все равно, все равно...— Малянов замотал щеками.— Методы... Методы... Методы, Фил! Ты пойми, это сверхмощная организация... Он же способен исчезать и появляться мгновенно... это же как волшебство! Если сверхцивилизация, то они, с нашей точки зрения, почти всемогущи. И вдруг такая дешевка — доведение до самоубийства, шантаж, подкуп...

— Что ты знаешь о сверхцивилизациях?

— Нет-нет. Все равно. Нецелесообразно.

— Какова целесообразность моста — с точки зрения рыбы? — провозгласил Вечеровский.— Когда тебе на щеку садится комар, ты бьешь по нему с такой силой, что мог бы уничтожить всех комаров в округе. Это целесообразно?

— Я понимаю, что ты хочешь сказать. Но дело даже не в этом. Как ты не чувствуешь несоответствия? При их всемогуществе... Ну зачем им поднимать весь этот шум? Зачем им нужно, чтобы Малянов бегал по знакомым и жаловался в милицию? Зачем? Ведь куда проще было подсунуть ему тухлого омара — и концы.

— Н-ну, значит, они принципиальные противники убийства,— сказал Вечеровский, снова принимаясь разливать кофе.— Сверхгуманность.

— Ага, ага, шантажировать можно, а убивать нельзя. Ну ладно... Можно же и без убийства, в рамках, так сказать, гуманности... Можно так, например,— садится Малянов работать над своей статьей, и сейчас же у него разбивается живот, да так, что никакого терпезу нет, и уже ни о какой работе говорить невозможно. Отложил работу — все прошло, снова взялся за нее...

Тут Малянов замолчал, потому что заметил, что Вечеровский его не слушает. Вечеровский сидел к нему боком и, крутя в пальцах драгоценную трубку, пристально глядел на Глухова, а Глухов вдруг забеспокоился, зашевелился, снова съехался в кресле, и глазки его приняли выражение, как у загнанного зверька.

— Что вы на меня смотрите, Филипп Павлович? — жалобно проскрипел он.

— Прошу прощенья,— сейчас же отозвался Вечеров-

ский и, отведя глаза, принялся старательно выбивать и вычищать трубку.

— Нет, позвольте! — снова закрипел Глухов, но теперь уже не жалобно, а скорее даже вызывающе. — Я ваш взгляд понимаю вполне определенным образом... Я и раньше замечал такие взгляды... И ваши прежние намеки! Я хотел бы изъясниться сейчас же и окончательно! И пусть Дмитрий Алексеевич присутствует... Посудите сами, Дмитрий Алексеевич, — он повернулся к Малянову, — будьте судьей. Да, у меня было нечто подобное... Но это аллергия, и не более того. Болезнь века, как говорится...

— Не понимаю, — сказал Малянов сердито.

— Действительно, это было как-то связано с моей работой. Какая-то связь, пожалуй, была... Но ведь не более того. Не более того, Филипп Павлович! Аллергия — и не более того!..

— Я вас не понимаю, Владлен Семенович! — сказал Малянов, оживляясь, ибо кое-что ему стало понятно.

— Все очень просто, — сказал Вечеровский лениво. — Начиная с прошлого марта, стоило Владлену Семеновичу сесть за свою диссертацию, уже почти готовую, между прочим, как его поражала головная боль, причем столь сильная, что он вынужден бывал свою работу прекращать. Это длилось несколько месяцев и кончилось тем, что Владлен Семенович свою диссертацию и вовсе отставил...

— Позвольте, позвольте! — живо вмешался Глухов. — Все это так, но я хочу подчеркнуть, что я отставил ее, как вы выражаетесь, только временно и исключительно по совету врачей... И я попросил бы никаких аналогий здесь не проводить. Всякие аналогии здесь совершенно неправомерны...

— Над чем вы работали? — резко спросил Малянов. — Тема?

— «Культурное влияние США на Японию. Опыт количественного и качественного анализа», — с готовностью отбарабанил Глухов.

— Господи, — сказал Малянов. — При чем тут культурное влияние...

— Вот именно! — подхватил Глухов. — Вот именно!

— А тема у вас не закрытая была?

— Ни в какой степени! Совершенно!

— А Губаря, Захара Захаровича, вы не знаете?

— Да в первый раз слышу!

Малянов хотел спросить еще кое о чем, но спохватился: он вдруг понял, что задает Глухову такие же вопросы, какие Снеговой задавал вчера ему, Малянову.

— Вы понимаете, что я не мог не последовать совету врачей,— продолжал между тем Глухов.— Врачи посоветовали, и я отложил пока эту работу. Пока! В конце концов в мире достаточно прелести и без этой моей работы... И потом я, знаете ли, амбиций никаких не имею, да и не имел никогда... Я ученый маленький, а если по большому счету, то и не ученый, собственно, а так, научный сотрудник. Конечно, я люблю свою работу, но, с другой стороны...— Он поглядел на часы и всполошился.— Ай-яй-яй-яй! Поздно-то как! Я побегу... Я побегу, Филипп Павлович! Извините меня, друзья мои, но сегодня же детектив по телевизору... Ах, друзья мои, друзья мои! Ну много ли человеку надо? Если честно, если без дурацкой, простите, романтики? Добротный детектив, стакан правильно заваренного чая в чистом подстаканнике, сигаретка... Право же, Дмитрий Алексеевич, было трудно, очень болезненно было мне выбрать более спокойный путь, но врачи врачами, а если подумать: что выбирать? Ну, конечно же, жизнь надо выбирать. Жизнь! Не абстракции, пусть даже самые красивые, не телескопы же ваши, не пробирки... не затхлые же архивы! Да пусть они подавятся всеми этими телескопами и архивами! Жить надо, любить надо, природу ощущать надо... Именно ощущать, прильнуть к ней, а не ковырять ее ланцетом... Когда я теперь смотрю на дерево, на куст, я чувствую, я ощущаю физически: это мой друг, мы нужны друг другу... Ах, Дмитрий Алексеевич!

Он вдруг махнул рукой и пошел из комнаты, на ходу вдевая руки в рукава серого своего занюханного пиджачка. Он даже не простился ни с кем. Пронесся по гостиной сквознячок, колыхнул облако табачного дыма над головой Вечеровского, потом ахнула вырвавшаяся, видимо, из рук входная дверь, и все стихло.

— Ну и что ты думаешь? — осведомился Малянов агрессивно.

— О чем?

— Что ты думаешь о своем Глухове? По-моему, его запугали. Или даже купили. Какая гадость!

— Не суди и не судим будешь.

— Ты так ставишь вопрос? — сказал Малянов саркастически.

Вечеровский наклонился вперед, выбрал в чаше новую трубку и принялся медленно, вдумчиво набивать ее.

— Мне кажется, Митя,— сказал он,— ты плохо пока понимаешь свое положение. Ты возбужден, ты слегка напуган, сильно озадачен и в высшей степени заинтригован. Так вот, тебе надлежит понять, что ничего интересного с тобою не произошло. Тебе предстоит очень неприятный выбор. Неприятный в любом случае, ибо если ты поднимешь руки, то станешь таким, как Глухов, и никогда не простишь себе этого, ты же очень высокого о себе мнения, я тебя знаю. Если же ты решишь бороться, тебе будет так плохо, как бывает только человеку на передовой...

— На передовой люди тоже жили,— сказал Малянов сердито.

— Да. Только, как правило, плохо и недолго.

— Ты что, запугиваешь меня?

— Нет. Я пытаюсь только объяснить тебе, что в твоём положении нет ничего интересного. На тебя действует сила — чудовищная, совершенно несоразмерная и никак не контролируемая...

— Ты все-таки считаешь, что это сверхцивилизация?

— Послушай, дружище, какая тебе разница? Тля под кирпичом, тля под пятаком... Ты — одиночный боец, на которого прет танковая армия.

— Клопа танком не раздавишь,— пробормотал Малянов.

— Верно. Но ты же не согласен быть клопом.

— Хорошо, хорошо, но что ты мне посоветуешь? Я ведь пришел к тебе за советом, черт тебя дери, а не философией заниматься...

— Я тебе могу посоветовать только одно: пойми и осознай, что ничего интересного...

— Это я уже понял!

— По-моему, нет.

— Это я уже понял! — сказал Малянов, повышая голос.— И легче мне от этого не стало. Если это жулики, то я их не боюсь. Пусть они меня боятся. А если это действительно сверхцивилизация, если это действительно вторжение... Во-первых, я не очень-то в это верю... А во-вторых, что ж, мы так и будем сдаваться — один за другим? Мы ляжем на спинку, все по очереди, и будем жалостно махать лапками в воздухе, а они беспрепятственно станут отныне определять, чем нам можно заниматься, а чем нельзя? Нет, отец, этого допускать нельзя, как хочешь...

— Логично,— сказал Вечеровский без всякого, впрочем, одобрения в голосе.— И даже красиво. Только на

передовой нет ни логики, ни красоты. Там — грязь, голод, вши, страх, смерть...

Малянов не слушал его. Он глубоко вдруг задумался. Рот приоткрылся, глаза стали бессмысленными. Потом он вдруг улыбнулся.

— Слушай, Фил, — сказал он. — А мощную, наверное, я сделал работу, если целая сверхцивилизация поднялась на нее войной. А?

Дома он снова засел за работу. Он махнул рукой на все, все отринул, все забыл — он работал. Он исписывал формулами листок за листком и швырял черновики прямо на пол. Было уже поздно. Гасли окна в домах напротив. Стало совсем темно. Из открытого окна летели мотыльки, кружились вокруг лампы, падали на бумагу перед Маляновым. Он их досадливо смахивал, но они возвращались на ярко-белое — снова и снова.

Мальчик как с вечера заснул, так и спал беспробудно, обняв во сне мохнатого олимпийского мишку. Малянов прикрыл их обоих шалью. По кушетке разбросаны были книги: том Спинозы, Достоевский, «Популярная медицинская энциклопедия» и какие-то детские, с картинками.

Работалось Малянову очень хорошо, он ни на что не отвлекался, только один раз почудилось ему боковым зрением, что в кресле для гостей сидит, прикрыв лицо ладонью, большой темный человек... Малянов вздрогнул так, что ручка вылетела у него из пальцев и закатилась под бумаги. Еще мгновение он совершенно отчетливо видел человека в кресле и успел понять, что это Снеговой сидит там, упершись локтем в подлокотник, и смотрит одним глазом через расставленные пальцы... Потом страшное видение исчезло — купальный халат лежал в кресле, разбросав пустые рукава. Но Малянов вынужден был встать и пройтись несколько раз по комнате, чтобы успокоиться. Халат он сложил и унес в ванную.

А потом, это было уже часов в одиннадцать, раздался вежливый тихий звонок в дверь, и мальчик сразу сел, словно подброшенный, словно он и не спал вовсе.

— Это за мной! — сказал он с отчаянием.

Малянов с трудом оторвался от своих бумаг.

— Что ты сказал?

— Ты все-таки засел за свою проклятую работу... — продолжал мальчик, отползая по тахте в самый угол. — Я все проспал, а ты опять засел за эти проклятые формулы... Я же предупредил тебя... Эх ты, Галилей задрипанный...

В дверь зазвонили снова.

Малянов, заранее хмурясь, вышел в прихожую и щелкнул замком. На пороге стоял приятной внешности мужчина лет тридцати в потертых джинсах и какой-то курточке, накинутаю прямо поверх майки, — по-домашнему. А на ногах у него вместо ботинок были шлепанцы, тоже по-домашнему.

— Прошу извинить, — сказал он, прижимая руку к сердцу. — Но мне сказали, что мой Витька у вас...

— Витька?

— Вы знаете, он у нас парнишка с фантазиями... Уж извините, если он вас утомил, но у него манера появилась: натворит что-нибудь, а потом удерет, спрячется у соседей, навдумывает там с три короба...

— Прошу, — сказал Малянов сухо.

Он и сам не мог объяснить себе, чем не нравился ему этот вежливый папаня, явно и очевидно угнетенный невоспитанностью и самовольством своего капризного сына. Они вместе вошли в комнату, и папаня прямо с порога залебезил:

— Ну что же ты, Витька... Что ты, в сам-деле, вытворяешь. Ну, пошли домой, пошли... Хватит. Подумаешь, графин раскокал... Будто тебя за это бить будут. Пошли. Мама там плачет, волнуется... Пошли, а?

Мальчик молча, поджав по-взрослому губы, принялся послушно слезать с тахты, а папаня все продолжал говорить как заведенный:

— Беда мне с ним, беда и беда. Хоть к врачам обращайся. Растет дикий, как камышовый кот. Не признает, ну, ни малейшей строгости... Витя, застегни, пожалуйста, сандалики... свалятся... Вы только представьте себе: ну я — мужик, ладно, но матери-то какво, Дмитрий Андреевич!..

— Алексеевич, — машинально поправил Малянов.

— Разве? А мне сказали «Андреевич».

— Кто сказал?

— Да в жакте какая-то тетка... Ты готов, Витька? Ну пошли... Извините, ради бога, за беспокойство. Ох, дети, дети...

Мальчик взялся за протянутую руку мужчины и только сейчас глянул на Малянова, и взгляд у него был такой странный, что Малянов подобрался и, преодолевая неловкость, проговорил:

— М-м-м... Вы простите, но... Документы ваши... Все-таки чужой ребенок... Разрешите взглянуть.

— Ну конечно, ну ясно! — всполошился мужчина, хлопая себе по карманам курточки и джинсов. — Мы же здесь и живем, в этом же доме, только в четвертом подъезде... Милости прошу, в любой момент... Будем очень рады... Вот, пожалуйста. — Он протянул Малянову маленькую аккуратную визитную карточку. — Полуянов Александр Платонович, работаю на СМУ-16, главный инженер... так что человек довольно известный... Прошу, так сказать, любить и жаловать. Очень было приятно познакомиться, но в будущем лучше было бы встречаться в более приятной ситуации, правильно? Извините еще раз. Витька, попрощайся с Дмитрием Андреевичем и скажи «спасибо».

— До свидания, — сказал мальчик без выражения. — Спасибо.

И Малянов остался в прихожей один.

Он вернулся к столу, швырнул поверх бумаг визитную карточку и встал около распахнутого окна так, чтобы видеть свой подъезд. Ртутный фонарь мертво светил сквозь черную листву. Прошла заплетающимся шагом парочка в обнимку и скрылась в палисаднике. Две старухи молчали, сидя рядышком на скамеечке около подъезда. Из дома никто не выходил.

Тогда Малянов перегнулся через стол и снова взял в руки визитку. Только теперь это была не визитка. Это был маленький прямоугольник очень белого картона, чистый с обеих сторон.

И вдруг за окном заплакал, забился в истерике ребенок: «Ой, не надо! Ой, я больше не буду!.. Ой-ей-ей... я не буду больше!» Малянов тотчас высунулся из окна по пояс — на улице никого, только хлопнула где-то в отдалении дверь, и сразу же стихли отчаянные детские вопли.

В два огромных прыжка Малянов пересек всю свою квартиру и оказался на лестнице. И там, конечно, было пусто тоже. Только лежал на верхней ступеньке пролета какой-то непонятный желтый предмет. Это была маленькая сандалия. С правой ноги. Малянов поднял ее, повертел в руках, потом медленно вернулся домой, к столу, где лампа ярко освещала исчищенные, разрисованные кривыми листки, по которым ошалело ползали большие черные мотыльки и всякая крылатая зеленая мелочь.

Он собрался быстро.

Все бумаги, лежавшие на столе, все листки, разбросанные по полу, чистовые страницы статьи с еще не вписанными формулами, графики, таблицы, красиво вычерчен-

ные для показа по эпидиаскопу,— все это он аккуратно и ловко собрал, подровнял и сложил в белую папку «Для бумаг». Папка раздулась, и он для вящей прочности перетянул ее хозяйственной резинкой. Потом нашарил в ящике стола черный фломастер и неторопливо со вкусом вывел на обложке: «Д. Малянов. Задача о макроскопической устойчивости».

Закончив все дела, он взял папку под мышку, внимательно оглядел комнату, будто рассчитывал обнаружить что-нибудь забытое впопыхах, и выключил лампу. Стало темно, только светились насыщенным красным светом цифры на дисплее калькулятора. Тогда он выключил и калькулятор тоже.

Он подъехал к дому Вечеровского на велосипеде, которым управлял одной рукой, правой,— потому что под мышкой левой у него была зажата толстая белая папка. Медленно, грузно, словно больной, он сполз с седла, прислонил велосипед к стене и поднялся по лестнице к подъезду.

Дверь была распахнута. В проеме, прямо на пороге, сидел какой-то человек. Он поднял навстречу Малянову лицо, и Малянов узнал Глухова. Лицо у Глухова было измученное, перекошенное и вдобавок измазанное не то сажей, не то краской.

— Не ходите туда, Дмитрий Алексеевич,— проговорил Глухов.— Туда сейчас нельзя.

Он загораживал проход, и Малянов молча стоял перед ним и ждал.

— Еще одна папка. Белая. Еще один флаг капитуляции...— Глухов закричал и медленно, в три разделения, поднялся на ноги, держась за поясницу. В руках у него оказалась серая сильно помятая шляпа. Он нацепил ее на лысину и сейчас же снял.

— Понимаете...— проговорил он.— Никак не решусь уйти. Тошно. Капитулировать всегда тошно. В прошлом веке частенько даже стрелялись, только чтобы не капитулировать...

— В нашем — тоже случалось,— сказал Малянов.

— Да, конечно, конечно. Но в нашем веке стреляются главным образом потому, что стыдятся других, а в прошлом стрелялись, потому что стыдились себя. Теперь почему-то считается, что сам с собой человек всегда сумеет договориться...— Он похлопал себя шляпой по бедру.— Не знаю, почему это так. Мы все стали как-то проще, циничнее даже, мы стесняемся краснеть и стараемся спрятать

слезы... Может быть, мир все-таки стал сложнее за последние сто лет? Может быть, теперь, кроме совести, гордости, чести, существует еще множество других вещей, которые годятся для самоутверждения?..

Он смотрел выжидательно, и Малянов сказал, пожав плечами:

— Не знаю. Может быть. Я не знаю.

— И я тоже не знаю,— сказал Глухов как бы с удивлением.— Казалось бы, опытный капитулянт, сколько времени уже думаю об этом... только об этом... сколько убедительных доводов перебрал... Вот уж и успокойсья будто, и убедишь вроде бы себя, и вдруг заноеет. Конечно, двадцатый век — это не девятнадцатый, разница есть. Но раны остаются ранами. Они заживают, рубцуются, и вроде бы ты уж и забыл о них вовсе, а потом переменится погода, и они заноеют. И всегда так это было, во все века.

— Это вы про совесть говорите, да?

— Про совесть. Про честь. Про гордость.

— Да,— сказал Малянов.— Все это правильно. Только иногда чужие раны больнее.

— Ради бога! — прошептал Глухов, прижимая шляпу к груди обеими руками.— Я бы никогда не осмелился... Как я могу вас отговаривать или советовать вам? Да ни в коем случае!.. Но я все думаю и никак не могу разобраться: почему мы так мучаемся? Ведь совершенно же ясно, ведь каждый же скажет, что поступаем мы правильно... иначе поступить нельзя, глупо поступать иначе... детский сад какой-то, казаки-разбойники... А мы уже давно не дети... Все правильно, все верно... Почему же так мучительно стыдно? Не понимаю! Никак не могу понять.

Тут он вдруг захихикал совершенно неуместно, а потому и мерзко и принялся махать шляпой кому-то за спиной Малянова. Малянов оглянулся. Там под фонарем, шагах в двадцати от них, стояла женщина — в летах уже, полная и почему-то с тростью... или с зонтиком?

— Так что все в порядке! — искусственно бодрым и повышенным голосом провозгласил вдруг Глухов.— Если зуб болит, его беспощадно удаляют. Такова логика жизни. Не так ли, Дмитрий Алексеевич? Ну, желаю вам всяческого...

Он снова захихикал, закивал, заулыбался — ясно было, что делает все это и говорит он исключительно для женщины с тростью, но это было глупо: она стояла слишком далеко, чтобы различать его ужимки. А он снова замахал

ей шляпой и ссыпался по лестнице — этак молодо, энергично, по-студенчески — и быстро зашагал к фонарю, все еще продолжая размахивать шляпой. «...Тревоги наши позади!.. — доносилось до Малянова. — ...Солнце снова лето возвестило!.. Вот и я!..» Он подошел к женщине, попытался обнять ее за плечи одной рукой, но это у него не получилось — он был слишком мал для такой крупной женщины, тогда он просто взял ее под руку, и они пошли прочь, она сильно прихрамывала и опиралась на трость, а он все размахивал свободной рукой с зажатою в ней шляпой и все говорил, говорил не переставая: «...всяческая суета!.. и совершенно напрасно!.. как я и говорил... ну что ты, маленькая!»

Малянов проводил их взглядом, взял свою папку поудобнее и стал подниматься по лестнице.

Вечеровский открыл ему дверь не сразу. Узнать его было нелегко — Вечеровский словно только что выскочил из пожара. Элегантный домашний костюм изуродован: левый рукав почти оторван, слева же, на животе, большая прожженная дыра. Некогда белоснежная сорочка — в грязных разводах, и все лицо Вечеровского в грязных пятнах, и руки его.

— А! Заходи, — сказал он хриловато, повернулся к Малянову спиной и пошел в глубь квартиры.

В гостиной все было разгромлено, словно лопнул здесь только что картуз дымного пороха. Копоть чернела на стенах, копоть тоненькими нитями плавала в воздухе... Зияла обугленная дыра посреди ковра... И горы рассыпанных, растрепанных книг... и осколки аквариума... и расплющенные обломки звукоаппаратуры... Все искорежено, искромсано и будто опалено адским огнем.

Они прошли в кабинет, где все было, как и прежде, безукоризненно чисто и элегантно, и Малянов, обернувшись на разгром в гостиной, спросил:

— Что это было?

— Потом, — сказал Вечеровский и откашлялся. — Что у тебя?

Тогда Малянов положил на стол свою папку и проговорил сквозь зубы:

— Вот. Они забрали мальчика. Пусть это пока у тебя полежит.

— Пусть, — спокойно согласился Вечеровский. Он поднял к глазам чумазые руки и весь перекосясь от отвращения. — Нет, так нельзя. Подожди, я должен привести себя в порядок.

Он стремительно вышел, почти выбежал из комнаты, а Малянов, оставшись один, прошел к дверям в гостиную и еще раз, теперь уже очень внимательно, оглядел царивший там разгром.

Когда он вернулся к столу, лицо его было угрюмо, а брови он задрал так высоко, как это только было возможно.

Потом он оглядел стол.

Стол был завален папками. Там была толстая черная папка с наклеенной на обложке белой карточкой: «В. С. Глухов. Культурное влияние США на Японию. Опыт количественного и качественного анализа». Там была еще более толстая, чудовищная зеленая папка с небрежной надписью фломастером: «А. Снеговой. Использование федингов». Собственно, там было даже две такие папки... Там была простенькая серая тощая папка некоего Вайнгартена («Ревертаза и пр.»), и перетянутая резинкой пачка общих тетрадей (некто У. Лужков, «Элементарные рассуждения»), и еще какие-то папки, тетради, и даже свернутые в трубку листы ватмана с чертежами.

И там, с краю, лежала белая папка с надписью: «Д. Малянов. Задача о макроскопической устойчивости». Малянов взял ее и, усевшись в кресло, прижал к животу.

Вернулся Вечеровский — свежeweмытый, с мокрыми еще волосами, снова весь элегантный и по классу «А»: белые брюки, черная рубашка с засученными рукавами, белый галстук, на ногах какие-то немислимые мокасины.

— Вот так гораздо лучше, — объявил он. — Кофе?

— Что все это значит? — спросил Малянов, показывая на стол.

— Это значит, — сказал Вечеровский, усмехнувшись, — что каждому хочется верить, будто рукописи не горят.

— Значит, все это вот... — Малянов повел рукой в сторону разгромленной гостиной.

— Не без того, не без того... Итак, кофе?

— Но почему все они притащили это именно к тебе?

— А ты? Ты почему?

— Не знаю, — сказал Малянов растерянно. — Я же не знал, что тут у тебя делается... Мне показалось, что... пусть полежит пока у тебя... раз иначе нельзя...

— Вот и им тоже показалось. Всем. В последний раз спрашиваю: кофе?

— Да, — сказал Малянов.

...Они пили кофе на кухне, где все сверкало чистотой, все стояло на своих местах и все было только самого высокого качества — на мировом уровне или несколько выше. Папку свою Малянов положил на стол рядом с собою и все время держал ее под локтем.

— Зачем тебе понадобилось связываться с нами? — спрашивал он.— Что за глупая бравада!

— Это не бравада. Это проблема.— Вечеровский отхлебнул кофе из чашечки кузнецовского фарфора и запил ледяной водой из высокого запотевшего стакана.— Посуди сам. Снеговой занимался изучением федингов. Это — радиотехника, прикладная физика, в какой-то степени атмосферная физика. Глухов — специалист по новейшей истории, социолог, «Культурное влияние» его — это чистая социология. У тебя — астрофизика и теория гравитации... Я хочу понять, что общего у всех ваших работ? По-видимому, где-то в невообразимой дали времен они сходятся в точку, и точка эта очень важна для нас... для человечества, я имею в виду.— Он снова с аппетитом отхлебнул кофе.— Сверхцивилизация, как я понимаю, это сила настолько огромная, что ее вполне можно считать стихией, а все ее проявления — это как бы проявления нового закона природы. Воевать против закона природы — глупо. Капитулировать перед законом природы — стыдно. В конечном счете — тоже глупо. Законы природы надо изучать, а изучив, использовать. Именно этим я и намерен заняться.

— Глупо,— сказал Малянов.— Глупо! — сказал он, все более раздражаясь.— Зачем тебе в это ввязываться? Ты же уникальный специалист... Ты же лучший в Европе. Они же просто убьют тебя, и все.

— Не думаю,— сказал Вечеровский.— Прوماхнутя. Пойми, они слишком огромны, они все время промахиваются...

— Откуда ты все это можешь знать?

— Господи,— сказал Вечеровский.— Откуда я могу это знать? Ты видел мою гостиную? Промач! А в прошлую субботу... Да что там говорить! Они лупят меня уже вторую неделю. За мою собственную работу. За мою. Собственную. А вы все здесь совсем ни при чем, бедные мои барашки, котики-песики... Ну что, Митька, я таки умею владеть собой, а?

— Пр-рвались ты!..— сказал Малянов и поднялся. Он был красен и зол.

— Сядь! — сказал Вечеровский, и Малянов сел.

— Налей в кофе коньяк.

Малянов налил.

— Пей. Залпом!

И Малянов осушил чашечку, не почувствовав ни вкуса, ни запаха.

— Ты очень спешишь,— сказал Вечеровский назидательно.— А спешить нам некуда. Предстоит работа... Ты все еще никак не можешь понять, что ничего интересного с нами не произошло. Просто работа. Долгая. Тяжелая. Скорее всего, грязная. Не один год, а может быть, сто лет, или тысячу, или миллиард... Опасно? Да, опасно. Заниматься настоящей научной проблемой всегда было опасно. Архимеда зарезали солдаты. Ньютон свихнулся в мистику. Жолио-Кюри умер от лучевой болезни... Научная проблема — это всегда опасно. А тут — настоящая проблема. На всю жизнь.

— Идиот! — сказал Малянов.— Гордыня проклятая, сатанинская... Архимед, Ньютон... Проблему себе отыскал. Здесь детей убивают, а он проблему себе выдумал на миллиард лет вперед...

— Я вижу, они тебя основательно запугали,— сказал Вечеровский, покусывая губу.

— А тебя они не запугали? — спросил Малянов злобным шепотом.— У тебя под твоей проклятой лощеной маской, скажешь, не прячется маленький, голенький, дрожащий человечек?! Когда у тебя в доме бомбу рвали, этот человечек, что — не плакал, не рвался под кровать — забиться в угол, закрыть глаза и ни о чем не думать?..

Вечеровский молчал, опустив белесые ресницы.

— Вот они меня запугали! — заорал вдруг Малянов, крутя у него перед носом потной дулей.— Я ничего не боюсь! Но на совесть свою гирю навесить не позволю! Нет, ради чего? Во имя человечества? За достоинство землянина? За галактический престиж? Вот тебе! Я не дерусь за слова! За себя драться, за семью, за друзей, даже за мальчишку этого чудовищного, которого я раньше и не видел никогда,— пожалуйста! До последнего, без пощады! Но за какие-то там проблемы?.. Увольте. Это вам не девятнадцатый век! Кому будет принадлежать Галактика через миллиард лет, нам или им? Да плевал я на это!

Он вскочил и забежал по кухне, размахивая руками.

— Нет, вы подумайте только, какой страшный выбор мне предлагают: или мы тебя сделаем директором великолепного современного института, из-за которого два член-

кора уже глотки друг другу переели, или мы тебя шлепнем, как гада, или, хуже того, моральным калеккой сделаем до конца дней твоих! Ничего себе выбор! Да я в этом своем институте десять нобелевок заложу, понял? Институт — это тебе не чечевичная похлебка, можно его и на право первородства поменять. Не хотите, чтобы я макроскопической устойчивостью занимался,— пожалуйста! Обойдусь! Я в своем институте десять новых идей заложу, двадцать идей, а если вам не понравится еще какая-нибудь, ну что ж, снова поторгуюсь!.. И не коптите мне мозги красивыми словами! Через миллиард лет от меня и молекул не останется. А я человек простой, я хочу умереть естественной смертью и совесть свою не пачкать...

Он вдруг замолчал, словно ему заткнули рот, уселся на прежнее место, схватил папку, бросил ее на стол, снова схватил.

— Не знаю, что делать,— сказал он жалобно.— Может быть, они только запугивают?

— Может быть,— сказал Вечеровский.

— Однако Снегового они до смерти запугали.

— Похоже на то.

— Ч-черт! Работу жалко. Экстра-класс. Люкс. У меня, может быть, никогда больше ничего подобного не выйдет.

— Возможно,— сказал Вечеровский.

— Но мальчишка-то? Мальчишка-то как? Или, может быть, запугивают? Ну невозможно же себе это представить, чтобы они осмелились... А может быть, это вовсе и не мальчишка даже? Уж очень он странный... Может быть, это робот какой-нибудь, а?

Вечеровский, не отвечая, поднялся и снова принялся заваривать кофе. Малянов следил за ним бездумным взглядом.

— А если они тебя уgroбят? — спросил он.

— Вряд ли.

— А если все-таки?.. Куда же тогда все это денется? —

Он потряс папкой.

— Ну ты же в курсе,— сказал Вечеровский, не оборачиваясь.— Да и не один ты. Вас довольно много.

— Только не я,— сказал Малянов, мотая щеками.— Я в это дело впутываться не желаю. Уволь.

Тогда Вечеровский повернулся к нему и прочитал негромко: «Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул назад. С тех пор все тянутся передо мною кривые, глухие, окольные тропы...»

Малянов застонал, как от боли.

Он сидел, прижав папку к животу, и раскачивался взад-вперед, плотно зажмурив глаза, скрипя стиснутыми зубами, и в голове у него не было ни одной мысли, только глуховатый голос Вечеровского в десятый, двадцатый раз повторял одно и то же: «...с тех пор все тянутся передо мною кривые, глухие, окольные тропы...»

А в пяти километрах от этой кухни, на плоском песчаном морском берегу, на мелководье, в неподвижной, похожей на застывшее стекло воде лежал навзничь, неловко подвернув под себя руку, мальчик в коротких штанишках с лялочкой и с сандалией только на одной левой ноге. Он был совершенно неподвижен, и смотреть на него было неприятно и страшно, потому что он казался давно и безнадежно мертвым.

Над сопками-скалами, окаймляющими город, над недалекими отсюда домами окраины показалось солнце. Длинные синие тени легли на пляж. Легкий ветерок пронесся и зарябил воду у берега. И тогда мальчик вдруг пошевелился. Упираясь ладонями в песок, он поднялся и поглядел сонными глазами вокруг. Потом он вдруг вскочил и запрыгал на одной ноге, вытряхивая воду из уха и приговаривая: «Ухо, ухо, вылей воду на дремучую колоду...»

И был пляж, и было стеклянное море, и солнце вставало самым жизнеутверждающим образом, и мальчуган, вполне живой, здоровый, веселый, разве что несколько мокрый, а потому слегка озябший, бредет вдоль воды босиком, загребая ногами влажный песок, держа в руке одинокую сандалию.

Понедельник начинается в субботу

По улице небольшого северного городка катит запыленный «Икарус». По сторонам улицы тянутся сначала старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен, с резными наличниками на окнах, с деревянными петушками на крышах. Потом появляются новостройки — трехэтажные шлакоблочные дома с открытыми сквериками. «Икарус» разворачивается на площади и останавливается у крытого павильона. Из обеих дверей начинают выходить пассажиры — с чемоданами, с узлами, с мешками, с рюкзаками и с ружьями в чехлах. Одним из последних спускается по ступенькам, цепляясь за все вокруг двумя чемоданами, молодой человек лет двадцати пяти, современного вида: бородка без усов, модная прическа-канадка, очки в мощной оправе, обтягивающие джинсы, поролоновая курточка с многочисленными молниями.

Поставив чемоданы на землю, он в некоторой растерянности озирается, но к нему сразу же подходит встречающий — тоже молодой человек, может быть, чуть постарше, атлетического сложения, смуглый, горбоносый, в очень обыкновенном летнем костюме при галстукке. Следуют рукопожатия, взаимные представления, деликатная борьба за право нести оба или хотя бы один чемодан.

Уже вечер. От низкого солнца тянутся по земле длинные тени. Молодые люди, оживленно беседуя, сворачивают с площади на неширокую, старинного облика улочку, где номера домов основательно проржавели, висят на воротах, мостовая заросла травой, а справа и слева тянутся могучие заборы, поставленные, наверное, еще в те времена, когда в этих местах шастали шведские и норвежские пираты. Называется эта улочка неожиданно изящно: «Ул. Лукоморье».

— Вы уж простите, что так получилось, Саша, — говорит молодой человек в летнем костюме. — Но вам только эту ночь и придется здесь провести. А завтра прямо с утра...

— Да ничего, не страшно, — с некоторым унынием откликается приезжий Саша. — Перебьюсь как-нибудь. Клопов там нет?

— Что вы! Это же музей!..

Они останавливаются перед совсем уже феноменальными, как в паровозном депо, воротами на ржавых пудовых петлях. Пока молодой человек в летнем костюме возится с запором низенькой калитки, Саша читает вывески на воротах. На левой воротине строго блестит толстым стеклом солидная синяя вывеска: «НИИЧАВО АН СССР. ИЗБА НА КУРИНЫХ НОГАХ. ПАМЯТНИК СОЛОВЕЦКОЙ СТАРИНЫ». На правой воротине висит ржавая жестяная табличка: «Ул. Лукоморье, д. № 13, Н. К. Горыныч», а под нею красуется кусок фанеры с надписью чернилами вкривь и вкось: «КОТ НЕ РАБОТАЕТ. Администрация».

— Это что у вас тут за КОТ? — спрашивает Саша. — Комитет оборонной техники?

Молодой человек в костюме смеется.

— Сами увидите, — говорит он. — У нас тут интересно. Прошу.

Они протискиваются в низенькую калитку и оказываются на обширном дворе, в глубине которого стоит дом из толстых бревен, а перед домом — приземистый необъятный дуб с густой кроной, совершенно заслоняющей крышу. От ворот к дому, огибая дуб, идет дорожка, выложенная каменными плитами, справа от дорожки огород, а слева, посередине лужайки, черный от древности и покрытый мхом колодезный сруб. На краю сруба восседает боком, свесив одну лапу и хвост, гигантский черно-серый разводами кот.

— Здравствуй, Василий, — вежливо произносит, обращаясь к нему, молодой человек в костюме. — Это Василий, Саша. Будьте знакомы.

Саша неловко кланяется коту. Кот вежливо-холодно разевает зубастую пасть, издает неопределенный сиплый звук, а потом отворачивается и смотрит в сторону дома.

— А вот и хозяйка, — продолжает молодой человек в костюме. — По здорову ли, баушка, Наина свет Киевна?

Хозяйке, наверное, за сто. Она неторопливо идет по дорожке к молодым людям, опираясь на суковатую клюку, волоча ноги в валенках с галошами. Лицо у нее темное, из сплошной массы морщин выдается вперед и вниз нос, кривой и острый, как ятаган, а глаза бледные и тусклые, словно бы закрытые бельмами.

— Здорова, здорова, внучек, Эдик Почкин, что мне сделается? — произносит она неожиданно звучным басом. — Это, значит, и будет новый программист? Здравствуй, батюшка, добро пожаловать.

Саша снова кланяется. Вид у него ошарашенный, старуха слишком уж колоритна. Голова ее поверх черного пухового платка повязана веселенькой косынкой с изображением Атомиума и с разноязыкими надписями «Брюссель». На подбородке и под носом торчит редкая седая щетина.

— Позвольте вам, Наина Киевна, представить...— начинает Эдик, но старуха тут же прерывает его.

— А не надо представлять,— басит она, пристально разглядывая Сашу.— Сама вижу. Привалов Александр Иванович, одна тысяча девятьсот сорок шестой, мужской, русский, член ВЛКСМ, нет, нет, не участвовал, не был, не имеет, а будет тебе, алмазный, дальняя дорога и интерес в казенном доме, а бояться тебе, брильянтовый, надо человека рыжего, недоброго, а позолоти ручку, яхонтовый...

— Гм! — смущенно произносит Эдик, и бабка сразу замолкает.

Воцаряется неловкое молчание, и вдруг кто-то негромко, но явственно хихикает. Саша оглядывается. Кот по-прежнему восседает на срубе и равнодушно смотрит в сторону.

— Можно звать просто Сашей,— выдавливает из себя новый программист.

— И где же я его положу? — осведомляется старуха.

— В запаснике, конечно,— говорит Эдик.— Пойдемте, Саша...

Они идут по дорожке к дому, старуха семенит рядом.

— А отвечать кто будет, ежели что? — вопрошает она.

— Ну ведь обо всем же договорились,— нетерпеливо поясняет Эдик.— Вам же звонили. Вам директор звонил?

— Звонить-то звонил,— бубнит бабка.— А ежели он что-нибудь стибрит?

— Наина Киевна! — с раскатами провинциального трагика восклицает Эдик и поспешно подталкивает Сашу на крыльцо.— Вы проходите, Саша, проходите, устраивайтесь...

Саша машинально вступает в прихожую. Света здесь мало, виден только белый телефон на стене и какая-то дверь. Саша толкает эту дверь, видит ручку на цепочке и отшатывается, машинально сказавши: «Виноват». За спиной у него Эдик напряженным шепотом втолковывает старухе:

— Это наш новый заведующий вычислительным центром! Ученый!

— Ученый...— брюзжит бабка.— Я тоже ученая! Всяких ученых видала...

— Наина Киевна!.. Саша, не туда, сюда, пожалуйста, направо...

Они входят в запасник. Это большая комната с одним окном, завешенным ситцевой занавесочкой. У окна — массивный стол и две дубовых скамьи, на бревенчатой стене — вешалка с какой-то рухлядью, ватники, облезшие шубы, драные кепки и ушанки; в углу большое мутное зеркало в облезлой раме, а у стены справа — очень современный низкий диван, совершенно новенький.

— О, смотрите-ка! — восклицает Эдик.— Диван поставили! Это хорошо...

Он с размаху садится на диван, несколько раз подпрыгивает, и вдруг выражение удовольствия на его лице сменяется удивлением, а удивление — тревогой.

— Как это так? — бормочет он.— Позвольте...

Он ощупывает ладонями обивку, вскакивает, став на колено, запускает руку под диван и что-то там с натугой поворачивает. Раздается странный звук, словно затормозили пленку в магнитофоне. Эдик неторопливо поднимается, отряхивая руки. На лице у него озабоченность. И тут в комнату вваливается старуха со стопкой постельного белья.

— А ежели он тут у меня, скажем, молиться начнет? — воинственно вопрошает она прямо с порога.

— Да нет, не начнет,— рассеянно говорит Эдик.— Он же неверующий. Слушайте, Наина Киевна, откуда здесь это? — Он показывает на диван.— Давно привезли?

— Опять же вот диван! — сейчас же подхватывает старуха.— Как завалится он на этот диван...

— Это не диван,— говорит Эдик.— Между прочим, Саша, вы действительно воздержитесь от этого дивана... Позвольте,— говорит он, озираясь.— Здесь же была раскладушка...

Ночь. В окно сквозь ветви дуба глядит огромная сплюснутая луна. Вдали лают собаки, из-за стены доносится молодецкий храп. Затем где-то в доме бьют часы — полночь.

Саша, укрывшись простыней, лежит на раскладушке, листает толстую книгу, зеваает. На полу — раскрытый чемодан, в нем вперемешку с носками и галстуками книги. Когда часы начинают бить, Саша поднимает голову и считает удары, потом сует книгу под раскладушку, приподнимается и тянет руку к выключателю. Раскладушка угро-

жающе трещит. Саша гасит свет, энергично поворачивается на другой бок, и в то же мгновение раскладушка с лязгом разваливается.

Тишина. Потом храп за стеной возобновляется, Саша, чертыхаясь вполголоса, выбирается из простыни и пытается поднять раскладушку. В руках у него разрозненные детали. И снова, как давеча, слышится явственное хихиканье. Саша резко оборачивается и успевает заметить на фоне окна огромную кошачью голову — наставленные уши, торчащие усы и блеснувшие глаза. И снова в окне только луна да ветви дуба.

— Тьфу-тьфу-тьфу,— произносит Саша через левое плечо.

Он подбирает с пола тощий матрас, подушку, простыни и в нерешительности оглядывает комнату.

Диван.

Несколько секунд Саша еще медлит, а затем твердыми шагами направляется к дивану. Расстилает постель, несколько раз с силой нажимает на диван, словно пробуя его на прочность, и укладывается. Глаза его закрываются, на физиономии появляется блаженная улыбка. И в то же мгновение вновь возникает звук заторможенной магнитофонной пленки, переходящий в обстоятельное откашливание.

— Ну-с, так...— произносит хорошо поставленный мужской голос.— В некотором было царстве, в некотором государстве был-жил по имени... мнэ-э-э... Ну, в конце концов неважно. Скажем, мнэ-э-э... Полуэкт...

Саша некоторое время слушает с открытыми глазами, потом осторожно встает, пригнувшись, подкрадывается к окну и выглядывает. Спиной к дубу, ярко освещенный луной, стоит на задних лапах кот Василий. В зубах у него зажат цветок кувшинки.

— Мнэ-э-э...— тянет он, задумчиво подняв глаза к небу.— У него было три сына-царевича. Первый... мнэ... Третий был дурак, а вот первый? — Кот трясет головой, потом закладывает передние лапы за спину и, слегка сутулясь, плавным шагом направляется прочь от дуба.

— Хорошо,— цедит он сквозь зубы.— Бывали-живали царь да царица. У царя, у царицы был один сын... Мнэ-э... Дурак, естественно...

Кот с досадой выплевывает цветок и, топорща усы, потирает лоб когтистой лапой.

— Пр-роклѣтый склероз,— говорит он.— Но ведь кое-что помню! «Ха-ха-ха! Будет чем полакомиться: конь — на

обед, молодец — на ужин...» А дальше? — Кот делает фехтовальные движения. — Три головы долой, Иван вынимает три сердца и... и... — Плечи его поникают. Он глубоко вздыхает и поворачивает обратно к дубу. В лапах у него вдруг оказываются массивные гусли.

— Кря-кря, мои деточки, — поет он, пощипывая струны. — Кря-кря, голубяточки! Я... мнэ-э-э... Я слезой вас отпаивала... Вернее, выпаивала... — Некоторое время он марширует молча, стуча по струнам, потом немusыкально кричит: — Сладок кус недоедала! — Прислоняет гусли к дубу и чешет задней лапой за ухом. — Труд, труд и труд! — провозглашает он. — Только труд! — Он снова закладывает лапы за спину и идет в сторону от дуба, бормоча: — Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной по имени... — Тут он встает на четвереньки, выгибает спину и злобно шипит, стуча себя лапой по лбу. — Вот с этими именами у меня особенно отвратительно! Абу... Али... Н-ну, хорошо, скажем, Полуэкт...

Голос его прерывается протяжным пронзительным скрипом и отдаленным рокошущим «ко-о, ко-о, ко-о...». Изба вдруг начинает раскачиваться, как лодка на волнах, двор за окном сдвигается в сторону, а из-под окна вылезает и вонзается когтями в землю исполинская куриная нога — проводит в траве глубокие борозды и снова скрывается. «Ко-о, ко-о, ко-о» переходит в звук тормозящей магнитофонной пленки и затем в пронзительный телефонный звонок.

Саша сидит на полу рядом с диваном, запутавшись в простыне, и очумело вертит головой. Телефон в прихожей звенит беспрерывно.

Саша наконец вскакивает, выбегает в прихожую и хватается трубку.

— Алло! — хриплым со сна голосом говорит он.

— Такси вызывали? — гнусаво осведомляется трубка.

— Какое такси?

— Это два-семнадцать-шестнадцать?

— Н-не знаю...

— Такси вызывали?

— Не... Не знаю... Откуда мне знать?

В телефоне гудки отбоя. Саша вешает трубку, некоторое время с сомнением смотрит на телефон, потом возвращается в комнату и... столбенеет на пороге.

Диван исчез.

На полу, там, где стоял диван, валяется постель. И больше ничего.

Саша оторопело смотрит, потом осторожно подходит, нагибается и ощупывает, похлопывая ладонью, то место, где стоял диван.

— По-моему, я на нем спал,— говорит он вслух.— Даже приснилось что-то...

Он подходит к окну, раздвигает занавески и выглядывает. Двор залит лунным светом и пуст. Тишина, храп за стеной, в отдалении лают собаки. Саша стоит у окна, растерянно теребя бороду.

Резкий стук в наружную дверь заставляет его обернуться. Он снова выходит в прихожую, осторожно отодвигает засов.

На крыльце перед ним стоит невысокий изящный человек в светлом коротком плаще и в огромном черном берете. Узкое длинное лицо, усы стрелками, выпуклые пристальные глаза.

— Прошу прощения, Александр Иванович,— с достоинством произносит он, коснувшись берета двумя пальцами.— Я отниму у вас не больше двух минут.

— Да-да... прошу...— растерянно говорит Саша, пропуская незнакомца в прихожую.

Незнакомец делает движение пройти в комнату, но Саша поспешно заступает ему дорогу.

— Извините,— лепечет он.— Может быть, здесь... А то у меня там, знаете, беспорядок... даже сесть толком негде...

— Как — негде? — Незнакомец резко поднимает брови.— А диван?

Некоторое время они молча смотрят друг другу в глаза.

— М-м-м... Что — диван? — шепотом спрашивает Саша.

Незнакомец все смотрит на него, то высоко задирая, то низко опуская брови.

— Ах вот как...— медленно произносит он наконец.— Понимаю. Жаль. Что ж, еще раз прошу прощения.

Он снова прикладывает два пальца к берету и решительно направляется прямо к дверям уборной.

— Ну куда же вы? — бормочет Саша.— Вам не туда... Вам...

— Ах, это безразлично,— говорит незнакомец, не оборачиваясь, и скрывается за дверью.

Саша машинально зажигает ему свет. Стоит несколько секунд с обалделым видом, потом резко распахивает дверь.

В уборной никого нет. Мерно покачивается фаянсовая ручка.

Саша, пятясь задом, возвращается в свою комнату.

— Стаканá нет? — раздается за его спиной хриплый голос.

Саша оборачивается.

Верхом на скамье под зеркалом сидит какой-то тип в кепке, сдвинутой на правый глаз. Щетина. К нижней губе прилип окурок.

— Стаканá, говорю, нет? — повторяет тип.

Саша молча трясет головой.

— Значит, с горлá будем,— оживляется тип.— Ну, давай.

Саша подходит к нему и останавливается, выпятив челюсть.

— А собственно, кто вы такой? — спрашивает он.— Что вам здесь надо?

Тип обращает взор на то место, где раньше стоял диван.

— Чего мне здесь надо, того уже здесь нету,— произносит он с сожалением.— Опоздал, понял? Надо понимать, Витек перехватил. Так шефу и доложим.— Он снова обращает глаза на Сашу.— Этого, значит, не держишь,— говорит он, щелкая себя по шее.— И красного тоже нет? Жаль. Обидел ты меня, друг.— Он глубоко запускает руку в зеркало и, оживившись, извлекает оттуда водочную бутылку. Встряхивает ее, смотрит на свет. Бутылка пуста.— А кто это там приходил? — спрашивает он, ставя бутылку на стол.

— Не знаю,— отвечает Саша, следя за его действиями, как зачарованный.— В берете какой-то...

Тип понимающе кивает.

— Крестобаль Хозевич, значит.— Он снова запускает руку в зеркало.— Тоже, значит, опоздал. Во Витек дает...— Он сосредоточенно шарит в «зазеркалье» и бормочет: — Всех сделал. Шефа моего сделал, Крестобалья Хозевича — и того сделал...— Лицо его вновь озаряется, и на свет появляется еще одна бутылка, опять пустая. Тип ставит ее рядом с первой и несколько секунд любуется ими.— Это же надо — сколько старуха пьет! Как ни придешь, меньше чем две пустышки не бывает... А одеколону у тебя тоже нет? — спрашивает он без всякой надежды, вытягивая из кармана авоську.

— Нет,— говорит Саша, наблюдая, как тип деловито укладывает бутылки в авоську.— А что здесь вообще про-

исходит? Где диван? Куда это я вообще попал? На чем я теперь спать буду, черт подери?

Тип вдруг вскакивает, сдергивает с головы кепочку и прячет руку с авоськой за спину. Лицо его принимает испуганно-почтительное выражение.

Саша оглядывается. У дверей, куда смотрит тип, никого нет.

— Пардон,— повторяет тип, пятясь.— Айн минут, мерси, гуд бай.

Спина его упирается в зеркало, но он продолжает пятиться и вдруг проваливается в «зазеркалье», мелькнув в воздухе стоптанными сандалиями.

Саша медленно подходит к зеркалу, осторожно заглядывает в него. Отшатывается: своего отражения он в зеркале не видит. Видит стол, дверь, постель на полу — все, что угодно, кроме себя. Он осторожно тянет руку к тусклой поверхности, упирается в твердое, и отражение сейчас же возникает. Мотнув головой, Саша изнеможенно опускается на скамью и сейчас же с криком вскакивает, держась рукой за трусы.

На скамье лежит, покачиваясь, блестящий цилиндрик величиной с указательный палец.

Саша берет его и принимается оглядывать со всех сторон. Цилиндрик тихо потрескивает. Саша стучит по нему ногтем, и из цилиндрика вылетает сноп искр, комната наполняется невнятным шумом, слышны какие-то разговоры, музыка, смех, кашель, шарканье ног, смутная тень на мгновение заслоняет свет лампочки, громко скрипят половицы, а по столу пробегает огромная белая крыса. И все снова стихает.

Саша, закусив губы, осторожно поворачивает цилиндрик, чтобы посмотреть на него с торца, и в то же мгновение комната перед его глазами стремительно поворачивается, тьма, грохот, летят искры, и Саша вдруг оказывается сидящим в очень неудобной позе в противоположном углу комнаты под вешалкой. Вешалка, секунду помедлив, с шумом обрушивается на него.

Раскачивается лампочка на длинном шнуре, на потолке явственно темнеют следы босых ног. Саша, заваленный тряпьем, смотрит сначала на эти следы, потом на свои голые пятки. Пятки вымазаны мелом. Саша рассеянно отряхивает их, глядя на цилиндрик. Цилиндрик стоит посреди комнаты, касаясь пола краем торца, в положении, исключающем всякую возможность равновесия. Он раскачивается и тихо потрескивает.

Тогда Саша выбирается из-под тряпья, выбирает наугад какую-то ушанку и осторожно накрывает ею цилиндр. Руки у него трясутся.

— В-вот это в-вы н-напрасно,— раздается голос.

— Что — напрасно? — раздраженно спрашивает Саша, не оборачиваясь.

— Я г-говорю про умклайдет. Вы н-напрасно накрыли его шапкой.

— А что мне еще с ним делать? — спрашивает Саша и наконец оборачивается. В комнате никого нет.

— Это ведь, к-как говорится, в-волшебная палочка,— поясняет голос.— Она т-требует чрезвычайно осторожного об-обращения.

— Поэтому я и накрыл,— говорит Саша.— Да вы заходите, товарищ, а то так очень неудобно разговаривать.

— Б-благодарю вас.

Около дверей, как раз там, куда глядел тип в кепочке, неторопливо конденсируется из воздуха величественный человек преклонных лет в роскошном бухарском халате и комнатных туфлях. Он огромного роста, благородное чрево распирает шнур с кистями, великолепные седины, саваофова борода волной, огромные ладони привычно засунуты за шнур. Голос у него рокочущий, глубокий, он заметно заикается. Светлые глаза смотрят приветливо и благожелательно.

— Вы знаете, дружок, я, наверное, должен извиниться,— говорит он.— Я тут у вас уже полчаса торчу, надеялся — обойдется как-нибудь... Этот диван, черт его подери, так я и знал, что вокруг него начнется скандал. Халат накинул — и сюда...

— Насчет дивана вы опоздали,— с раздражением говорит Саша.— Украли его уже.

Человек в халате величественно отмахивается.

— Да он мне и ни к чему. Я, знаете ли, опасался, что они здесь все передерутся и в суматохе вас, так сказать, затопчут... Уж очень, знаете ли, страсти накалились. Вот видите, Корнеев умклайдет здесь потерял... волшебную свою палочку... а это, дружок, не шутка...

Оба одновременно поднимают глаза и смотрят на отпечатки на потолке.

— Курс управления умклайдетом занимает, знаете ли, восемь семестров,— продолжает гость,— и требует основательного знания квантовой алхимии. Вот вы, дружок, программист, умклайдет электронного уровня вы бы

освоили без особого труда, но квантовый умклайдет... гиперполя... трансгрессивные воплощения... обобщенный закон Ломоносова — Лавуазье... — Он сочувственно разводит руки.

— Да о чем речь! — восклицает Саша. — Я и не претендую! — Он спохватывается. — Может, вы присядете?

— Благодарю вас, мне так удобнее... Но вся эта премудрость в ваших руках. Поработаете у нас год-другой... — Он прерывает самого себя. — Вы знаете, Александр Иванович, я бы все-таки просил вашего разрешения убрать эту шапку. мех, знаете ли, практически непрозрачен для гиперполя...

Саша поднимает руку.

— Ради бога! Все, что вам угодно. Убирайте шапку, убирайте даже этот самый... кум... ум... эту самую волшебную палочку! — Он останавливается.

Шапки нет. Цилиндрик стоит в луже жидкости, похожей на ртуть. Жидкость быстро испаряется.

— Так будет лучше, уверяю вас, — объявляет незнакомец в халате. — А то, знаете ли, могло так бабахнуть... А вот забрать умклайдет я не могу. Не мой. Условности, черт бы их подрал. И вы его лучше больше не трогайте. Бог с ним, пусть так стоит.

Саша в полной готовности отчаянно машет руками.

— Да, я ведь еще не представился, — продолжает незнакомец. — Киврин Федор Симеонович. Заведую у нас отделом линейного счастья.

Саша застывает в почтительном изумлении.

— Федор Симеонович? — бормочет он в восхищении и растерянности. — Ну, еще бы!.. Я вот только позавчера вашу статью... В «Успехах физических наук»... Ну, знаете, эту... о квантовых основах психологии...

— Знаю, знаю, — благодушно говорит Федор Симеонович. — И как вам эта статейка?

Саша не в силах говорить и всем своим видом демонстрирует крайнюю степень почтительного восторга.

— Да... гм... Пожалуй, — басит Федор Симеонович без некоторого самодовольства. — Недурственная получилась работка. У нас, знаете ли, в институте, Александр Иванович, очень неплохо можно работать. Отличный коллектив подобрался, должен вам сказать. За немногими исключениями. Вот, скажем, даже Хома Брут... вот этот, в кепочке, с бутылками... Ведь на самом деле механик, золотые руки, потомственный добрый колдун... Правда, отвержен... — Федор Симеонович щелкает себя по бороде. —

Дурное влияние, черт бы его подрал... Ну, это вы все узнаете. Мы вас тут с распростертыми объятьями... А то ведь чепуха получается. Машину поставили наисовременнейшую, «Алдан-12», а наладить никак не можем, кадров нет. В институте у нас в основном уклон, знаете ли, гуманитарно-физический. Чародейство и волшебство главным образом, а новые методы требуют математики! Я вот все линейным счастьем занимаюсь, а с вашей машиной, глядишь, и за нелинейное возьмемся...

Саша чешет затылок.

— Я, знаете, насчет чародейства и волшебства не очень... Был у нас спецкурс, но я тогда болел, что ли... Вообще я это как-то в переносном смысле понимал... как иносказание...

Федор Симеонович добродушно хохочет.

— Ничего, разберетесь, разберетесь. Любой ученый, знаете ли, в известном смысле маг и волшебник, так что у нас и в переносном смысле бывает, и в прямом. Вы — молодец, что приехали. Вам у нас понравится. Вы, я вижу, человек деловой, энергичный, работать любите...

Саша стесняется.

— Да, конечно...— говорит он.— Но сейчас что об этом? Там видно будет...— Он озирается, ища, как бы переменить тему разговора.— Вот диван пропал,— говорит он.— Вы мне не скажете, Федор Симеонович, что все это означает? Диван... суета какая-то...

— Ну, видите ли, это не совсем диван,— говорит Федор Симеонович.— Я бы сказал, что совсем не диван... Однако ведь спать пора, Александр Иванович. Заговорил я здесь вас, а ведь вам спать хочется...

— Ну что вы! — восклицает Саша.— Наоборот! У меня к вам еще тысяча вопросов!

— Нет, нет, дружок. Вы же устали, утомлены с дороги...

— Нисколько!

— Александр Иванович! — внушительно произносит Киврин.— Но ведь вы действительно утомлены! И вы действительно хотите отдохнуть.

И тут глаза у Саши начинают слипаться. Он согласно кивает головой, вяло бормочет: «Да, действительно, вы уж меня простите, Федор Симеонович...», кое-как добирается до неведомо откуда появившейся застеленной раскладушки, ложится, подкладывает ладонь под щеку и, блаженно улыбаясь, засыпает.

Федор Симеонович, оглаживая бороду, некоторое время ласково смотрит на него, потом достает из воздуха большое яблоко, кладет рядом с Сашей и исчезает.

Становится темно и тихо.

Сильный грохот. Саша открывает глаза и поднимает голову.

Комната полна утренним солнцем.

Дивана по-прежнему нет, а посередине комнаты сидит на корточках здоровенный детина лет двадцати пяти, в тренировочных брюках и пестрой гавайке навывпуск. Он сидит над волшебной палочкой, плавно помахивая над нею огромными костистыми лапами.

— В чем дело? — спрашивает Саша хриплым со сна голосом.

Детина мельком взглядывает на него и снова отворачивается. У него широкое курносое лицо, могучая челюсть, низкий лоб под волосами ежиком.

— Не слышу ответа! — зло говорит Саша, приподнимаясь.

— Тихо, ты, смертный, — откликается детина.

Он прекращает свои пассы, берет умклайдет и выпрямляется во весь рост. Рост у него — под лампочку. И весь он кражистый, широкий, узловатый.

— Эй, друг! — говорит Саша. — А ну-ка, положи эту штуку на место и очисти помещение!

Детина молча смотрит на него, выпячивая челюсть. Тогда Саша откидывает простыни и делает движение, чтобы вскочить. Раскладушка от толчка разваливается, и Саша опять оказывается на полу.

Детина гогочет.

— А ну, положи умклайдет! — рывкает Саша, поднимаясь.

— Чего ты орешь, как больной слон? — осведомляется детина. — Твой он, что ли?

— А может, твой?

— Ну мой!

Сашу осеняет.

— Ах ты, скотина! — говорит он. — Так это ты диван спер?

— Не суйся, братец, не в свои дела, — предлагает детина, запихивая умклайдет в задний карман брюк. — Целее будешь.

— А ну, верни диван! Мне отвечать за него, понял?

— А пошел ты к черту, — говорит детина, озираясь.

Саша, подскочив, хватается детину за гавайку. Детина сейчас же хватается Сашу за майку на груди. Видно, что оба не дураки подрались.

Но тут дверь распахивается, и на пороге появляется грузный рослый мужчина в лоснящемся костюме. Лицо у него надутое, бульдожье, движения властные, хозяйские, уверенные, под мышкой — папка на молнии.

— Корнеев! — говорит он прямо с порога. — Где диван?

Детина и Саша сразу отпускают друг друга.

— Какой еще диван? — вызывающе осведомляется детина.

— Вы мне это прекратите, Корнеев! — объявляет мужчина с папкой. — Сами знаете, какой диван.

Он проходит в комнату, а за ним входят: Эдик Почкин, очень серьезный и сосредоточенный; плешивый, странного вида человек в золотом пенсне и смазных сапогах; Хома Брут в своей кепочке, сдвинутой на правый глаз. Саша кидается одеваться. Пока он одевается, в комнате развивается скандалчик.

— Не знаю я никакого дивана, — заявляет Корнеев.

— Я вам объяснял, Модест Матвеевич, — говорит Эдик человеку с папкой. — Это не есть диван. Это есть прибор...

— Для меня это диван, — прерывает его Модест Матвеевич, достает записную книжку и заглядывает в нее. — Диван мягкий полуторный, инвентарный номер одиннадцать — двадцать три. Диван должен стоять. Если его будут все время таскать, то считайте: обшивка порвана, пружины поломаны.

— Там нет никаких пружин, — терпеливо объясняет Эдик. — Это прибор. С ним работают.

— Этого я не знаю, — заявляет Модест Матвеевич, пряча папку. — Я не знаю, что это у вас за работа с диваном. У меня вот дома тоже есть диван, и я знаю, как на нем работают.

— Мы это тоже знаем, как вы работаете, — угрюмо говорит Корнеев.

— Вы это прекратите, — немедленно требует Модест Матвеевич, поворачиваясь к нему. — Вы здесь не в пивной, вы здесь в учреждении.

— Терминологические споры, товарищи, — восклицает вдруг высоким голосом плешивый, — могут завести нас только в метафизический тупик! Терминологические споры мы должны, товарищи, решительно отменить, как несоответствующие и уводящие. А нам, товарищи, требуются какие споры? Нам, товарищи, требуются споры, с одной

стороны, соответствующие, а с другой — наводящие. Нам требуются принципиальные споры, товарищи!

— Вы мне это прекратите, товарищ профессор Выбегалло! — решительно прерывает его Модест Матвеевич. — Нам тут не требуется никаких споров. Нам тут требуется диван, и немедленно.

— Правильно! — подхватывает профессор Выбегалло. — Мы решительно отмечаем все и всяческие споры, и мы требуем, общественность требует, наука требует, товарищ Корнеев, чтобы диван был немедленно ей возвращен. В распоряжение моего отдела.

Все четверо начинают говорить разом.

Э д и к. Модест Матвеевич, это не диван! Это транслятор универсальных превращений! Ему не в музее место, его здесь вы по ошибке поместили, мы на него заявку еще два года назад написали!..

К о р н е е в (*Выбегалле*). Ну да, конечно, в ваш отдел! Чтоб вы на нем спали после обеда и кроссворды решали! Вы ж с ним обращаться не умеете, опять все на Брута свалите вашего, а он его пропьет по частям!..

М о д е с т М а т в е е в и ч. Вы мне это прекратите, товарищи! Диван есть диван, и кто на нем будет спать, или там работать, это решает администрация! Я лишнюю графу в отчетности из-за ваших капризов вводить не намерен! Мы еще назначим комиссию и посмотрим, может быть, вы его повредили, пока таскали, товарищ Корнеев!..

В ы б е г а л л о. Я ваши происки, товарищ Корнеев, отмечаю решительно, раскаленной метлой! Я такую форму научной дискуссии не приемлю! Принципиальности у вас не хватает, товарищ Корнеев! Чувства ответственности! Нет у вас гордости за свой институт, за нашу науку!..

Пока продолжается этот гомон, Саша оделся и, широко раскрыв глаза и приоткрыв рот, слушает, застегивая верхнюю пуговицу на рубашке.

Хома Брут тоже не вмешивается. Он прислонился к притолоке, достал из-за уха сигарету, раскурил ее от указательного пальца и через дымок подмигивает Саше, ухмыляется и кивает в сторону спорящих, как бы говоря: «Во дают!»

Тут Модест Матвеевич замечает развалившуюся раскладушку. Все замолкают. В наступившей тишине Модест Матвеевич озирает по очереди всех присутствующих. Взгляд его останавливается на Саше. Саша, не дожидаясь вопросов, виновато произносит:

— Она сама развалилась... Я встал, а она — раз!..

— Почему вы здесь спите? — грозно осведомляется Модест Матвеевич.

— Это наш новый заведующий вычислительным центром, — вступается Эдик. — Привалов Александр Иванович.

— Почему вы здесь спите, Привалов? — вопрошает Модест Матвеевич. — Почему не в общежитии?

— Ему комнату не успели отремонтировать, — поспешно говорит Эдик.

— Неубедительно.

— Что же ему — на улице спать? — злобно спрашивает Корнеев.

— Вы это прекратите! — говорит Модест Матвеевич. — Есть общежитие, есть гостиница, а здесь музей. Госучреждение. Если все будут спать в музеях... Вы откуда, Привалов?

— Из Ленинграда, — мрачно отвечает Саша.

— Вот если я приеду к вам в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж?

Саша пожимает плечами:

— Пожалуйста!

Эдик обнимает Сашу за талию.

— Модест Матвеевич, это не повторится. Сегодня он будет спать в общежитии. А что касается раскладушки... — Он щелкает пальцами. Раскладушка тут же самовосстанавливается.

— Вот это другое дело, — великодушно говорит Модест Матвеевич. — Вот всегда бы так и действовали, Почкин. Ограду бы починили... Лифт у нас не кондиционный...

Корнеев берет руками за голову и стонет сквозь стиснутые зубы.

— По-моему, эти стоны со стороны товарища Корнеева являются выпадом, — визгливо и мстительно вмешивается Выбегалло.

Модест Матвеевич поворачивается к Корнееву.

— Я еще раз повторяю, Корнеев, — строго говорит он. — Немедленно верните диван.

Корнеев приходит в неопишемую ярость. Лицо его темнеет, и сейчас же заметно темнеет в комнате. Огромная туча наползает на солнце. Свирепый порыв ветра сотрясает дуб. Где-то звенят вылетевшие стекла. У стола подгибаются ножки, проседает только что восстановленная раскладушка. В тусклом зеркале вспыхивают и гаснут зловещие огни.

Выбегалло отшатывается, испуганно заслоняясь от Корнеева ладонью. Хома Брут стремительно уменьшается до размеров таракана и прячется в щель. Эдик встревоженно и предостерегающе протягивает к Корнееву руку, шепча одними губами: «Витя, Витя, успокойся...»

И только Модест Матвеевич остается неколебим. Он с достоинством перекладывает папку под другую мышку и веско произносит:

— Неубедительно, Корнеев. Вы это прекратите.

И все прекращается. Корнеев в полном отчаянии машет рукой, в воздухе конденсируется диван и плавно опускается на свое прежнее место.

Модест Матвеевич неторопливо подходит к нему, ощущает, заглядывает в книжку и проверяет инвентарный номер. Затем объявляет:

— Товарищ Горыныч!

— Иду, батюшка, иду! — доносится из прихожей испуганный голос.

Модест Матвеевич удаляется в прихожую, и тут Выбегалло приходит в себя и устремляется за ним с криком:

— Модест Матвеевич! Вы забываете, что у меня эксперимент международного звучания! Я без этого дивана как без рук! Модель идеального человека тоже без этого дивана как без рук!..

Дверь за ним захлопывается. Из щели выползает Хома Брут и снова начинает увеличиваться в размерах. Еще не достигнув нормального роста, он осведомляется:

— Политурки, значит, тоже нет? Или хотя бы антифриза...

— Бр-р-рысь, пр-р-ропойца! — рычит Корнеев, и объятый ужасом Хома Брут, снова уменьшившись, ныряет в щель под дверь.

Корнеев садится на диван и, наклонив голову, вцепляется себе в волосы когтистыми пальцами.

— Дубы! — говорит он с отчаянием. — Пни стоеросовые! К черту их всех! Сегодня же ночью опять уволочу!

— Ну, Витя, — укоризненно говорит Эдик. — Ну что ты, право... Будет ученый совет, выступит Федор Симеонович, выступит Хунта...

— Хунте самому диван нужен, — глухо возражает Корнеев, терзая себя за волосы.

— Ну, знаешь! С Крестобалем Хозевичем всегда можно договориться. Это тебе не Выбегалло...

При последних словах Корнеев вдруг вскакивает, щелкает пальцами, и перед ним возникает из ничего плешивый

профессор Выбегалло, вернее, фигура, чрезвычайно на Выбегаллу похожая, но с большими белыми буквами поперек груди: «Выбегалло 92/К». Корнеев со сдавленным рычанием хватает фигуру за бороденку и яростно трясет в разные стороны. Фигура тупо ухмыляется.

— Витя, опомнись! — укоризненно говорит Эдик.

Корнеев с размаху бьет фигуру кулаком под ребра, отшибает кулак и, размахивая ушибленной рукой, принимается скакать по комнате.

— Тьфу на тебя! — орет он фигуре.

Фигура послушно исчезает, а Корнеев, дую на кулак, отходит к окну и скорбно прислоняется к оконнице.

Эдик, глядя ему в спину, качает головой.

— Слушайте, Эдик, — тихонько говорит Саша. — В чем все-таки дело? Почему из-за паршивого дивана такой шум? Он же жесткий...

— Это не диван, — отвечает Эдик. — Это такой преобразователь. Он, например, может превращать реальные вещи в сказочные. Вот, например... Ну, что бы... — Эдик озирается, берет с вешалки драный треух, бросает его на диван, а сам запускает руку в спинку и что-то там проворачивает со звуком заторможенной магнитофонной пленки. — Вот видите, была обыкновенная шапка. А теперь смотрите...

Он берет шапку и нахлобучивает себе на голову.

И сейчас же исчезает.

— Шапка-невидимка, понимаете? — раздается его голос.

Он снова появляется и вешает шапку на место.

— А ты на нем, балда, спать расположился, — подает от окна голос Корнеев. — Скажи еще спасибо, что я его изпод тебя уволок, а то проснулся бы ты, сердяга, каким-нибудь мальчиком с пальчик в сапогах... Возись потом с тобой.

— Да, это моя вина, — сказал Эдик. — Надо мне было вам все это растолковать как следует...

Корнеев, словно что-то вспомнив, вдруг возвращается к ним.

— Так ты, значит, у нас заведующим вычислительным центром будешь? — говорит он, оглядывая оценивающе Сашу с головы до ног.

— Да, — отвечает Саша небрежно. — Попытаюсь.

— Ты машину-то знаешь нашу? «Алдан-12»...

— Приходилось, — говорит Саша.

— Так какого же дьявола она у тебя не работает? — произносит Корнеев, агрессивно глядя на Сашу. — Что ты тут тары-бары растабарываешь, когда мне машина вот так нужна? Если они мне, зануды, диван не дают, так я, может, хоть модель математическую рассчитаю, и тогда плевал я на этот диван... Ну, что ты стоишь? Что ты здесь стоишь?

— Подожди, — говорит Саша, несколько ошеломленный. — А чего тебе надо, какая модель?

Корнеев делает движение, как будто собирается бежать за чем-то, затем передумывает, выхватывает из воздуха стопку бумаги, авторучку, бросает все на стол и с ходу принимается писать, приговаривая:

— Смотри сюда. Линейное уравнение Киврина, понял? Граничные условия такие... Нет, здесь в квадрате, так?

Саша тоже сгибается над столом. Эдик глядит Корнееву через плечо.

— Оператор Гамильтона... — продолжает Корнеев. — Теперь все это трансgressируем по произвольному объему. По произвольному, понял? Здесь тогда получается ноль, а здесь произвольная функция. Теперь берем тензор воспитания... Ну, чего ты смотришь, как баран? Не понимаешь? Ну, как он у вас называется?..

Голос его заглушает конкретная музыка, а над столом взлетают фонтаны цифр и математических символов. Саша тоже приходит в азарт, стучит пальцем по написанному, выхватывает у Корнеева ручку и пишет сам.

Появляется кот Василий, обходит вокруг стола, заложив лапы за спину, пожимает плечами и скрывается.

Эдик некоторое время слушает, потом достает из нагрудного кармана умклайдет, поднимает его над головой и резко взмахивает им, словно встряхивает термометр.

Вспышка, тьма, и все трое уже стоят перед трехэтажным, современного вида зданием из стекла и бетона, но без дверей. Есть бетонный козырек над подъездом, есть несколько широких ступенек, но ступени эти ведут в глухой простенок между гигантскими черными окнами. Возле правого окна над громадной плевательницей в виде жабы с отверстой пастью висит строгая вывеска: «Научно-Исследовательский Институт ЧАродейства и ВОлшебства».

Корнеев и Саша все продолжают спорить, Саша только на мгновение замолкает, озабоченно оглядываясь по сторонам, и тотчас рядом с ними возникают его чемоданы. Он снова бросается в спор.

Эдик берет чемоданы, поднимается по ступенькам и пихает в простенок ногой. Появляется стеклянная дверь. Смутно видимый сквозь стекло устрашающего вида вахтер-ифрит, в огромном тюрбане и с кривым мечом на плече, распахивает перед ними двери.

И полетели дни и ночи, заполненные работой.

Саша за пультом «Алдана-12» сосредоточенно следит за вспыхивающими и гаснущими рядами цифр на контрольном табло, нажимает кнопки; бешено мотается за стеклом магнитная лента, стрекочет печатающее устройство. Саша рассматривает табулограмму, отрывает кусок рулона, проглядывает ряд цифр, с досадой мнет бумагу, отшвыривает ее в сторону и снова возвращается к пульту. Над пультом возникает полупрозрачное лицо Федора Симеоновича. Великий маг сочувственно наблюдает за Сашей, затем кладет тихонько ему под руку банан и исчезает. Саша, не прекращая работы, рассеянно берет банан и ест.

Комната в общежитии. За окном дождь, мечутся тени голых ветвей. Саша, обхватив голову руками, читает толстенный том, потом берет его двумя руками, ставит на стол ребром и опирается на него подбородком. Глаза у него пустые и обращенные внутрь. Название книги: «Уравнения математической магии».

Лаборатория Корнеева. Саша и Виктор сидят за столом, уставленным разнообразной электроникой. Перед ними беспорядочные груды исчерченной и исписанной бумаги, и весь пол вокруг стола усыпан ею. Ребята продолжают чертить и писать и исписанные листки бросают на пол. Входит фигура, как две капли воды похожая на Корнеева, с тупым выражением на физиономии и с белыми буквами на груди: «Корнеев 186/К». Фигура ставит на стол две бутылки кефира и исчезает. Корнеев пытается что-то втолковать Саше, показывает пальцами, но Саша не понимает. Тогда Корнеев хватает бутылку, подбрасывает ее в воздух, она повисает над столом, а он снова принимается показывать руками, и, следуя его движениям, бутылка начинает изгибаться, пересекая самое себя, расплющивается, и в разных точках образовавшейся абстрактной модели вспыхивают латинские буквы А, В, С и т. д. Саша радостно тычет пальцем в одну из точек, хлопает себя по лбу и снова принимается писать.

...Снова перед пультом машины. Крестобаль Хозевич Хунта напяливает на голову никелированный колпак, из которого выходит пучок проводов, соединенных с печатающим устройством. Саша смотрит на этот колпак с сомнением, качает головой и принимается нажимать кнопки и клавиши. На табло вспыхивают и гаснут цифры, из печатающего устройства ползет лента. На ленте текст: «ПЕРВЫЙ ОТВЕТ: ДА, ВОЗМОЖНО. ВТОРОЙ ОТВЕТ: НЕТ. ТРЕТИЙ ОТВЕТ: НЕ ЗАСОРЯЙТЕ МНЕ ПАМЯТЬ. ЧЕТВЕРТЫЙ ОТВЕТ: ПРИ УСЛОВИИ, ЕСЛИ ХР ХР ХР ХР...» Саша поспешно нажимает кнопку, лента останавливается. Хунта недовольно поворачивается к Саше. Саша разевает рот: у Хунты вместо глаз окошечки, как на табло, и в них, как на табло, вспыхивают и гаснут неоновые четверки, семерки и прочие нули.

Улица перед институтом, осень, ветер несет желтые листья, по лужам бежит рябь.

Саша отрывает табулограмму и, рассматривая ее на ходу, бежит по коридору. Врывается в лабораторию Федора Симеоновича, вручает ему табулограмму. Федор Симеонович поворачивается к стенду, где под стеклянным колпаком — обугленные останки сгоревшей книги. Великий маг, глядя в строчки цифр, принимается набирать код на клавишном устройстве, нажимает на кнопку «Пуск», и обугленная книга начинает дымиться, вспыхивает ярким пламенем, из которого появляется та же книга, но целая и невредимая. Федор Симеонович хлопает в ладоши, потирает руки, Саша тоже хлопает в ладоши и потирает руки.

Саша у себя в кабинете просматривает заказы и распределяет машинное время. Перед его столом очередь человек в пять — все знакомые лица, только тупые и какие-то окаменевшие, у каждого на груди надпись: «Выбегалло 11», «Хунта 1244», «Киврин 67», «Корнеев 421»... В хвосте стоит обыкновенный живой человек с толстым портфелем, бледный и напуганный. Саша кончает просматривать листок с заданием и возвращает его «Выбегалле 11».

— Я тысячу раз просил на машинке печатать,— строго говорит он.— Почерк же, как курица лапой. Перепечатать! Тут он замечает человека с портфелем.

— А! — говорит он.— Проходите, проходите, присаживайтесь, пожалуйста... Вы ведь с рыбозавода? Мне звонили... Да идите же сюда!

Человек с портфелем, виновато кивая и озираясь, приближается к столу и присаживается на краешек стула.

— Неудобно как-то,— бормочет он, опасливо косясь на очередь.— Вот ведь товарищи ждут, раньше меня пришли...

— Ничего, ничего, это не товарищи...— Саша протягивает руку за пачкой бумаг, которую человек достал из портфеля.

— Ну, граждане...

— И не граждане...— Саша начинает просматривать бумаги.— Это называется дубль,— объясняет он, не поднимая глаз.— Времени сотрудникам не хватает, в очереди им стоять некогда, вот они и посылают свои копии... Кого сюда, кого за получкой... кого в магазин... кого на свидание... Я что-то тут не понимаю, к какому же вам числу это нужно? А, понятно...

Человек с портфелем опасливо оглядывается на очередь.

— Дубли... То-то же я смотрю — не мигают оне... а вот этот, с бородой, он, по-моему, и не дышит даже...

Общежитие. Эдик учит Сашу проходить сквозь стены. Сначала проходит сам, возвращается, что-то втолковывает Саше, показывает, что надо выгибать грудь и тянуть носки. Саша закрывает глаза, шагает в стену и отшибает лоб. Эдик снова втолковывает ему, что нужно прогибаться, прогибаться! Саша повторяет попытку, прогибаясь. Верхняя часть его тела проходит, нижняя остается. Саша судорожно сучит ногами. Тут же стоит Корнеев со стаканом чаю, гогочет. Потом они вдвоем с Эдиком пробуют вытащить Сашу. Пробуют и так, и эдак. Лица у них становятся серьезными.

Разобранная стена. Саша сердито отряхивается. Корнеев и Эдик, насупленные, закладывают кирпичами пролом.

Саша работает у пульта машины — очень усталый, озабоченный, встрепанный. За окном крупными хлопьями падает густой снег.

Входит дубль Эдика — «Почкин 107».

— Чего тебе? — раздраженно спрашивает Саша, не отрываясь от работы.

— Хозяин... просит... явиться... на доклад... Выбегаллы... — монотонно бубнит дубль.

— Не могу, не могу, занят,— нетерпеливо отвечает Саша.— Пошел вон.

Дубль исчезает, но в дверях сейчас же появляется хорошенькая девица, ведьма Стеллочка.

— Саша,— говорит она,— чего же ты? Пойдем!

Саша смотрит на нее, мотает головой.

— Стеллочка, не могу,— говорит он.— Честное слово, не могу.

— Но ты же обещал! Пойдем, говорят, будет что-то феноменальное...

Саша опять трясет головой.

— Нет-нет, не могу. Не проси.

Он включает печатающее устройство. Стеллочка, надув губки, удаляется. В дверь левым плечом вперед вдвигается Хома Брут, руки в карманы, кепочка на глаз.

— Слышь, Саш,— сипит он.— А ты чего тут торчишь? Все, понимаешь, бегут, а он тут торчит, как приклеенный.

— Отстань, отстань! — говорит Саша со злостью.

— Во дает! — удивляется Хома.— Зря. Мы там с шефом такую штуку сейчас отколем — закачаесть! Весь институт на воздух пустим...

Саша поворачивается к нему.

— Вместе со своим шефом,— говорит он громким шепотом,— иди, иди и иди. Понятно? Занят я! — орет он.— Некогда мне вашей чепухой заниматься!

Хома обиженно пожимает плечами и тут замечает на полочке склянку с ярлыком. Видно только слово «спирт». Лицо Хома немедленно проясняется. Покосившись на Сашу, который снова погрузился в работу, он вороватым движением хватает склянку, свинчивает колпачок и опрокидывает содержимое в рот.

Лицо его чудовищно искажается, из ушей вырываются струи дыма. (Саша рассеянно отгоняет дым ладонью.) Глаза съезжаются и разъезжаются.

Он смотрит на ярлык. «Нашатырный спирт».

Хома укоризненно качает головой, завинчивает колпачок, ставит склянку на место и вытирает губы.

Из стены выходит озабоченный Эдик Почкин.

— Ну, что же ты, Саша? — говорит он.— Я же тебя звал.

— Да что там у вас происходит? — раздраженно спрашивает Саша.— Занят я. Не нужен мне ваш Выбегалло, и я, надеюсь, ему не нужен...

— Сейчас там каждый порядочный маг нужен,— говорит Эдик.— Это серьезно, Саша.

Звонит телефон. Саша срывает трубку. Голос Корнеева хрипит:

— Сашка? Ты что там отсиживаешься, хомяк? Трусишь?

Саша поражен.

— Да что вы, в самом деле, ребята,— лепечет он.— Ну, пожалуйста, ну, пошли...

Он бросает трубку и вслед за Эдиком устремляется в стену.

По занесенной снегом дороге Саша и Эдик спешат к огромному приземистому зданию, похожему на ангар. За ними по пятам, засунув руки глубоко в карманы, семенит Хома Брут.

Перед распахнутыми воротами ангара оживление: только что подъехавший автобус извергает из недр своих кучу корреспондентов с фото- и киноаппаратами наголо; спецмашина телевидения, от нее внутрь ангара уже тянутся кабели. Глава телегруппы в роскошной шубе нараспашку отдает распоряжения; его люди с натугой катят по снегу тележки с телекамерами; толпа сотрудников института собралась перед огромным плакатом ярмарочного вида.

Надпись на плакате: «Внимание! Внимание! Сегодня! Впервые в истории науки! Грандиозный эксперимент профессора Выбегалло! Демонстрация совершенной модели идеального человека! Доклад профессора Выбегалло А. А. Начало в 18.00. Просьба места для прессы не занимать».

Саша входит в ангар — огромное помещение на дырчатых железных фермах. Здесь уже светят юпитеры, вспыхивают блицы фотокорреспондентов. В центре ангара на дощатом помосте возвышается знакомый диван-транслятор, от него в разные стороны бегут пучки проводов и кабелей. На диване лежит гигантское яйцо, испещренное темными пятнами. По сторонам помоста — две генераторные башни с металлическими шарами наверху, между шарами время от времени проскакивают молнии, и тогда звучат раскаты грома.

Почти сразу же Саша натывается на группу ожесточенно спорящих людей. Здесь Федор Симеонович Киврин, Кристобаль Хунта, Модест Матвеевич с неизменной папкой и профессор Выбегалло — в валенках, подшитых кожей, в извозчицком тулупе и в роскошной пыжиковой шапке.

— Достаточно того,— говорит Хунта, обращаясь к Выбегалле,— что ваш, простите, родильный дом находится рядом с моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв, и в результате я в течение двадцати минут был вынужден ждать, пока у меня в кабинете вставят вылетевшие стекла...

— Это, дорогой, мое дело, чем я у себя занимаюсь,— огрызается Выбегалло фальцетом.— Я до ваших лабораторий не касаюсь, хотя у вас там в последнее время бесперечь текет живая вода, я себе в ей все валенки промочил...

— Г-голубчик,— рокошет Федор Симеонович.— Амвросий Амбрузович! Н-надо же принять во внимание возможные осложнения... Ведь никто же не работает на территории института, скажем, с огнедышащим драконом...

— У меня не дракон! У меня идеальный счастливый человек! Исполин духа! Как-то странно вы рассуждаете, товарищ Киврин! Странные у вас аналогии! Чужие! Модель идеального человека и какой-то внеклассовый огнедышащий дракон!

— Г-голубчик, да дело же не в том, что он внеклассовый, а в том, что он пожар может устроить!

— Вот опять! Идеальный человек может устроить пожар! Не подумали вы, товарищ Федор Симеонович!

— Я г-говорю о драконе...

— А я говорю о вашей неправильной установке! Вы стираете, Федор Симеонович, вы всячески замазываете! Мы, конечно, стираем противоречия... между умственным и физическим... между мужчиной и женщиной... Но замалчивать пропасть мы вам не позволим!

— К-какую пропасть? Что за чертовщина? Кристобаль, в конце концов, вы же ему только что объяснили! Я говорю, профессор, что ваш эксперимент опасен! Понимаете? Институт можно повредить, понимаете?

— Я-то все понимаю,— визжит Выбегалло.— Я-то не позволю идеальному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру! И Модест Матвеевич вот тоже понимает! Там мы имеем что? — Он указывает в пространство.— Природу! Стихии! Снег вон идет. Значит, считайте: обшивка сгниет, пружины лопнут. А кому отвечать? Модесту Матвеевичу!

— Это убедительно,— говорит Модест Матвеевич раздумчиво.

— Да он весь ангар вам разворотит,— говорит Федор

Симеонович.— Этот эксперимент надо проводить не ближе пяти километров от города. А лучше дальше...

— Ах, вам лучше, чтобы дальше? — зловеще вопрошает Выбегалло.— Понятно. Тогда уж, может быть, не на пять километров, Федор Симеонович, а прямо уж на пять тысяч километров? Подальше где-нибудь, на Аляске, например! Так прямо и скажите! А мы запишем!

Воцаряется молчание, и слышно, как грозно сопит Федор Симеонович, потерявший дар слова.

— За такие слова,— цедит сквозь зубы Хунта,— лет триста назад я отряхнул бы вам пыль с ушей и повертел бы в вас дыру для вентиляции...

— Ничего, ничего,— отвечает Выбегалло.— Это вам не Португалия. Критики не любите...

— А ведь вы пошляк, Выбегалло,— неожиданно спокойным голосом объявляет Федор Симеонович.— Вас, оказывается, гнать надо.

— Критики, критики не любите,— отдуваясь, твердит Выбегалло.— Самокритики не любите...

— Значит, так,— вмешивается Модест Матвеевич.— Как представитель администрации и хозяйственных отделов, я в науке разбираться не обязан. Поскольку товарищ директор находится в отъезде, я могу сказать только одно: обшивка должна остаться целой, и пружины в порядке. В таком вот аксепте. Доступно, товарищи ученые?

С этими словами, переложив папку под другую мышку, он торопливо удаляется.

— Критики не любите! — в последний раз торжественно восклицает Выбегалло и тоже удаляется.

Хунта и Киврин безнадежно глядят друг на друга.

— А что, если я превращу его в мокрицу? — кровожадно говорит Хунта.

— Лучше уж в стул,— говорит Федор Симеонович.

— Можно и в стул,— говорит Хунта.— Я охотно буду на нем сидеть.

Федор Симеонович спохватывается.

— Г-голубчик, о чем это мы с тобой говорим? Это же негуманно...— Взгляд его падает на Хому.— Минуточку, дружок! Подите-ка сюда, подите!

Хома, сдернув кепочку, неуверенно приближается, искательно улыбаясь.

— Скажите-ка, дружок,— спрашивает Федор Симеонович.— Какие там у вас с Выбегаллой задействованы мощности?

Хома пытается уменьшиться в размере, но Хунта ловко хватается за ухо и распрямляет.

— Отвечайте, Брут! — гремит он.

— Да я-то что? — ноющим голосом говорит Хома. — Как мне приказали, так я и сделал. Мне говорят, на десять тысяч сил, я и дал десять тысяч!

— Каких сил?! — восклицает Федор Симеонович, раздвывая бороду.

— Ма...магических, — мямлит Хома.

— Десять тысяч магических сил?! — Ошеломленный Хунта отпускает Хому, и тот мгновенно улетучивается. — Теодор, я принимаю решительные меры.

Он взмахивает умклайдетом, длинным и блестящим, как шпага.

И сейчас же в отверстия ворот ангара с ревом вкатываются гигантские МАЗы, груженные мешками с песком, козлами с колючей проволокой, пирамидальными надолбами, бетонными цилиндрами дотов. Целая армия мохнатых домовых облепляет грузовики, со страшной быстротой разгружает их и начинает возводить вокруг помоста с яйцом кольцо долговременных укреплений.

— Десять тысяч магосил! — бормочет Федор Симеонович, ошеломленно качая головой. — Однако ж, друзья мои! Это же нельзя просто так... Это ж рассчитать надо было!.. Это же в уме не сосчитаешь!..

Оба они поворачиваются и смотрят на Сашу. У Саши несчастное лицо, но он еще ничего не понимает и пытается хорохориться.

— А в чем, собственно, дело? — бормочет он, озираясь в поисках поддержки. — Ну, рассчитал я ему... заявка была... модель идеального человека... Почему я должен был отказывать?

— А потому, голубчик, — внушительно говорит ему Федор Симеонович, — что вы спрограммировали суперэгоцентриста. Если нам не удастся остановить его, этот ваш идеальный человек сожрет и загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернет пространство и остановит время. Это же гений-потребитель, понимаете? По-тре-би-тель!

— Выбегалло — демагог, — добавляет Хунта. — Бездарь. Сам он ничего не умеет. И выезжает он на таких безответственных дурачках, как вы и этот алкоголик — золотые руки.

Под сводами ангара вспыхивают яркие лампы. Хома Брут с переносной кафедрой на спине поднимается на

помост и устанавливает ее рядом с диваном. На кафедру взгромождается профессор Выбегалло.

Корреспонденты бешено строчат в записных книжках, щелкают фотоаппаратами, жужжат кинокамерами. Ассистенты Выбегаллы в белых халатах устанавливают вокруг дивана мешки с хлебом и ведра с молоком. Один из них приносит магнитофон.

Выбегалло залпом выпивает стакан воды и начинает.

— Главное — что? Главное, чтобы человек был счастлив. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть хомо сапиенс, который может и хочет. Может, эта, что хочет, а хочет, соответственно, все, что может. В моих трудах так и написано. (*Корреспондентам.*) Вы, товарищи, все пока пишете, а потом я сам посмотрю, какие надо цитаты вставлю, кавычки, то-се... Продолжаю. Ежели он, то есть человек, может все, что хочет, а хочет все, что может, то он и есть, как говорится, счастлив. Так мы его и определим. Что мы здесь, товарищи, перед собою имеем?..

Пока Выбегалло говорит, с гигантским яйцом происходят изменения. Оно покрывается трещинами, сквозь которые пробиваются струйки пара.

— Мы имеем модель. То есть мы пока имеем яйцо, а модель у его внутри. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью, и это нас не может не удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми, эта, становятся в дальнейшем. Вот сейчас оно рождается или, говоря по-научному, вылупляется...

Яйцо разваливается. Среди обломков скорлупы на диване садится удивительно похожий на Выбегаллу человек в полосатой пижаме. Поперек груди белая надпись: «Выбегалло Второй Счастливый». Человек, ни на кого не глядя, хватая ближайшую буханку хлеба и принимается с урчанием пожирать ее.

— Видали? Видали? — радостно кричит Выбегалло. — Оно хочет, и потому оно пока несчастно. Но оно у нас может, и через это «может» совершается диалектический скачок. Во! Во! Смотрите! Видали, как оно может? Ух ты, мой милый, ух ты, мой радостный... Во! Вот как оно может!.. Вы там, товарищи в прессе, свои фотоаппаратики отложите, а возьмите вы киноаппаратики, потому как мы здесь имеем процесс... здесь у нас все в движении! Покой у нас, как и полагается быть, относителен, движение у нас абсолютно. Но это еще не все. Потребности у нас пойдут как вширь, так, соответственно, и вглубь. Тут говорят, что

товарищ профессор Выбегалло, мол, против духовного мира. Это, товарищи, клеветнический ярлык! Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии! Все мы знаем, что материальное идет впереди, а духовное идет позади, или, как говорится, голодной куме все хлеб на уме...

Модель жрет. Мешки с хлебом пустеют один за другим. В широкую пасть опрокидывается ведро молока. Модель заметно раздуло, полосатая пижама ей уже тесна.

— Но не будем отвлекаться от главного, от практики. Пока оно удовлетворяет свои матпотребности, переходим к следующей ступени эксперимента. Поясняю для прессы. Когда временное удовлетворение матпотребностей произошло, можно переходить к удовлетворению духпотребностей. То есть: посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому, и даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, «Крокодил» или там газету, не говоря уже об том, чтобы решить кроссворд. Мы, товарищи, не забываем, что удовлетворение матпотребностей особенных талантов не требует, они всегда есть. А вот духовные способности надобно воспитать, и мы их сейчас у него воспитаем.

Профессор Выбегалло дает сигнал ассистентам.

Угрюмые ассистенты разворачивают на помосте магнитофон, радиоприемник, кинопроектор и небольшую переносную библиотеку.

— Принудительное внушение культурных навыков! — провозглашает Выбегалло.

Магнитофон сладко поет: «Мы с милым расставались, клялись в любви своей...» Радиоприемник свистит и улюлюкает. Кинопроектор показывает на стене ангара мультфильм «Волк и семеро козлят».

Два ассистента с журналами в руках становятся перед моделью и наперебой читают вслух, а Хома Брут, примостившись тут же, бьет по струнам гитары и с чувством исполняет что-то залихватское.

Модель никак не реагирует. Проглотив последнюю буханку и опрокинув последнее ведро, она сидит на диване и шарит в неопрятной бороде. Извлекает из бороды длинную щепку, запускает ее между зубов, отрывает.

Затем выплевывает щепку и оценивающим взглядом обводит толпу.

Толпа пятится.

Саша мужественно заслоняет собой Стеллочку.

Пятятся чтецы с журналами, Хома Брут соскакивает с помоста и приседает на корточки.

Шум стихает. В наступившей тишине Выбегалло заканчивает свою речь:

— И вот он, товарищи, перед нами! Образец потребления материальных и духовных ценностей, счастливый рыцарь без страха и упрека.

Упырь внимательно смотрит на него. Он уже огромен, пижамная пара свисает с него ключьями.

Встретив внимательный взгляд, Выбегалло нервно поправляет галстук и произносит:

— Собственно, я закончил. Может быть, есть какие-нибудь вопросы?

Ему отвечает спокойный голос Хунты:

— Спасайтесь, старый дурак.

Но Выбегалло еще не понимает.

— Есть предложение, — начинает он, — эту реплику из зала решительно отместить...

Упырь не дает ему закончить. Он вытягивает невероятно длинную руку и хватает Выбегаллу за тулуп. Выбегалло замолкает и покорно вылезает из тулупа. Упырь хозяйски встряхивает тулуп, оглядывает его и кладет рядом с собой у дивана.

Выбегалло, ссыпавшись с помоста, ныряет в толпу. Толпа продолжает пятиться, а упырь тем временем неторопливо подтягивает к себе поближе радиоприемник, магнитофон, кинопроектор.

— Это, значить, все будет мне, — рокочущим голосом объявляет он. Он снова оглядывает толпу. Взгляд у него нехороший, оценивающий какой-то. При этом он непрерывно облизывается.

С головы Саши вдруг срывается финская кепочка и улетает на помост. Упырь напяливает ее себе на плешь.

Стеллочка взвизгивает: с ее руки срываются часики. Упырь ловит их на лету.

— Всем в укрытие! — гремит усиленный мегафоном голос Хунты.

Все бросаются в проходы между проволочными ограждениями, а по очистившемуся пространству ангара ползут, скачут, по-лягушачьи летят птичками полушубки, манто, дубленки, часы, портсигары, кошельки, брюки, валенки, ботинки — и все на помост, все на помост.

Упырь мечется по помосту, подхватывает, жадно оглядывает, примеряет, запикивает в мешки из-под хлеба, злобно озирается, скалит клыки и взрыкивает.

— Мне! — хрипит он. — И это мне! И это! Мое!

За валом из мешков паника. Мечутся полуодетые, возмущенные и испуганные люди.

Толпа ограбленных терзает Выбегаллу. Особенно неистовствует Хома Брут в одной длинной рубаше до колен. Выбегалло отдувается и кричит фальцетом:

— Критики! Критики не любите!

Начальник группы телевизионщиков в подтяжках и трусах надрывается в телефонную трубку:

— Милиция! Милиция? Немедленно выезжайте! Массовое ограбление! Банда гангстеров! Главарь шайки — некий Выбегалло из НИИЧАВО!

Тем временем упырь на помосте подтащил к себе телевизионную камеру, груды фото- и киноаппаратов и жадно озирается, ища, чем бы еще завладеть. Его со всех сторон окружает кольцо проволочных заграждений и глухой вал из мешков. Мрачно смотрят амбразуры дотов.

— Машину! — капризно басит упырь. — Машину желаю!

И стена из мешков напротив вдруг разваливается, в пролом задом вкатывает огромный МАЗ, подкатывает к помосту и останавливается.

Упырь прыгает в ковш, жадно ощупывает кабину, ревет:

— Еще!

В пролом один за другим катят: автобус, на котором приехали корреспонденты, какой-то газик — из него на ходу выскакивает испуганный шофер, запутывается в проволоке, орет ужасным голосом; два «Москвича», «Жигули», старая «Волга», новая «Волга», «кадиллак»...

— По-моему, пора, — говорит Федор Симеонович Хунте, который не отрываясь наблюдает за упырем в стереотрубу.

— Начнем со снотворного, — говорит Хунта. — Давайте! — командует он кому-то через плечо.

Из-за вала высовываются несколько сотрудников и направляют на упыря брандспойт, присоединенный к серебрястой цистерне с надписью «Пиво». Пенная струя ударяет прямо в распахнутую клыкастую пасть.

Упырь приходит в дикий восторг. Сначала он жадно глотает, посыпая струю сверху солью из солонки, потом прыгает под струей, как под душем Шарко, гогоча и шлепая себя под мышками, потом принимается торопливо наполнять ведра из-под молока — терпения у него не хватает, он протягивает руку на все двадцать метров, хватает

брандспойт (сотрудники — врассыпную), тянет к себе, за брандспойтом тянется кишка, а за кишкой, разворотив мешочную стену, во владения упыря втягивается цистерна.

— Ну, с меня хватит! — объявляет Федор Симеонович.

Он засучивает рукава и порывается в пролом, но тут на нем повисают все, кто находится поблизости. Федор Симеонович в небывалом гневе. Из глаз его скачут шаровые молнии, он кричит:

— Дайте его мне! Сколько же можно терпеть!

— Пускайте Голема! — громовым голосом командует Хунта.

Слышится могучее шипение и свист.

Все приседают и втягивают головы в плечи.

Перемахнув через вал, на середину ангара ловко выскакивает Голем — не глиняный Голем из сказок, а современный робот из фантастических романов, весь из металла и пластика, гибкий, шестирукий, жутко светятся четыре пары глаз, из головы выдвигаются и прячутся телескопические рога антенн.

Упырь поворачивается к противнику, садится на ближайший мешок и длинными руками старается прикрыть свое богатство, как хохлушка цыплят.

— Не дам! — рычит он. — Катись отседава!

Робот с пневматическим шипением и свистом приближается.

Тогда упырь вскакивает, выламывает доску из помоста и кидается на врага.

— И-и-эх-х!

Робот легко уклоняется от молодецкого удара и средней правой наносит упырю короткий удар в лоб.

Упырь спиной вперед, размахивая руками, летит и врежется в помост. Над валом ликование. Свист, аплодисменты.

Упырь вскакивает, выворачивает из бетонного пола железный швеллер, летит на робота, вращаясь вокруг собственной оси, как метатель молота.

И снова робот легко уклоняется и встречает упыря могучей оплеухой.

Новый взрыв ликования на валу.

Упырь лежит под грузовиком, на физиономии у него набухают два здоровенных фингала.

Робот, деловито наматывая на четыре руки толстый трос, приближается к нему.

На морде упыря ужас вдруг сменяется вожделием.

— Хочу! — хрипит он. — Желая!!

Робот приостанавливается. Упырь выбирается из-под грузовика и, непрерывно облизываясь, бормочет:

— Это будет мое! Это мне! Ух ты, мой милый! Ух ты, мой радостный!..

Руки робота разом опускаются, трос падает на пол, глаза меркнут.

— Давай, давай,— говорит ему упырь и толкает в сторону помоста.— Давай, дело делай. Нечего тебе тут стоять...

И робот покорно принимается всеми шестью своими руками укладывать и упаковывать награбленное барахло.

Упырь радостно хохочет, разевая пасть на весь ангар.

— Ну, все, ребята,— говорит за валом Витька Корнеев.— Теперь наша очередь.

Саша с Эдиком Почкиным подтаскивают плетеную корзину, набитую стружками, из которых торчит горло четвертной бутылки, залитое сургучом. Торопливо горстями выбрасывают стружки.

Корнеев легко, одной рукой извлекает бутылку, читает ярлык:

«Джинн Злбйдух ибн Джафар. Выдержка с 1015 года до нашей эры. Опасно! Не взбалтывать!»

Виктор старательно трясет бутылку, поворачивает ее горлышком вниз и снова трясет. За стеклом возникает на мгновение, расплывается и снова исчезает жуткое искаженное рыло с кривым клыком и черной повязкой через глаз.

Вой милицейской сирены. К воротам ангара подкатывает милицейская «Волга» со световой вертушкой на крыше, из нее высыпаются оперативные работники. Все они кидаются рассматривать в лупу и фотографировать следы на снегу, а юный сержант милиции, подтягивая на ходу перчатки, устремляется в ангар.

Все замирает.

Сержант проходит через пролом в стене и, звеня подковками по бетонному полу, печатая шаг, направляется к упырю.

Упырь озадаченно смотрит на него. Потом облизывается, приседает, свесив длинные руки, и мелкими шажками движется навстречу.

Сержант, не останавливаясь, достает свисток, и длиннейшая трель оглашает ангар.

Робот за спиной упыря поднимает все шесть рук и опускает голову.

Упырь распахивает гигантскую клыкастую пасть, и в этот момент...

— Ложи-и-ись! — орет Корнеев на весь ангар.

Падает ничком сержант.

Падают ничком все за стеной.

Корнеев, заноса назад правую руку с бутылью, разбегаётся и, как гранату, швыряет бутылку прямо в разверстную пасть.

Раздается звон битого стекла. Дикий хохочущий вой.

В воздухе появляется давешняя клыкастая морда с повязкой через глаз, затем все заволакивается клубами огненного дыма, словно вспыхнула бочка с нефтью.

Громовые удары, рычание, хохот... Отчаянный вопль: «Не отдам, не отдам, милиция!..»

Дым и огонь скатываются в клубок, и клубок этот катится по ангару.

Рушатся мешки с песком. Рвется в клочья колючая проволока. Валятся столбы генератора Ван-Граафа, летят в воздух доски постамента, огромные подбитые кожей валенки, колеса автомашин, крутится, переворачиваясь в воздухе, цистерна с надписью «Пиво»...

Сержант милиции с трудом поднимается на ноги, заслоняясь рукой, пытается приблизиться к огненному клубку и пронзительно свистит.

В то же мгновение клубок с грохотом и треском лопаётся, выбросив в разные стороны струи огня.

Тишина. Там, где был постамент и горой высылось награбленное, ничего нет. Только неглубокая воронка, из которой под своды ангара нехотя поднимается жиденькая струйка дыма.

Закопченный и основательно ободранный сержант приближается к воронке, заглядывает, наклоняется, поднимает огромную вставную челюсть и довольно долго рассматривает ее со всех сторон.

По всему ангару зашевелились, поднимаясь, люди. Тоже закопченные и оборванные, словно побывали под бомбежкой.

Сержант берет челюсть под мышку, извлекает из планшета блокнот и провозглашает:

— Потерпевших и свидетелей прошу записываться.

В лаборатории Витьки Корнеева ребята умываются и приводят себя в порядок. У Корнеева забинтована голова, Эдик пришивает пуговицу к куртке, Саша стоит столбом, а Стеллочка старательно чистит его щеткой. В углу, приго-

рюнившись, сидит Хома Брут в больших, не по росту, штанах.

— Выбегаллу-то в милицию забрали,— говорит, похотывая, Корнеев.— Массовое ограбление под видом научного эксперимента... Модест помчался выручать. Потеха!

— Этому гаду голову оторвать мало,— плачущим голосом говорит Хома.— Такую гитару мне загубил...

— Гитара — бог с ней,— замечает Эдик.— Диван погиб.

— Ничего, ребята! — говорит Корнеев, подмигивая.— Без гитары мы проживем, а что касается дивана — как-нибудь с диваном уладится.

— Самим нам такой транслятор не смастерить,— говорит Эдик грустно.

Корнеев театральным жестом распахивает дверь в соседнее помещение, и все видят на центральном стенде знаменитый диван во всей его красе, правда, слегка подзакопченный.

Всеобщее изумление.

— Главное что? — объявляет Корнеев.— Главное — вовремя схватить и рвануть когти.

— Ну, братва,— восхищенно восклицает Хома,— по этому поводу надо выпить. Я сбегая, а?

— Сядь, Хомилло! — властно гремит Корнеев, и Хома покорно опускается на стул.— Мы здесь посоветовались с народом, и есть мнение, что пора и можно уже теперь сделать из тебя настоящего человека.

И снова полетели дни и ночи.

После долгих усилий из Хома сделали настоящего человека. Вот решающая стадия эксперимента. Хома Брут, побритый и в приличном костюме, с нормальным цветом носа, поставлен перед полкой, на которой выстроены несколько бутылок с водкой. Эдик вручает ему мелкокалиберный пистолет. Корнеев настраивает сложную аппаратуру из витых стеклянных трубок.

— Давай! — командует Эдик.

Хома силится поднять пистолет — не может, лицо его искажается, по лбу струится холодный пот. Эдик кивает Корнееву. Тот поворачивает какой-то верньер.

— Давай, давай, Хома! — приказывает Эдик.— Это враг! Это лично профессор Выбегалло! Гитару свою вспомни!

Хома, закрыв глаза левой рукой, вытягивает правую с

пистолетом. Корнеев наводит стеклянный агрегат прямо Хоме в затылок.

— Глядеть! — командует Эдик.

Хома гордо вскидывает голову и закладывает левую руку за спину. Гремят выстрелы. Бутылки одна за другой разлетаются вдребезги. Гремит туш.

Саша и Стеллочка подносят Хоме новую гитару. На глазах у Хома слезы, он судорожно прижимается и вдруг чихает и мотает головой.

Федор Симеонович проводит серию экспериментов по омоложению. К «Алдану-12» с помощью множества проводов и датчиков присоединена Наина Киевна. Она сидит в кресле, скрючившись, положив руки и подбородок на свою клюку. Саша закладывает в программное устройство пачку перфокарт, Федор Симеонович сидит перед экранами контрольной аппаратуры, на которых виднеются рентгеновские изображения черепа, грудной клетки и прочих деталей организма Наины Киевны. «Пуск!» — командует Федор Симеонович. Саша нажимает кнопку. Наина Киевна превращается в приятную женщину средних лет. Клюка в ее руках дает молодые побеги, на которых распускаются цветочки. Наина Киевна восторженно и изумленно ощупывает себя, затем встает и, игриво покачивая бедрами, приближается к Федору Симеоновичу. Тот отмахивается от нее и пятится в дверь. Наина устремляется за ним. Саша, поджав губы, рассматривает кусок ленты с длинными рядами цифр, чешет в затылке.

Саша продолжает совершенствоваться в магическом искусстве. На столе перед ним — основательно потрепанный том «Уравнений математической магии», распухший от многочисленных закладок, счетная машина «мерседес», стопка бумаги. В руке — умклайдет, деревянный, для начинающих, похожий на жезл регулировщика. Эдик сидит перед ним с видом экзаменатора, сцепив руки на колене, крутя большими пальцами. Саша, поминутно заглядывая в учебник, производит какие-то вычисления на «мерседесе», рвет из бороды волосок и взмахивает умклайдетом. На столе перед ним появляется блюдо с грушей. Эдик, презрительно усмехаясь, берет грушу и бросает ее на пол. Груша разбивается на мелкие осколки. Саша озадаченно рассматривает умклайдет. Эдик показывает, как надо взмахивать. Саша повторяет его движение. На блюдечке

появляется второе блюдечко с грушей. Саша пытается взять грушу и поднимает ее вместе с блюдечком, к которому она приросла. Саша со зверским лицом отрывает кусок груши и пробует. Морщится и выплевывает. «Ешь!» — грозно приказывает Эдик. Саша ест. По лицу его текут слезы.

А между тем Витька Корнеев разрабатывал в страшной тайне свою методику изъятия излишков времени у населения. Ночь, в окно Витькиной лаборатории всю светит луна. Она озаряет опутанный проводами диван, в спинку которого встроены два экрана. Над каждым экраном — циферблат, и еще один циферблат — между экранами. Витька, хмурый, обросший щетиной, заканчивает какие-то вычисления, берет листок с числами и садится перед диваном на табуретку. Включает экраны. На правом экране — прокуренная комната: Выбегалло, молодая Наина Киевна и Модест Матвеевич дуются в преферанс. На левом экране — Хома Брут, трезвый и бритый, в белом халате, собирает какой-то прибор: работа у него явно сложная, идет медленно. Стрелки на всех трех циферблатах показывают одно и то же время, секундные движутся с одной и той же скоростью. Витька набирает несколько цифр на миниатюрной клавиатуре, берется за верньер, встроенный в подлокотник дивана, и начинает медленно вращать. Раздается длинный звук тормозящей магнитофонной ленты. Картины на экранах и на циферблатах плавно меняются. Движения преферансистов становятся все более замедленными, и одновременно замедляется движение секундной стрелки на их циферблате. Хома же Брут, напротив, начинает двигаться все быстрее, и все быстрее бежит его секундная стрелка: собираемый прибор растет на глазах. Только на среднем циферблате стрелка продолжает отсчитывать истинное время. На правом экране игроки почти застыли в неподвижности, а на левом экране Хома Брут в бешеном темпе заканчивает работу, суетливо отряхивает руки и летит к двери. Витька поворачивает верньер в обратную сторону до щелчка. Все циферблаты приходят в соответствие с центральным, движения игроков становятся нормальными. Виктор выключает прибор, экраны гаснут, и в ту же минуту входит Хома. «Ну, я все закончил, — говорит он. Смотрит на ручные часы. — Обалдеть можно, за десять минут управился, а думал — до утра не кончу!» — «Я тебе всегда говорил, что водка — яд», — угрюмо говорит Витька.

...Саша Привалов в своей вычислительной лаборатории снимает трубку телефона и набирает номер. Лицо у него унылое. В лаборатории дым стоит коромыслом: с машины сняты все кожухи, в потрохах ее копаются люди в халатах, возглавляемые Хомой Брутом.

— Стеллочку можно? — говорит Саша в трубку.

На другом конце провода Федор Симеонович передает трубку Стеллочке. Стеллочка держит в одной руке реторту. Она — сотрудница отдела линейного счастья. Здесь работают на оптимизм. Лаборатория похожа на роскошный цветник. Из зарослей цветов торчат грандиозные стеклянные трубчатые установки, в которых мерцает жидкий огонь.

— Але! — говорит Стеллочка.

— Ну, как ты там? — со вздохом осведомляется Саша.

— Я хорошо, — отвечает Стеллочка, косясь на Федора Симеоновича. — А ты?

— Пошли сегодня в кино, — предлагает Саша.

— В кино? Ты же работать грозился всю ночь.

Саша уныло оглядывает свою разгромленную лабораторию.

— Чинят. Долго будут чинить. Так пошли?

— Не знаю, — нерешительно говорит Стеллочка. — У нас сегодня...

— С-сходите, с-сходите, Стеллочка, — басит добродушно Федор Симеонович. — П-посмотрите что-нибудь т-такое... Потом р-расскажете...

— Что у тебя сегодня? — спрашивает Саша нетерпеливо.

— В шесть часов, — говорит Стеллочка.

— Где? — спрашивает Саша.

— Где обычно.

Саша, слегка повеселев, вешает трубку. Подходит Хома с тестером.

— Ты бы сдвинулся куда, Сашка, — говорит он. — Мешаешь...

Саша пятится, роняет прислоненные к стене кожухи и спотыкается об инженера, сидящего на корточках.

— Вы бы шли пока отсюда, Александр Иванович, — говорит тот недовольно. — Только мешаетесь...

— Иди, иди, — говорит Хома. — Там получку дают.

— Получку так получку, — со вздохом говорит Саша. — Но к завтрашнему-то дню вы управитесь?

Ему никто не отвечает. Он опять вздыхает и уходит.

Он идет по длинным коридорам. Все заняты, все спешат. Саша спускается в бухгалтерию, распахивает очередь, состоящую сплошь из дублей, и нагибается к окошечку кассира.

— А, Александр Иванович? Что это вы сегодня лично? Вот здесь, пожалуйста...

Саша расписывается в ведомости.

— А что, профессор Выбегалло в отъезде? — спрашивает кассир, отсчитывая деньги.

Саша пожимает плечами.

— Вы его не видели? — спрашивает кассир.

— Слава богу, нет, — говорит Саша.

— Вы знаете... — говорит кассир, отсчитывая деньги. — Раз, два, три, четыре, пять... Уже два часа выдаю, а его все нет. Обычно окошечко откроешь, а он тут как тут, самый первый...

— Проспал, наверное, — равнодушно говорит Саша. — Прибежит еще.

— Проспал? — Кассир с сомнением качает головой. — Чтобы профессор Выбегалло проспал в день полочки?

— Может быть, заболел? — Саша заинтересовался.

— Дубля бы непременно прислал, что вы!

— Действительно, странно, — говорит Саша.

Он выходит в коридор и останавливает какого-то сотрудника.

— Выбегаллу не видел?

— Бог спас, — бросает сотрудник и устремляется дальше.

Саша останавливает другого сотрудника.

— Выбегаллу не видел?

— А что это такое?.. А, Выбегаллу? Что ты, конечно, нет!

Саша в задумчивости бредет по коридору. Все, кого он останавливает, отвечают ему:

— Выбегалло? Оно где-то здесь болталло... Но вот когда — не помню. Давно.

— Один раз видел. Хватит с меня.

— А зачем он тебе? Делать тебе нечего?

Саша проходит мимо дверей, на которых висит табличка: «Заведующий отделом разнообразных приложений тов. проф. Выбегалло А. А.». На ходу на всякий случай дергает ручку. Дверь заперта. Саша проходит дальше и заглядывает в лабораторию отдела разнообразных приложений.

Атмосфера здесь самая неделовая. Все курят. Двое играют в крестики и нолики. Кто-то читает Сименона, поглощая бутерброды. Кто-то вытаскивает красивый мундштучок. Играет магнитофон.

— Выбегалло не видели? — спрашивает Саша.

Все взоры обращаются на него. Затем все вопросительно переглядываются.

— А зачем он тебе? — спрашивает тот, что читал Сименона.— Что тебе — плохо без него?

— Серьезно, ребята, где Выбегалло? — спрашивает Саша.

— Был здесь как-то... — нерешительно говорит тот, что читал Сименона.— Дня три, наверное, назад.

— Раньше, — авторитетно отзывается сотрудник с мундштуком.— Это было еще до того, как ты на бюллетень уходил... Он еще спросил, что такое постельная принадлежность из пяти букв.

— А что это такое? — заинтересованно спрашивает один из игроков в крестики и нолики.

Со всех сторон сыплются предложения: диван, тумба, одеял. Начинается спор. Саша проходит в дверь, на которой написано: «Группа самонадевающейся обуви». Здесь работают. Один сотрудник сидит в носках на специальном кресле, выставив наготове ноги, а другой регулирует чудовищный мокроступ, заводя его специальным ключиком, как заводную игрушку. Затем он пускает мокроступ по полу. Мокроступ с жужжанием, мигая маленькими фарами, подъезжает к сидящему и надевается на подставленную ногу. Жужжание переходит в визг, сидящий с воплем принимается стаскивать мокроступ. Когда ему удастся извлечь ногу, оказывается, что носок в лохмотьях.

Саша осторожно прикрывает дверь и снова выходит в коридор. В коридоре Модест Матвеевич с неизменной папкой под мышкой дает указание двум лешим в комбинезонах и с ломачами. Выслушав указания, лешие подходят к стене и принимаются долбить ее.

Саша проходит в кабинет Эдика. Эдик занят — рассматривает что-то в биноккулярный микроскоп, рядом с ним из регистрирующего прибора ползет лента самописца. Саша садится рядом с ним на стол и говорит:

— Выбегалло пропал.

— Это хорошо... — рассеянно говорит Эдик, но тут же спохватывается.— То есть позволь... В каком смысле пропал?

— В буквальном. Нет его нигде. И давно.

Эдик хмурится.

— В бухгалтерии спроси,— говорит он.— Сегодня получка...

— Спрашивал.

— Подожди, подожди,— испуганно говорит Эдик.— Он и за деньгами не пришел?

Саша мотает головой. Эдик тихонько свистит, затем решительно берет телефонную трубку.

— Алло-у? — откликается томный женский голос.

— Извините, пожалуйста,— говорит Эдик.— Профессора Выбегалло можно к телефону?

— Кого?

— Это квартира профессора Выбегалло?

— Да-а... кажется. Толик, твой папа профессор?

В трубке вдруг раздается мужской голос:

— В чем дело?

— Профессор Выбегалло дома? — спрашивает Эдик.

— Слава богу, нет.

— Вы не скажете, где он?

— Ушел покупать «Огонек»*.

— Давно?

— Недели две.

Эдик ошеломленно смотрит на трубку, затем осторожно кладет ее.

— Плохо дело,— говорит он.— Неужели пропал?

Они радостно смотрят друг на друга. Потом Эдик снова спохватывается.

— Нет, Саша, так нельзя,— решительно говорит он.— Надо искать. Сейчас я Модесту позвоню.

— А он тут, в коридоре...

Они выходят в коридор. Пролом уже сделан, Модест Матвеевич примеряется к нему. Рука с папкой не проходит. Модест Матвеевич делает лешим новые указания. Грохочут ломы, гремит осыпавшийся кирпич. Саша и Эдик объясняют Модесту Матвеевичу ситуацию. Тот слушает со строгим выражением лица, приложив к уху руку.

Выслушав, он перекладывает папку под другую мышку и говорит:

— Вы полагаете, иностранная разведка?

— Вряд ли,— говорит Эдик.— Это было бы слишком хорошо.

* Авторы напоминают читателю, что действие сценария происходит в конце 60-х годов.

— Возможно, пьяный где-нибудь лежит,— раздумчиво говорит Модест Матвеевич.— Бывали прен-цен-ден-ты... И в кабинете нет?

— Кабинет заперт.

— Есть предложение,— провозглашает Модест Матвеевич.— Создать временную комиссию по расследованию дела об исчезновении товарища профессора Выбегаллы в составе: председатель — Камноедов М. М., то есть я, члены комиссии — Почкин и Привалов, то есть вы двое. Доступно?

Он делает поворот кругом и гордо проходит сквозь пролом в стене. Эдик и Саша тоже проходят сквозь стену справа и слева от пролома. Лешие принимаются заделывать пролом.

Около кабинета Выбегаллы Модест Матвеевич извлекает из кармана связку ключей, выбирает нужный и открывает дверь.

Все трое входят и останавливаются на пороге. Страшная картина встает перед их глазами. Профессор Выбегалло неподвижно сидит за своим столом, склонившись над журналом «Огонек». В руке его карандаш. Он похож на покойника.

Модест Матвеевич снимает шляпу.

— Мир тебе, дорогой товарищ,— произносит он торжественно.— Ты погиб на посту.

Эдик бросается вперед и берет профессора за руку. Рука у профессора окоченела, как палка.

— По-моему, он жив,— неуверенно говорит Эдик.— Рука теплая.

— Как так — жив? — спрашивает Модест Матвеевич и надевает шляпу.— Значит, спит?

Эдик вглядывается в лицо профессора.

— Да нет,— говорит он.— Глаза открыты.

— Это еще ничего не значит,— уверенно возражает Модест Матвеевич.— Нынче многие по конторам наладились спать с открытыми глазами.

Между тем кабинет наполняется любопытными. Ходят, смотрят, недоумевают. Кто-то отмечает толстый слой пыли на столе. Кто-то замечает паутину, растянутую между плечами профессора и стеной. Саша заглядывает в журнал. «Огонек» раскрыт на кроссворде. Рядом лежат разрозненные тома энциклопедии. На них тоже пыль.

Все вдруг расступаются. В кабинет стремительно входят Федор Симеонович и Кристоаль Хозевич. При почтительном молчании присутствующих они приступают к

делу: Федор Симеонович ощупывает Выбегаллу, а Кристо-
баль Хозевич словно бы ощупывает вокруг Выбегаллы воз-
дух.

К и в р и н. Ан-набиоз...

Х у н т а. Похоже... Анабиоз во внешнем поле.

К и в р и н. Д-да, внутреннего поля не ощущается...
Т-ты знаешь, Кристо, это пох-хоже на остановку...
А какое там у тебя поле?

Х у н т а. Похоже на темпоральное. Но очень мощное.
Источник примерно там...

Раскинув руки крестом, он медленно поворачивается и
замирает. На лице его смущение.

— Странно...— говорит он.— В моем отделе... Двести
вторая комната...

Саша с Эдиком быстро переглядываются. Эдик кивает,
и Саша, выбравшись из толпы, выскакивает за дверь.

Он со всех ног мчится по коридорам и по лестницам и
останавливается, запыхавшись, перед дверью, на которой
обозначен номер 202 и красуется табличка «Лаборатория
Корнеева В. П.». Он дергает ручку. Дверь заперта. Он сту-
чит. Никто не отзывается. Тогда он выгибает грудь коле-
сом, вытягивает носочки и шагает сквозь дверь.

В лаборатории Корнеева царит полумрак. Ярко све-
тится большой экран, на котором видны оцепенелый Выбе-
галло, Киврин, Хунта и прочие. Киврин и Хунта, насторо-
женно выпрямившись, пристально глядят с экрана прямо
на Сашу. В отсветах экрана Саша различает Витьку Кор-
неева. Витька почти невиден. С нсимоверной скоростью он
двигается в сплошном сплетении проводов, перегонных
кубов и прочей аппаратуры.

— Витька! — испуганно кричит Саша.

Мгновение, Корнеев оказывается возле экрана. Что-то
щелкает.

Профессор Выбегалло оживает на экране. Он подносит
карандаш ко рту, кусает его и задумчиво говорит:

— Прогулочное судно из четырех букв... Лодка! Л...
О... Т...

И тут он замечает вокруг себя людей, остолбенело гля-
дящих на него.

— В чем дело, товарищи? — раздраженно осведом-
ляется он.— Я занят. Модест Матвеевич, я прошу это
немедленно прекратить!

Витька выключает экран, и сейчас же загорается свет.
Вид у Витьки ужасен: он небрит, осунулся, двухнедельная
щетина покрывает его щеки.

— Засекли все-таки...— бормочет он хрипло.

— Что все это значит, Виктор? — спрашивает Саша.

— Мне бы еще часов пятнадцать, — бормочет Витька. Он берет большой стеклянный сосуд с прозрачной жидкостью и смотрит его на свет.— Видал?

— Ничего не понимаю, — говорит Саша.— Что ты с Выбегаллой сделал? Что ты с собой сделал?

— Я живую воду сделал, балда! — хрипит Корнеев.— Смотри!

Он ставит сосуд на стол, хватает из ведра со льдом замороженную камбалу и кидает в живую воду. Камбала переворачивается вверх брюхом и вдруг оживает, переворачивается и ложится на дно, шевеля плавниками.

— Колоссально! — восклицает Саша, загораясь.

— Мне бы еще часиков пятнадцать... ну, десять, — бормочет Корнеев.— Скорость реакции очень маленькая, понимаешь? Мне бы реакцию ускорить!

Саша опомнился.

— Подожди, — говорит он.— А Выбегалло-то здесь при чем? Что ты с ним сделал?

— Да ничего я с ним не сделал, — нетерпеливо говорит Корнеев.— Две недели времени у него отобрал, у тунеядца. Зачем ему время? Все равно же кроссворды дурацкие решает да в преферанс дуется... Да это вздор! Ты мне лучше вот что... ты мне лучше подсчитай вот такую штуку...

Он наклоняется над столом и принимается быстро писать.

Между тем в кабинете Выбегаллы назревает очередной скандалчик.

— Вы мне это прекратите, товарищ профессор Выбегалло! — орет Модест Матвеевич.— Вы мне объясните, почему вы нарушаете трудовое законодательство?

— Никогда! — вопит Выбегалло.— Основы трудового законодательства я всосал с молоком матери! А что касается кроссвордов, то это есть гимнастика ума! Великий Эйнштейн, если хотите знать, решал кроссворды! И великий Ломоносов решал кроссворды! И этот... как его... великий этот...

— Вы это прекратите! — перебивает Модест Матвеевич.— Работой временной комиссии установлено, что вы четырнадцать суток провели в данном кабинете, следовательно, четырнадцать ночей ночевали здесь, следовательно, четырнадцать раз нарушали трудовое законода-

тельство, а также категорическую инструкцию о непребы-
вании!

Выбегалло вытирашивает глаза.

— То есть как это — четырнадцать суток? Это какое
же нынче число?

— К вашему сведению, сегодня девятнадцатое!

Выбегалло медленно поднимается.

— Так позвольте же! — произносит он. — Это, значить,
получку дают! Как же вы можете меня от этого отвлекать?
Позвольте, позвольте, товарищи! — Он устремляется
было из-за стола, но паутина не пускает его. — Да поз-
вольте же! — в полный голос вопит Выбегалло, рвет
паутину и, распахивая присутствующих, пулей вылетает в
коридор.

— В таком вот аксепте, — говорит Модест Матвеевич,
строго озирая присутствующих. — Трудовое законода-
тельство — это вам не формулы, понимаете, и не кривые.
Его соблюдать надо. — Он делает движение, чтобы уйти, но
любопытство пересиливает, и он наклоняется над крос-
свордом. — Прогулочное судно из четырех букв... Лодка!
Л... О... Т... Гм!

В лаборатории Корнеева Саша и Витька, упершись друг
в друга головами, что-то чертят и пишут. Пол уже забро-
сан исчерканными листками бумаги. Сосуд с камбалой
стоит на диване. Камбала чувствует себя хорошо.

— Конечно, если в нашем озере всю воду превратить в
живую... — бормочет Саша.

— Да не в нашей луже, балда, — огрызается Корнеев.

— Ну, я понимаю, из озера вытекает ручеек, ручеек
впадает в речку...

— Да при чем здесь речка, кретин! Всю воду, пони-
маешь? Всю воду на Земле можно превратить в живую.
Всю!

— Вот этого я не понимаю, — говорит Саша. — Энергии
же не хватает.

— Да как же не хватает? — плачущим голосом воскли-
кает Корнеев. — Ну, что ты за дубина? Я же тебе показы-
ваю...

Задвижка на двери сама собой отодвигается, и дверь
распахивается. На пороге — Киврин, Хунта, Эдик Почкин,
Стеллочка и прочие другие.

— Что же это вы, г-голубчик, затеяли? — укоризненно
осведомляется у Корнеева Федор Симеонович.

— В уголовщину ударились, Корнеев? — неприятным
голосом произносит Хунта.

Корнеев стоит, набычившись.

— Почему это — в уголовщину? Ничего такого в уголовном кодексе нет. Если у человека не хватает времени для работы, а ослы гоняют в это время в домино и в карты... Может же человек...

— Н-нет, голубчик! — строго говорит Федор Симеонович. — Н-не может. Человек — не может.

— Федор Симеонович! — восклицает Саша, выскакивая вперед. — Крестобаль Хозевич! Он же живую воду сделал!

— Живая вода — это прекрасно, — говорит Хунта. — Однако даже такая блестящая цель не может оправдать таких позорных средств. Вы, Корнеев, кажется, взяли на себя права и обязанности господ бога — решать, кому время нужно, а кому оно не нужно. А ведь вы не господь бог! Вы всего лишь маг и волшебник. Способный маг и волшебник, но не более того.

Корнеев открывает было рот, чтобы начать спор, но Федор Симеонович останавливает его властным движением руки.

— Н-нет, голубчик, — говорит он. — И вы сами знаете, что нет. Живая вода, наука, открытия — все это прекрасно. Но не за чужой счет, голубчик. Не к-кажется ли вам, что усматривается некоторая параллель между вашими действиями и действиями некоего профессора, специалиста по разнообразным приложениям? Н-нет уж, вы не морщитесь, голубчик. А к-как же? Тот ворует чужой труд, а вы воруете ч-чужое время. Н-не годится, и не верю я, что вы об этом не думали.

Он подходит к дивану и ласково гладит обшивку.

— Вот и диван вы украли... д-деградируете, Витя, деградируете...

— Вы не младенец, Корнеев, — говорит Хунта. — Могли бы, кажется, понять, что задача не в том, чтобы перераспределить время — у одних отобрать, а другим отдать. Задача в том, чтобы ни у кого на земле — ни у кого! — не было лишнего времени. Чтобы все жили полной жизнью, чтобы все жили увлеченно и в увлечении этом видели свое счастье!

Часть стены обрушивается. Пролом имеет вид фигуры Модеста Матвеевича. Входит Модест Матвеевич и хозяйственно озирается.

— Так! — произносит он. — Я вижу здесь диван, инвентарный номер одиннадцать — двадцать три, каковой диван числится у нас списанным.

Камбала в сосуде медленно переворачивается вверх брюхом и всплывает.

Вечереет. За окном закат. Витька, Эдик и Саша, теперь уже втроем, работают за столом в корнеевской лаборатории. Трещит «мерседес», летят на пол исписанные листки бумаги. Из-под знаменитого дивана торчат ноги Хомя Брута. Потом он вылезает из-под дивана, озабоченно оглядывает его со всех сторон, стучит по нему ногой, как шофер по скату.

— Порядок,— говорит он.— Принимайте.

Саша вздрагивает, смотрит на него, смотрит в окно, смотрит на часы и с досадой бьет кулаком по столу.

На берегу озера, держась за руки, медленно идут парень и девушка. Останавливаются, целуются, поворачивают обратно.

По шоссе проходит машина. Фары ее озаряют спины молодых людей. У парня белая надпись: «Привалов 12», у девушки — «Стелла 56»...

— Нет-нет,— говорит за кадром голос Саши.— Это просто шутка...

Парень счищает надпись у девушки со спины.

— ...Это, конечно, шутка. Так вообще не бывает, даже у нас в институте.

Девушка счищает надпись со спины парня.

— ...Но зато все остальное, что вы здесь видели, это правда, чистейшая правда... И то ли еще будет!

Машина желаний

Отвратительно резкий звонок будильника.

В комнате темно, только каждую секунду озаряется мертвенным синим светом далекой неоновой рекламы прямоугольник окна.

Звонок обрывается, и сейчас же вспыхивает неяркий огонек ночника. Угрюмый мужчина отбрасывает одеяло и садится в постели, свешивает ноги и ожесточенно обеими руками чешет взлохмаченные волосы. Неожиданно легким скольльзящим движением отделяется от постели и оказывается у окна. Оглядывает небо, улицу — неоновый свет равномерно выхватывает из полутьмы и гасит его быстрые внимательные глаза, твердо сжатые губы. Он словно и не спал вовсе.

Тихонько скрипит дверь. В комнате появляется молодая женщина в длинной ночной рубашке, бесшумно подходит к столу и ставит поднос: кофейник и чашка с дымящимся кофе. Мужчина берет чашку, жадно, в два глотка выпивает и сейчас же наливает еще.

— Что Мартышка? — хриплым голосом спрашивает он.

— Спит... — тихо отзывается женщина. — Ночью два раза плакала...

Мужчина залпом выпивает вторую чашку и наливает третью. Женщина закуривает две сигареты сразу, одну протягивает ему. Он глубоко затягивается и, сказавши: «Ну, ладно...», начинает одеваться.

Он снимает пижаму и берет со стула нечто вроде белого длинного жилета из блестящего материала, расправляет его на вытянутых руках с растопыренными пальцами и внимательно оглядывает. Жилет соскальзывает с пальцев и падает на пол со странным звякающим звуком. Мужчина, чертыхнувшись невнятно, поднимает жилет и натягивает поверх майки.

— Виктор... — тихо говорит женщина.

— Ну? — Он не оборачивается.

Но женщина молчит — курит и глядит, как он натягивает на руки длинные рукава из такого же блестящего материала, пристегивает их к жилету, а затем принимается бинтовать кисти рук полупрозрачной

клейкой лентой. Снимает пижамные штаны и натягивает на ноги рейтузы со штрипками, такие же серебристые и, видимо, тяжелые, как жилет. Облачившись, он делает несколько резких гимнастических движений: приседает, нагибается во все стороны, затем берет сигарету, затягивается и снова отхлебывает кофе.

Громко стучит будильник. Стрелки показывают начало третьего.

Виктор влезает в просторный комбинезон, тщательно застегивает все пуговицы, и задергивает все молнии, и натягивает перчатки. Затем опускается на корточки перед ночным столиком и открывает выдвижной ящик. В свете ночника прежде всего бросается в глаза огромный черный пистолет. Виктор сдвигает его в сторону и зачерпывает горстью из россыпи девятимиллиметровых гаек, устилающих дно ящика. Ссыпает гайки в правый набедренный карман, зачерпывает еще одну горсть и ссыпает в левый карман. Закрывает ящик и поднимается. Глоток кофе, затяжка. Он садится на кровать и принимается бинтовать прозрачной лентой голые ступни.

— Хочешь еще кофе? — спрашивает женщина.

— Нет.

Он поднимается, докуривает сигарету, раздавливает окурки о блюдце. Не взглянув на женщину, выходит в прихожую. Двигается он на редкость легко и бесшумно, как тугая резиновая шина.

В прихожей он садится на низенькую скамейку и натягивает резиновые сапоги. Женщина, прислонившись плечом к косяку, молча смотрит, как он встает, притопывает, натягивает плотно кожаную шапочку с длинным козырьком, поднимает и вскидывает за спину тяжелый рюкзак и берет из угла футляр с удочками и сачок.

— Сигареты, — говорит он.

Женщина бесшумно скрывается в полутьме комнаты, а он в два шага оказывается у входа в детскую, приоткрывает дверь, смотрит.

В круге слабого света видна детская кроватка, голая детская рука на подушке. Рядом с кроваткой — пара детских костыликов, и на ночном столике — черные детские очки.

Виктор тихо закрывает дверь. Женщина молча стоит возле него с пачкой сигарет в руке. Он берет пачку, засовывает ее в нагрудный карман, неловко действуя одной рукой (в другой у него удочки).

— Все, — говорит он. — Держи хвост пистолетом.

Он прикрывает за собой дверь квартиры и начинает спускаться по лестнице. Грязноватый пролет ярко освещен лампочкой без плафона. На шероховатой стене рядом с дверью грубо выцарапана злая и глупая карикатура: растрепанная уродливая девчонка в огромных черных очках и на растопыренных костылях.

Пролетом ниже, на площадке в углу торчит, заметно покачиваясь, какой-то хорошо одетый человек без шляпы, в испачканном пальто. Широченный цветастый шарф, выбившись, свисает до полу. Когда Виктор проходит мимо него, видно, что человек этот изжелта бледен и мертвецки пьян.

Диктор. Два десятилетия прошло с тех пор, как наш маленький голубой шарик, несущийся по необъятным просторам Вселенной, впервые на памяти человечества стал объектом внимания могущественной сверхцивилизации, родина которой затеряна где-то в безбрежном Космосе. Кто они были? Зачем посетили нас? Куда ушли потом — так же внезапно, как и появились? Об этом можно только догадываться. Были они добры или жестоки? Пришли к нам с миром или с войной? Видели в нас равноправных братьев по разуму, или пренебрегли нами, или вообще не заметили нас? В ту страшную ночь двадцать лет назад тысячи людей поседели от ужаса, сотни стариков и детей были растоптаны в обезумевших толпах беженцев, некоторые навсегда лишились рассудка, некоторые временно потеряли зрение и слух, но! — ни один человек не погиб под развалинами, ни один человек не сгорел, не погиб от таинственных излучений, ни один человек не пострадал от чудовищных взрывов, сотрясавших окрестности. И могущественной боевой технике Земли, мгновенно изготовившейся к отражению инопланетного нашествия, так и не пришлось вступить в дело. Космические пришельцы посетили нас и ушли, и как след посещения — осталась Зона.

Зона! Неизгладимый шрам на лице нашей матери-Земли, вместилище жестоких чудес, могучее шупальце невероятно далекого будущего, запущенное в наш сегодняшний день!

Первый ученый. Мы — счастливые люди. Нам повезло увидеть своими глазами и пощупать своими руками образцы технологии нашего послезавтрашнего дня...

Второй ученый. Я лично не жду больше никаких открытий. Главное открытие уже сделано: человечество не одиноко во Вселенной...

Третий ученый. Пришельцы так невероятно далеко обогнали нас, что имеет смысл рассматривать Зону со всем ее содержимым не как дело чьих-то рук, а как явление природы, каковое надлежит тщательно изучить и поставить на службу земной науке и технике...

Диктор. Поставить на службу земной науке и технике! Этак — вечный аккумулятор. Никто не знает, как он устроен, но мы научились размножать его, и вот — двигатели на этакых, коренной переворот в малогабаритной технике, миллионы и миллиарды тонн сэкономленной драгоценной нефти... «Синяя Глина»! Никто не знает, как и почему она лечит, но уже теперь человечество навсегда забыло, что такое инфекционные заболевания... Но не так-то просто добраться до тайн и сокровищ Зоны. Всем памяты ужасные катастрофы, которыми закончились первые героические, но неумелые попытки проникнуть в глубину Зоны с земли и с воздуха. Погибли десятки энтузиастов. Взять Зону штурмом не удалось, и тогда человечество перешло к планомерной осаде.

Директор Международного института внеземных культур. Мы по-прежнему бесконечно далеки от победы над Зоной. Однако нам удалось организовать сравнительно безопасные и эффективные мероприятия, обеспечивающие непрерывный и достаточно обильный поток новой информации из Зоны... Во всяком случае, жертв больше нет, и земная наука не успевает изучать и обрабатывать доставляемые из Зоны материалы... Мне кажется, что проблема сейчас лежит в совсем другой плоскости, относящейся скорее к компетенции не науки, а политики. Я имею в виду прежде всего безответственную и в конечном счете античеловеческую деятельность агенты туры военно-промышленных комплексов...

Диктор. Едва возникла Зона, как возникла новая профессия: космический браконьер, расхититель космической сокровищницы. У него нет никакого оборудования. Он знает, что идет на верную смерть. Он знает, что возвращается один из десяти. Один из пяти возвратившихся остается калекой на всю жизнь. У семи из десяти уцелевших рождаются дети-уроды. Он вне закона, он вне морали, но он снова и снова идет в Зону, потому что находятся люди, готовые заплатить огромные деньги за любой экспонат, неизвестный науке.

Ученый — директор военно-промышленного объединения «Альфа — Пегас». Наши лаборатории не имеют дело с космическими объектами, мы уважаем эмбарго ООН. Но лично я никогда не поддерживал этого эмбарго. Опыт показывает, что частные исследования сплошь и рядом оказываются более эффективными, нежели государственные и международные. Я признаю, конечно, что имеет место определенный риск, связанный с бесконтрольностью и прочими отрицательными факторами. Но не кажется ли вам, что ставка достаточно велика и оправдывает этот риск?

Д и к т о р. Ставка невообразимо велика: счастье людей, населяющих нашу планету. Именно поэтому мы не можем, не имеем права рисковать. Человечество защищается. Вокруг Зоны сооружается стена. Полицейские силы ООН днем и ночью патрулируют подступы к Зоне. Никакие меры не могут считаться слишком жестокими, когда речь идет о том, чтобы пресечь утечку космических сокровищ в жадные и нечистые руки. Зона принадлежит только человечеству в целом. Со всеми ее чудесами, жестокими и добрыми. Кто не знает легенды о Золотом Круге? Где-то в глубине Зоны, в мрачном ущелье, опутанном чудовищной паутиной, лежит огромный золотой диск. Тот счастливец и смельчак, которому удастся преодолеть тысячи смертельных опасностей и ступить ногой на этот диск, получит право на исполнение любого своего желания. Легенда? Сказка? Вот уникальные кадры, полученные искусственным спутником «Европа-711» с высоты сто двадцать километров. После получения этих кадров связь со спутником была утрачена... Но может быть, это и есть таинственный Золотой Круг? Машина, исполняющая желания...

Вагон электрички, битком набитый рабочими ночной смены. Виктор стоит в тамбуре, прижатый к двери, курит и смотрит, как за окном проносятся какие-то огни и отражения огней в мокром асфальте, подсвеченные снизу дымы за высокими кирпичными стенами, залитые ярким светом гектары, уставленные неподвижными автомобилями, фабричные трубы с гирляндами красных опознавательных огней... Электричка останавливается, угрюмые заспанные люди валом вываливаются на перрон, двери захлопываются, и электричка катит дальше. Теперь за окнами темно, и в грязноватом стекле с потеками отражается лицо Виктора и тлеющий огонек его сигареты.

Виктор выходит из пустого вагона на пустой перрон. Здесь — дождь. Блестит асфальт, блестят пустые скамейки. Электричка, блестящая и мокрая, срывается с места и скрывается в темноте. Виктор поглубже натягивает на лоб длинный козырек своей кожаной шапки и, ссутулившись, идет по перрону, шлепая прямо по лужам. Спускается с перрона и сворачивает в темноту, в мокрые кусты. Некоторое время он бредет напролом, кусты кончаются, начинается лес. Под ногами чавкает, вдалеке взвыла и затихла электричка. Однообразно шуршит дождь в ветвях над головой. Виктор идет уверенно — видно, что путь этот хорошо ему знаком. Лес обрывается внезапно, и, перепрыгнув через кювет, Виктор оказывается на заброшенном проселке. Шагах в десяти от него темнеет силуэт автомобиля. Это маленький вездеход вроде «лендровера» или «джипа».

Виктор подходит к машине, распахивает дверцу и садится рядом с водителем. Человек за рулем сразу же заводит двигатель и включает фары.

— Прямо вперед,— говорит Виктор.

Машина трогается.

Дорога скверная. Машина скачет и подпрыгивает на колдобинах, каскады воды из луж то и дело заливают ветровое стекло. Свет фар выхватывает из мокрой тьмы то наполненные водой колеи, то мокрые стволы деревьев, то верхушки телеграфных столбов с оборванными проводами.

— Меньше газу,— говорит Виктор.— Притормозите. Около того белого камня — направо.

Машина сворачивает и осторожно въезжает на покосившийся мостик. Свет фар скользит по крестам и обелискам заброшенного кладбища. Потом начинается заброшенный дачный поселок. Здесь давно уже никто не живет, аккуратные белые заборчики покосились, буйно разрослась сирень в палисадниках, окна домов заколочены, и только на окраине в одном из домиков желтеет освещенное окошко, в его свете мокнет под дождем развешенное белье, и здоровенный пес, задыхаясь от ярости, вылетает наперез машине и некоторое время мчится следом в вихре грязи из-под колес.

— Позаброшен дом наш,— декламирует водитель,— пуст он и покинут смелыми и верными, выросшими в нем...

— Помолчите,— сквозь зубы говорит Виктор.

Некоторое время они едут сквозь тьму и дождь молча, а потом впереди, за поворотом дороги появляется вилла:

крепкая фигурная решетка, домик привратника у запертых ворот, двухэтажное современное здание — стекло и бетон в стиле Райта, смутно белеют абстрактные скульптуры сквозь заросли. Нижний этаж здания залит светом.

— Остановитесь,— произносит Виктор.

Водитель удивленно поворачивает к нему лицо.

— Зачем?

— Остановитесь! — повторяет Виктор, чуть возвысив голос.

Водитель резко тормозит. Чехол с удочками и рюкзак валятся с заднего сиденья, а сачок падает водителю на голову.

— Ч-черт...— шипит водитель, выпутывая из сачка сбитые очки.

Виктор протягивает руку к рулю и дает короткий гудок. Сейчас же свет на вилле гаснет. Окрестность погружается во тьму. Где-то хлопает дверь, слышится веселое посвистывание и чавканье шагов по грязи. В отвесах фар возле водительской двери появляется мокрое веселое лицо, которое, впрочем, тут же недоуменно вытягивается.

— Пардон,— произносит человек из виллы.— Я думал, это за мной.

— За вами, за вами,— говорит Виктор.— Садитесь сзади.

— А, шеф, вы здесь... Прелестно. А кто же этот тип? По-моему, он в очках...

— Садитесь! Быстро!

Человек из виллы вваливается на заднее сиденье и принимается возиться там, пристраивая свой рюкзак.

— Надо вам сказать,— говорит он, чуть запинаясь,— я испытал некоторый шок. Откуда очки? Почему на моем шефе очки?..

— Вперед,— командует Виктор.

— Вперед и только вперед! — подхватывает человек из виллы.

Водитель, поджав губы, трогает машину.

— Очки — это признак интеллигентности! — объявляет человек из виллы.

Виктор произносит через плечо:

— Все-таки напился.

— Напился? Ни в коем случае. Я выпил. Я выпил, как это делает половина народонаселения. Другая половина — напивается, женщины и дети включительно. Ну и бог с ними. А я выпил. Направляясь на рыбную ловлю. Ведь мы направляемся на рыбную ловлю, а, шеф?..

...Машина с погашенными фарами стоит на проселке. Вокруг смутно виднеются мокрые кусты, но дождь прекратился. Виктор бесшумно выходит из машины и идет вперед, туда, где в конце проселка влажно поблескивает асфальт. Водитель тоже выходит, догоняет его и идет рядом.

— Зачем вы взяли этого пьянчугу? — говорит он.

— Ничего, — отзывается Виктор. — Он протрезвеет. Это я вам обещаю. — И, помолчав, добавляет: — А потом, его деньги ведь ничуть не хуже ваших...

Водитель быстро взглядывает на него, но не говорит больше ни слова. Они останавливаются на перекрестке и из-за кустов смотрят на заставу в сотне метров впереди по шоссе. В маленьком деревянном домике-временке горит одинокое окошко. Рядом в мертвом свете мощного прожектора чернеют два мотоцикла с колясками и патрульная машина. Вправо и влево от шоссе уходят в лес столбы с колючей проволокой.

— Они все спят, — шепчет водитель. — Разогнаться как следует и проскочить на полной скорости... Они и мигнуть не успеют.

— М-да... — говорит Виктор. — На полной скорости... Пошли.

Они возвращаются к машине. Водитель направляется было к своему месту, но Виктор молча отстраняет его и садится за руль сам. Водитель безропотно обходит машину и садится на место Виктора. Человек из виллы, дремавший на заднем сиденье, вскидывается.

— А? — зычно произносит он. — Приехали?

Виктор поворачивается и, взяв его пятерней за физиономию, с силой отталкивает назад. Человек из виллы ошеломленно таращит глаза, затем говорит шепотом:

— Понял... Понял...

Машина трогается, на малых оборотах выползает на шоссе, сворачивает и тихо, очень тихо, в полном соответствии со знаками, ограничивающими скорость, светящимися на обочине, катится мимо заставы. Когда она входит в луч прожекторной лампы, на черном мокром кузове ее видны надписи на разных языках: «ООН. Институт внеземных культур», «ЮНО. Институт ов Экстратерриториал Калчерз»...

Машина на бешеной скорости несется во тьме по широкому мокрому шоссе. Виктор с потухшим окурком в углу рта — за рулем. В отсветах фар поблескивают очки его соседа справа. Человек из виллы, весь подавшись вперед,

держится обеими руками за спинки передних сидений и напряженно смотрит на дорогу. Он заметно протрезвел.

Впереди в свете фар справа от дороги появляется огромный щит с флюоресцентными надписями на разных языках: «Внимание! До границы Зоны 300 метров», «Этенши! 300 митерз то зе Зоун лимитс»... Виктор сбрасывает газ и переключается на ближний свет.

Машина с потушенными фарами — горят одни подфарники — осторожно сползает с шоссе, вваливается в кювет, вылезает из него и, пофыркивая двигателем, вламывается в кусты. Она хрустит и ворочается в зарослях, как некое чудовище, потом двигатель затихает, гаснут подфарники, и голос Виктора произносит во тьме:

— Берите вещи. Выходите. И побыстрей.

Едва заметными тенями они отделяются от темной массы машины. Потом вдруг становится светлее — голубоватым бегущим светом озаряются низкие тучи, и теперь видно, что машина остановилась у подножья четырехметровой стены: верхняя кромка ее резко вырисовывается на фоне голубых сполохов. Потом где-то вдали глухо стучит пулеметная очередь, ей отвечает очередь поближе и более отчетливо.

— Стреляют... — сообщает человек с виллы.

— За мной, — командует Виктор, — рюкзаки нести в руках.

Он идет вдоль стены, время от времени наклоняясь и что-то разглядывая под ногами. Через минуту он опускается на колени и принимается расшвыривать кучу ветвей и листьев. Далекий пулемет за стеной бьет длинными очередями. Виктор садится на пятки, крепче ухватывает рюкзак. «За мной», — командует он и ныряет в подземный лаз, ведущий под стену.

— Прошу вас, Профессор, — говорит человек с виллы.

Профессор крепче насаживает на нос очки и опускается на четвереньки. Пулеметная очередь ударяет совсем близко. Человек из виллы втягивает голову в плечи и приседает.

— Интересно, в кого они стреляют? — бормочет он. — Ведь я еще здесь...

В тот момент, когда Виктор высовывает голову из кучи веток по ту сторону стены, слышится дробная серия хлопков, и в небо взлетает дюжина осветительных ракет. Становится светло, как днем.

Сразу за стеной — кочковатое ровное пространство, высохшее болото, торчат редкие прутьики. Дальше, шагах в двухстах, тянется железнодорожная насыпь.

Ракеты медленно опускаются. Виктор следит за ними, прищурившись. Цедит сквозь зубы:

— Ж-жабы...

Снова наступает тьма. И сейчас же откуда-то слева протягивается голубой луч прожектора. Прожектор далеко, но света от него достаточно, чтобы видеть, как Виктор торопливо выбирается из норы и, вытянув рюкзак, плашмя ложится на землю.

— Быстро! — шипит он. — Быстрее, быстрее!

Неуклюже выбирается Профессор, таща за собой свою поклажу, за ним из норы высовывается сначала рюкзак человека из виллы, а затем высовывается и сам он, но в эту секунду где-то совсем рядом грохочет пулемет, и голова человека из виллы поспешно снова прячется под землей.

— Да быстрее! Быстрее, ты! — шипит Виктор.

Когда человек из виллы выбирается наконец наружу, Виктор говорит вполголоса:

— Ползком за мной. Головы не поднимать, мешок держать так, слева. Не трусьте, они нас не видят. Если кого случайно зацепит, не орать, не метаться — увидят и убьют. Ползи назад, выбирайся на шоссе. Утром подберут. Все ясно?

— Я бы хлебнул... — тихонько говорит человек из виллы.

— Нельзя. Потом. Пошли.

И они ползут в призрачном рассеянном свете, прикрывая головы рюкзаками, и скоро их уже не разглядеть на поле, а пулеметы все постреливают, и то место, где они были минуту назад, вдруг вспарывает густая очередь.

Раннее утро, густой молочно-белый туман, видны только мокрые ржавые рельсы. Очень тихо. Потом из тумана доносится железное постукивание. Оно приближается, и вот сквозь него уже пробивается унылое посвистывание на какой-то веселый разбитной мотивчик.

Это дрезина. Впереди на платформе, свесив ноги, сидит Виктор с потухшим окурком на губе. Он напряженно вглядывается в туман перед собой. Рюкзаки свалены у него за спиной. Профессор и человек из виллы, оба грязные и встрепанные, качают рычаги дрезины. Веселый мотивчик

насвистывает человек из виллы. Свистит он чисто, красиво, мелодично и в такт движению рычага. Потом он обрывает свист и взглядывает на часы.

— Без десяти шесть,— говорит он хриловато.— И все время в гору...

Ему не отвечают.

— А вы в самом деле профессор? — не унимается он.

— Да,— отвечает Профессор.

— Меня зовут...— начинает человек из виллы.

— Его зовут Антон,— не оборачиваясь, громко говорит Виктор.

Человек из виллы потрясен этим сообщением, но молчит.

— Гм...— говорит Профессор.— А меня как?

— А тебя зовут Профессор,— отзывается Виктор.

— Меня зовут Профессор,— сообщает человек в очках.— И я профессор.

— Польщен,— говорит Антон, пытаясь шаркнуть ножкой.— А я — писатель, но все зовут меня почему-то Антон. Представляете, как неудобно?

— Известный писатель? — спрашивает Профессор.

— Нет. Модный. Видели мою виллу?

Некоторое время они молчат, усердно работая рычагом. Потом Виктор вдруг говорит: «Тихо!» Он наклоняется вперед, всматриваясь, и хватается за ручной тормоз.

Впереди из тумана надвигается что-то большое и темное, и дрезина останавливается в нескольких метрах от буферов товарного вагона.

— Приехали,— говорит Виктор и спрыгивает на шпалы.— Отдых.

— Ф-фу! — произносит Антон, распрямляясь.— Ну теперь-то мне можно хлебнуть?

На газете, расстеленной поверх платформы, стоят термосы с кофе, бутылка спиртного, развернуты пакеты со снедью. Все трое усердно жуют, прихлебывая кофе из складных стаканчиков. Теперь уже совсем светло, но туман пока не рассеялся, он такой же густой, как и раньше, только уже не молочно-белый, а зеленоватый. Но из всего окружающего мира видна по-прежнему только задняя стенка товарного вагона.

— Вы для меня оба новички,— говорит Виктор.— Я вас в Зоне не видел и ничего хорошего от вас не жду. Вы меня наняли, и я постараюсь, чтобы вы остались живы как можно дольше. А поэтому не извольте обижаться. В Зоне

церемониться некогда. Буду просто лупить чем попадая, если что не так...

— Только, пожалуйста, не по левой руке,— говорит Антон.

— А почему не по левой? — удивился Виктор.

— Она у меня сломана с детства. Я ее берегу.

— А...— Виктор усмежается.— А я думал — ты левша, пишешь левой. Ладно, буду по голове. Как она у тебя с детства?

— Уж очень вы с нами суровы, шеф,— говорит Антон и тянется к бутылке.

Но Виктор перехватывает бутылку, накрепко завинчивает пробку и сует бутылку в рюкзак.

— Хватит,— говорит он.

— Эхе-хе-хе-хе,— произносит Антон и наливает себе еще кофе.

— Тихо как,— говорит Профессор. Он задумчиво курит, откинувшись спиной на рычаг.

— Здесь всегда тихо,— говорит Виктор.— До пулеметов далеко, километров пятнадцать, а в Зоне шуметь некому.

— Неужели пятнадцать километров? — говорит Профессор.— Я и представления не имел, что можно так далеко углубиться...

— Можно. Углублялись. Сейчас вот туман рассеется, увидишь, как они тут углублялись.

Длинный скрипящий звук доносится вдруг из тумана. Все, даже Виктор, вздрагивают.

— Что это? — одними губами произносит побелевший Антон.

Виктор молча мотает головой. Он все еще прислушивается, но вокруг снова стоит ватная тишина.

— А может быть, это все-таки правда, что здесь... живут? — говорит Профессор.

— Кто? — презрительно говорит Виктор.

— Не знаю... Но есть легенда, будто какие-то люди остались в Зоне...

— Болтовня это, а не легенда,— обрывает его Виктор.— Никого здесь нет и быть не может. Зона это, понятно? Зона!

На протяжении этого разговора Антон вертит головой, переводя взгляд с одного на другого. Он все еще бледен, но постепенно успокаивается.

— Я, конечно, понимаю,— говорит он,— что Зона — это именно Зона, а не лоно, не два газона и не три, ска-

жем... э... бизона. Но на всякий случай я с собой кое-что прихватил.— Он похлопывает себя по заднему карману.

— Что прихватил? — Виктор уставился на Антона неподвижным взглядом.— Что ты там еще прихватил, голова два уха?

Антон продолжает многозначительно похлопывать себя по заду.

— Дай сюда,— говорит Виктор и протягивает руку.

— Зачем?

— Дай сюда, говорю!

Антон колеблется. Выражение многозначительного превосходства сходит с его лица. Он растерянно глядит на Профессора.

— В Зоне стрелять не в кого, дурак,— говорит Виктор.— Давай свою пушку.

— Не дам,— решительно говорит Антон, но сейчас же добавляет тоном ниже: — Мне нужно, понимаете, шеф?

— Понимаю,— говорит Виктор неожиданно мягко.— Только на самом деле ничего такого тебе там не понадобится. Если долбанет тебя по-настоящему, то ничего тебе уже не поможет. А если прикуют тебя или, скажем, прижмет, то я тебя вытащу. Мертвого — да, брошу. Ну, а живого — вытащу. Это я тебе обещаю. Зря денег не беру. Давай.

Антон нехотя вытаскивает из заднего кармана и протягивает ему крошечный дамский браунинг.

— Там всего один заряд,— бормочет он.— В стволе.

— Поня-атно...— Виктор выщелкивает патрон и небрежно бросает оружие на шпалы.— В Зоне стрелять нельзя,— говорит он поучительно.— В Зоне не то что стрелять — камень бросить иной раз опасно. А у тебя? — обращается он к Профессору.

— У меня на этот случай ампула...— говорит он виновато.

— Чего-чего?

— Ампула зашита. Яд.

Виктор ошеломленно крутит головой.

— Н-ну, ребята!.. Нет, этого я не понимаю. Вы что сюда — помирать пришли? — По-прежнему крутя головой, он соскакивает на шпалы.— Облегчиться никто не хочет? Смотрите, потом, может, и некогда будет... Или негде...

Он отходит от дрезины и сейчас же скрывается в тумане. Профессор смотрит на Антона, высоко задирая брови.

— А действительно, Антон, зачем вы сюда пришли? Модный писатель, вилла... женщины, наверное, на шею гроздьями вешаются...

— Этого вам не понять, Профессор, — рассеянно отзывается Антон, подбрасывая на ладони складной стаканчик. — Есть у писателей такое понятие: вдохновение. Так вот у меня это понятие есть, а самого вдохновения нет. Иду выпрашивать.

— То есть вы что же — исписались? — негромко говорит Профессор.

— Что? А, да. То есть у меня его никогда не было. Это неинтересно. А вы?

Профессор не успевает ответить. Появляется Виктор, на ходу оправляя комбинезон.

— Ч-черт, сбруя проклятая... — Он задирает голову. — Ага, вот скоро и пойдём. Укладывайтесь...

Тумана больше нет.

Слева от насыпи расстилается до самого горизонта холмистая равнина, совершенно безжизненная, погруженная в зеленоватые сумерки. А над горизонтом, расплываясь в ясном небе, разгорается жуткое, спектрально чистое зеленое зарево — неземная, нечеловеческая заря Зоны. И вот уже тяжело вываливается из-за черной гряды холмов разорванное на несколько неровных кусков раздутое зеленое солнце.

— Вот за этим я тоже сюда пришел... — сипло произносит Антон.

Лицо его зеленоватое, как и у Профессора. Профессор молчит.

— Не туда смотрите, — раздается голос Виктора. — Вы сюда смотрите.

Антон и Профессор оборачиваются.

Справа от насыпи тоже тянется холмистая равнина, но вдаль виднеются какие-то строения, торчит церквушка, среди холмов видна дорога. Насыпь здесь изгибается широкой дугой, и от последнего вагона, где стоят наши герои, хорошо видна голова состава. Этим составом доставлена была сюда когда-то танковая часть. Но что-то случилось там впереди: тепловоз и первые две платформы валяются под откосом; несколько следующих стоят на рельсах наперекосяк — танки с них сползли и валяются на боку и вверх гусеницами на насыпи и под насыпью. Десяток-другой машин удалось, видимо, благополучно спустить под насыпь; видимо, их даже пытались вывести на

дорогу, но до дороги они так и не дошли — остались стоять между дорогой и насыпью небольшими группами, пушками в разные стороны, некоторые почему-то без гусениц, некоторые вросшие в землю по самую башню, некоторые наглухо закупоренные, а некоторые — с настезь распахнутыми люками. Это было похоже на поле танковой битвы, но там были не сгоревшие остовы, не искореженные взрывами металлические коробки — машины были целы, если не считать сорванных гусениц у некоторых. Целы и безнадежно мертвы.

— А где же... люди? — тихо спрашивает Антон. — Там же люди были.

— Это я тоже каждый раз здесь думаю, — понизив голос, отзывается Виктор. — Я ведь видел, как они грузились у нас на станции. Я тогда еще мальчишкой был. Тогда все еще думали, что пришельцы нас завоевать хотят. Вот и двинули этих... стратеги... — Он сплевывает. — Никто ведь не вернулся. Ни одна душа. Углубились. Ну, ладно. Значит, общее направление у нас будет вон на ту церквушку... — Он протягивает руку, указывая. — Но вы на нее не смотрите. Вы под ноги смотрите. Я вам уже говорил и скажу еще раз. Оба вы дерьмо, новички. Без меня вы ничего не стоите, пропадете, как котята. Поэтому я пойду сзади. Идти будем гуськом. Путь прокладывать будете по очереди. Первым пойдет Профессор. Я указываю направление — не отклоняться, вам же будет хуже. Берите рюкзаки.

Когда они разобрали и подняли на плечи рюкзаки, Виктор снял дрезину с тормоза и, навалившись, сдвинул ее с места. Дрезина сначала медленно, потом все набирая скорость, постукивая все чаще на стыках, катится обратно. Все провожают ее взглядом.

— Пошла старуха, — с какой-то нежностью произносит Виктор. — Даст бог, еще послужит... Так, Профессор, первое направление — вон тот белый камень. Видишь? Пошел.

Профессор первым начинает спускаться с насыпи. Отпустив его на пяток шагов, Виктор командует:

— Как тебя... Антон! Пошел следом!

И, подождав немного, начинает спускаться сам.

Зеленое утро Зоны закончилось, растворилось в обычном солнечном свете.

Они уже довольно далеко отошли от насыпи и медленно, гуськом поднимаются по склону пологого холма. Насыпь отсюда видна как на ладони. Что-то странное про-

исходит там, над поверженными танками, над разбитыми платформами, над опрокинутым тепловозом: словно бы струи раскаленного воздуха поднимаются над этим местом, и в них время от времени вспыхивает и переливается яркая клочковатая радуга.

Но они не смотрят туда. Профессор идет впереди и перед каждым шагом настороженно высматривает место, куда поставить ногу. Антона мучает плохо уложенный рюкзак, но и он не вертит головой, хотя смотрит не столько под ноги себе, сколько под ноги профессору. Дистанцию он соблюдает плохо, но Виктор пока молчит. Взгляд его с привычной автоматической быстротой скользит от собственных ног к затылку Антона и затылку профессора, вправо от профессора, влево от профессора и снова к себе под ноги.

Профессор добирается до вершины холма, и Виктор сейчас же командует:

— Стой!

Профессор замирает на месте и осторожно приставляет поднятую было для следующего шага ногу. Они сбиваются в кучку, смотрят вниз. Ниже по склону, метрах в тридцати — сорока лежит обширная проплешина, начисто лишенная растительности, гладкая и даже отсвечивающая на солнце, как мутное стекло. Посередине ее красуется что-то вроде большой металлической лепешки, в которой только по вдавленным в проплешину лопастям можно узнать остатки вертолета.

— Господи,— произносит Антон, вытирая со лба пот.— Что это с ним?

— Гравиконцентрат,— объясняет профессор.

— Как вы сказали?

— Заткнитесь,— говорит Виктор.

Прищуренными глазами он внимательно разглядывает проплешину и ее окрестности. Он колеблется. Потом решительным движением запускает руку в набедренный карман и извлекает несколько гаек.

— Это область повышенной гравитации,— вполголоса втолковывает профессор Антону.— В этом месте сила тяжести в тысячи раз выше обычной...

Антон пораженно цокает языком, но, судя по всему, не очень хорошо понимает, о чем идет речь.

Виктор, нешироко размахнувшись, бросает гайку. Описав высокую дугу, она падает в десятке метров впереди.

— Идите за мной,— произносит Виктор.— Шаг в шаг.

Остановившись на месте падения гайки, он бросает вторую, целясь правее края проплешины. Несколько первых метров гайка летит по обычной дуге, а потом словно кто-то невидимый срывает ее с траектории, и она вкось, со страшной скоростью уходит влево по прямой и врезается в почву в метре от края проплешины.

— Ага! — удовлетворенно говорит Виктор. — Расползлась жаба.

И он бросает следующую гайку еще правее от проплешины. На этот раз гайка летит, как ей положено, и падает в тридцати шагах впереди.

— За мной, — командует Виктор. — Шаг в шаг.

Они переходят на место падения третьей гайки, причем Антон следует за Профессором в ногу, прижимаясь грудью к его рюкзаку и опасно косясь влево, на страшную проплешину.

Виктор кидает следующую гайку, забирая еще правее.

Проплешина осталась позади и выше.

— Теперь впереди Антон, — распоряжается Виктор. — Вон тот кустик видишь?

Профессор трогает его за рукав.

— Простите, Виктор. Могу я вас попросить...

— Ну?

— Разоритесь на одну гайку. Бросьте в самый центр.

— Зачем это тебе? — осведомляется Виктор подозрительно.

— Просто я хочу посмотреть. Никогда этого не видел. Только в кино.

— Хм... Что ж... Так ведь она до центра и не долетит, наверное...

— А вы киньте повыше.

Виктор выбирает гайку покрупнее и, размахнувшись, изо всех сил швыряет ее вверх в сторону проплешины. Им удастся проследить полет гайки только до верхней точки траектории. Потом она исчезает, в то же мгновение раздается громовой удар, и они хватаются друг за друга, потому что земля сильно вздрагивает под ногами, а по проплешине и раздавленному вертолету словно бы проходит какая-то рябь. Некоторое время все трое молчат. Затем Виктор произносит с досадой:

— Черт бы тебя драл с твоими опытами... Что тут тебе — институт, что ли, в самом деле? И я тоже, дурак битый, за тобой... Эй, как тебя... Антон! Направление на тот кустик — марш!

...Ведет Антон. Профессор, идеально выдерживая дистанцию и глядя себе под ноги, идет за ним. Виктор, ни на секунду не переставая смотреть по сторонам и под ноги, говорит в спину Профессору:

— У нас эту штуку называют «комариная плешь», а у вас как-то по-другому?

— Гравиконцентрат.

— И что это, по-вашему, такое, по-научному?

— Участок повышенной...

— Да нет. Не о том речь. Откуда это взялось? Как она работает?

— Этого никто не знает,— говорит Профессор.

— Вот и у нас никто не знает... А сколько народу на этих плешаках приковалось! Особенно в первое время. Каждый дурак думал: обойду, дескать, ее стороночкой, а его как швырнет на бок, и либо сразу расплющит, либо еще хуже, так и подыхает с голоду прикованный...— Совершенно механически он вытягивает в сторону левую руку и вдруг кричит:

— Стой!

Профессор послушно замирает, а Антон делает еще пару шагов и оборачивается, очень недовольный. Виктор стоит неподвижно, полузакрыв глаза, и шевелит пальцами вытянутой руки, словно что-то ощупывая в воздухе.

— Ну, что там еще, шеф? — брезгливо осведомляется Антон.

Виктор осторожно опускает руку и бочком-бочком придвигается ближе к Профессору. Лицо его напряженное и недоумевающее.

— Не шевелитесь...— хрипло говорит он.— Стоять на месте, не двигаться...

Антон испуганно озирается, втянув голову в плечи.

— Не шевелись, дурак! — севшим голосом шипит Виктор.

Они стоят неподвижно, как статуи, а вокруг — мирная зеленая травка, кусты тихонько колышатся под ветерком, и над всем этим яркое ласковое солнце. Потом Виктор вдруг говорит на выдохе:

— Обошлось... Пошли. Нет, погоди, перекурим.

Он присаживается на корточки и тянет из кармана пачку с сигаретами. Губами вытягивает сигарету и протягивает пачку Профессору, который присаживается рядом. Антон спрашивает с раздражением:

— Ну хоть подойти-то к вам можно?

— Можно,— отзывается Виктор, затягиваясь.— Подойти можно. Подойди.— Голос его крепнет.— Я тебе что говорил? (Антон останавливается на полпути.) Я тебе что говорил, дура? Я тебе говорю «стой», а ты прешься, я тебе говорю «не шевелись», а ты башкой вертишь... Нет, не дойдет он,— сообщает Виктор Профессору.

— У меня реакция плохая,— жалобно говорит Антон.— С детства. Дайте сигаретку, что ли...

— А реакция плохая — сидел бы дома,— говорит Виктор и протягивает ему пачку.

Они прежним осторожным аллюром движутся вдоль поваленной изгороди: Профессор — Антон — Виктор. Солнце уже поднялось высоко, на небе ни облачка, припекает. Слева — изгородь, справа — канава, наполненная черной стоячей водой. Очень тихо: не слышно ни птиц, ни насекомых. Только шуршит трава под ногами.

Антон приостанавливается, вытирает со лба пот, подбрасывает спиной рюкзак, прилаживая поудобнее, и засовывает большие пальцы за лямки. Через несколько шагов он начинает насвистывать, еще через несколько шагов наклоняется, подбирает прутик и идет дальше, похлопывая себя прутиком по ноге.

Виктор тяжелым взглядом наблюдает за его действиями. И когда Антон принимается своим прутиком сшибать пожелтевшие цветочки справа и слева от себя, Виктор достает из кармана гайку и очень точно запускает ее прямо в затылок модному писателю. Веселый свист обрывается тоненьким взвизгом, Антон хватается за голову и приседает на корточки, согнувшись в три погибели. Виктор останавливается над ним.

— Вот так вот оно и бывает,— говорит он.— Только вот взвизгнуть ты на самом деле не успеешь... В штаны не наложил?

Антон медленно распрямляется.

— Что это было? — с ужасом спрашивает он, ощупывая затылок.

— Это я тебе хотел показать, как бывает,— объясняет Виктор.— Неужели и тут не понял? Ну что, по морде тебе дать? Самоубийца...

— Не надо,— отвечает Антон, облизывая губы.— Понял.

Они бредут через свалку, по слежавшимся грудам мусора, мимо облупленных и ржавых ванн, расколотых унитазов, мимо покореженных автомобильных кузовов... блестит

битое стекло, валяется мятый электрический самовар, кукла с оторванными ногами, рваное тряпье, россыпи ржавых консервных банок...

Впереди опять идет Антон, лицо у него злое и напряженное, губы кривятся. Он шепчет сквозь зубы:

— Опять дерьмо... и опять дерьмо... и всюду дерьмо... и даже здесь дерьмо... дерьмо, и только дерьмо, и ничего, кроме дерьма, и да поможет мне бог! Аминь.

Посвистывает ветер, катит мятую бумагу, вздымает клубочки пыли. На небе появились облака, они временами закрывают солнце.

Идет Профессор, сосредоточенно глядя себе под ноги. Лицо у него спокойное и даже какое-то умиротворенное. Он меланхолично декламирует вполголоса:

— Кто знает, что ждет нас? Кто знает, что будет? И сильный будет, и подлый будет. И смерть придет и на смерть осудит. Не надо в грядущее взор погружать... Не надо в грядущее взор погружать.

Идет Виктор. Он ничего не шепчет. Он работает: взгляд прямо, взгляд вправо, взгляд влево, взгляд вниз... Время от времени он поднимает над головой руку и снова шевелит пальцами, словно бы что-то ощупывая в воздухе. Очень не нравится ему эта свалка.

И вот в равномерный шум ветра вмешивается новый, посторонний звук. Какое-то тиканье. Стрекотание какое-то. Виктор останавливается и наклоняет голову, прислушиваясь. Стрекотание постепенно усиливается, словно приближается.

— Стой! — командует Виктор.

Все замирают на месте. И вдруг слева, над кучками мусора возникает из ничего темный полупрозрачный вертящийся столб. Он похож на маленький смерч, но это не смерч. Он похож на «пылевого чертика», но это и не «чертик». Он неподвижно стоит, крутясь вокруг оси, над кучей битых бутылок, и от него исходит шуршащее металлическое стрекотание, как будто стрекочет гигантский кузнечик. Виктор, не шевелясь, только скосив глаза, наблюдает за ним. Призрачный столб вдруг сдвигается с места и, описывая замысловатую кривую, скатывается с кучи мусора и проходит между Антоном и Профессором.

— Стоять! Стоять! Не шевелиться! — хриплым шепотом кричит Виктор.

Крутящийся столбик на мгновение задерживается возле Профессора и легко уходит вправо в заросли пыльных

лопухов, тая, рассеиваясь, распадаясь на ходу. Стрекотанье, достигнув нестерпимо высокой ноты, обрывается.

Все стоят неподвижно. А вокруг снова тишина, только посвистывает ветер и шуршит мятая грязная газета, обмотавшаяся вокруг ноги Профессора.

— Вперед,— говорит Виктор и прокашливается.

Но двое впереди не двигаются.

— Погодите, шеф,— говорит Антон.— Ноги что-то шалят...

— Что это было? — спрашивает Профессор, не оборачиваясь.

Антон нервно хихикает, а Виктор говорит:

— Не знаю я... Было и прошло, и слава богу. Вперед, вперед! Скоро привал! — И шипит, озираясь: — Экое дрянное место!

Они расположились в тени церквушки на окраине поселка. Виктор разливает в протянутые стаканчики спиртное. Все выпивают и принимаются за еду.

— Как у вас аппетит, Профессор? — спрашивает Антон, с отвращением откусывая от крутого яйца.

— Признаться, тоже неважно,— отзывается тот.

— Пива бы сейчас,— вздыхает Антон.— Холодненького! В глотке пересохло.

Виктор сейчас же разливает еще по стопке. Он единственный из троих, кто ест и пьет с аппетитом. Профессор осторожно спрашивает его:

— Далеко нам еще?

Виктор долго молчит, а потом угрюмо отвечает:

— Не знаю.

— А по карте?

— А что по карте? Масштаба там нет. Стервятник обернулся за двое суток, так то Стервятник...

— Кто это такой — Стервятник? — спрашивает Антон.

Виктор усмехается, неторопливо закуривает.

— Стервятник — это, брат, не нам чета. Последний из стариков. С первых же дней начал, меня водил, когда я подрост. Большой был человек. Ас.

— А почему — был? — спрашивает Антон.

Виктор продолжает, как бы не слыша вопроса.

— И большая была сволочь. Сколько он новичков загубил! Уходили вдвоем-втроем, а возвращался один. Вот вам бы с ним сходить... — Он неприятно смеется, переводя взгляд с Профессора на Антона и обратно.— А впрочем, досюда вы бы и с ним дошли. Ладно! — обрывает он себя.—

Вы как хотите, а я приспну. Да не галдите здесь. И из тени не выходите.

Виктор спит, положив голову на рюкзак, а Профессор с Антоном, прислонившись спинами к кирпичной стене церкви, курят и беседуют.

— А что с ним все-таки случилось, с этим Стервятником? — спрашивает Антон.

— Он был единственным человеком, который добрался до Золотого Круга и вернулся, — отзывается Профессор. — Легенда существует много лет, но Стервятник первый подтвердил эту легенду. Вернувшись, он в два дня невероятно, невообразимо разбогател... — Профессор замолкает.

— Ну?

— А потом вдруг повесился.

— Почему?

Профессор пожимает плечами.

— Это какая-то темная история. Он собирался снова идти к Золотому Кругу, вдвоем с нашим Виктором. Виктор пришел к нему в назначенное время, а тот висит, и на столе карта и записка с пожеланием всяческих успехов.

Антон с сомнением смотрит в сторону похрапывающего Виктора.

— А может быть, наш шеф его... того?

— Все может быть, — легко соглашается Профессор.

Некоторое время они молча курят.

— А как вы полагаете, Профессор, этот самый Золотой Круг — действительно Машина Желаний?

— Стервятник разбогател. Он всю жизнь мечтал быть богатым.

— И повесился...

— И повесился. Тут нет никакого противоречия. Просто на самом деле человек никогда не знает, чего он хочет. Человек — существо сложное. Голова его хочет одного, спинной мозг — другого, а душа — третьего... И ни один человек не способен в этой каше разобраться.

— Это верно, — говорит Антон. — Это очень верно вы говорите. Давеча вот я сказал вам, что иду сюда за вдохновением... Вранье это. Плевал я на вдохновенье...

Профессор с любопытством смотрит на него. Антон, помолчав, продолжает:

— Нет, это не объяснить. Может быть, и в самом деле за вдохновеньем. Откуда я знаю, как назвать то, чего я хочу? И откуда мне знать, что я действительно не хочу того, чего я не хочу? Это какие-то чертовски неуловимые

вещи: стоит их назвать, и они пропадают... Как тропическая медуза — видели? В воде волшебный цветок, а вытащишь — комок мерзкой слизи... А вы тоже не знаете?

— Не знаю. Знаю только, что надо многое менять, что так дальше продолжаться не может... Нет, не знаю. Иду за знанием.

— Во многие знания — многие печали... — бормочет Антон.

— Тоже верно, — со вздохом говорит Профессор. — Давайте считать, что я иду ставить эксперимент — чисто, точно, однозначно... Просто научный эксперимент, связанный с неким фактом. Понимаете?

— Нет, — говорит Антон. — По-моему, фактов не бывает. Особенно здесь, в Зоне. Здесь все как-то выдуманно. Чья-то бесовская выдумка... Нам всем морочат голову. Кто — непонятно. Зачем — непонятно...

— Вот и хотелось бы узнать: кто и зачем.

— А кому это надо? Надо ведь совсем другое. Что толку, если вы и узнаете? Чья совесть от этого станет чище? Чья совесть от этого заболит? Чья душа найдет покой от этого?

Антон безнадежно машет рукой и отбрасывает окурок. Потом он смотрит на сладко похрапывающего Виктора.

— А он зачем идет? Какие у него такие желания, что он не может их исполнить там, дома?

— Не знаю, — медленно говорит Профессор. — Но ему очень надо добраться до Золотого Круга. Я давно его знаю, это интересный человек, необычный человек...

— Не знаю, что в нем такого необычного, — возражает Антон, — но человек он надежный, положиться на него можно. Он нас доведет, такое у меня впечатление...

Профессор искоса смотрит на него, лицо у него такое, словно он хочет что-то сказать, но раздумывает: стоит ли. Затем он аккуратно гасит окурок и устраивается прилечь.

— С добычей вернулся — счастье, — говорит он вдруг. — Живой вернулся — удача. Патрульная пуля — везенье, а все остальное — судьба.

— Это еще что за унылая мудрость? — озадаченно спрашивает Антон.

— Фольклор.

— А что из этого фольклора следует?

— По-моему, — отвечает Профессор, — вы все время забываете, друг Антон, что мы находимся в Зоне. В Зоне ни на кого нельзя полагаться.

Антон нервно зевает и озирается.

— Позвольте! — восклицает вдруг он. — Что за притча? Солнце — вон оно, а тень...

— Что? — откликается Профессор. — А... Да. С тенями здесь тоже бывает... Давайте-ка поспим немного.

Профессор и Антон спят под стеной церквушки. Виктор открывает глаза. Некоторое время лежит, прислушиваясь. Затем быстро и бесшумно поднимается, мягко ступая, выходит из тени и выглядывает из-за угла церкви. Шагах в ста перед ним начинается главная улица мертвого поселка, совершенно пустая, залитая веселым ярким солнечным светом. Потом он так же бесшумно возвращается и останавливается над спящими. Какое-то время он внимательно разглядывает их по очереди. Лицо у него сосредоточенное, глаза прищурены, взгляд оценивающий. Наконец, покусав нижнюю губу, он негромко командует:

— Подъем!

Они вступили на гладкую улицу поселка. Ведет Антон. Дома по сторонам улицы наполовину обвалились, заросли колючкой, зияют выбитыми окнами. Уцелевшие стены покрыты пятнами и потеками. Но попадаются и абсолютно целые, новенькие с иголки дома. Они кажутся только что построенными, чистенькими, с промытыми окнами, словно в них никогда никто еще не жил. Словно они только еще ожидают жильцов. Вот только с телевизионными и радиоантеннами на этих домах не все ладно. Они обросли как бы рыжеватым растрепанным мочалом, свисающим иногда до самой земли. Налетающие порывы ветра раскачивают эти странные лохмотья, и тогда слышится тихое электрическое потрескивание.

Улица круто поворачивает, и Антон вдруг останавливается, поворачивается к своим спутникам и растерянно произносит:

— Там машина какая-то... И двигатель у нее работает...

— Не обращай внимания, — говорит Виктор. — Он уже двадцать лет работает. Лучше под ноги гляди и держись середины...

Действительно, слышен звук работающего двигателя, и они проходят мимо стоящего у обочины совершенно новенького, как с конвейера, грузовика. Двигатель его работает на холостых оборотах, из глушителя вырывается и стелется по ветру синеватый дымок. Но колеса его по ступицы погружены в землю, сквозь приоткрытую дверцу и дно кабины проросла тоненькая березка.

Они стоят посредине улицы перед новым препятствием. Когда-то, вероятно, в самый день Посещения, огромный грузовоз тащил по этой улице на специальном прицепе длинную, метрового диаметра трубу для газопровода. Грузовоз врезался в двухэтажный дом слева и обрушил его на себя, превратив в груды кирпичей. Труба скатилась с прицепа и легла слегка наискосок, перегородив улицу. Вероятно, тогда же сорвались и упали поперек улицы телеграфные и телефонные провода. Теперь они совершенно обросли рыжим мочалом. Мочало висит сплошным занавесом, перегородив проход. Пройти можно только сквозь трубу. Жерло трубы черное, закопченное какое-то, и дом справа, на который оно открыто, весь обуглен, словно он горел пожаром, и не один раз.

— Это что — сюда лезть? — спрашивает Антон, ни к кому не обращаясь.

Труба длинная, двенадцатиметровая, и дальний конец ее еле просматривается сквозь заросли мочала.

— Прикажу, и полезешь, — холодно говорит Виктор. — А ну, принеси несколько кирпичей, — приказывает он Профессору.

Профессор переходит улицу, набирает в охапку пяток кирпичей из разрушенного дома и молча складывает их у ног Виктора.

— Ну-ка, отойдите. — Виктор берет кирпич и, далеко отведя руку, швыряет его в жерло трубы, а сам отскакивает.

Слышно, как кирпич грохочет и лязгает внутри трубы. Подождав немного, Виктор швыряет второй кирпич. Грохот, дребезг, лязг. Тишина.

— Так, — произносит Виктор и медленными движениями отряхивает ладони. — Можно. — Он поворачивается к Антону. — Пошел.

Антон пытается улыбнуться, но у него только дергаются губы. Он хочет что-то сказать, но только судорожно вздыхает. Он достает из-за пазухи плоскую фляжку, торопливо отвинчивает колпачок, делает несколько глотков и отдает фляжку Профессору. Лицо у Профессора каменное. Антон вытирает рукавом губы и стаскивает рюкзак. Глаза его не отрываются от лица Виктора. Он словно ждет чего-то. Но ждать нечего.

— Ну? Все остальное — судьба? — произносит он, и ему наконец удается улыбнуться.

Он делает шаг к трубе, и тут Виктор берет его за плечо.

— Погоди,— говорит он.— Дай-ка еще разок на всякий случай.

Он стаскивает рюкзак, берет в руки сразу три кирпича и с натугой швыряет их в жерло. Грохот, лязг... и вдруг что-то глухо бухает в глубине трубы. Со свистящим воем из жерла вырывается длинный язык коптящего пламени и ударяет в многострадальный обуглившийся дом. Дом снова загорается.

— За мной! Быстро! — дико ревет Виктор и, схватив рюкзак, ныряет в еще дымящееся жерло.

Они стоят у противоположного конца трубы, закопченные, рваные, взлохмаченные. Рюкзаки валяются под ногами. Профессор тщательно протирает очки. Антон осторожно дует на обожженные ладони. Виктор, быстро стреляя по сторонам прищуренными глазами, сосет окровавленный палец, торчащий из дыры в перчатке. Правый рукав комбинезона у него начисто сгорел, тускло отсвечивает серебристый материал панциря...

— Ладно,— хрипло говорит он.— Одной жабой меньше...

И снова они идут посередине улицы. Ведет Профессор. Небо совсем закрылось облаками, тяжелыми, низкими, медлительными. Здесь по сторонам улицы почти не осталось целых домов, а мостовая покрыта обширными цветными пятнами неправильной формы, которые они осторожно обходят.

Они идут мимо бывшего дома, от которого остался только нижний этаж, а стен нет вовсе. По-видимому, здесь было какое-то учреждение: желтеют деревом шкафы, набитые папками, стоят канцелярские столы, а на столах — гроссбухи, счетные машины, на одном — пишущая машинка с заправленным листом бумаги. Вся эта обстановка выглядит так, как будто служащие несколько минут назад вышли на обеденный перерыв и скоро вернутся.

Они уже почти миновали этот странный дом, как вдруг совершенно невероятный здесь, абсолютно невозможный здесь звук заставляет их остановиться и замереть в неподвижности.

Звонит телефон.

Медленно, со страхом, не доверяя собственным ушам, они оборачиваются. Телефон звонит — резкими, пронзительными звонками неравной длины. Он стоит возле пишу-

щей машинки — маленький невзрачный аппарат серого цвета.

Это первый случай за весь поход, когда старый профессионал Виктор явно и бесстыдно растерялся. Он совершенно не понимал, что происходит и как следует поступать.

И тут Профессор вдруг, не говоря ни слова, широко шагая, устремляется к дому. Он взбегаёт по ступенькам крыльца, проходит между столами и берет трубку.

— Алло! — говорит он.

Квакающий голос в трубке раздраженно осведомляется:

— Это два — двадцать три — тридцать четыре — двенадцать? Как работает телефон?

— Представления не имею, — отзывается Профессор.

— Благодарю вас. Проверка.

В трубке короткие гудки отбоя. Профессор пальцем нажимает на рычажок и оглядывается на Виктора. Тот озадаченно чешет за ухом. Тогда Профессор поворачивается к ним спиной и быстро набирает номер. Через некоторое время в трубке звучит женский голос:

— Да-да, я слушаю...

— Здравствуй, Лола, — говорит Профессор. — Это я.

— Филипп, боже мой! Куда ты запропастился? Нет, в конце концов у меня когда-нибудь лопнет терпение! Вчера я вынуждена была идти одна, меня все спрашивают, а я как дура не могу ответить на простейшие вопросы, и эта шлюха смеется мне прямо в лицо, как гиена... и мне нечего ей сказать! Все эти старухи торчат около меня весь вечер, изображают сострадание... Ты будешь когда-нибудь обдумывать свои поступки? Я не говорю уже о себе, я прекрасно понимаю, что тебе на меня наплевать, но надо же все-таки немножко думать, как это выглядит со стороны...

Пока она говорит, плечи у Профессора ссутуливаются, и на эти сутулые плечи, на шкафы, на мостовую, на все вокруг начинает падать снег. Профессор медленно отнимает трубку от уха и кладет ее на рычажки. Затем он поворачивается. Лицо у него обычное.

— Может быть, еще кто-нибудь хочет позвонить? — спрашивает он.

Его спутники молчат.

Они уже почти достигли окраины поселка. Снег прекратился, на мостовой лужи, снова проглядывает солнце. Здесь, на окраине, почти все дома целы, и даже нет зловещего мочала на антеннах и карнизах.

— Стой! — командует вдруг Виктор. — Переждать придется, сучье вымя, в самую точку угодили, как назло... Снимай рюкзаки. Перекур.

Он смотрит на часы, смотрит на солнце. Он очень недоволен. Антон и Профессор недоуменно переглядываются, снимая рюкзаки, а между тем впереди, закрывая крайние дома поселка, возникает поперек улицы туманная дымка.

— А в чем, собственно, дело? — осведомляется Антон.

— Садись, кино будем смотреть, — отзывается Виктор, садится на рюкзак и достает сигареты.

Туман впереди еще сгущается, и вдруг перед ними возникает, закрыв весь горизонт, необычайно яркая по краскам и глубине панорама.

Целый мир раскинулся перед ними, странный полужаночный мир. У самых ног их — спокойная поверхность то ли озера, то ли пруда. На пологом берегу, на мягкой траве сидит, поджав под себя ноги, молодая женщина, голова ее опущена, длинные волосы, почти касающиеся воды, скрывают ее лицо. За ее спиной — зеленые округлые холмы под необычайно ярким лазоревым небом, вдали виднеется темно-зеленая стена леса. На верхушке ближайшего холма врыт покосившийся столб с бычьим черепом, надетым на верхушку. Под столбом сидит, вытянув по траве ноги в лаптях, седой как лунь, старец, лицо у него почти черное, как старый мореный дуб, глаза под белыми пушистыми бровями слепые, корявые руки покойно сложены на коленях. А пониже старца сидит на камушке полуголый кудрявый мальчик и наигрывает на свирели. Видно, как надуваются и опадают его румяные щеки, как пальцы ловко бегают по отверстиям в дудочке, но ни одного звука не доносится из этого мира. У ног мальчика коричневым бугром дремлет огромный медведь, и еще один лениво вылизывает переднюю лапу, развалившись поодаль. Над тростником, окаймляющим часть пруда, трепещут синими крыльями стрекозы.

— Рерих, — спокойно произносит Профессор. — Рерих-старший. Очень красиво.

Виктор бросает на него короткий взгляд и поворачивает лицо к Антону. Тот, весь подавшись вперед, с полуоткрытым ртом, замороженно и не отрываясь впитывает в себя эту чудную картину. Потом он поворачивается к Виктору — глаза у него совсем безумные.

— Что это? — спрашивает он. — Где это?

Виктор сплевывает.

— А черт его знает,— говорит он.— То ли где-то, то ли когда-то.

— Вы видели это раньше?

— Вот это — нет. Да картинки все время разные...

— Значит, это картинка...

— Н-ну, можно сказать и картинка...— уклончиво отвечает Виктор.

Взгляд его становится настороженным: теперь он смотрит только на Антона. Тот бормочет, как в лихорадке:

— Как же так — картинка?.. Нет, врешь, врешь...

Опять врешь... Это же покой, тишина... тишина...

И тут Профессор, жалостливо наморщась, подбирает с мостовой камушек...

— Стой! — яростно кричит Виктор.

Но уже поздно. Камушек, описав дугу, падает в воду в двух шагах от девушки. Всплеск. Девушка поднимает голову, отводит волосы с прекрасного лица. По гладкой воде расходятся круги. Девушка, слегка сведя брови, с некоторым удивлением, но без всякого страха разглядывает грязных, оборванных, закопченных людей и снова опускает голову. Мир «по ту сторону» начинает таять, завлакиваться дымкой и исчезает. Впереди снова пустая унылая улица с мертвыми домами.

Антон сидит на своем рюкзаке, бессильно уронив руки, и плачет. Виктор поворачивается к Профессору и, злобно гримасничая, стучит себе костяшками пальцев по лбу. Тот растерянно бормочет:

— Я думал, это мираж... Я был уверен...

— Уверен, уверен...— злобно повторяет Виктор.— Ты уверен, а он теперь — видишь? Что с ним теперь делать?

Оба они смотрят на Антона. Антон молча плачет. Виктор вдруг дико орет:

— Подъем!

Профессор вздрагивает и хватается за рюкзак, а Антон медленно поднимает залитое слезами лицо к Виктору и говорит с отчаянием:

— Сволочь ты, не пустил меня туда... Чтоб ты сдох, гадина, чтоб ты сгнил...

Виктор, тяжело вздохнув, с размаху бьет его по лицу. Антон кубарем летит с рюкзака, но сейчас же поднимается. У него кровь на лице, но он смотрит на Виктора по-прежнему с ненавистью.

— Бери рюкзак! — рычит Виктор.— Вперед!

— Не пойду.

Виктор бьет его в живот, по голове сверху, хватая за волосы, распрямляет и хлещет по щекам.

— Пойдешь, пойдешь!..— цедит он сквозь зубы.

Профессор пытается схватить его за руку, Виктор, не глядя, бьет его локтем в нос, сшибает очки...

— Пойдешь, пойдешь...— бормочет он.

От последнего страшного удара Антон снова летит на землю и лежит, скорчившись. Виктор, тяжело дыша, смотрит на него сверху вниз, потуже натягивает перчатки. Антон со стоном поднимается и садится, упираясь руками в мостовую.

— Ну, очухался? — неожиданно мягко говорит Виктор.— Вставай, пойдём, время идет...

Антон отрицательно мотает головой.

— Сгинешь здесь, дурачок,— мягко говорит Виктор.

— Это не твоё дело,— отвечает Антон. Он вытирает лицо, смотрит на ладонь.— Я тебе больше не верю, шеф,— спокойно говорит он.— Уходи с богом. Профессор, вы ему не верьте. Он знает зачем нас с собой взял?

— Догадываюсь,— говорит Профессор. Он нервно курит, руки его дрожат. Одного стекла в его очках нет.

— Он нас взял, чтобы мы для него ходили через огонь,— говорит Антон.— Мы для него отмычки, живые тральщики. Ты зачем нас взял, шеф, а? Польстился на наши две сотни, уважаемый проводник? А?

Виктор присаживается напротив него, закуривает.

— Слушай, ты,— говорит он.— Это Зона. Здесь всегда так было и всегда так будет. Ты пойми: если ты со мной пойдешь, то, может быть, и вернешься живой. А если останешься, то верная смерть. Ты что же, надеешься этого своего покоя дожидаться? Не дождешься. Он, может быть, в следующий раз только через сто лет снова появится...

— Не твоё дело,— говорит Антон.— Дождусь.

— А может, и никогда не появится. А со мной пойдешь, будет тебе Золотой Круг, проси все, что хочешь... Покой хочешь? Тишину? На тебе тишину, на тебе покой...

Антон сплевывает тягучую слюну.

— Золотой Круг, говоришь? — медленно произносит он.— А почему это Стервятник повесился, а, шеф?

— Стервятник-то здесь при чем? Ты ж не Стервятник!

— Нет, ты нам скажи: почему Стервятник повесился?

— Потому что сволочь он был,— резко говорит Виктор.— Убийца, дрянь! Потому что он не за богатством к Золотому Кругу пошел, он за братом своим пошел, а его жадность одолела...

— Ну?

— Что — ну? Он брата своего загубил единственного, мальчишку! Повел его в Зону и подставил где-то... Ушел вдвоем, вернулся один. Его совесть замучила. Он потом себя совсем потерял. Вот и пошел за братом, брата пошел вернуть, а когда дошел, натура его поганая свое взяла... Ведь Золотой Круг только одно желание выполняет. Дошел до него — получай награду, но только одну. Еще чего-нибудь хочешь — снова иди... Он же дрянь был, понимаешь? Дрянь!

— Понима-аю,— говорит Антон, нехорошо улыбаясь.— Это я все понимаю. Тут и понимать нечего. А ты мне скажи, почему он повесился? Почему он снова к Золотому Кругу не пошел? За братом. А?

— Этого я не знаю,— угрюмо говорит Виктор.

— А я знаю! — вкрадчиво произносит Антон.— И ты знаешь, только признаться себе боишься...

Он рывком поднимается и оттаскивает свой рюкзак к стене ближайшего дома.

— Уходите от меня к черту! — говорит он.— Я здесь остаюсь. Ждать буду. Сто лет ждать буду. Сдохну здесь, а к вам не вернусь. Ничего там у вас не осталось. Ни добра, ни любви, ни дружбы. Только подлость и гниль. Я думал — вдохновенье. Я думал — шедевры. Профессор! Ничего этого нет! Понимаете? Нет! Потому что писать — это мерзко. Я не могу больше. И не хочу. Это постыдное, гнусное занятие, все равно что чирьи выдавливать перед зеркалом! А они требуют: пиши, пиши еще, пиши! Ты обязан, ты должен... Хватит. Сами теперь пишите. Я покоя хочу. Мне больше ничего не надо. Покоя и свободы от сволочей! Уходите.

Виктор и Профессор, горбясь под тяжестью рюкзаков, медленно уходят вдоль улицы. Антон смотрит им вслед. А может быть, и не им вслед. Может быть, он ждет, что вот-вот снова появится мир покоя и тишины. И он видит, заранее напрягаясь, как улица заволакивается дымкой, и он уже делает судорожный шаг вперед, но тут в дымке возникают очертания чего-то совсем другого: гигантские многоэтажные здания, отсвечивающие стеклом, потоки машин, толпы спешащих пешеходов, вспыхивающие рекламы... И, уже не дожидаясь, пока этот ненужный, ненавистный мир сформируется окончательно, Антон поворачивается к своему рюкзаку. И замирает, увидев то, чего не замечал раньше.

В десятке шагов у стены — груда каких-то лохмотьев, из-под которой виднеются белые кости и жутко усмехается белый череп, и рядом — полуистлевший ранец.

Тогда он торопливо расшнуровывает свой рюкзак и вытягивает из него бутылку.

Виктор и Профессор идут по проселочной дороге. Поселок давно остался позади. Дорога покрыта тончайшей пылью, при каждом шаге пыль взлетает и некоторое время висит в неподвижном воздухе. Очень жарко, впереди над дорогой ходят марева.

Справа вдоль дороги тянется ветхая полусгнившая изгородь, за изгородью — поле, заросшее сильно засоренной пшеницей.

Потом они видят пролом в изгороди. И рубчатые следы гусениц, протянувшиеся от пролома к дороге и дальше по дороге вперед.

— Ага,— произносит Виктор.— Вот они, значит, где прошли.

— Кто? — спрашивает Профессор.

— Эти, ваши... Ну, экспедиция от вашего института... Ну, ты должен знать. Полгода назад они отправились и пропали...

Профессор останавливается.

— Милованович? — ошарашенно спрашивает он.— Группа Миловановича?

— Ну, это тебе виднее, чья это была группа, а я все думал: каким же путем они шли и где сгнули? Теперь понятно... Ну, досюда они во всяком случае дошли... Углубились. Ладно, посмотрим, где их пришлепнуло.

И они идут дальше по рубчатым следам гусениц.

Они стоят у развилки. Одна дорога идет вверх по склону пологого холма, а другая огибает этот холм слева и пропадает за ним. Рубчатые следы ушли по левой дороге.

— Вот досюда я в последний раз дошел,— с удовольствием говорит Виктор.— Стою, как дурак, и не понимаю, что дальше делать. У Стервятника на карте одна дорога, а здесь — две. Стою и не могу. Ни прямо не могу, ни влево. Ну, а раз не могу, значит, нельзя. И повернул я оглобли.

— Милованович пошел влево,— нерешительно говорит Профессор.

— И сгинул! — подхватывает Виктор.— Значит, нам куда идти? Постой, впереди пойду я. Не нравится мне этот холмик, все равно не нравится...

С вершины холма хорошо видно место, дальше которого не смогла пройти экспедиция Миловановича. Это мост через глубокий овраг. Нижняя дорога ведет через этот мост и скрывается за кучами деревьев на другой стороне оврага.

Профессор и Виктор смотрят туда, прикрывая глаза от солнца. На лице Профессора выражение ужаса и горестного изумления, а на лице Виктора — что-то вроде мрачного злорадства.

Группа Миловановича идет на трех гусеничных машинах. Передняя машина — обычный военный бронетранспортер, остальные две — вездеходы, оборудованные под походные лаборатории. Людей не видно, только из командирского люка передней машины торчит, высунувшись по пояс, сам Милованович — сухощавый пожилой человек в рубашке цвета хаки с засученными рукавами, черный, горбоносый, с толстыми усами, которые, как у гайдука, опускаются ниже подбородка.

Передняя машина подкатывает к мосту, Милованович оборачивается и, подняв руку, подает водителю следующей машины какой-то знак пальцами. Бронетранспортер вкатывается на мост, проходит его на малой скорости, выбирается на противоположный берег оврага, и сейчас же на мост выкатывается вторая машина, несущая над кузовом матово отсвечивающий белый купол в несколько метров поперечником, а за ней следует третья машина с огромным вращающимся локатором... Все три машины одна за другой бодро бегут по дороге и словно растворяются в воздухе вместе с поднятой ими пылью, а через мгновение вновь одна за другой появляются на прежнем месте перед мостом. Горбоносый, черный, как ворон, Милованович оборачивается и, подняв руку, подает какой-то знак пальцами, машины, одна за другой, перекачиваются через мост, исчезают, подобно призракам, и вновь появляются на прежнем месте перед мостом, и снова Милованович поднимает руку... и снова, и снова, и снова.

— В петлю, значит, угодили,— произносит Виктор.— На Красной Горке тоже такое местечко есть, Дикобраз туда вляпался, так уже десяток лет вот так крутится...

— Бедняга Милованович...— горестно бормочет Профессор.— Какой ученый был... какая судьба...

— Чего там судьба,— пренебрежительно возражает Виктор.— Зато они всех нас переживут... Мы подохнем, дети наши помрут, а они так и будут крутиться, и хоть бы

хны... Они же там ничего не понимают и знать ничего не знают... знай себе прутся через мост, и каждый раз это им в новинку... Ну, нечего сопли распускать. Вперед!

Справа маслянисто-черное болото, слева маслянисто-черное болото. Они идут по полусгнившей хлюпающей гати. Над болотом медленными волнами колышатся испарения. Видно шага на четыре, не больше. Виктор идет впереди. Оба они дышат тяжело, видно, что изрядно устали. Профессор еле плетется, спотыкаясь на каждом шагу.

Потом Виктор вдруг останавливается, будто налетев на невидимое препятствие. Он стоит совершенно неподвижно, осторожно поводя носом из стороны в сторону. Профессор останавливается рядом и опирается на жердь, еле переводя дух.

— Ну... что такое? Почему... стоим? — спрашивает он.

— Молчи... — тихо говорит Виктор.

Он делает движение шагнуть, но остается на месте. Запускает руку в набедренный карман, вытаскивает гайку, делает движение замахнуться, но не замахивается. Гайка падает из его руки. Лицо его бледно до зелени, покрыто потом.

— Н-нет, — бормочет он. — Не могу...

Растопырив руки, он пятится, оттесняя Профессора назад. Потом он, не глядя, отбирает у Профессора жердь и тыкает в болото рядом с гатью.

— Так-то оно будет вернее... — сипит он. — А ну, давай за мной...

Он осторожно слезает с гати и сразу проваливается выше колен.

— Зачем? — жалобно спрашивает Профессор. Он очень устал.

Виктор не отвечает. Ощупывая перед собой дорогу жердью, он все круче забирает в сторону от гати.

Они измотаны до предела и облеплены грязью. Туман совсем сгустился. Они бредут по пояс в чавкающей жиже, то и дело падая, погружаясь с головой, отплевываясь и кашляя. Остановиться нельзя, трясина засасывает.

Вдруг Профессор проваливается по шею, пытается вырваться и лечь плашмя, но у него ничего не получается, и он из последних сил кричит:

— Виктор... помогите!

Виктор оборачивается. Самый неподдельный ужас изображается на его лице.

— Ты к-куда? — хрипло кричит он и, расплескивая грязь, бредет к Профессору. — Рюкзак! Рюкзак сбрось!

Профессор мотает головой, торчащей над поверхностью жижи.

— Жердь! — сипит он. — Протяни жердь!

— Бросай рюкзак, тебе говорят!

— Же... — Профессор уходит в болото с головой, снова выныривает и ревет страшным голосом: — Жердь давай, скотина!

Он пытается схватиться за протянутую жердь, промахивается, потом ощупью находит ее и вцепляется обеими руками.

Солнце. Раскаленная кремнистая пустошь. Вдали желтые отвалы породы, торчит задранный ковш брошенного экскаватора. Виктор и Профессор сидят в тени домика, вернее — вагона, снятого с осей: когда-то здесь располагалась контора хозяйства, разрабатывавшего карьер.

Передавая друг другу бутылку, они тянут спиртное и вяло переругиваются.

— Ну и потонул бы, как крыса, — ворчит Виктор. — И меня бы с собой утянул...

— Нечего было в трясины лезть, — огрызается Профессор.

— Это не твоего ума дело — куда мне лезть...

— Вот и мешок этот — тоже не твоего ума дело...

— Да что у тебя там — золото, что ли?

— Нет, это просто уму непостижимо! — произносит Профессор. — Идем по прекрасной ровной дороге. И вдруг он лезет в болото!

— Чутье у меня, ты это можешь понять или нет? Чутье на смерть!

— Оставьте меня в покое со своим чутьем. Это просто чудо, что мы выбрались.

— Вот чудак очкастый! — Виктор хлопает себя по коленям. С него осыпаются ошметки засохшей грязи.

— Мои очки — это тоже не ваше дело. Вы и так меня наполовину ослепили.

— Тебя не ослепить, тебя жердью этой надо бы между ушей! Это надо же, из-за пары грязных подштанников чуть в рай не отправился! Дай сюда бутылку...

— При чем здесь подштанники?

— Ну, что там у тебя в мешке? Ну, консервы... Из-за банки консервов...

— Вы, между прочим, тоже свой рюкзак не сбросили.

— Я, во-первых, не тонул, это раз. А во-вторых, у меня там запасной панцирь! На всякий случай...

Профессор машет безнадежно рукой, кладет рюкзак на бок и ложится, положив на него голову. Виктор закури-вает, оглядывает местность. Затем тоже ложится на спину, ворочается и достает из-под себя ржавую консервную банку. Вертит ее перед глазами.

— Стервятник закусывал...— произносит он и отбрасывает ее от себя.— Вот ведь сволочь, ничего на болоте не указал, а там что-то есть... Может быть, конечно, потом появилось, после него...

— Слушайте, Виктор,— подает голос Профессор, не раскрывая глаз.— Что, Стервятник — единственный человек, который дошел до Золотого Круга?

— Да. Других не знаю.

— А вы знаете таких, которые шли, но не дошли?

— Знаю кое-кого... Я и сам ходил и не дошел.

— А за чем они шли?

— Кто за чем... В основном за деньгами, конечно.

— А вы?

Некоторое время Виктор неприязненно молчит.

— У меня дела свои... семейные...

— Как у Стервятника?

Виктор резко поднимается и смотрит на Профессора. Но тот лежит с закрытыми глазами, покойно сложив руки на груди.

— Ты меня со Стервятником не ровняй,— произносит Виктор угрожающе.

Профессор молчит.

— Ты Стервятника не знал, в глаза не видел,— говорит Виктор, снова укладываясь,— и меня ты не знаешь. Так что нечего нас ровнять.

— Никто никого не знает,— говорит Профессор, не открывая глаз.

— Почему?

— Потому что век наш весь в черном,— говорит Профессор.— Он носит цилиндр высокий, и все-таки мы продолжаем бежать, а затем, когда бьет на часах бездействия час и час отстраненья от дел повседневных, тогда приходит к нам раздвоенье, и мы ни о чем не мечтаем.

— Это еще что за молитва? — презрительно говорит Виктор.

— Это святой Аполлинер.

— А? А-а... Ну, я не верующий.

— Но в Золотой Круг поверили?

— Так Золотой Круг... Как же не поверить? Одна надежда на него... Ты же и сам поверил, хотя и ученый...

— Да, я поверил. Я вообще склонен верить в страшные сказки. В добрые нет, а в страшные — да...— Профессор вдруг поднимается.— А вам никогда не приходило в голову, что будет, когда поверят все? Когда они все сюда кинутся, тысячами, сотнями тысяч...

— Ну и что? И сейчас многие верят, да поди доберись!

— Доберутся, дружок, доберутся. Один из тысячи, а доберется. Стервятник ведь добрался... А Стервятник еще не самый плохой человек. Бывают люди пострашнее... Им не золото нужно, и семейных дел у них никаких нет. Они будут мир исправлять, голубчик! Всех людей на свете переделывать по своей воле... Вы представьте только, сколько их среди нас, все эти несостоявшиеся императоры всея земли, фюреры всех мастей, великие инквизиторы, фанатики, благодетели человечества, просто сумасшедшие... Думали вы об этом?

— Нет,— ответил Виктор презрительно.— Плевать я на них хотел.

— Напрасно. Вы о них не думаете, но они-то о вас думают. Вы представьте себе на минутку, что вы нашего писателя довели-таки до Круга... Ведь он же всех ненавидит, ведь у него идеал какой — пустая зеленая земля, тишина и покой, кладбище... Я думаю, что он и сам это понял. Поэтому он и остался...

Некоторое время они молчат. Виктор задумчиво сковывает с себя ошметки засохшей грязи.

— Нет,— говорит он.— Не знаешь ты людей, Филипп, поэтому и философию разводишь. Он, конечно, может и придет к Золотому Кругу, чтобы всю землю переделать, да ничего у него не выйдет, потому что на самом деле на землю ему плевать, а нужна ему баба, водка нужна и денег побольше... ну, в крайнем случае, чтобы у его начальника морда через пупок проросла... Фанатизмы все эти, фюреры — откуда все это берется? Либо его бабы не любят, либо желудок плохо варит и изо рта у него воняет, вот он и бесится. Вот ты — зачем идешь?

Профессор криво усмехается.

— Н-ну, не ради баб, во всяком случае.

— Да я и сам знаю, что не ради баб. Научное что-нибудь? В экспедицию тебя не взяли, вот ты и решил им всем доказать. И правильно. Правильно! Понимаешь? Не мир переделывать пришел, а свои личные дела поправить, открытие какое-нибудь сделать, чтобы все ахнули. Вот, мол, оказывается у нас Филипп-то какой, дать ему мировую премию! Так?

— Ну, допустим...

— Да не допустим, а так это все и есть! Что я зря, что ли, в вашем институте два года жалованье получал? Я вас всех как облупленных знаю... Хочешь — скажу, что у тебя там в рюкзаке?

Профессор тщательно протирает единственное стекло своих очков.

— Ну, скажите, — произносит он, не поднимая лица.

— Приборы какие-нибудь! Анемометры, понимаешь, радиометры, амперметры, вариометры... Вы же из-за них задавиться готовы. Стервятник из-за золота, а вы из-за этих своих железок с циферблатами! Понаставишь все это свое добро на Золотой Круг и начнешь показания снимать, и ничего тебе кроме этого не надо... Ну, угадал? Потонуть ведь был готов, но не бросил...

Профессор надевает очки и с вызовом смотрит на него.

— Угадали, но не совсем. Это экспресс-лаборатория. Автомат.

Виктор смеется, очень довольный.

— Ну, автомат. Какая разница? Телеметрия, значит, еще лучше. Вернешься домой, натянешь белый халат, а оно тебе отсюда все само передает... Так что ты мне тут не философствуй, старичок. Все мы люди, все мы одним миром мазаны. Ты, понимаешь, на Золотом Круге можешь счастья человечеству пожелать, но Золотой-то Круг — он только СОКРОВЕННЫЕ желания выполняет!

Они идут через кремнистую пустошь, направляясь к желтым отвалам карьера, к задранному, красному от ржавчины ковшу экскаватора. Профессор идет впереди. Он сильно прихрамывает и опирается на жердь.

Они стоят на краю карьера и смотрят вниз, и на грязных их лицах мерцают желтые отблески от Золотого Круга.

Слева — пологий спуск в карьер, разбитый гусеницами и колесами грузовиков. У начала спуска стоит, покосившись на груде выветрившейся породы, экскаватор с задраным ковшом.

— Другого спуска нет, — говорит Виктор. — Здесь кругом «комариные плечи» и всякая другая дрянь...

Профессор вытирает лицо дрожащей ладонью.

— А если попробовать с обрыва, на веревке?

— Я же тебе объясняю, чудак: нельзя. Верная смерть.

Они говорят тихо и даже как-то равнодушно — уста-

лые, вымотанные вконец люди, изнемогающие под беспощадным солнцем.

— А здесь — не верная?

— А здесь — пятьдесят на пятьдесят.

Профессор снова вытирает лицо и смотрит в сторону спуска. Широкая дорога, избитая гусеницами и колесами грузовиков. Ничего страшного, ничего угрожающего.

— А что здесь — огонь, ток?

— Не знаю, — говорит Виктор. — Знаю только, что первый проходит пятьдесят на пятьдесят, а второй — на все сто.

— Это как там, в трубе?

— Примерно.

Профессор смотрит на Виктора.

— Значит, ты для этого меня и взял?

— Да.

Профессор отводит глаза и снова смотрит на спуск.

— А если я не пойду?

— Тогда я тебя убью, — спокойно говорит Виктор. Профессор криво усмехается. — Тебя убью, — продолжает Виктор, — а экспресс-лабораторию твою измельчу на кусочки. Это тебе мое слово.

Профессор медленно стягивает рюкзак и расстегивает клапан. Обнажается верхняя часть массивного цилиндра, тускло отсвечивающего металлом на солнце. Там нет ни циферблатов, ни шкал. Только диск наподобие телефонного в центре верхнего днища.

Профессор медленно набирает четырехзначный номер. Раздается тихий щелчок.

— Ну, положим, такую штуку на кусочки не измельчишь... — замечает он.

— Ничего, я уж постараюсь, — говорит Виктор. — Ты уж мне поверь. У меня с собой, между прочим, на всякий случай динамитная шашка. Вот уж не думал, не гадал, для какого дела она мне понадобится...

Профессор выпрямляется.

— Насчет пятьдесят на пятьдесят, — говорит он, — ты, конечно, врешь...

Виктор мотает головой.

— Нет, — говорит он. — Если Стервятник не наврал, то и я не наврал.

Профессор, теперь уже не отрываясь, смотрит на спуск.

— Глянуть смерти в лицо, — бормочет он, — сами мы не могли. Нам глаза завязали и к ней привели... Может быть, хоть жребий бросим все-таки?

— Нет. Жребий мы бросать не будем. Это не игра. Это вы все в игры играете, а мне нельзя. У меня дочка калека. Я по Зоне ходил, а она за это расплачивается. Ребенок. Дразнят ее. И ничего нельзя сделать. Все, что приносил, на докторов ухлопал. Все без толку. Они уже и не обещают ничего. У меня это последняя надежда. Мне рисковать нельзя. Иди, Филипп, иди. Не бойся. Все обойдется. Иди.

Профессору очень страшно. Он делает несколько шагов к спуску, и видно, как у него подгибаются ноги. Потом он останавливается и стоит, понурив голову. Виктор вынимает из кармана нож и, заведя руку за спину, щелкает выскочившим лезвием.

— Это больно? — спрашивает Профессор, не оборачиваясь.

— Нет, — говорит Виктор. — Нет! И не почувствуешь ничего... Да что я говорю — ничего с тобой не будет! Иди, старик, иди!

И Профессор идет. Сначала медленно, спотыкаясь на колдобинах, затем все быстрее и быстрее, и вот он уже бежит, выставив перед лицом согнутую руку.

Виктор отворачивается. Глаза его крепко зажмурены, кулак с зажатым в нем ножом он прижимает ко рту, голова его втягивается в плечи. Несколько секунд он еще слышит за спиной удаляющееся буханье подкованных сапог Профессора, а потом этот звук внезапно обрывается, и раздается короткий сдавленный вопль. Виктор прижимает к ушам ладони, и к его ногам падают и вдребезги разбиваются очки.

Некоторое время он стоит неподвижно, затем осторожно отводит ладони от ушей.

Тишина. Нет, не совсем тишина. Слышится слабое тиканье. Виктор нагибается, подбирает оправу, зажимает ее в кулаке и осторожно оборачивается.

На спуске — никого. И ничего. А тиканье все громче. Это тикает экспресс-лаборатория, торчащая из развязанного рюкзака Профессора. В злобе и отчаянии Виктор пинает ее сапогом, и она тяжело заваливается набок. Ждать больше нечего.

Поминутно утирая единственным уцелевшим рукавом залитое потом лицо, Виктор начинает спускаться в карьер. Губы его беззвучно шевелятся, глаза полузакрыты. Он похож на одержимого. Он и есть одержимый.

Увязая по щиколотку в белом песке, он бредет по дну карьера и подходит к краю огромного желто-сверкающего диска. Не задерживаясь, он ступает на него, и нога его

проваливается, и он бредет по золотой пленке, оставляя за собой черные рваные дыры, не переставая что-то беззвучно твердить, шевеля губами, полузакрыв глаза и откинув голову назад... И он сходит на песок и идет по песку, а в карьере сгущаются сумерки, а он все идет по песку, и карьер погружается во мрак, и слышится скрип, словно отворяется деревянная дверь, и шорох шагов по песку сменяется стуком каблуков по камню, и в сером свете Виктор поднимается по лестнице и вступает на лестничный пролет своего дома. Здесь все тот же режущий яркий свет лампы без плафона, грязноватая лестница, уродливая карикатура на стене, и только пьяный в цветастом шарфе теперь уже не стоит, а сидит в том же углу, широко раскинув ноги, бессильно уронив голову на грудь.

Трясущейся рукой Виктор отпирает дверь своей квартиры и входит в пустую прихожую, распахивает дверь в гостиную и останавливается на пороге.

Жена стоит у стола и смотрит на него, а рядом с нею стоит девочка-калека, опершись на костылики и высоко подняв острые плечи, косолапо поставив тоненькие больные ноги, и тоже смотрит — не на него, а немного мимо, сквозь черные очки.

Он сразу сникает. Опустив голову, он неловко стягивает с себя рюкзак и бросает его на пол. И рюкзак лопается во всю длину, и из прорехи извергается на пол поток золотых монет вперемешку с обандероленными пачками банкнот.

Он тупо смотрит на эту кучу, и жена его с окаменевшим лицом смотрит на эту кучу, и только девочка смотрит черными очками куда-то в сторону.

Они молчат. И в тишине слышно нарастающее тиканье. Это тиканье вдруг прерывается, и ослепительный свет заливают окна. Виктор и его жена, вскрикнув, закрывают лица руками, а девочка быстро поворачивает голову к окнам. Свет за окнами меркнет, и страшный удар сотрясает дом. С лязгом и дребезгом вылетают стекла, распахиваются рамы, и в опустевших проемах видно, как над черными силуэтами домов вспухает, раздувается гнойным пузырем огненный гриб атомного взрыва.

И тогда Виктор опускает взгляд на свой сжатый кулак и разжимает пальцы. Черная искореженная оправа очков соскальзывает с его ладони и падает на поток золота, еще продолжающий медленно изливаться из прорехи в рюкзаке.

Отель «У Погибшего Альпиниста»

«Как сообщают, в округе Винги близ местечка Мюр опустился летательный аппарат, из которого вышли желто-зеленые человечки о трех ногах и восьми глазах каждый. Падкая на сенсации бульварная пресса поспешила объявить их пришельцами из Космоса...»

(Из газет)

По обеим сторонам дороги тянулась нетронутая снежная долина, стиснутая отвесными скалами, — сизые, жуткого вида иззубренные гребни казались нарисованными на сочно-синей поверхности неба. Впереди уже был виден отель — приземистое двухэтажное здание с плоской крышей. Уютный дымок белой свечкой упирался в небо.

Солнце било в ветровое стекло, весело отражалось от приборов и наполняло машину душным зноем. Водитель открыл ветровик, и сейчас же стал слышен трескучий рев, словно шел на посадку спортивный биплан. Водитель едва успел подать машину вправо, как огромный мотоцикл с ревом пролетел мимо, залепив стекла ошметками снега, так что водитель успел разглядеть только тощую, согнутую в седле фигуру, развевающиеся черные волосы, торчащий, как доска, конец красного шарфа и еще одну фигуру — лыжника, в ярком свитере, несущегося следом на туго натянутом блестящем тресе. Искрящееся снежное облако поднялось над дорогой, заволакивая солнце.

Перед зданием отеля водитель остановил машину, вылез и снял темные очки. Отель был уютный, старый, желтый с зеленым. Над крыльцом красовалась траурная вывеска «У Погибшего Альпиниста».

С крыши свисали мутные гофрированные сосульки толщиной в руку. Огромный мотоцикл остывал у крыльца, рядом, на снегу, валялись кожаные перчатки с раструбами.

Водитель извлек из машины тяжелый портфель и направился к крыльцу. Высокие ноздреватые сугробы вокруг крыльца были утыканы разноцветными лыжами. Одна лыжа была с ботинком. Водитель остановился, внимательно оглядел лыжи, выдернул одну из сугроба, подержал на весу и воткнул обратно в снег. Потом он повернулся к двери и остолбенел.

В дверном проеме у самой притолоки, упираясь ногами в одну филёнку, а спиной — в другую, висел невесть откуда взявшийся молодой человек. Поза его при всей неестественности казалась вполне непринужденной. Он глядел на водителя сверху вниз, скалил длинные желтоватые зубы и отдавал по-военному честь.

— Здравствуйте,— сказал водитель, помолчав.— Вам помочь?

Незнакомец мягко спрыгнул вниз и, продолжая отдавать честь, стал во фронт.

— Честь имею,— сказал он.— Разрешите представиться: старший лейтенант от кибернетики Симон Симоне.

— Вольно,— сказал водитель.

Они пожали друг другу руки.

— Собственно, я физик,— сказал Симоне.— Но «от кибернетики» звучит почти так же плавно, как «от инфантерии». Получается смешно!..— И он неожиданно разразился ужасным рыдающим хохотом, в котором чудились сырые подzemелья, невыводимые кровавые пятна и звон ржавых цепей на прикованных скелетах.

— Что вы делали там, наверху? — осведомился водитель, преодолевая некоторую оторопь.

— Тренировался,— объяснил Симоне, любезно распахивая перед водителем дверь.— Я ведь альпинист...

— Погибший? — сострил водитель и сейчас же пожалел об этом: на него вновь обрушилась лавина замогильного хохота.

Они вошли в холл.

— Неплохо, неплохо для начала,— проговорил Симоне, вытирая глаза.— Я чувствую, мы с вами подружимся...

В сумрачном холле тускло отсвечивали лаком модные низкие столики, на одном негромко мурлыкал транзистор, а рядом, развалившись в креслах, неподвижно застыли давешний мотоциклист и лыжник. Лыжник оказался румяным гигантом, этаким белокурым викингом, а что касается мотоциклиста, то это было на редкость тощее гибкое существо, то ли мальчик, то ли девочка. Маленькое бледное личико было наполовину скрыто черными очками. К губе прилипла потухшая сигарета.

— Тс-с-с! — сказал Симоне, понизив голос и подмигивая.— Вам сюда... Жду в бильярдной. Играете?..

И Симоне на цыпочках вышел из холла.

Инспектор отогнул портьеру, вышел в коридор и толкнул дверь с табличкой «Контора». В залитой солнцем ком-

нате, небрежно опираясь на тяжелый сейф, стоял с дымящейся сигарой невообразимо длинный, очень сутулый человек в черном фраке с фалдами до пят. У него был галстук бабочкой и благороднейших очертаний лицо с печальными водянистыми глазами и аристократическими брыльями. Рядом с сейфом, положив морду на лапы, лежал великолепный сенбернар, могучее животное ростом с теленка.

А за столом сидел лысый коренастый человек в меховом жилете поверх ослепительной нейлоновой рубашки. У него была грубая красная физиономия и шея борца-тяжеловеса.

— Разрешите представиться,— сказал человек в жилете.— Алек Сневар — владелец этого отеля, этой долины, близлежащих гор и ущелий... Господин Мозес — наш гость.

Господин Мозес улыбнулся и покивал, тряхнув брыльями.

— Очень рад,— сказал водитель сухо.

Господин Мозес понимающе развел руками, и сигара вдруг исчезла из пальцев его левой руки и оказалась в пальцах правой. Водитель растерянно мигнул, но тут же решил, что это ему показалось.

— Не буду вам мешать,— сказал господин Мозес, направляясь к дверям.— Боже! — воскликнул вдруг он, и взгляд его просветлел.— Какая прелесть! Где вы это взяли, сударь? — Он схватил водителя за лацкан, и в пальцах у него вдруг оказалась маленькая фиалка. Он посмотрел на водителя, удовлетворенно рассмеялся и вышел.

— У вас занятые постояльцы,— заметил водитель, усаживаясь в кресло.

— О, да! — сказал хозяин многозначительно.— За обедом вы их всех увидите.— Он раскрыл громоздкий гробсбук и принялся сосредоточенно оскабливать ногтями кончик пера.— Итак?

— Я инспектор полиции Петер Глебски,— сказал водитель.— Что тут у вас случилось?

Хозяин поднял на него удивленные глаза.

— Простите?..

— Вы вызывали полицию?

— Я?! — пораженный хозяин даже приподнялся со стула.

— Та-ак... — протянул инспектор.— Понятно... Лыжи у вас никто топором не рубил и шины у автомобилей не протыкал?

— Помилуйте, инспектор! — вскричал потрясенный хозяин. — Это какая-то ошибка!..

— Ясно. — Инспектор поглядел на часы и подтянул к себе телефонный аппарат. — Вижу, что ошибка. — Он набрал номер. — Капитан? Это инспектор Глебски. Я прибыл на место и рад сообщить, что здесь ничего не произошло... Да, ложный вызов... Слушайте, дружище, я охотно верю, что вы проверяли, и тем не менее... Что? Да, это было бы неплохо, но для того чтобы этого типа оштрафовать, надо его сначала выловить... Что? — Он снова посмотрел на часы. — Нет, скоро стемнеет, а дорога дрянь. Завтра? Часам к двум... Хорошо... Какая-какая настойка? Ах, вот как... Ладно. Привет.

Он повесил трубку и откинулся в кресле, с наслаждением вытянув ноги.

— Насколько я понимаю, — сказал хозяин с достоинством, — кто-то из моих гостей...

— Увы, — сказал инспектор.

— Я приношу глубочайшие извинения, господин инспектор, — сказал хозяин, прижимая руку к жилету. — У меня нет слов...

— И не надо, — сказал инспектор добродушно. — Я, знаете ли, давно уже вышел из того возраста, когда огорчаются ложному вызову. С удовольствием проведу у вас вечер и ночь за казенный счет. Что это у вас тут за знаменитая эдельвейсовая настойка?

— Господин инспектор! — торжественно произнес просиявший хозяин. — Мои подвалы — к вашим услугам! — Он захлопнул грессбух и приказал: — Лель! В шестой номер багаж господина инспектора!

Сенбернар поднялся, цокая когтями по линолеуму, подошел к портфелю, взял его в зубы и вынес в коридор.

У себя в номере инспектор симметрично расположил на лакированной поверхности стола чернильный прибор и пепельницу, рассеянно огляделся, подошел к окну и закурил сигарету. За окном расстилалась долина, снежный покров был чист и нетронут, как новенькая накрахмаленная простыня. Солнце стояло еще высоко, синяя тень отеля лежала на снегу, и видны были тени двух людей на крыше — один сидел, а другой неподвижно стоял рядом. Потом тень сидящего шевельнулась — человек поднял руку с бутылкой, основательно присосался, запрокинув голову, и вдруг сделал резкое движение. Пустая бутылка пролетела мимо окна и бесшумно канула в сугроб. Инспек-

тор усмехнулся, раздавил в пепельнице окурочек и прошел в спальню.

Там он оглядел себя в зеркало, поправил галстук, причесался и опробовал несколько выражений лица, как-то: рассеянное любезное внимание, мужественная замкнутость профессионала, простодушная готовность к решительно любым знакомствам и ухмылка типа «гы-ы». Ни одно выражение не показалось ему подходящим, поэтому он не стал далее утруждать себя, сунул в карман сигареты и вышел в коридор.

В коридоре было пусто. Откуда-то доносилась музыка, резкие щелчки бильярдных шаров и рыдающий хохот лейтенанта от кибернетики.

На лестничной площадке инспектор столкнулся с незнакомым человеком, который по железной чердачной лестнице спускался, по-видимому, с крыши. Он был гол до пояса и лоснился от пота, лицо у него было бледное до зелени, обеими руками он прижимал к груди ком смятой одежды.

— Неужели до сих пор загорали? — удивился инспектор. — Этак и простудиться недолго...

Не дожидаясь ответа, он пошел вниз. Странный человек топал по ступенькам следом.

— Да ничего! — проговорил он хриловато. — Выпью вот, и ничего.

— Вы бы оделись, — посоветовал инспектор. — Вдруг там дамы...

— Да. Натурально. Совсем забыл.

Странный человек остановился и принялся напяливать рубашку, а инспектор прошел в буфетную, где пышная горничная, с лицом миловидным и порядком глупым, подала ему кофе и тарелку с холодным ростбифом. Странный человек, уже одетый и уже не такой зеленый, присоединился к нему.

— Бренди, господин Хинкус? — спросила горничная.

— Да, — сказал господин Хинкус.

— Ваш приятель не пьет? — осведомился инспектор из вежливости.

— Какой приятель? — спросил господин Хинкус, наливая себе рюмку.

— Ну, вы же там не один?..

— Где? — отрывисто сказал Хинкус, осторожно поднося ко рту полную рюмку.

— На крыше.

Рука у Хинкуса дрогнула, бренди потекло по пальцам.

Он торопливо выпил, потянул носом воздух и, вытирая рот ладонью, сказал:

— Почему не один? Один...

Инспектор с удивлением посмотрел на него.

— Странно,— сказал он.— Мне показалось, что там вас двое.

— А вы перекреститесь, чтоб не казалось,— грубо сказал Хинкус, наливая себе вторую рюмку.

— Что это с вами? — холодно спросил инспектор.

Некоторое время Хинкус молча смотрел на полную рюмку, потом сказал:

— Так. Неприятности. Могут быть у человека неприятности?

— Да, конечно,— сказал инспектор смягчаясь.— Прошу прощения.

Хинкус хлопнул вторую рюмку.

— Послушайте,— сказал он.— А вы не хотите позагорать?

— Какое там — загорать! Солнце вот-вот сядет...

— Воздух там хорош,— сказал Хинкус как-то жалобно.— И вид прекрасный. Вся долина как на ладони... Горы... А?

— Я лучше сыграю в бильярд,— сказал инспектор.

Хинкус впервые посмотрел ему прямо в лицо маленькими больными глазками, потом завинтил колпачок, взял бутылку под мышку и направился к двери.

— Смотрите не свалитесь с крыши,— сказал инспектор через плечо.

Хинкус задержался в дверях, оглянулся, молча покачал головой и вышел.

Ориентируясь по стуку бильярдных шаров, инспектор прошел по мягкому ковру коридора и оказался в столовой. Там было темно, только из бильярдной через приоткрытую дверь падала узкая полоска света. В этой полоске стоял хозяин. Лицо его выражало какое-то недоумение, нижняя челюсть отвисла, мохнатые брови были высоко задраны. Он с таким увлечением рассматривал что-то в бильярдной, что даже не услышал, как инспектор подошел вплотную к нему. Инспектор кашлянул. Хозяин быстро повернул голову, закрыл рот и несколько смущенно улыбнулся.

— Феноменально... — пробормотал он.— Я... я о господине Олафе... Никогда не видел таких игроков...

Не переставая смущенно улыбаться, он боком отошел от инспектора, пересек столовую и скрылся в коридоре. Из

бильярдной доносились хлесткие трески удачных клапшто-сов и досадливые возгласы Симоне. Инспектор тоже заглянул в щель. Ни Олафа, ни Симоне видно не было. У стены стояло кресло, а в кресле уютно расположилась женщина ослепительной и странной красоты. Ей было лет тридцать, у нее были нежные, смугло-голубоватые открытые плечи и огромные томно полузакрытые глаза. В высоко взбитых роскошных волосах сверкала диадема. Инспектор приосанился и вошел в бильярдную.

В бильярдной было полно народу. Красный и взъерошенный Симоне жадно пил содовую. Румяный викинг Олаф, добродушно улыбаясь, неторопливо собирал шары в треугольники. На подоконнике, поставив рядом с собой бутылку с яркой наклейкой, сидело с ногами давешнее существо — не то мальчик, не то девочка — странное чадо XX века. Устроившись в кресле неподалеку от прекрасной дамы, господин Мозес рассеянно развлекался колодой карт — пускал ее веером из руки в руку. Завидев инспектора, он благосклонно покивал и сказал роскошной женщине:

— Ольга, позволь представить тебе нашего нового друга — господина инспектора полиции Петера Глебски.

Инспектор поклонился сначала госпоже Ольге, а потом всем прочим.

— Какая прелесть! — пропела Ольга, широко раскрывая глаза. — Я обожаю полицию! Этих героев, этих смельчаков... Вы ведь смельчак, инспектор?

Повинуясь приглашающему жесту Олафа и стараясь держаться непринужденно, инспектор взял кий и принялся мелить наклейку.

— Увы, мадам, — сказал он. — Я обыкновенный полицейский чиновник...

— Не верю, — сказала мадам, закатывая глаза. — Человек с такой внешностью не может не быть героем и смельчаком!..

— А вы знаете анекдот про полицейского инспектора, который сел на кактус? — ревниво спросил Симоне. — Он тоже приехал по ложному вызову...

— Ах, Симоне, перестаньте, — сказала мадам, не поворачивая головы. — Все равно вы не знаете ни одного приличного анекдота... Инспектор, покажите, что вы настоящий мужчина — разбейте наконец этого противного Олафа.

— Ольга, — сказал господин Мозес, — с твоего позволения я откланяюсь... Господа, пусть победит сильнейший!

Он вышел. Инспектор улыбнулся Олафу в ответ на его приветливую улыбку и разбил пирамиду. Тут Симоне вдруг улегся на пол в неглубокой, но широкой нише и, упираясь руками и ногами в края ниши, полез к потолку.

— Симоне! — в ужасе воскликнула госпожа Мозес. — Что вы делаете! Вы убьетесь!

В ответ Симоне заклекотал, повисел некоторое время, все больше наливаясь кровью, потом легко спрыгнул на пол и отдал ей честь.

— Ну, Олаф, — сказал он, чуть задыхаясь, — молитесь! Вот теперь я сделаю из вас бифштекс.

— Трепло, — кратко сообщило с подоконника чадо XX века, а Олаф, внимательно рассматривая наклейку на своем кие, заметил:

— Бифштекс — это еда.

— Вот я и сделаю из вас еду! — заявил Симоне, бросая страстные взгляды на госпожу Мозес.

— Зачем? — спросил Олаф.

— Чтобы съесть! — гаркнул Симоне.

— Обед через два часа, — заметил Олаф, посмотрев на часы.

— Я не могу больше разговаривать с этой игровой машиной! — жалобно заревел Симоне, хватаясь за голову.

Госпожа Мозес залилась серебристым смехом, чадо на подоконнике бросило окурочек на пол и закурило новую сигарету, а Олаф улыбнулся и, почти не целясь, с треском залепил шар в лузу через все поле.

— А по-моему, мы очень хорошо с вами беседуем, — сказал он. — Вы очень хороший собеседник, Симоне. — Он прицелился и закатил еще один шар. — Но бифштекс — это все-таки еда. И сделать из меня зайца вы не можете, хотя и обещали. И разукрасить меня, как бог черепаху, тоже нельзя. Бог вообще не красил черепах. Они серые...

Он неторопливо шел вокруг стола и, не переставая говорить, забивал шар за шаром — тихие, аккуратные шары, и шары стремительные, как выстрел, и шары, влезающие в лузы по каким-то фантастическим траекториям. С каждым ударом лицо инспектора все больше вытягивалось, госпожа Мозес ахала и ужасалась, а Симоне застонал и, обхватив руками голову, уселся в углу.

— С ума сойти, какая женщина! — заявил Симоне, отряхивая рукава. — Вы заметили, как она на меня смотрела?

— Никак она на вас не смотрела, — возразил инспектор.

Они шли по коридору из бильярдной, направляясь по своим номерам. Оба были возбуждены игрой и перепачканы мелом.

— Что вы понимаете! Вы старый полицейский тюфяк! Вы приходите с работы и идете гулять с собачкой... У вас есть собачка?

— У меня есть собачка. Но госпожа Мозес смотрела все-таки на меня и говорила, что я герой.

— Э, нет,— сказал Симоне.— Так у нас не пойдет! Не хватало мне еще конкурента в виде престарелого полицейского инспектора! Учтите, я четыре года без отпуска, и врачи прописали мне курс чувственных удовольствий!..

Навстречу им из пустого номера вышла пухленькая Кайса, держа в охапке кучу простынь и наволочек. Симоне замер.

— Пардон! — воскликнул он и, не говоря более ни слова, устремился вперед. Кайса взвизгнула не без приятности и скрылась в номере. Симоне исчез там же, и через секунду оттуда донесся новый взвизг и раскат леденящего душу хохота. Инспектор усмехнулся и, вытирая испачканные мелом руки, вошел в свой номер.

В номере было нехорошо.

Кресло опрокинуто. Письменный стол залит уже застывшим клеем — поливали прямо из бутылки, бутылка валялась тут же, — и в центре этой засохшей лужи красовался листок бумаги. На листке корявыми печатными буквами было написано: «Инспектора Глебски извещают, что в отеле под именем Хинкус находится опасный гангстер, маньяк и убийца, известный в преступных кругах под кличкой Филин. Он вооружен и грозит смертью одному из клиентов отеля. Примите меры».

Не отрывая глаз от листка, инспектор вытащил сигарету, закурил, потом подошел к окну. Тень отеля синела на снегу. На крыше по-прежнему торчал опасный гангстер, маньяк и убийца господин Хинкус. Он был не один. Кто-то опять стоял рядом, в нескольких шагах от него.

К обеду в столовой собрались все, кроме Хинкуса. Столовая была большая, посредине стоял огромный овальный стол персон на двадцать. Роскошный, почерневший от времени буфет сверкал серебряными кубками, многочисленными зеркалами и разноцветными бутылками. Скатерть на столе была крахмальная, посуда — прекрасного фарфора, приборы — серебряные, с благородной чернью. Было

весело. Симоне рассказывал анекдоты. Олаф и мадам Мозес их не понимали.

— Приезжает как-то один штабс-капитан в незнакомый город,— говорил Симоне.— Останавливается он в гостинице и велит позвать хозяина...— Тут он замолчал и огляделся.— Впрочем, пардон...— произнес он.— Я не уверен, что в присутствии дам...— Он поклонился в сторону госпожи Мозес,— а также юно... э-э... юношества...— он посмотрел на чадо.— Э-э-э...

— А, дурацкий анекдот,— сказала чадо с пренебрежением.— «Все прекрасно, но не делится пополам» — этот, что ли?

— Именно! — воскликнул Симоне и разразился хохотом.

— Делится пополам? — добродушно улыбаясь, осведомился Олаф.

— Не делится,— сердито поправило чадо.

— Не делится? — удивился Олаф.— А что именно не делится?

Чадо открыло было рот, но господин Мозес сделал неумовимое движение, и рот оказался заткнут большим румяным яблоком, от которого чадо тут же сочно откусило.

— Не делится пополам,— очаровательно улыбаясь, объяснила госпожа Мозес.— Как вы не понимаете, Олаф! Это — из алгебры. Ах, алгебра! Алгебра — это царица наук!..

Симоне зарычал, схватил свою тарелку и пересел к инспектору. Тут в столовой объявилась Кайса и принялась тарыхтеть, обращаясь к хозяину:

— Он не желает идти. Он говорит: раз не все собрались, говорит, так и он не пойдет. А когда все соберутся, говорит, тогда и он спустится. И две бутылки у него там пустые...

— Так походи и скажи, что все уже давным-давно собрались,— приказал хозяин.

— Я так и сказала, что все собрались, что кончают уже, а он мне не верит...

Инспектор встал.

— Я его приведу,— сказал он.

Хозяин всполошился.

— Ни в коем случае,— вскричал он.— Кайса, быстро!

— Ничего, ничего,— сказал инспектор, направляясь к двери.— Я сейчас.

Выходя из столовой, он услышал, как Симоне провозгласил: «Правильно! Пусть-ка полиция займется

своим делом», после чего залился кладбищенским хохотом.

Инспектор поднялся по лестнице, толкнул грубую деревянную дверь и оказался в круглом, сплошь застекленном павильончике с узкими скамейками вдоль стен. Фанерная дверь, ведущая на крышу, была закрыта. Инспектор осторожно потянул за ручку, раздался пронзительный скрип несмазанных петель. Инспектор открыл дверь и увидел Хинкуса. Лицо Хинкуса было ужасно — белое в свете низкого солнца, застывшее, с перекошенным ртом, с выкатившимися глазами. Левой рукой он придерживал на колене бутылку, а правую прятал за пазуху, должно быть, отогревал.

— Это я, Хинкус,— осторожно сказал инспектор.— Что вы так испугались?

Хинкус сделал судорожное глотательное движение, потом сказал:

— Я тут задремал... Сон какой-то поганый...

Инспектор украдкой огляделся... Плоская крыша была покрыта толстым слоем снега. Вокруг павильончика снег был утоптан, а дальше, к покосившейся антенне, вела тропинка. В конце этой тропинки и сидел в шезлонге Хинкус, закутанный в шубу. Отсюда, с крыши, вся долина была как на ладони — тихая и синяя в свете луны.

— Пойдемте обедать,— сказал инспектор.— Вас ждут.

— Ждут...— сказал Хинкус.— А чего меня ждать? Начинали бы.

Инспектор выдохнул клуб пара, поежился и сунул руки в карманы.

— Туберкулез у меня,— с тоской объяснил Хинкус и покашлял.— Мне свежий воздух нужен. Все врачи говорят. И мясо черномясой курицы...

— Зачем же вы так пьете, если у вас туберкулез...

Хинкус не ответил. В наступившей тишине инспектор услышал, как кто-то поднимается по железной чердачной лестнице. Протяжно заскрипела дверь тамбура.

— Видите, еще кто-то...— начал инспектор и осекся. Лицо Хинкуса снова стало похоже на уродливую маску — рот перекосился, белое гипсовое лицо покрылось крупными каплями пота. Дверь павильончика отворилась — и на пороге появился хозяин.

— Господа,— провозгласил он жизнерадостно.— Что такое прекрасная, но холодная погода по сравнению с прекрасной и горячей пулялкой?..

Инспектор натянуто улыбнулся. Он все смотрел на

Хинкуса. Хинкус совсем ушел в воротник своей шубы, только глаза поблескивали, как у тарантула в норке.

— Господин Хинкус,— продолжал хозяин,— пулярка изнемогает в собственном соку.

— Ну ладно,— сказал вдруг Хинкус неожиданно жестко.— Поговорили и хватит! Деньги мои — как хочу, так и трачу. Обедать не буду. Понятно? Все.

— Но, господин Хинкус...— начал несколько ошеломленный хозяин.

— Все! — повторил Хинкус.

Тогда инспектор взял хозяина под руку и повернул к двери.

— Пойдемте, Алек,— сказал он негромко.— Пойдемте...

Инспектор, устроившись у окошка со стаканом и сигаретой, рассеянно наблюдал, как хозяин, грузно ступая, ходил по залу, выключал лишний свет, переставлял в буфете бутылки. Лель, опустив голову, ходил за ним по пятам.

Инспектор поглядел в окно. Тень закутанного в шубу Хинкуса четко рисовалась на освещенном луной снегу. Инспектор поднялся и подошел к хозяину.

— Алек,— сказал он.— У меня к вам просьба. Проводите меня к номеру Хинкуса.

Хозяин удивленно поднял брови.

Некоторое время они молча смотрели друг на друга, потом хозяин поставил бутылку, с которой стирал пыль, и, не говоря ни слова, пошел из столовой. Они вышли в коридор и повернули направо. Инспектор успел заметить, что в конце коридора стоят, держась за руки, Брюн и Олаф. Хозяин остановился перед дверью с номером одиннадцать и сказал: «Здесь». Инспектор повернул ручку и вошел в номер.

Вид у номера был нежилой, кровать не смята, пепельница пуста и чиста. Посредине комнаты стояли два закрытых баула. Инспектор, присев рядом с ними на корточки, достал пилочку для ногтей.

— Вы будете свидетелем, Алек,— сказал он и открыл баул.

Баул оказался набит каким-то рваным тряпьем, старыми газетами и мятыми журналами. Хозяин тихонько свистнул.

— Что это? — сказал он.— Что это значит?

— Это называется «фальшивый багаж»,— объяснил инспектор.

Инспектор открыл второй баул. Здесь тоже был фальшивый багаж, только поверх тряпья и мятой бумаги здесь лежал маленький дамский браунинг. Инспектор и хозяин переглянулись. Потом инспектор взял браунинг, вынул обойму и выщелкал патроны в ладонь.

— Значит, вызов был не ложный, — сказал хозяин медленно. — Ну и что все это значит?

Инспектор не успел ответить. Пол в номере дрогнул, жалобно звякнули оконные стекла, и послышался отдаленный мощный грохот.

— Ого! — сказал хозяин, поднимая голову. — А ведь это обвал. И недалеко...

Грохот затих, и тут где-то в коридоре хлопнула дверь.

В каминной жарко полыхал уголь, кресла были старинные, уютные, ярко светила большая люстра, в трубе посвистывало.

Инспектор стоял у окна, прислонившись лбом к стеклу, и смотрел на тень Хинкуса, скрючившегося на крыше. Потом он огляделся, взялся за ближайшее кресло и поставил его так, чтобы можно было одновременно следить и за тенью Хинкуса, и за отражающейся в большом зеркале тускло освещенной лестницей на крышу в конце полутемного коридора. Свет в каминной инспектор выключил, а сам сел в кресло и закурил.

Послышались шаги, вошел хозяин с кувшином горячего портвейна и двумя стаканами.

— Дело швах, Петер, — сказал он. — Связи с городом нет. Это значит, что обвалом засыпало дорогу и забило ущелье. Нас откопают не раньше, чем через неделю.

— Рация у вас есть? — спросил инспектор, отхлебывая из стакана.

— Нет. Но вы не беспокойтесь. Все остальное есть в избытке. А если мы захотим разнообразить меню, то съедим этого Хинкуса... Кстати, вы знаете, что нынче утром Хинкус отправил телеграмму?

Инспектор вопросительно взглянул на него.

— «Жду. Поторопитесь...» Или что-то в этом роде. Я слышал, как он диктовал ее по телефону.

Инспектор хмыкнул.

— Между прочим, Петер, — осторожно сказал хозяин, — почему бы нам не арестовать его сейчас? Все спят... Мне бы не хотелось волновать гостей...

Инспектор отхлебнул из стакана.

— Я не уверен, что его вообще надо арестовать, — ска-

зал он.— Я лучше здесь посижу и посмотрю, кто это так хочет выдать Хинкуса за гангстера. Сдается мне, что этот Хинкус — не охотник, а дичь. Охотник, Алек, не станет возить с собой дамский пистолетик. У него будет люгер 0,45 с приставным прикладом...— Он замолчал.

Около чердачной лестницы появилась темная тоненькая фигурка — постояла в кругу желтого света, словно в нерешительности, а потом неуверенными шагами двинулась по коридору, ведя рукою по стене. Это было чадо. Войдя в каминную, оно, не говоря ни слова, подошло к огню, присело на корточки рядом с Лелем и принялось гладить его по голове. Багровые блики от раскаленных углей светились в его огромных черных очках. Чадо было очень одиноко, всеми забытое и маленькое.

— Холодно что-то...— сказала оно жалобно.— И выпить нечего...

— Ну почему же нечего, Брюн,— радушно сказал хозяин, берясь за кувшин.— Хотите горячего портвейна?

— Да. И хочю домой.

— Брюн,— сказал инспектор,— дитя мое, снимите ваши ужасные очки.

— Зачем? — спросило чадо.

— Мне бы очень хотелось наконец понять: мальчик вы или девочка?

— Идите вы знаете куда... Лучше бы рассказали что-нибудь.

— Расскажите, Алек,— сказал инспектор со вздохом,— что-нибудь таинственное.

Хозяин задумчиво посмотрел стакан на просвет.

— Таинственное...— повторил он.— Что же, слушайте. В сырых и жутких джунглях Центральной Африки существует странное и страшное поверье...

В холле часы начали бить одиннадцать.

К полуночи хозяин с инспектором прикончили кувшин горячего портвейна. Все было тихо, Хинкус по-прежнему торчал на крыше. Чадо заснуло в кресле, и было решено его не трогать — пусть спит.

— Вы ничего не поняли, Петер,— тихонько объяснял хозяин.— Зомби — это не мертвец. Но зомби — это и не живой человек. Понятно?

— Нет.

— Вы берете мертвеца и оживляете его. Он ходит, ест, пьет и выполняет все ваши приказания.

— Пьет?

— Вы напрасно смеетесь над этим, Петер. Это не смешно. Это страшно. И не приведи господь вам встретиться с зомби...

— Но ведь это в Африке. У нас они не водятся...

— Как знать, Петер, как знать! Я мог бы кое-что рассказать вам о таких вещах...

Тут Лель вдруг вскочил и глухо гавкнул. Хозяин воззрился на него.

— Не понимаю,— сказал он строго.

Лель гавкнул снова и ворча бросился по лестнице в холл.

— Ага,— сказал хозяин, поднимаясь.— Кто-то пожаловал.

Инспектор тоже поднялся, и они последовали за Лелем.

Собака стояла перед парадной дверью и вела себя как-то странно. Она была явно испугана — хвост поджат, голова опущена, шерсть на загривке поднялась дыбом. Из-за двери доносились непонятные скребущие и скулящие звуки.

Хозяин с инспектором переглянулись, потом хозяин протянул руку и отодвинул засов. Дверь отворилась, и к их ногам сползло облепленное снегом тело. Хозяин и инспектор бросились к нему, втащили его в холл и перевернули на спину. Облепленный снегом человек застонал и вытянулся. Глаза его были закрыты, длинный нос побелел. Одет он был явно не по сезону: кургузый пиджачок, брюки дудочками, модельные туфли.

— Слушайте,— сказал инспектор.— Он попал под обвал...

— В душевую! — скомандовал хозяин.— Берите его под мышки...

В душевой они положили незнакомца на топчан, и хозяин торопливо принялся его раздевать.

— А ведь это, наверное, приятель Хинкуса,— сказал инспектор.— Ну, тот, которому он давал телеграмму...

— Возможно,— отрывисто сказал хозяин.

— Пойду приведу Хинкуса,— сказал инспектор. Он выскочил из душевой, взбежал на второй этаж и бросился к чердачной лестнице.

Хинкус сидел в прежней позе, нахохлившись, уйдя головой в воротник, сунув руки в рукава.

— Хинкус! — гаркнул инспектор.

Хинкус не шевелился, и тогда инспектор подскочил к нему, схватил за плечо, потряс. Хинкус вдруг как-то странно осел и повалился на бок.

— Хинкус! — растерянно вскрикнул инспектор, непроизвольно подхватывая его. Шуба раскрылась, из нее вывалилось несколько комьев снега, упала меховая шапка — Хинкуса не было, было снежное чучело, облаченное в шубу Хинкуса.

Инспектор схватил горсть снега, яростно растер лицо и огляделся. На крыше было много следов — здесь то ли боролись, то ли собирали снег для чучела. В двух метрах от тропинки из снега торчало что-то черное. Инспектор наклонился, протянул руку и с усилием поднял тяжелый железный швеллер — обрезок рельса, странно скрученный, словно завязанный узлом. Неподалеку, припорошенная снегом, лежала груда таких швеллеров, только прямых. Инспектор оглядел долину. Яркая маленькая луна висела прямо над головой, долина была пуста и чиста, темная полоса дороги уходила на север, теряясь в голубой дымке.

Инспектор бросил гнущее железо, повернулся и медленно направился вниз. В душевой уже никого не было. Посредине холла стояла с обалделым видом сонная Кайса в ночной рубашке, держа охапку мокрой, смятой одежды незнакомца. Инспектор отобрал у нее одежду и вывернул карманы. В карманах не оказалось ничего: ни денег, ни документов, ни сигарет, ни носового платка — ничего.

Незнакомец уже лежал в постели, закутанный одеялом до подбородка. Хозяин поил его с ложечки чем-то горячим и приговаривал:

— Надо, сударь, надо... Пропотеть надо хорошенько.

Один глаз у незнакомца был болезненно сощурен, другой и вовсе закрыт. Он слабо постанывал при каждом вздохе.

— Вы один? — спросил его инспектор. — Кто-нибудь еще остался в машине?.. Или вы ехали один?..

Незнакомец приоткрыл рот, подышал немного и снова закрыл рот.

— Слаб, — сказал хозяин. — У него все тело, как тряпка.

— Вы — друг Хинкуса? — отдельно спросил инспектор.

И тут незнакомец заговорил.

— Олаф... — сказал он без выражения. — Олаф Анд-вара-форс... Позовите...

— Ага... — сказал хозяин и поставил кружку с питьем на стол.

Хозяин торопливо вышел, а инспектор сел на его место. Он ничего не понимал.

— Кто-нибудь еще пострадал? — спросил он снова.

— Один... — простонал незнакомец. — Где Олаф Андварафорс?..

— Здесь, здесь, — сказал инспектор. — Сейчас придет.

Незнакомец закрыл глаза и затих. Инспектор откинулся на спинку стула.

Вернулся хозяин. Брови у него были высоко подняты, губы поджаты, в руке он держал связку ключей.

— Странное дело, Петер, — сказал он негромко. — Дверь заперта изнутри, Олаф не отзывается. Пойдем-ка вместе.

— Олаф... — простонал незнакомец. — Где Олаф?..

— Сейчас, сейчас... — сказал ему инспектор, поднимаясь. — Вот что, Алек. Позовите Кайсу — пусть сидит около этого парня, пока мы не вернемся...

Они вышли в коридор.

— Ага, — сказал хозяин, играя бровями. — Вот, значит, как!.. Лель, ко мне!.. Сиди здесь. Сидеть! Никого не впускать, никого не выпускать!

Они поднялись по лестнице, остановились перед дверью Олафа, и инспектор отобрал у хозяина связку ключей. Пока он возился, выталкивая ключ из скважины, в коридоре появился господин Мозес.

— Что происходит, господа? — благодушно осведомился он, затягивая пояс халата. — Почему постояльцам не дают спать?

— Тысяча извинений, господин Мозес, — сказал хозяин. — Но у нас тут происходят кое-какие события, требующие решительных действий.

— Ах, вот как? — произнес Мозес с интересом. — Надеюсь, я не помешаю?

Инспектор наконец расчистил путь для своего ключа, отпер и распахнул дверь. В прихожей на полу лежал человек. Света в номере не было, и видны были только его огромные подошвы.

Инспектор наклонился над ним. Это был Олаф Андварафорс. Он был явно и безнадежно мертв.

Инспектор зажег свет. Олаф лежал ничком, руки его были вытянуты и почти касались небольшого чемодана, лежавшего у стены. Кресло, обычно стоящее в таких номерах у стола, было выдвинуто на середину комнаты. Окно настежь распахнуто, покрывало на кровати смято.

— Боже мой... — прошептал Мозес за спиной инспектора.

— Что с ним? — спросил хозяин.

— Он мертв,— сказал инспектор,— насколько я понимаю, задушен.... Оставайтесь в коридоре,— сказал он через плечо, перешагнув через тело, обошел комнату и выглянул в окно.

На карнизах лежал нетронутый снег. Внизу под окном на снегу тоже не было никаких следов.

— Вот что, Алек, принесите мне клей и несколько листов бумаги... Подождите. Это его чемодан?

— Да,— сказал хозяин.

— Был у него еще какой-нибудь багаж?

— Нет.

— Хорошо. Тащите бумагу и клей.

Инспектор взял чемодан, поставил его на стол и открыл. В чемодане, занимая весь его объем, помещался какой-то прибор — черная металлическая коробка с шероховатой поверхностью, какие-то разноцветные кнопки, стеклянные окошечки, никелированные верньеры.

Инспектор тщательно запер окно на все задвижки, взял чемодан и, осторожно перешагнув через тело, вышел в коридор. Хозяин уже ждал его с клеем и бумагой. Инспектор запер дверь, опечатал ее пятью полосками бумаги и дважды расписался на каждой полоске.

— Больше ключей нет? — спросил он у хозяина и спрятал ключи в карман.— У меня к вам просьба, Алек. Осмотрите гараж — все ли машины на месте. Если увидите Хинкуса... Впрочем, вряд ли вы его увидите. И никому ни слова, поняли? Особенно этому... потерпевшему.

Хозяин кивнул и пошел вниз. Инспектор направился было к себе, но тут заметил, как в конце коридора была приоткрыта и бесшумно захлопнулась дверь номера Симоне. Инспектор немедленно двинулся туда.

Он вошел не постучавшись. Через открытую дверь спальни было видно, как Симоне, прыгая на одной ноге, сдирает с себя брюки.

— Не трудитесь, Симоне,— произнес инспектор угрюмо.— Все равно вы не успеете развязать галстук.

Симоне обессиленно опустился на кровать. Инспектор вошел в спальню, аккуратно поставил чемодан и остановился перед Симоне, засунув руки в карманы. Некоторое время они молчали, потом Симоне не выдержал.

— Я буду говорить только в присутствии моего адвоката,— заявил он надтреснутым голосом.

— Бросьте, Симоне,— сказал инспектор с отвращением.— А еще физик... Какие здесь, в задницу, адвокаты?

Симоне вдруг схватил его за полу пиджака и, заглядывая ему в глаза снизу вверх, просипел:

— Думайте, что хотите, Петер... Но я вам клянусь... я клянусь вам, что я не убивал ее!

Теперь наступила очередь присесть инспектору. Он нащупал за собой стул и сел.

— Подумайте сами: зачем это мне? — страстно продолжал Симоне. — Ведь должны быть мотивы... никто не убивает просто так... Клянусь вам, она была уже совсем холодная, когда я обнял ее!..

Инспектор закрыл глаза.

— Разве я похож на убийцу?.. — горячо бормотал Симоне.

— Стоп, — сказал инспектор. — Заткнитесь на минуту. Подумайте и расскажите все по порядку.

— Пожалуйста! — с готовностью сказал Симоне. — Дело было так... Она и раньше давала мне понять, только я не решался... А сегодня решил: почему бы и нет? У Мозеса света не было, у нее тоже. Она сидела на кушетке, прямо напротив двери. Я тихонько ее окликнул — она не ответила. Тогда я, сами понимаете, сел рядом и, сами понимаете, ее обнял... Бр-р-р!.. Я даже поцеловать ее не успел! Она была совершенно мертвая. Лед! Окаменевшая, как дерево! Не помню, как я оттуда вылетел... По-моему, я там всю мебель поломал... Я клянусь вам, Петер...

— Надевайте брюки, — сказал инспектор с тихим отчаянием. — Приведите себя в порядок и следуйте за мной.

— Куда? — спросил Симоне с ужасом.

— В тюрьму! — гаркнул инспектор. — В карцер! В башню пыток, идиот!

— Сейчас, — сказал Симоне. — Сию минуту. Я просто не понял вас, Петер.

Они спустились вниз и остановились у номера госпожи Мозес. Инспектор решительно толкнул дверь и остолбенел. В комнате горел розовый торшер, а на диване, прямо напротив двери, в позе мадам Рекамье возлежала очаровательная Ольга и читала книгу. Увидев инспектора, она удивленно подняла брови, но, впрочем, тут же очень мило улыбнулась. Симоне за спиной инспектора издал странный звук — что-то вроде: «А-а!»

— Прошу прощения... — еле ворочая языком, проговорил инспектор и со всей возможной стремительностью закрыл дверь. Затем он повернулся к Симоне и неторопливо, с наслаждением взял его за галстук.

— Клянусь!..— одними губами произнес Симоне. Он был на грани обморока.

В номере инспектора Симоне повалился в кресло и принялся стучать себе по черепу кулаками, как развеселившийся шимпанзе.

— Спасен! — бормотал он с идиотской улыбкой.— Ура! Снова живу! Не таюсь, не прячусь... Ура!

Потом он положил руки на край стола, уставился на инспектора круглыми глазами и произнес шепотом:

— Но ведь она была мертва! Я клянусь вам, Петер!

— Пили после ужина? — холодно спросил инспектор.

— Да, но...

— Сколько?

— Слушайте, Петер, я был здорово навеселе, но...

— Хватит об этом. И хватит пить. Мне не нужны пьяные свидетели.

Некоторое время Симоне молча глядел на инспектора.

— Постойте-ка...— сказал он наконец.— Но ведь она жива! Зачем вам свидетели?

— Убит Олаф,— сказал инспектор.

Симоне отшатнулся.

— Олаф? — пробормотал он ошеломленно.— Как так? Я слышал, как вы только что с ним разговаривали...

— Я разговаривал не с ним. Олаф мертв.

Симоне вытер покрытый испариной лоб. Лицо у него сделалось несчастным.

— Безумие какое-то...— пробормотал он.— Сумасшедший бред... Кто убил?

— По-видимому, Хинкус.

— Хинкус? А, это который все время на крыше... Вы его арестовали?

— Нет, он бежал,— сказал инспектор.— Оставим это. У меня к вам вопрос как к специалисту.— Он поднял и раскрыл чемодан Олафа.— Что это, по-вашему?

Симоне быстро оглядел прибор, осторожно извлек его из чемодана и, посвистывая сквозь зубы, принялся рассматривать со всех сторон. Потом он взвесил его в руках и так же осторожно положил обратно.

— Не моя область,— сказал он.— Судя по тому, как это компактно и добротнo сделано, это либо военное, либо космическое... Даже догадаться не могу. Где вы это взяли?

— У Олафа.

— Подумать только,— пробормотал Симоне.— У этой дубины... Впрочем, пардон... Я, конечно, могу понажи-

мать клавиши и покрутить ручки, но предупреждаю — это весьма нездоровое занятие.

— Не надо,— сказал инспектор, закрывая чемодан.— Идите к себе и ложитесь спать.

Симоне хотел что-то сказать, но только махнул рукой и направился к двери. В дверях он столкнулся с хозяином, извинился и вышел. Хозяин подошел к столу и поставил перед инспектором стакан с горячим кофе и сэндвичи.

— Машины на месте,— объявил он.— Лыжи тоже. Хинкуса нигде нет. На крыше валяется его шуба...

— Знаю,— сказал инспектор.— Что же он — пешком ушел, что ли?

— Из долины ему все равно не выбраться...

— Да,— сказал инспектор.— Ничего не понимаю... Знаете, Алек, мне надо подумать...

Хозяин молча кивнул и пошел к двери. На пороге он остановился.

— Если не секрет,— сказал он,— что это вы с Симоне врвались к госпоже Мозес?

Инспектор сморщился.

— А, чушь! — сказал он.— Физику спяну почудилась какая-то ерунда...

— Ах, ерунда?..— неопределенным тоном произнес хозяин и вышел, аккуратно притворив за собой дверь.

Некоторое время инспектор неподвижно сидел, прихлебывая кофе и глядя перед собой. Потом вдруг вздрогнул и резко повернул голову. В стену ударили чем-то тяжелым — раз и еще раз. Вздрогнула и чуть покосилась картина, изображающая утро в горах. Инспектор быстро выскочил в коридор, распахнул дверь в соседний номер и включил свет. Номер был пуст, стук прекратился, но под столом кто-то возился и сопел. Инспектор отшвырнул тяжелое кресло и заглянул под стол. Там, втиснутый между тумбочками в страшно неудобной позе, обмотанный веревками и с кляпом во рту, сидел, скрючившись в три погибели, опасный гангстер, маньяк и садист Хинкус и тарачил из сумрака слезящиеся мученические глаза.

Инспектор выволок его на середину комнаты и вырвал изо рта кляп.

— Что это значит? — спросил он.

В ответ Хинкус принялся кашлять. Он кашлял долго, с надрывом, с сипением, и пока он кашлял, инспектор заглянул в туалетную, взял бритву и разрезал на Хинкусе веревки. Бормоча ругательства, Хинкус принялся ощупывать себе шею, запястья, бока.

— Кто это вас? — спросил инспектор.

— Почему я знаю! — буркнул Хинкус. — Схватили сзади... Я и охнуть не успел... — Он поднял левую руку и отогнул рукав. — А черт! Часы раздавил, сволочь... Сколько сейчас, инспектор?

— Час ночи.

— Час ночи... — повторил Хинкус. — Час ночи... — Глаза у него остановились. — Нет, — сказал он, — надо выпить.

Он поднялся. Легким толчком инспектор усадил его снова.

— Успеется, — сказал он.

— А я хочу выпить! — сказал Хинкус, повышая голос и снова делая попытку встать.

— А я вам говорю: успеется! — сказал инспектор, пресекая эту попытку.

— Кто вы такой, чтобы распоряжаться? — в полный голос взвизгнул Хинкус.

— Тихо! — крикнул инспектор. — Произошло убийство. Вы на подозрении, Хинкус! Поэтому отвечайте на вопросы!

— Убийство?.. — Хинкус приоткрыл рот. — А я-то здесь при чем? Меня самого без малого уколошили...

— Кто? — быстро спросил инспектор.

Хинкус молча смотрел на него, потом его страшно передернуло, прямо-таки перекосило на сторону.

— Кто вас связал? Кого вы подозреваете?

И тут Хинкус заплакал. Сначала тихонько, весь содрогаясь, кусая пальцы, потом все громче, навзрыд, истерически взвизгивая и подскуливая. Инспектор, сунув руки в карманы, ошеломленно глядел на него, потом сказал:

— Ну хватит. Пойдемте.

Он привел Хинкуса в свой номер, взял с подоконника бутылку и отдал ему. Хинкус жадно схватил спиртное и надолго присосался к горлышку.

— Господи... — прохрипел он, утираясь. — Смачно-то как!..

— Вы можете хотя бы примерно сказать, когда вас схватили? — спросил инспектор.

— Что-то около девяти, — сказал Хинкус, всхлипывая.

— Дайте часы.

Хинкус послушно отстегнул часы, прижимая бутылку к груди. Часы были раздавлены, стрелки показывали восемь сорок три.

— Слушайте, Хинкус, — мягко сказал инспектор, —

тот, кто вас схватил... Ведь вы видели его и раньше? Днем? На крыше?

Хинкус только дико глянул на него и снова присосался к бутылке. Лицо его перекосилось, по серым щекам снова поползли слезы.

Хозяин расположился в холле за журнальным столиком. Перед ним лежали какие-то счета, он сосредоточенно нажимал клавиши калькулятора. Рядом, прислоненный к стене, стоял тяжелый многозарядный винчестер.

— Алек,— сказал инспектор.— Дайте ключ от вашего сейфа. Я спрячу туда эту штуку...— Он показал хозяину чемодан.

— Пойдемте,— сказал хозяин, поднимаясь.

Чадо, свернувшись клубочком, безмятежно посапывало в глубоком кресле перед полупогасшим камином. Инспектор окликнул его, потом потряс за плечо. Чадо не желало просыпаться, оно неразборчиво чертыхалось, жалобно мычало и отчаянно отлягивалось. В конце концов инспектор усадил его прямо и тряхнул так, что оно проснулось.

— Какого дьявола? — спросило оно сонным баском.

— Снимите очки! — приказал инспектор.

— Еще чего!..

Инспектор протянул руку и снял очки сам. Конечно, это была девушка — и премилая, хотя глаза у нее и припухли со сна.

— Чего вы хамите! — сказала она, закрываясь.— Отдайте! Фараон чертов!

— А ну! — свирепо сказал инспектор.— Быстро и немедленно говорите: когда и где вы расстались с Олафом? Живо!

— С каким еще Олафом? Отдайте очки!

— Олаф убит, и вы последняя, кто видел его живым. Когда это было? Где? Живо, ну!

Брюн отшатнулась и, словно защищаясь, вытянула руки ладонями вперед.

— Неправда!.. Не может быть!..— прошептала она.

— После ужина,— сказал инспектор спокойно,— вы вышли с ним из столовой и направились — куда?

— Н-никуда... просто вышли в коридор...

— А потом?

— А потом... мы вышли в коридор... я плохо помню... память у меня паршивая... Он что-то сказал... а я... это...

Инспектор покачал головой:

— Попробуйте еще раз.

— Ну... ну, дело было так. Мы вышли в коридор, и он принялся меня хватать. Пришлось дать ему по морде... по лицу. Ну, он обиделся, обругал меня и ушел...

— Где это было?

— В коридоре... у столовой...

— Хватит врать, скверная девчонка! — гаркнул инспектор. — Я видел вас у дверей Олафа! Если вы будете лгать и изворачиваться, я надену на вас наручники, — инспектор сунул руку в карман, — и отправлю в тюрьму! Дело идет об убийстве. Это вы понимаете?!

Брюн молчала. Она сидела съежившись, забившись в уголок кресла. Потом опустила голову и закрыла лицо руками.

— Он мне нравился, — прошептала она. — Он был такой добрый... сильный. Глупый... Мы пошли к нему в номер... Мне очень хотелось, чтобы он меня поцеловал... Мы просто болтали... Он был очень смешной, ничего не понимал... А потом я уже собиралась уходить, но тут раздался грохот, и я сказала: «Слушайте, лавина!» Он вдруг схватился за голову, как будто что-то вспомнил... и бросился к окну, но сейчас же вернулся, схватил меня за плечи и буквально выбросил в коридор. Я чуть не полетела... И разозлилась ужасно... Все настроение пропало... Вот и все.

— Так, — сказал инспектор. — Он кинулся к окну... Может быть, его кто-нибудь позвал?

— Нет, я не слышала.

— А в коридоре вы кого-нибудь видели?

— Никого. А еще до того, как мы вошли в номер, многих видела. Симоне видела, вас с хозяином... Еще этого видела... маленького такого... сутулого... Хинкуса!

— Стоп! — сказал инспектор. — Когда вы вышли из столовой?

— Часов в девять... Да, я точно помню — часы пробили девять и я сказала Олафу: пошли...

— И после этого вы видели Хинкуса? Вы не ошибаетесь?

— Да нет... Правда, он сразу свернул на лестничную площадку... Но это был он — маленький, в этой своей дурацкой шубе до пят... А что такое? — Брюн перешла на шепот. — Это он убил? Хинкус, да?

Инспектор отпер дверь номера Хинкуса и остановился на пороге. Везде горел свет — в прихожей, в туалетной, в спальне. Сам Хинкус, оскаленный, мокрый, сидел на корточках за кроватью. Посредине комнаты валялся поломан-

ный стул, а Хинкус сжимал в кулаке одну из ножек.

— Это вы...— сказал Хинкус хрипло и выпрямился.

— Вот что,— сказал инспектор, надвигаясь на него.— Вы сказали, что вас схватили в восемь сорок, но вас видели в коридоре после девяти! Вы будете говорить мне правду или нет?

На лице Хинкуса промелькнула растерянность.

— Меня?.. После девяти?

— Да. Вы шли по коридору и свернули на лестничную площадку.

— Я? — Хинкус вдруг судорожно хихикнул.— Я шел по коридору?..— Он снова хихикнул. И еще раз. И еще.— Я? Меня?.. Вот то-то и оно, инспектор,— проговорил он, захлебываясь.— Вот то-то и оно! Меня видели в коридоре... И я тоже видел меня! И я схватил меня... и я связал меня... и я замуровал меня в стену! Я — меня! Понимаете? Я — меня!..

В котельной инспектор спросил, указывая на большую железную дверь:

— А здесь что?

— Склад солярки.

Инспектор, поднатужившись, откатил дверь.

— Включите-ка свет,— попросил он.

— Лампочка перегорела. Все не соберусь ввинтить новую...

— А, ч-черт... Дайте фонарик.

— Пожалуйста.— Хозяин дал ему фонарик.— Но двойника Хинкуса там нет.

Они вошли в темное помещение. Луч фонарика скользнул по рядам грязных железных бочек, по затоптанному полу, по штабелям каких-то ящиков.

— Вы заблуждаетесь в самой основе, Петер,— продолжал хозяин.— Вы решили, что в отеле скрывается какой-то незнакомый нам человек. Вы идете по самому естественному пути, и именно поэтому вы заблуждаетесь особенно сильно.

— Что вы предлагаете? — угрюмо спросил инспектор.

— Я ничего не предлагаю, Петер. Пока. Я все жду, когда вы созреете.

— Я уже перезрел. Я скоро упаду.

Хозяин хмыкнул и ничего не сказал. Некоторое время они молчали. Инспектор, чертыхаясь, освобождал полу пиджака.

— Хотите, для начала я расскажу вам, что именно

почудилось нашему любвеобильному физику? — спросил хозяин.

— Ну, попробуйте.

— Наш любвеобильный физик залез в постель к госпоже Мозес и обнаружил там вместо живой женщины бездыханный манекен...

Инспектор резко обернулся и осветил фонариком лицо хозяина.

— Куклу, Петер,— сказал хозяин, щурясь от яркого света.— Мертвую, холодную куклу...

В холле хозяин поставил перед инспектором большую, исходящую паром кружку с кофе и сам опустился в кресло напротив.

— ...Если использовать терминологию современной науки,— неторопливо говорил он,— то зомби — мертвый человек, имеющий внешность живого,— представляет собою очень точный биологический механизм...

— Хватит, Алек,— с бешенством сказал инспектор.— К черту теорию. Я вас спрашиваю: откуда вы знаете, что увидел Симоне в номере госпожи Мозес? Вы что — тоже залезали к ней в постель?!

Хозяин смотрел на него грустными глазами.

— Да,— сказал он наконец с сожалением.— Вы еще не созрели. Ну, хорошо...— он вздохнул.— Пусть будут одни факты. Шесть дней тому назад я отправился в номер к господину Мозесу, чтобы вернуть ему паспорта. Я был несколько рассеян и, постучав, отворил дверь, не дождав-шись разрешения. В кресле посредине комнаты я увидел то, что при желании можно было бы назвать госпожой Мозес. Это была большая в натуральную величину кукла, похожая на госпожу Мозес и одетая в точности, как она. Это длилось считанные секунды. Сзади ко мне подошел господин Мозес и твердой рукой оттянул от двери...

— Кукла...— сказал инспектор задумчиво.

— Зомби,— мягко поправил его хозяин.

— Кукла...— повторил инспектор, не обращая на него внимания.— А какой у Мозеса багаж?

— Несколько обычных чемоданов и гигантский, окованный железом дорожный сундук.

Инспектор разочарованно вздохнул.

— Я знал миллионера, который везде таскал с собой коллекцию ночных горшков. А Мозесу, как видно, нравится возить с собою куклу своей жены.— Инспектор ухмыльнулся.

— В конце концов такой способ отваживать ухажеров ничем не хуже других. Даже еще смешнее. Ей-богу, славная шутка!..

— Ну вот вы все и объяснили,— тихонько проговорил хозяин. Он вдруг перегнулся через ручку кресла и принялся шарить между креслом и стеной.— Я вам уже рассказывал, Петер, что зомби обладает нечеловеческой силой...— Он не без труда вытащил и положил прямо на счета перед инспектором скрученный, завязанный узлом, еще влажный от растаявшего снега швеллер.

— Ну? — сказал инспектор без особого интереса.— Я уже видел эту штуку. На крыше.

— И, вероятно, решили, что Алек Сневар на досуге занимается абстрактной скульптурой. Так вот, Алек Сневар искусством не занимается. Алек Сневар под присягой готов показать, что еще вчера это был обыкновенный прямой швеллер.

Инспектор помолчал, глядя на хозяина исподлобья, потом сказал негромко:

— Вот смотрю я на вас, Алек, и никак не могу понять: почему это вы так стараетесь запутать следствие? Зачем это вам? Ведь у вас стопроцентное алиби...

Хозяин вздернул голову, но ответить не успел — в коридоре глухо загавкал Лель.

— Так,— сказал хозяин, поднимаясь.— Мы еще продолжим этот разговор, а сейчас пойдемте — наш бедняга проснулся и зовет маму.

Незнакомец сидел на кровати, до пояса закрывшись одеялом. Чужая ночная рубашка была ему явно велика — ворот висел хомутом, обнажая острые ключицы. На лице его не было растительности — только несколько волосков на месте бровей да редкие белесые ресницы. Он сидел, откинувшись на подушку, но, увидев инспектора, живо наклонился вперед и спросил:

— Вы — Олаф Андварафорс?

Такого вопроса инспектор не ожидал. Он поискал глазами стул, придвинул его к кровати, уселся и только тогда ответил:

— Нет, я инспектор полиции Петер Глебски.

— Да? — сказал незнакомец удивленно, но без всякого беспокойства.— Но где же Олаф Андварафорс?

— Прошу прощения,— сказал инспектор.— Прежде всего мне хотелось бы узнать, кто вы такой и как вас зовут.

— Луарвик,— сказал незнакомец.

— А имя?

— Имя? Луарвик.

— Господин Луарвик Луарвик?

— Да.

— Хорошо. Кто вы?

Незнакомец уставился на него немигающими глазами.

Он явно не понимал вопроса.

— Луарвик,— сказал он.— Я — Луарвик.— Он помолчал.— Луарвик Луарвик.

— Вы иностранец? — спросил инспектор.

— Очень. В большой степени.

— Вероятно, швед?

— Вероятно. В большой степени швед.

Дверь за спиной инспектора скрипнула. Он обернулся. На пороге, добродушно улыбаясь, стоял Мозес.

— Сюда нельзя,— резко сказал инспектор. Мозес, продолжая улыбаться, внимательно рассматривал незнакомца. Инспектор вскочил и пошел на него грудью.— Прошу вас немедленно выйти, господин Мозес... Прошу...

— Да-да...— проговорил Мозес, вытесняемый в коридор.— Конечно... Извольте...— Он все глядел на незнакомца.

Инспектор снова закрыл дверь и повернулся к Луарвику.

— Это был Олаф Андварафорс? — спросил тот.

— Нет,— сказал инспектор.— Олаф Андварафорс убит сегодня ночью.

— Убит...— повторил Луарвик. В голосе его не было ни удивления, ни страха, ни горя.— Я хочу его видеть.

— Зачем?

— Я хочу надеть одежду,— заявил Луарвик.— Я не хочу лежать. Я хочу видеть Олафа Андварафорса.

— Вы хотите опознать труп? Так я вас понимаю?

— Опознать?.. Узнать?

— Как вы можете его узнать,— сказал инспектор,— если не знаете его в лицо?

— Какое лицо?! Зачем лицо? — удивился Луарвик.— Я хочу видеть, что это не есть Олаф Андварафорс. Что это есть другой.

— Почему вы думаете, что это — другой? — быстро спросил инспектор.

— Почему вы думаете, что это Олаф Андварафорс? — возразил Луарвик.

Несколько секунд инспектор молча смотрел на него,

потом встал и, сказав: «Одевайтесь», подошел к окну. Он смотрел на зубчатые скалы, уже озаренные розовым светом восходящего солнца, на бледное пятно луны, на чистую темную синеву неба. За спиной у него раздавалось какое-то шипение, шуршание, невнятное бормотание, почему-то двигали стулом. Потом Луарвик сказал: «Я одел».

Инспектор обернулся и удивился. Он очень удивился, но тут же подошел к Луарвику, поправил и застегнул ему воротник, перестегнул пуговицы на пиджаке и пододвинул ему ногой шлепанцы. Пока инспектор все это делал, Луарвик покорно стоял, растопырив руки. Потом он с сомнением посмотрел на шлепанцы и проговорил:

— Это не мое. У меня не так.

— Ваши туфли еще не высохли,— сказал инспектор.— Обувайте это.

Можно было подумать, что Луарвик никогда в жизни не имел дела со шлепанцами. Дважды он с размаху пытался загнать в шлепанцы ноги и дважды промахивался, каждый раз теряя при этом равновесие. У него вообще было неважно с равновесием — видно, ему здорово досталось, и он далеко еще не пришел в себя. Поэтому, пока они шли через холл и поднимались по лестнице, инспектор на всякий случай придерживал его за локоть.

Хозяин проводил их задумчивым взглядом. Он устроился в холле за журнальным столиком. Тяжелый многозарядный винчестер стоял рядом, прислоненный к стене.

Перед дверью номера Олафа они остановились. Инспектор внимательно оглядел наклейки, достал ключ и распахнул дверь. Затем он посторонился, пропуская Луарвика вперед. Луарвик остановился над трупом и, закинув руку за спину, наклонился над ним. Ни брезгливости, ни страха, ни благоговения — его лицо было абсолютно равнодушно.

— Я удивлен,— сказал он наконец без всякого выражения.— Это есть Олаф Андварафорс на самом деле.

— Как вы его узнали? — сейчас же спросил инспектор.

Луарвик, не распрямляясь, повернул голову и посмотрел на инспектора снизу вверх. Он стоял, нагнувшись, расставив ноги, глядел на инспектора и молчал. Потом он произнес:

— Вспомнил. Видел раньше.

— Где вы его видели раньше?

— Там,— Луарвик, не разгибаясь, махнул рукой

куда-то за окно. — Это не есть главное. — Он разогнулся и заковылял по комнате, странно вертя головой. Инспектор весь подобрался, не спуская с него глаз.

— Вы что-нибудь ищете? — спросил инспектор вкрадчиво.

— Олаф Андварафорс имел предмет, — сказал Луарвик. — Где?

— Вы ищете чемодан? Вы за ним приехали?

— Где он? — повторил Луарвик.

— Чемодан у меня.

— Это хорошо, — сказал Луарвик. — Я хочу его иметь здесь. Принесите.

— Ладно, — сказал инспектор. — Но сначала вы ответите на мои вопросы.

— Зачем? — с огромным удивлением спросил Луарвик. — Зачем снова вопросы?

— Вы получите чемодан только в том случае, — терпеливо объяснил инспектор, — если из ваших ответов станет ясно, что вы имеете на него право.

— Не понимаю.

— Если чемодан ваш, — сказал инспектор, — если Олаф привез его для вас, докажите это. Тогда я его вам отдам.

И тут Луарвик вдруг как-то обмяк, словно из него выпустили воздух.

— Не надо, — сказал он. — Не хочу. Хочу лежать. Где можно?

Он часто и тяжело дышал.

Ослепительное солнце заливало долину, снежный покров был чист и нетронут, как новенькая накрахмаленная простыня, инспектор попрыгал на месте, пробуя крепления, гикнул и побежал навстречу солнцу, все наращивая темп, зажмурившись от солнца и наслаждения, и встречный ветер развеивал его шарф, а где-то сзади таял и растворялся в кристально чистом воздухе проклятый отель, черный как гроб, мрачная развалина, населенная призраками и мертвецами, и только Лель, весело и яростно лая, мчался следом, то обгоняя, то скача рядом, и все норовил схватить за ногу, и лаял, лаял, весело, звонко, оглушительно, и наконец ему удалось схватить инспектора за штанину, и инспектор проснулся.

Лель облизывал ему уши и щеки, теребил штанину, толкался и легонько покусывал за руку. Инспектор с досадой отпихнул его и сел в кресле.

— Ты что мне спать не даешь?..— проговорил он и осекся.

На блестящей лакированной поверхности столика, рядом с бумагами и счетами хозяина, лежал огромный черный пистолет. Он лежал в лужице воды, и комочки растаявшего снега еще облепляли его, и пока инспектор смотрел, один комочек сорвался со спускового крючка и упал на поверхность стола. Инспектор оглядел холл. В холле было пусто, только Лель стоял рядом и, наклонив голову набок, серьезно-вопросительно смотрел на инспектора. Из кухни доносился звон кастрюль и слышался негромкий басок хозяина.

— Это ты принес? — шепотом спросил инспектор Леля.

Лель продолжал смотреть на инспектора. Лапы у него были в снегу, с лохматого брюха капало. Инспектор облизнул пересохшие губы и взял пистолет в руки.

— Где ты это нашел, старик? — пробормотал он.

Лель игриво мотнул головой и боком скакнул к двери.

— Понятно,— сказал инспектор.— Подожди минутку.

Он еще раз огляделся и, на ходу запихивая пистолет в боковой карман, торопливо пошел к выходу.

За дверью Лель скатился с крыльца и, проваливаясь в снег, поскакал вдоль фасада. Инспектор схватил первые попавшиеся лыжи, кое-как закрепил их на ногах и побежал следом. Они обогнули гостиницу, и Лель устремился прочь и остановился метрах в тридцати. Инспектор подъехал к нему и огляделся. Он увидел ямку в снегу, откуда Лель выкопал пистолет, борозды, которые оставил пес, прыгая через сугробы, и следы своих лыж позади. В остальном пелена снега вокруг была нетронута. В тридцати метрах возвышалась гладкая, без окон, стена отеля, и были отлично видны беседка на крыше, радиоантенна и раскрытый шезлонг Хинкуса.

— Что-нибудь новенькое, Петер? — спросил хозяин.

Они разговаривали в буфетной. Перед инспектором стояла тарелка с бутербродами. Инспектор кивнул, проглотил и сказал:

— Да, есть кое-что... Кстати, вы интересовались, Алек, что такое настоящее гангстерское оружие... Полюбуйтесь.— Он вытащил из кармана и положил на стойку пистолет.

Хозяин оглядел пистолет, прищурившись, тихонько присвистнул.

— Между прочим,— продолжал инспектор,— вы слы-

хали когда-нибудь, чтобы пистолеты заряжались серебряными пулями?

Хозяин молчал, выпятив челюсть. Инспектор вынул обойму и выщелкал из нее несколько патронов. Хозяин взял один, повертел перед глазами и снова положил на место.

— Я читал об этом...— проговорил он.— Оружие заряжают серебряными пулями, когда собираются стрелять по призракам... (Инспектор хмыкнул.) Вурдалака не убьешь обычной пулей. И вервольфа... и жабью королеву... и зомби... Вы уж извините, Петер, но так пишут в книгах.

Инспектор пожал плечами и снова принялся за еду.

— При чем здесь «извините»,— проворчал он.— Понимаете, Алек, потусторонний мир — это все-таки ведомство церкви, а не полиции...

— Да нет, пожалуйста...— сказал хозяин.— Вы спросили, я ответил...— Он помолчал.— Вы узнали, чей это пистолет?

— Да есть тут у нас один охотник за зомби,— сказал инспектор.— Хинкус его фамилия. Дело в том, Алек...

Лель, лежавший у ног инспектора, вдруг грозно зарычал, вскочил и забился в углу под стол. Шерсть на нем встала дыбом. Инспектор замолчал и оглянулся.

В дверях, весь какой-то корявый и неестественный, стоял господин Луарвик Луарвик. Пиджак сидел на нем как-то особенно криво, брюки сползли и имели такой вид, словно их жевала корова.

— Один небольшой, но важный разговор,— объявил он.

— В чем дело? — спросил инспектор, собирая патроны и вставляя обойму в пистолет. Луарвик, по-птичьим наклонив голову, осматривал комнату.— Не ищите, чемодана здесь нет. Вы готовы отвечать на мои вопросы?

— Не надо вопросов,— сказал Луарвик.— Надо быстро убрать чемодан. Это не чемодан. Футляр. Внутри прибор. Олаф не убит. Олаф умер. От прибора. Прибор очень опасный — угроза для всех. Олаф дурак — он умер. Мы умные — мы не умрем. Скорее давайте чемодан.

— Так,— сказал инспектор.— Хорошо. Я вам дам чемодан. Что вы станете с ним делать?

— Увезу подальше. Попробую разрядить.

— Прекрасно,— сказал инспектор.— Поехали.— Он шагнул к двери.— Ну? Что же вы стоите?

Луарвик молчал.

— Не годится,— сказал он наконец.— Попробуем по-

другому.— Он полез за пазуху и вытащил толстенную пачку банкнот.— Я даю деньги. Много денег. Вы даете мне чемодан.— Он положил пачку на стойку.

— Сколько здесь? — спросил инспектор.

— Мало? Тогда еще вот.— Луарвик полез в боковой карман, вытащил еще одну такую же пачку и бросил ее рядом с первой.

— Господи!..— пробормотал хозяин ошеломленно.

— Сколько здесь денег? — повторил инспектор, повысив голос.

— Я не знаю, но все ваши,— ответил Луарвик.

— Ах, не знаете? А где вы их взяли? Вы явились сюда с пустыми карманами. Кто вам их дал? Мозес?

Луарвик молча попятился к двери.

— Вот что, Луарвик,— сказал инспектор.— Эти деньги я конфискую. Алек, вы свидетель: попытка подкупа.

Он взял обе пачки и, сложив в одну, взвесил на ладони.

— Вы взяли деньги? — оживился Луарвик.— А где чемодан?

— Я их конфисковал.

— Конфисковал... Хорошо. А где чемодан?

— Вы не понимаете, что такое «конфисковал»? — сказал инспектор.— Так вот пойдите и спросите у Мозеса...

Луарвик пятясь вышел. Инспектор отдернул штору — за окном было утро.

— Здесь, наверное, тысяч сто,— сказал хозяин.— Неужели этот чемодан столько стоит?

— Наверное, гораздо больше,— сказал инспектор.— Мозес... Мозес или Хинкус...— Он помолчал.— Ну ладно. Сейчас я попробую запустить хорька в этот курятник...

В столовой еще никого не было. Кайса расставляла тарелки с сэндвичами. Инспектор выбрал себе место спиной к буфету, лицом — к входной двери, взял сэндвич и, нехотя жуя, стал ждать. Часы пробили девять, и вошел Симоне — в толстом пестром свитере, свежесбривший, но с помятым лицом.

— Ну и ночка, инспектор,— сказал он, усаживаясь.— Я и пяти часов не спал. Нервы разгулялись. Все время кажется, будто тянет мертвечинкой по дому... Нашли что-нибудь?

— Смотря что,— сказал инспектор мрачно.

— Ага...— сказал Симоне и неуверенно хохотнул.— Вид у вас неважный.

Вошла Брюн, по-прежнему в очках, с прежним нахально задранном носом. Она буркнула неразборчиво:

«Привет» — и села, нахохлившись, уткнувшись в тарелку.

— Коньяку бы сейчас выпить... — сказал Симоне с тоской. — Но ведь неприлично... Или ничего? А, инспектор?

Инспектор пожал плечами и отхлебнул кофе.

— Жаль, — сказал Симоне. — А то бы я выпил...

В коридоре слышались шаги, инспектор весь поджался, уставясь в дверь. Вошли Мозесы. Эти были как огурчики. То есть это госпожа Мозес была как огурчик, как персик, как ясное солнышко. Но и старик был по своему хорош: в петлице у него шевелилась астра, благородные кудри пушисто серебрились вокруг маковки, аристократический нос был устремлен вперед и вниз.

— Доброе утро, господа! — хрустально прощбетала мадам.

Инспектор покосился на Симоне. Симоне косился на госпожу Мозес. В глазах его было какое-то недоверие. Потом он судорожно передернул плечами и схватился за кофе.

— Прелестное утро! Так тепло, солнечно... Бедный Олаф — он не дожил до этого утра.

— Как ваши дела, дорогой инспектор? — осведомился господин Мозес, искательно глядя на инспектора.

— Следствие напало на след, — сообщил тот. — В руках у полиции ключ. Много ключей. Целая связка.

Симоне снова загоготал было, но сразу же сделал серьезное лицо. Дверь отворилась, и на пороге появился Луарвик Луарвик в сопровождении хозяина.

— Доброе утро, господа! — произнес хозяин. — Позвольте представить вам господина Луарвика Луарвика, прибывшего к нам сегодня ночью...

— Очень приятно, господин Луарвик, — сказал Мозес, покровительственно улыбаясь.

Хозяин усадил Луарвика за стол и вопросительно посмотрел на инспектора. Инспектор наклонил голову, и хозяин тотчас же вышел.

Луарвик оглядел стол, выбрал крупный лимон и стал его есть, откусывая вместе с кожурой. По узкому подбородку его потек на пиджак желтоватый сок. У инспектора свело скулы, и он снова стал смотреть на дверь. А в дверь уже осторожно протискивался Хинкус. Он вошел и сразу остановился. Мозес равнодушно-приветливо покивал ему и вновь обратился к своему кофе. А вот Хинкус с лицом со владать не сумел. Сначала вид у него сделался совершенно обалделый, затем на лице явственно проступила радость,

он даже заулыбался совершенно по-детски, потом перехватил удивленный взгляд инспектора, потупился и направился к своему месту.

— Как вы себя чувствуете, Хинкус? — спросил Симоне.

Хинкус вскинул на него вдруг ставшие бешеными глаза.

— Я-то себя ничего чувствую, — сказал он, усаживаясь. — Вы кое у кого другого спросите, как он себя чувствует...

— То есть как это? — удивился Симоне.

— А вот так... — Хинкус бешено уставился на Мозеса. — Что — не выгорело дельце? Сорвалось, а, старина?

До крайности изумленный господин Мозес откинулся на спинку кресла.

— Это вы мне? — спросил он.

— Ладно, ладно, — пробормотал Хинкус, с остервенением запихивая салфетку себе за ворот. — Замнем для ясности... — Он обеими руками взял большой сэндвич, краем заправил его в рот, откусил и, ни на кого не глядя, принялся жевать.

— Господин Хинкус сегодня встал с левой ноги, — безмятежно улыбаясь, сказала госпожа Мозес. — Он, наверное, плохо спал, и ему приснилось что-нибудь нехорошее...

Хинкус коротко глянул на нее и сейчас же отвел глаза. За столом воцарилось неловкое молчание. Неловко было всем, кроме Луарвика. Луарвик, казалось, ничего не видел и не слышал. Он ел второй лимон. Хозяин поспешно сказал:

— Господа, я понимаю — нервы напряжены. Но мы должны помнить, что следствие находится в надежных руках господина инспектора Глебски, а тот факт, что мы оказались временно отрезаны от внешнего мира...

— Одну минуточку, — сказал инспектор. — Я имею сообщить следующее. Какие-то мерзавцы избрали этот отель местом сведения своих личных счетов. Предупреждаю, что два часа назад я воспользовался любезностью господина Сневара и отправил с почтовым голубем донесение в окружную полицию. Полицейский вертолет должен быть здесь с часу на час. А потому я предлагаю упомянутым мерзавцам прекратить всякую преступную деятельность, дабы не ухудшать своего и без того безнадежного положения. Благодарю за внимание, господа.

— Ах, как интересно! — восхищенно воскликнула гос-

пожа Мозес.— Значит, среди нас есть бандиты? Ах, инспектор, ну хотя бы намекните, мы пойдем!..

Инспектор не ответил. Разговор больше не возобновлялся, тихонько звякали ложечки в стаканах, все продолжали завтракать в молчании, не глядя друг на друга.

Первым поднялся Симоне. Он предложил руку госпоже Мозес, и они вместе покинули столовую. Господин Мозес извлек из-за стола Луарвика, поставил его на ноги, и тот, меланхолично дожевывая лимон, потащился за ним, заплетаясь башмаками. Потом ушла и Брюн. За столом остался только Хинкус. Он сосредоточенно ел, словно намеревался заправиться на долгий срок. Кайса собирала посуду, хозяин помогал ей. Инспектор неторопливо курил, разглядывая Хинкуса прищуренными от дыма глазами. Когда тот наконец поднялся тоже, инспектор сказал:

— Подождите-ка, Хинкус. Нам надо поговорить.

— Это насчет чего? — угрюмо осведомился Хинкус.

— Да насчет всего.

— Не о чем нам говорить. Ничего я по этому делу не знаю.

— А это мы сейчас увидим,— сказал инспектор.— Пойдемте-ка в бильярдную... Алек, будьте добры, спуститесь в холл и посидите там, как сидели ночью. Понимаете?

— Понимаю,— сказал хозяин.— Будет сделано.

Инспектор распахнул дверь в бильярдную, залитую ярким утренним солнцем, и пропустил Хинкуса вперед. Хинкус вошел и остановился на жарких солнечных квадратах, сунув в карманы руки и жуя спичку. В зале гремела тарелками Кайса, напевая что-то тонким фальшивым голосом. Инспектор взял у стены стул, поставил его на самое солнце и сказал: «Сядьте». Хинкус сел и сразу сощурился — солнце било ему в лицо.

— Полицейские штучки...— проворчал он с горечью.

— Служба такая,— сказал инспектор и присел перед Хинкусом на край бильярда, в тени.— Ну, Хинкус, так что там у вас произошло с Мозесом?

— С каким еще Мозесом? Я его и знать-то не знаю.

— Это вы тоже знать не знаете? — Инспектор вытащил пистолет, показал издали и положил на бильярд рядом с собой.

Хинкус быстрым движением перебросил изжеванную спичку из одного угла рта в другой. Он молчал. В дверь просунулась Кайса и пропищала:

— Подать что-нибудь?

— Идите, идите, Кайса,— нетерпеливо сказал инспектор.— Ступайте... Ну? — сказал он Хинкусу.

Хинкус проворчал:

— Ничего я по этому делу не знаю. А вот точно знаю, что жалобу на вас подам — за истязание больного человека.

— Хватит болтать, Филин! — гаркнул инспектор.— Ты гангстер! Тебя разыскивает полиция! Ты влип, Филин! Твои ребята не успели, потому что случился обвал! А полиция будет здесь самое большее через два часа. И если ты хочешь отделаться семьдесят второй, тяни на пункт «це» — чистосердечное признание до начала официального следствия! Понял, какая картинка?!

Хинкус выплюнул изжеванную спичку, покопался в карманах и вытащил мятую пачку сигарет. Затем он поднес пачку ко рту, губами вытянул сигарету и задумался. Инспектор сидел на краю бильярда, свесив одну ногу, а другой упираясь в пол, курил и, зло усмехаясь, разглядывал струйки дыма в солнечном свете.

И тут Хинкус вдруг наклонился вперед, поймал его за свисающую ногу, изо всех сил дернул на себя и повернул. Инспектора снесло с бильярда, и он всеми своими девяноста килограммами, плашмя, физиономией, животом, коленями грянулся об пол.

Первое, что инспектор увидел, придя в себя, был плафон над бильярдом. По плафону бегали солнечные зайчики. Инспектор застонал и сел, прислонившись к ножке бильярда. Хинкус валялся неподалеку, скорчившись, обхватив руками голову, а над ним, как Георгий Победоносец над поверженным змием, возвышался Симоне с обломком тяжелого кия в руке.

— Вам повезло, инспектор,— сказал он, сияя.— Куда вам досталось? По плечу?

Инспектор кивнул. Говорить он не мог. Здоровой рукой достал из кармана платок и осторожно промокнул ссадину на лбу. Хинкус застонал, заворочался и попытался сесть. Он все еще держался за голову. Инспектор взял с подоконника графин, подобрался к Хинкусу и облил его водой. Хинкус зарычал и оторвал одну руку от макушки. Симоне присел на корточки рядом с ним.

— Надеюсь, я не перестарался? — озабоченно сказал он.

— Ничего, старина, все будет в порядке,— сказал инспектор.— Сейчас мы его живо приведем в порядок. Принесите-ка еще воды.

— И бренди! — с энтузиазмом подхватил Симоне.

— Правильно, — сказал инспектор.

Симоне принес еще воды и бутылку спиртного. Инспектор разжал Хинкусу рот и вылил в него полстакана коньяку. Остальные полстакана он выпил сам. Потом Хинкуса оттащили к стене, прислонили спиной, инспектор снова облил его из графина и два раза ударил по щекам. Хинкус открыл глаза и громко задышал.

— Еще коньяку? — спросил инспектор.

— Да... — сипло выдохнул Хинкус. Он выпил, облизнулся и спросил: — Так что вы там говорили насчет семьдесят второй «це»?

— Признания пока еще не было, — напомнил инспектор.

— Сейчас будет, — сказал Хинкус. — Но семьдесят вторую «це» вы мне обещаете? Вот в присутствии этого физика-химика?

— Ладно, — сказал инспектор. — Рассказывай... И смотри, если ты хоть слово соврешь... Ты мне два зуба расшатал, сволоочь...

— Значит, так... — начал Хинкус. — Меня намылил сюда Чемпион. Слыхали про Чемпиона? Еще бы не слышать... Так вот, полгода назад пригребся в нашу компанию один тип. Звали его у нас Вельзевулом. Работал он самые трудные и неподъемные дела. Например, работал он Второй Национальный банк — помните? Или, скажем, задрал он броневик с золотыми слитками... В общем, красиво работал, чисто, но вдруг решил завязать. Почему — не знаю, я человек маленький, но говорят, что поцапался он с самим Чемпионом и рванул когти. Вот Чемпион и намылил нас кого куда — ему наперехват. Приказ был такой: засечь его, взять на мушку и свистнуть Чемпиона. Вот я его и засек здесь. Тут и все мое чистосердечное признание.

— Так, — сказал инспектор. — Ну и кто же у нас здесь Вельзевул?

— Ясно кто — Мозес.

— Та-ак. А кто такой Луарвик?

— Какой Луарвик? А, это который все лимоны жрал...

Первый раз вижу.

— А Олаф? Тоже из вашей банды?

Хинкус прижал руку к сердцу.

— Вот тут, шеф, как на духу! Как в церкви, шеф! Сам ничего не знаю и ничего не понимаю. Я его не трогал. Одно скажу, шеф, — Вельзевул на мокрое дело ни за что не пошел бы: у него зарок такой — не убивать. У него тогда

вся чародейская сила пропадет, если он живую душу загубит...

— Какая еще чародейская сила?

— Ха! — сказал Хинкус. — То-то и оно! Вельзевул, он что? Тьфу! Его соплей перешибить можно. А вот баба его... Ясное дело, кто сам не видел, тот не поверит, но я-то своими глазами видел, как она сейф в две тонны весом по карнизу несла...

— Ну-ну, Филин... — сказал инспектор.

— Что, не верите? — сказал Хинкус, криво усмехаясь. — Ну, ладно, пускай я вру. А как броневик с золотом брали, знаете? Подошел человек, перевернул броневик на бок — голыми руками, — и пошло дело... В газетах же писали.

— Газеты врут, а ты повторяешь, — сказал инспектор.

— Повторяю... Чего мне повторять, когда я сам это видел... Да чего там: вот сейчас я вас, извиняюсь, как ребенка положил, шеф, а ведь вы мужчина рослый, умелый... Сами посудите, кто ж это меня мог таким манером скрутить и под стол засунуть?

— Кто? — спросил инспектор.

— Она! — В глазах Хинкуса плеснулся пережитый ужас. — Мать пресвятая, сижу я там, а она стоит передо мной... то есть я сам и стою — голый, мертвый и глаза вытекли... Как я там с ума не свихнулся — не понимаю! Пью, пью и ведь не пьянею — как на землю лью!.. Господи, мать пресвятая!.. Как она этот рельс взяла...

Хинкус сделал движение руками, словно завязывал что-то в узел. Лицо задергалось.

— Какой рельс? — ошеломленно пробормотал инспектор.

Симоне быстро налил полстакана и подал Хинкусу. Тот жадно высосал спиртное, утерся, глядя перед собой стеклянными глазами.

— Я ведь как думал: сяду на крыше, все вокруг видно, живьем, думаю, не выпущу ни за что. Пули, думаю, серебряные — возьмут... Тут-то он ее на меня и наслал... Она ведь любой вид принимать может... Думали, гады, меня с ума свести, да не вышло у них! Тогда она меня и скрутила. — Хинкус безнадежно махнул рукой. — Люгер отобрала — я ей сам отдал, на, думаю, возьми, отпусти только душу на покаяние...

— Какой рельс? — гаркнул инспектор.

— Хе!.. — сказал Хинкус. — Вы думаете, она кто? Она и не человек вовсе.

Инспектор свирепо глядел на него.

— Покойник она,— шепотом сказал Хинкус.— Днем живая ходит, а ночью мертвая лежит!

Симоне, только что хлебнувший бренди, поперхнулся и закашлялся. Инспектор растерянно поглядел на него. Кашляя, Симоне выпученными глазами смотрел на Хинкуса. Тогда инспектор сильно потер ладонями щеки и сказал сквозь зубы:

— Стоп, Филин. Оставим это. Объясни лучше, почему они тебя просто не шлепнули?

— Так я же говорю: нельзя ему людей убивать, нельзя. Это же все знают. Господи, да разве я взялся бы его выслеживать, если бы этого не знал?

— Пусть так. Хорошо... Ну а почему они не смылись, когда тебя связали?

Хинкус замотал головой.

— Не знаю. Тут я сам ни черта не понимаю. Я уверен был — все: открутит мне теперь башку Чемпион. Смотрю — а они здесь! Не знаю... Может быть, дорогу завалило? Так ведь этой ведьме завал разбросать — раз плюнуть.

— Каким образом? — вдруг спросил Симоне. Он был необычайно серьезен и даже как-то хмур.

— Что? — сказал Хинкус.

— Как она может разбросать завал?

— Ну как... Как бульдозер! Как она подкоп под музей делала. Только дым шел... Она и на человека-то похожа не была — машина и машина...

— Слушайте, Симоне,— сказал инспектор.— Может быть, это гипноз?

Симоне не ответил, а Хинкус обиделся.

— Ладно-ладно,— сказал он.— Гипноз... Мне-то что, я свою игру отыграл. А вот вам, шеф, еще придется с ней встретиться...

— Хватит об этом,— резко сказал инспектор.— Чемпион должен приехать один?

— Ну, зачем один. При нем всегда трое, сами знаете...

— Что он собирался делать с Вельзевулом?

— Откуда мне знать,— угрюмо сказал Хинкус.— Шлепнуть он его собирался,— добавил он.— От Чемпиона не завяжешь.

— Так,— сказал инспектор.— Ну ладно... Симоне... Я вас попрошу... — Он осекся. Симоне в комнате не было. Рядом с его стулом стоял недопитый стакан.

В конторе инспектор, залепленный пластырем, морщась от боли в поврежденном плече, рассматривал оружие, разложенное на столе: тяжелый многозарядный винчестер, две охотничьи двустволки, облезлый старинный смит-вессон. Хозяин, притихший и испуганный, с виноватым видом стоял рядом.

— Н-да...— процедил инспектор, шелкая расхлябанным механизмом смит-вессона.— Не густо... Это все?

— Но ведь, Петер,— осторожно сказал хозяин,— на машине сюда не проедешь — обвал...

— Вы воображаете, что вертолеты есть только у полиции? Я удивляюсь, почему его до сих пор нет...— Инспектор с отвращением швырнул револьвер в угол.— Черт бы вас подрал, Алек! Надо быть полным идиотом, чтобы не завести в этом отеле рацию.

— Понимаете,— виновато сказал хозяин,— мне это невыгодно...

— Ах, это вам невыгодно! А то, что через два часа нас всех сожгут из огнемета,— это вам выгодно? Чемпион свидетелей не оставляет. Мы даже в горы не можем удрать — он найдет нас по следу!.. Ладно. Берите свою пушку и пошли к Мозесу.

— Зачем? — спросил хозяин, поднимая голову.

— Попробую взять его за глотку.

Инспектор вытащил из кармана люгер, оттянул ствол и положил пистолет за пазуху.

— Сволочь...— прошипел он сквозь зубы, ощупывая плечо.— Сломал-таки мне ключицу.

Хозяин нехотя взял винчестер, прислоненный к сейфу, но не тронулся с места.

— В чем дело? — спросил инспектор жестко.

— У меня нет серебряных пуль, Петер,— негромко сообщил хозяин.

— Так будете стрелять свинцовыми, мать вашу так...— гаркнул инспектор.— И прекратите этот срам — нет там никакого зомби! Там всего-навсего,— он сказал это с огромной язвительностью,— всего-навсего гангстер первого класса и гипнотизер невероятной силы. Ясно?

— Ясно,— кротко сказал хозяин.

Они вышли в коридор, хозяин запер дверь в контору, позвал Леля и велел ему сидеть у порога. В доме было тихо, только Кайса на кухне звякала посудой.

Когда они вышли в холл, инспектор сказал:

— Подождите меня здесь, я сбегаю за Симоне. Лишний человек не помешает.

Он взбежал по лестнице на второй этаж и постучал к Симоне. Никто не откликнулся. Инспектор открыл дверь и заглянул в номер. Номер был пуст. Инспектор снова вышел в коридор, миновал опечатанный номер Олафа, заглянул в следующий номер, нежилой, и без стука ввалился в номер к Брюн. Брюн, пригорюнившись, сидела за столом с дымящейся сигаретой на губе. Перед ней стояла основательно початая бутылка и включенный транзистор. Из транзистора тянулась приглушенная сладенькая мелодия.

— Прошу прощения,— сказал инспектор.— Симоне здесь нет? — Он и сам видел, что нет.

Брюн медленно повернула голову, уставилась черными окулярами и произнесла хрипловато:

— Дверь закройте... Или туда, или сюда...

Инспектор затворил дверь и, все ускоряя шаг, двинулся по коридору. Он заглядывал в нежилые номера, сунулся к Хинкусу, миновал столовую и осмотрел бильярдную. Симоне нигде не было. Закусив губу, он уже почти бегом вернулся к Брюн. Она сидела все в той же позе, только сигарета докурилась почти до губ.

— Простите, Брюн,— сказал инспектор.— Вы Симоне не видели?

Брюн сунула окурочек в пепельницу, пьяно хихикнула и сказала:

— Что — и этого стукнули? Правильно, чего время терять...

— Вы видели его после завтрака?

— Нет,— сказала Брюн.— И видеть не хочу...

Некоторое время инспектор молча глядел на нее, потом сказал:

— Слушайте, Брюн. Нам всем грозит очень большая опасность. Я вас прошу: возьмите свой транзистор и идите на крышу. Как только увидите какой-нибудь вертолет, или самолет... или, может быть, людей на дороге, сразу бегите ко мне. Я буду в номере у Мозеса.

— А на кой черт все это?

— Я вам потом объясню. В общем, нас всех могут перебить, если мы зазеваемся... Так можно на вас надеяться?..

Вряд ли на нее можно было особенно надеяться, но она поднялась, взяла под мышку транзистор и стала искать пальто.

Инспектор повернулся и побежал вниз, в холл. Хозяин стоял там, как часовой у денежного ящика — с винчестером у ноги. Увидев лицо инспектора, он сразу спросил:

— Что случилось?

— Симоне пропал,— сказал инспектор сквозь зубы.— Ладно, пошли...

По дороге к номеру Мозеса инспектор заглянул еще в комнату Луарвика, но там тоже было пусто. Бормоча проклятия, инспектор двинулся дальше по коридору и остановился перед дверью с номером один. Здесь он оглянулся на хозяина. Хозяин держал винчестер наизготовку, лицо у него потемнело от нервного напряжения. Инспектор кивнул ему, чтобы ободрить, и рывком распахнул дверь.

Прямо перед ним, спиной к нему, стоял какой-то человек, мучительно знакомый и в то же время совершенно неуместный, совершенно невозможный здесь. Инспектор застыл на пороге. Человек быстро обернулся и отступил в сторону. Инспектор узнал его: это был инспектор полиции Петер Глебски.

— К стене,— севшим голосом сказал инспектор, тяжело шагнув вперед. Пистолет он держал в руке, изо всех сил сжимая рукоять. Ноги плохо слушались его. Как в тумане он видел перед собой строгое с поджатыми губами лицо Мозеса, стоявшего за столом, белое с закаченными глазами лицо Луарвика, лежащего в кресле, и свое собственное лицо, равнодушное, равнодушно улыбающееся, невозможное, совершенно невероятное,— у него кружилась голова, когда он глядел на себя самого, и слабели ноги.

— Всем к стене! — повторил он хрипло.

— Уберите оружие, Петер,— сказал голос Симоне.

Инспектор дернулся. Симоне тоже был здесь — сидел верхом на стуле в сторонке, тоже сумрачный, строгий, сосредоточенный.

— Оружие здесь не понадобится,— сказал он.— Никто не собирается на вас нападать.

Инспектор покосился на своего двойника и испытал новый шок. Двойника не было: у стены, приветливо улыбаясь, стояла госпожа Мозес, во всей красе.

— Так,— сказал инспектор. Он чувствовал, что рубашка прилипла ему к лопаткам.— Значит, вы тоже из этой банды, господин физик... Не двигаться! — гаркнул он, заметив, что госпожа Мозес намеревается отойти в сторону, к свободному креслу.

— Здесь нет никакой банды,— сказал Симоне.— Здесь все гораздо сложнее, чем вы думаете, Петер. Это не люди...

— Помолчите,— сказал ему инспектор, не сводя глаз с Мозеса.

— Это не люди,— повысив голос, сказал Симоне.— Это пришельцы с другой планеты...

— Я вам сказал, помолчите! — сказал инспектор.— С вами я поговорю потом!

— Черт бы вас подрал! — рявкнул Симоне.— Вы дадите мне сказать хоть два слова, полицейская вы балда! Это пришельцы с другой планеты, понимаете! Они попали в беду, им надо помочь, а не размахивать люгером!

— Все? — сказал инспектор.— Теперь сядьте и заткнитесь... Мозес, вы арестованы по обвинению в принадлежности к гангстерской шайке Джона О'Хара, известного по кличке Чемпион, а также в убийстве доброго гражданина Олафа Андварафорса.

— Слушайте!..— в отчаянии воскликнул Симоне. Инспектор не обратил на него внимания.

— Предлагаю сдать оружие и прекратить все ваши гипнотические упражнения. Предупреждаю, что все, что вы с этого момента скажете, может быть использовано против вас на суде.

Мозес молчал. Он стоял, ссутулившись, тяжело опершись руками на стол, заваленный исписанной, исчерченной бумагой, лицо его обвисло, глаза полузакрыты. Потом он медленно сказал:

— Оружия у меня нет. И я не совершил никаких преступлений. Вы заблуждаетесь, инспектор. Я не участвовал в гангстерской шайке. Я помогал людям, которые боролись за справедливость. Ваша жизнь оказалась слишком сложной для меня. Когда я увидел, как вы здесь живете, я понял, что не могу быть просто наблюдателем. Я хотел помочь, я задыхался от жалости...

— Он был наблюдателем, понимаете! — вмешался Симоне.— Ему было запрещено вступать в контакт!

— Да,— сказал Мозес.— Мне было запрещено. Я нарушил запрет, и оказалось, что меня обманули. Оказалось, что это бандиты. Мафия или что-то в этом роде... Как только я понял это, я бежал. Часть убытков я уже возместил. Вот...— Он порывлся в куче бумаг, вытащил чековую книжку и протянул ее инспектору.— Миллион крон я уже внес в Государственный банк. Остальное будет возмещено золотом, когда я вернусь домой. Чистым золотом...

Инспектор взял книжку, не глядя сунул ее в карман.

— Продолжайте,— сказал он.

— Теперь об Олафе,— сказал Мозес.— Олаф не убит. Олаф не может быть убит, потому что он вообще не живое существо. Олаф и вот Ольга — это, как у вас называется, кибернетические устройства, роботы, запрограммированные так, чтобы походить на среднего человека соответствующего социального положения... Мы должны были покинуть Землю прошлой ночью. Здесь в горах наша стартовая площадка. Но случилась авария... Вот Луарвик — он наш пилот, он сильно пострадал, видите. И еще при взрыве погибла энергетическая станция, которая питала наших роботов. Ольгу я подключил к переносному аккумулятору...— он двумя пальцами поднял со стола и показал инспектору черную коробочку,— а аккумулятор Олафа — чемодан, помните? — оказался у вас. Олаф почему-то не успел включить свой аккумулятор... И вот мы здесь застряли. Я очень прошу вас помочь нам.

Все молчали. Госпожа Мозес любезно улыбалась, стоя у стены. Потом Луарвик что-то пробормотал и неуклюже заворочался в кресле. Мозес положил ему руку на лоб, и он затих. Инспектор сказал:

— Это вы меня вызвали сюда?

— Да. Я надеялся, что вы отвечете Хинкуса.

— Записка — тоже ваша работа?

— Да. И браунинг.

— Плохо,— сказал инспектор.— Неуклюже.

— Да,— сказал Мозес.— Не умею я такие вещи... Поймите, я не преступник. Я виноват, конечно, но ведь еще не все потеряно. Вместо меня пришлют другого, и со временем мы установим с вами официальный контакт, поможем вам — поможем вам уничтожить на земле горе, страх, нищету, ненависть... Дайте нам возможность вернуться домой, инспектор!..

— Вы могли уже двадцать раз уйти отсюда,— угрюмо сказал инспектор.— Мне понадобилось вас арестовать, чтобы узнать об этом вашем желании.

— Мы не можем уйти. Только Олаф умеет исправлять повреждения. Он механик. Без него мы как без рук. А аккумулятор у вас. Отдайте нам чемодан, и мы уйдем.

— Ах, чемодан!..— неприятно улыбаясь, сказал инспектор.

— Слушайте, Петер,— снова вмешался Симоне. Видно было, что он изо всех сил сдерживается и очень старается говорить спокойно.— Ведь вы хотели бы, чтобы никакого

убийства не было? Отдайте им чемодан, они на ваших глазах снова включат Олафа и уйдут... Поймите, если бы не эта авария, их бы здесь уже давно не было и не было бы убийства...

— Не пойдет,— коротко сказал инспектор и встал.

— Да почему же?! — в полном отчаянии заорал Симоне, потрясая кулаками.

— Слишком много вранья наворочено вокруг этого чемодана,— жестко сказал инспектор.— Хватит на эту тему!.. Господин Вельзевул, повторяю: вы арестованы. Имейте в виду, Чемпион ищет вас, чтобы убить. Имейте это в виду, когда начнется стрельба. В ваших показаниях будет разбираться суд, а я могу вам только обещать, что буду защищать вас силой оружия до последнего. Все.

Он шагнул к двери, и тут Симоне, налившись кровью, заорал во все горло:

— Да подождите же, черт вас дери!.. Стойте!.. Вот... Вот. Вот чертеж их корабля! — Он хватал со стола и тыкал в лицо инспектору смятые бумаги.— Вот траектория их полета... Вот схема робота... Вы можете понять: Ольга не человек. Это робот. Вы понимаете, каких высот в науке они достигли, если умеют создавать таких роботов!.. Вы понимаете, что мы потеряем, если они погибнут? Боже мой, Мозес, не стойте столбом! Покажите этому болвану хотя бы то, что вы показывали мне!..

Мозес схватил черную коробочку и завертел ее в длинных белых пальцах. Инспектор попятился, выставив перед собою люгер. Он не отрываясь смотрел на госпожу Мозес. А госпожи Мозес уже не было — вместо нее хихикал, показывая плохие зубы, Филин-Хинкус. Потом он расплылся, потерял очертания и вдруг превратился в Симоне. Потом — в хозяина, потом — в инспектора, потом в какого-то незнакомого человека с толстой сигарой в зубах, потом — в Кайсу и, наконец, снова в госпожу Мозес, которая подхватила с пола скрученный узлом швеллер и легко, как пластилин, развязала его.

Инспектор медленно вытер с лица выступившую испарину. Он хотел заговорить и не мог. А Симоне кричал, брызгая слюной:

— Ну!.. Ну!.. Вы видели? Теперь вы верите?.. Ну!..

— Всем арестованным оставаться в комнате,— проговорил наконец инспектор и повернулся к двери.

— Инспектор,— сказал вдруг Мозес ему в спину.— Ну хотя бы Луарвика. Я — ладно... Пусть... Но отпустите хотя бы Луарвика. Он ни в чем не виноват. И он не приспособ-

лен долго жить у вас, на Земле. Его не тренировали специально, как меня. Он умирает. Я прошу уже не за себя, инспектор...

Инспектор, не оборачиваясь, шагнул в дверь. Хозяин молча последовал за ним, и уже в коридоре огромными прыжками их нагнал Симоне.

— Вы понимаете, что вы делаете? — сказал он задыхаясь. — Ведь вы наврали насчет почтовых голубей?.. Если поможем им бежать, у нас хоть совесть будет чиста.

— Это у вас она будет чиста, — сказал инспектор угрюмо. — У меня будет замарана по самые уши...

— Но они же ни в чем не виноваты! Их обманом втянули в эту историю.

— В этом будут разбираться другие инстанции.

Они вышли через холл и остановились у дверей конторы.

— Вот тебе и первый контакт... — бормотал Симоне, голова его была опущена, плечи ссутулились. — Вот тебе и встреча двух миров!..

— Не капайте мне на мозги, — сказал ему инспектор. — Алек, отправляйтесь в холл, это будет ваш пост Симоне, перестаньте ныть. Поднимитесь на крышу и следите за небом. Я буду здесь, в конторе.

Он достал ключ и отпер дверь.

— Алек, — в отчаянии сказал Симоне. — Попробуйте вы. Помогите мне убедить этого кретина!..

Инспектор вошел в контору, с грохотом захлопнул за собой дверь и повернул ключ. Симоне ударил в дверь обоими кулаками и заорал:

— Вы, мелкая полицейская пешка! Вы понимаете, что единственный и последний раз в жизни судьба бросила вам кусок! В ваших руках действительно важное решение, а вы ведете себя, как распоследний тупоголовый!..

Инспектор не слушал его. Он подошел к окну, оглядел пустую равнину, опустил железные жалюзи и сел за стол. Он осторожно взялся обеими руками за голову и несколько секунд сидел неподвижно, постанывая сквозь зубы. Потом снял телефонную трубку. Трубка молчала. Инспектор постучал по рычагу, оскалился, швырнул трубку и яростно ударил кулаком по аппарату. Потирая ушибленную руку, встал, прошелся по комнате, остановился у стены, постоял, прислонясь лбом к холодной облицовке, потом вернулся к двери. За дверью было тихо. По-видимому, Симоне и хозяин уже ушли. Инспектор отпер дверь, выглянул. В коридоре было пусто, только у выхода в холл сидел, откинув

хвост, Лель, неподвижный, как изваяние. Инспектор тихонько прикрыл дверь и снова сел за стол. Лицо у него осунулось, глаза стали бессмысленными. Некоторое время он сидел не двигаясь, потом произнес:

— Ну, хорошо... Ну, а что делать-то? Делать-то что?..— Он положил голову на руки.

Дверь скрипнула, и инспектор поднял голову. Бесшумно ступая, вошла Брюн, чуть пошатываясь, остановилась у стола. Одной рукой она прижимала к груди початую бутылку, в другой был стакан. Она поставила все это на стол перед инспектором, а сама повалилась в кресло для посетителей.

— Ну, хорошо,— сказал инспектор. Он думал вслух. Он почти не замечал Брюн.— Пусть он пришелец. Пусть... Дальше-то что? Проходу же не будет... Поймал, в руках держал — и выпустил. Все отдал, нате, пользуйтесь, и — выпустил... Поверил краснобаю.

— Не верьте,— решительно сказала Брюн.— Нельзя.

— Просто он гипнотизер... Блестящий, невиданный мастер... Водит вокруг пальца, а мне два года до пенсии.— Инспектор застонал.— Какого черта я не уехал отсюда сразу же... Настойки эдельвейсовой ему захотелось, идиоту...— Он снова застонал и взялся за голову.— А если даже пришельцы? Мне-то какое дело? Какое мне до них дело?.. Не хочу я за них отвечать...

— Главное — не верьте,— снова сказала Брюн.— Никому нельзя верить. Я один раз поверила, всего один раз, и вот сижу в этой дыре — одна, и никому не нужна... В нашем прекрасном, замечательном, вонючем, гадском мире... Никому!

Она налила полстакана бренди, отхлебнула и передала стакан инспектору. Тот машинально допил остальное.

Тут дверь отворилась, и вошли Симоне с хозяином. Хозяин поставил перед инспектором кружку кофе, а Симоне, не обращая внимания на Брюн, взял у стены стул и уселся напротив инспектора.

— Луарвику совсем плохо,— сказал он.— Он задыхается. Мозес говорит, что больше часа ему не выдержать. Вы его загубите, Глебски, и это будет скотский поступок...

Держа люгер одной рукой, инспектор взял кружку другой, поднес ко рту и поставил обратно.

— Отстаньте от меня,— сказал он устало.— Все вы болтуны. Алек заботится о целостности своего заведения, а вы, Симоне, просто интеллектуал на отдыхе.

— А вы-то,— сказал Симоне,— вы-то о чем заботитесь? Лишнюю бляху захотелось на мундир?

Брюн вдруг встала, неуверенным движением подхватила бутылку и вышла, бормоча: «Везде одно и то же.. Скучища... Вранье».

— Нет,— сказал инспектор, покачав головой.— Не в этом дело, хотя лишняя бляха бедному полицейскому не помешает... Я не эксперт, Симоне. Я полицейский чиновник. Вы ни черта не смыслите в законе, Симоне. Вы воображаете, что существует один закон для людей, а другой — для вурдалаков и пришельцев. Мозес — бандит. Моя обязанность — передать его суду... Даже если он пришелец... Вот все, что я знаю.

Симоне молча щерился, глядя на него. Хозяин подошел к окну и поднял штору. Инспектор оглянулся на него.

— Зачем вы это сделали?

Прижимаясь лицом к стеклу, хозяин оглядывал небо.

— Да вот все посматриваю, Петер...— медленно сказал он, не оборачиваясь.— Жду, Петер... Жду...

Инспектор положил люгер на стол, взял кружку обеими руками и, закрыв глаза, сделал несколько глотков. И тут он ощутил, как сильные руки взяли его сзади за локти. Он открыл глаза, и дернулся, и застонал.

— Ничего, Петер, ничего...— ласково сказал хозяин.— Потерпите.

Симоне с озабоченным и виноватым видом уже засовывал люгер себе в карман.

— Предатели!..— сказал инспектор с удивлением.

— Нет-нет, Петер,— сказал хозяин.— Но надо быть разумным. Не одним законом жива совесть человеческая...

Симоне, осторожно зайдя сбоку, похлопал инспектора по карманам. Звякнули ключи. Инспектор рванулся изо всех сил и потерял сознание от страшной боли в поврежденном плече. Когда он пришел в себя. Симоне уже выходил из комнаты с чемоданом в руке, а хозяин, все еще придерживая инспектора за локти, тревожно говорил:

— Поторапливайтесь, Симоне, поторапливайтесь. Ему плохо...

Инспектор хотел заговорить, но у него перехватило горло, и он только захрипел. Хозяин озабоченно наклонился над ним.

— Господи, Петер...— проговорил он.— На вас лица нет...

— Бандиты...— прохрипел инспектор.— Арестанты...

— Да-да, конечно,— покорно согласился хозяин.— Вы всех нас арестуете и правильно сделаете, только потерпите немного, не рвитесь, ведь вам же очень больно, я вас пока все равно не выпущу...

Но инспектор рванулся снова, и все завертелось у него перед глазами, все застлала мутная звенящая пелена, и в этом тумане, сквозь этот звон раздавались какие-то неразборчивые голоса, кто-то кричал, кто-то торопил, что-то трещало и гремело, звенело разбиваемое стекло, и, когда инспектор опомнился, он лежал на полу, а хозяин стоял рядом с ним на коленях и смачивал ему лоб мокрой тряпкой. Он был очень бледен.

— Помогите мне сесть,— прохрипел инспектор. Хозяин повиновался.

Дверь была распахнута настежь, слышались возбужденные голоса, потом что-то снова грохнуло и затрещало. Хозяин болезненно сморщился.

— Пр-роклятуший сундук! — произнес он сдавленным голосом.— Опять косяк разворотили...

Под окном голос Мозеса гаркнул с нечеловеческой силой:

— Готовы? Вперед!.. Прощайте, люди! До встречи! До настоящей встречи!..

Голос Симоне прокричал в ответ что-то неразборчивое, а затем стекла дрогнули от какого-то жуткого клетота и свиста, и стало тихо. Инспектор поднялся на ноги и пошел к двери. Хозяин суетился рядом. Он беззвучно шевелил губами, кажется, молился. По широкому лицу его стекали капли пота.

Они вышли в пустой холл, по которому гулял ветер. Входная дверь была снесена, журнальный столик перевернут и раздавлен. Инспектор направился к лестнице, но на первых же ступеньках ему стало дурно, и он остановился, вцепившись в перила. Хозяин кинулся поддержать, но инспектор отпихнул его и сказал:

— Убирайтесь к черту! Слышите?..

Он медленно побрел по лестнице, цепляясь за перила, миновал Брюн, испуганно прижавшуюся к стене, поднялся на второй этаж и направился в свой номер. Дверь номера Олафа тоже была распахнута, там было пусто. И тут внизу кто-то закричал — отчаянно, истошно, страшно:

— Вот они!.. Поздно!.. Будь оно все проклято! Поздно!..

Голос сорвался. Внизу в холле затопали, что-то упало, покатилося, и вдруг все эти звуки перекрыло ровное дале-

кое гудение. Тогда инспектор повернулся и, спотыкаясь, побежал к черной лестнице.

Вся широкая снежная долина распахнулась перед ним. Вдаль, к синеющим горам, уходили две голубоватые совершенно прямые лыжни. Они уходили на север, наискосок от отеля, и там, где они кончались, видны были черные, словно нарисованные на белом, фигурки беглецов. Впереди мчалась госпожа Мозес с гигантским сундуком под мышкой, а на плечах у нее нелепо и дико моталась длинная, как удилище, фигура Мозеса. Правее, чуть отставая, ровным финским шагом неся Олаф с Луарвиком на спине. Они мчались быстро, сверхъестественно быстро, а сбоку, им наперерез, сверкая на солнце лопастями и стеклами кабины, заходил вертолет. Вся долина была наполнена ровным мощным гулом. Вертолет медленно, словно бы неторопливо, снижался, прошел над беглецами, обогнал их, вернулся, опускаясь все ниже, а они продолжали стремительно мчаться по долине, будто ничего не видя и не слыша, и тогда в это могучее монотонное гудение ворвался новый звук, злобный отрывистый треск, и беглецы заматались, а потом Олаф упал и остался лежать неподвижно, кубарем покатился по снегу Мозес, а Симоне рвал на инспекторе воротник и рыдал ему в ухо: «Видишь!.. Видишь!..» А потом вертолет повис над неподвижными телами, медленно опустился и скрыл тех, кто лежал неподвижно, и тех, кто еще пытался ползти. Снег закрутился вихрем, и сверкающая снежная туча встала горбом на фоне сизых отвесных скал. Снова послышался злобный треск пулемета, и хозяин сел на корточки, закрыв глаза ладонями, а Симоне все рыдал, все кричал: «Добился?.. Добился своего? Дубина... Мерзавец!..»

Вертолет так же медленно поднялся из снежной тучи и, косо уйдя в пронзительную синеву неба, исчез за хребтом. И тогда внизу тоскливо и жалобно завыл Лель.

Пять ложек Эликсира

Время действия: наши дни, поздняя весна.

Место действия: крупный город, областной центр на юге нашей страны.

Двухкомнатная квартира писателя средней руки Феликса Александровича Снегирева. Обычный современный интерьер. Кабинет идеально прибран: все полированные поверхности сияют, книги на полках выстроены аккуратными рядами, кресла для гостей, полосатый диван — красивы и уютны, пол чист и блестит паркетом. Порядок и на рабочем столе: пишущая машинка зачехлена, массивная стеклянная пепельница сияет первозданной чистотой, рядом затейливая зажигалка и деревянный ящичек, наполовину заполненный каталожными карточками.

Два часа дня. За окном — серое дождливое небо.

Феликс — у телефона на журнальном столике под торшером. Это обыкновенной наружности человек лет пятидесяти, весьма обыкновенно одетый для выхода. На ногах у него стоптанные домашние шлепанцы.

— Наталья Петровна? — говорит он в трубку. — Здравствуйте, Наташенька! Это я, Феликс... Ага, много лет, много зим... Да ничего, помаленьку. Слушай, Наташка, ты будешь сегодня на курсах?.. До какого часу? Ага... Это славно. Слушай, Наташка, я к тебе забегу около шести, есть у меня к тебе некое маленькое дельце... Хорошо? Ну, до встречи...

Он вешает трубку и устремляется в прихожую. Быстро переобувается в массивные ботинки на толстой подошве, натягивает плащ и нахлобучивает на голову бесформенный берет. Затем берет из-под вешалки огромную авоську, набитую пустыми бутылками из-под кефира, лимонада, фанты и подсолнечного масла.

Слегка согнувшись под тяжестью стеклотары, выходит он на лестничную площадку за порогом своей квартиры и остолбенело останавливается.

Из дверей квартиры напротив выдвигаются два санитара с носилками, на которых распростерт бледный до зелени Константин Курдюков, сосед и шапочный знакомый Феликса, третьестепенный поэт городского масштаба. Увидев Феликса, он произносит:

— Феликс! Сам господь тебя послал мне, Феликс!..

Голос у него такой отчаянный, что санитары враз останавливаются. Феликс с участием наклоняется над ним.

— Что с тобой, Костя? Что случилось?

Мутные глаза Курдюкова то закатываются, то сходятся к переносице, испачканный рот вяло распушен.

— Спасай, Феликс! — сипит он. — Помираю! На коленях тебя молю... Только на тебя сейчас и надежда... Зойки нет, никого рядом нет...

— Слушаю, Костя, слушаю! — говорит Феликс. — Что надо сделать, говори...

— В институт! Поезжай в институт... Институт на Богородском шоссе — знаешь?.. Найди Мартынюка... Мартынюк Иван Давыдович... Запомни! Его там все знают... Председатель месткома... Скажи ему, что я отравился, ботулизм у меня... Помираю!.. Пусть даст хоть две-три капли, я точно знаю — у него есть... Пусть даст!

— Хорошо, хорошо! Мартынюк Иван Давыдович, две капли... А чего именно две капли? Он знает?

На лице у Кости появляется странная, неуместная какая-то улыбка.

— Скажи: мафуссалин! Он поймет...

Тут из Костиной квартиры выходит врач и напускается на санитаров:

— В чем дело? Чего стоите? А ну, давайте быстро! Быстро, я говорю!

Санитары пошли спускаться по лестнице, а Костя отчаянно кричит:

— Феликс! Я за тебя молиться буду!..

— Еду, еду! — кричит ему вслед Феликс. — Сейчас же еду!

Врач, воткнув незажженную «беломорину» в угол рта, стоит в ожидании лифта. Феликс испуганно спрашивает его:

— Неужели и вправду ботулизм?

Врач неопределенно пожимает плечами:

— Отравление. Сделаем анализы, станет ясно.

— Мартынюк Иван Давыдович, — произносит Феликс вслух и, когда врач взглядывает на него непонимающе, торопливо поясняет: — Нет, это я просто запоминаю. Мартынюк, председатель месткома... Мафуссалин...

Дверь лифта раскрывается, и они входят в кабину.

— А как вы полагаете, — спрашивает Феликс, — мафуссалин этот и от ботулизма поможет?

— Как вы сказали?

— Мафуссалин, по-моему...— произносит Феликс смущенно.

— Впервые слышу,— сухо говорит врач.

— Какое-нибудь новое средство,— предполагает Феликс.

Врач не возражает.

— Может быть, даже новейшее,— говорит Феликс.— Это, знаете ли, из того института, что на Богородском... Кстати, а куда вы моего Курдюкова сейчас повезете?

— Во Вторую градскую.

— А, это совсем рядом...

У «неотложки» они расстаются, и Феликс, гремя бутылками, бежит на середину улицы останавливать такси.

Выбравшись из машины, Феликс поудобнее прихватывает авоську и, кренясь под ее тяжестью, поднимается по широким бетонным ступенькам под широкий бетонный козырек институтского подъезда. Навалившись, он распахивает широкую стеклянную дверь и оказывается в обширном холле, залитом светом многочисленных ртутных трубок. В холле довольно много людей, все они стоят кучками и дружно курят. Феликс зацепляется авоськой за урну, бутылки лязгают, и все взгляды устремляются на авоську. Ежась от неловкости, Феликс подходит к ближайшей группе и осведомляется, где ему найти Мартынюка, председателя месткома. Его оглядывают и показывают в потолок. Феликс идет к стойке гардероба и вручает гардеробщику свой плащ и берет. Пытается он всучить гардеробщику и свою авоську, но получает решительный отказ и осторожноенько ставит авоську в уголок.

На втором этаже он открывает дверь в одну из комнат и вступает в обширное светлое помещение, где имеет место масса химической посуды, мигают огоньки на пультах, змеятся зеленоватые кривые на экранах, а спиной к двери сидит человек в синем халате. Едва Феликс закрывает за собой дверь, как человек этот, не оборачиваясь, рывкает через плечо:

— В местком! В местком!

— Ивана Давыдовича можно?— осведомляется Феликс.

Человек поворачивается к нему лицом и встает. Он огромен и плечист. Могучая шея, всклокоченная пегая шевелюра, черные, близко посаженные глаза.

— Я сказал — в местком! С пяти до семи! А здесь у нас разговора не будет. Вам ясно?

— Я от Кости Курдюкова... От Константина Ильича. Предместкома Мартынюк словно бы налетает с разбегу на стену.

— От... Константина Ильича? А что такое?

— Он страшно отравился, понимаете, в чем дело? Есть подозрение на ботулизм. Он очень просил, прямо-таки умолял, чтобы вы прислали ему две-три капли мафуссалина...

— Чего-чего?

— Мафуссалина... Я так понял, что это какое-то новое лекарство... Или я неправильно запомнил? Ма-фус-салин...

Иван Давыдович Мартынюк обходит его и плотно прикрывает дверь.

— А кто вы, собственно, такой? — спрашивает он неприветливо.

— Я его сосед.

— В каком это смысле? У него же квартира...

— И у меня квартира. Живем дверь в дверь.

— Понятно. Кто вы такой — вот что я хочу понять.

— Феликс Снегирев. Феликс Александрович...

— Мне это имя ничего не говорит.

Феликс взвизгивает.

— А мне ваше имя, между прочим, тоже ничего не говорит! Однако я вот через весь город к вам сюда перся...

— Документ у вас есть какой-нибудь? Хоть что-нибудь...

— Конечно, нет! Зачем он вам? Вы что — милиция?

Иван Давыдович мрачно смотрит на Феликса.

— Ладно, — произносит он наконец. — Я сам этим займусь. Идите... Стойте! В какой он больнице?

— Во Второй градской.

— Чтоб его там... Действительно, другой конец города. Ну, ладно, идите. Я займусь.

— Благодарю вас, — ядовито говорит Феликс. — Вы меня просто разодолжили!

Но Иван Давыдович уже повернулся к нему спиной.

Внутренне клопоча, Феликс спускается в гардероб, облачается в плащ, напяливает перед зеркалом берет и поворачивается, чтобы идти, но тут тяжелая рука опускается ему на плечо. Феликс обмирает, но это всего лишь гардеробщик. Античным жестом он указывает в угол на проклятую авоську.

Феликс выходит на крыльцо, ставит авоську у ноги и достает сигарету. Повернувшись от ветра, чтобы закурить, он снова обмирает: за тяжелой прозрачной дверью, упершись в стекло огромными ладонями и выставив бледное лицо свое, пристально смотрит на него Иван Давыдович Мартынюк. Словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве.

Народу в трамвае великое множество. Феликс сидит с авоськой на коленях, а пассажиры стоят стеной, и вдруг между телами образовывается просвет, и Феликс замечает, что в этот просвет пристально смотрят на него светлые выпуклые глаза. Лишь на секунду видит он эти глаза, клетчатую кепку-касбетку, клетчатый галстук между отворотами клетчатого пиджака, но тут трамвай со скрежетом притормаживает, тела смыкаются, и странный наблюдатель исчезает из виду. Некоторое время Феликс хмурится, пытаясь что-то сообразить, но тут между пассажирами вновь возникает просвет, и выясняется, что клетчатый наблюдатель мирно дремлет, сложив на животе руки. Средних лет мужчина, клетчатый пиджак, грязноватые белые брюки...

В зале дома культуры Феликс, расхаживая по краю сцены, разглагольствует перед читателями.

— ...С раннего детства меня, например, пичкали классической музыкой. Вероятно, кто-то где-то когда-то сказал, что если человека ежечасно пичкать классической музыкой, то он к ней помаленьку привыкнет и смирится, и это будет прекрасно. И началось! Мы жаждали джаза, мы сходили по джазу с ума — нас душили симфониями. Мы обожали душещипательные романсы — на нас рушили скрипичные концерты. Мы рвались слушать бардов и менестрелей — нас травили ораториями. Если бы все эти титанические усилия по внедрению классической музыки имели бы кпд ну хотя бы как у паровоза, мы бы все сейчас были знатоками и ценителями. Ведь это же тысячи и тысячи часов классики по радио, тысячи и тысячи телепрограмм, миллионы пластинок! А что в результате? Сами видите, что в результате...

Под одобрителный шум в зале Феликс отходит к столу и берет очередную записку.

— «Были ли вы за границей?»

Смех в зале. Возглас: «Как в анкете!»

— Да, был. Один раз в Польше туристом. Два раза в Чехословакии с делегацией... Так. А что здесь? Гм... «Кто,

по-вашему, больше боится смерти: смертные или бессмертные?»

В зале шум, Феликс пожимает плечами и говорит:

— Странный вопрос. Я на эту тему как-то не думал... Знаете, по-моему, о бессмертии думают главным образом молодые, а мы, старики, больше думаем о смерти!

И тут он видит, как в середине зала воздвигается знакомая ему клетчатая фигура.

— А что думают о смерти бессмертные? — пронзительным фальцетом осведомляется клетчатая фигура.

Этим вопросом Феликс совершенно сбит с толку и несколько даже испуган. Он догадывается, что это неспроста, что есть в этой сцене некий непонятный ему подтекст, он чувствует, что лучше бы ему сейчас не отвечать, а если уж отвечать, то точно, в самое яблочко. Но как это сделать — он не знает, а поэтому бормочет, пытаясь то ли сострить, то ли отбрехаться:

— Поживем, знаете ли, увидим... Я, между прочим, пока еще не бессмертный. Мне трудно, знаете ли, о таких вещах судить...

Клетчатого уже не видно в зале, Феликс утирается платком и разворачивает следующую записку.

Покинув дом культуры, Феликс решает избавиться от проклятой авоськи с бутылками. Он пристраивается в небольшую очередь у ларька по приему стеклотары и стоит, глубоко задумавшись.

Вдруг поднимается визг, крики, очередь бросается врассыпную. Феликс очумело вертит головой, силясь понять, что происходит. И видит он: с пригорка прямо на него, набирая скорость, зловеще-бесшумно катится гигантский МАЗ-самосвал с ковшем, полным строительного мусора. Судорожно подхватив авоську, Феликс отскакивает в сторону, а самосвал, промчавшись в двух шагах, с грохотом вламывается в ларек и останавливается. В кабине его никого нет.

Вокруг кричат, ругаются, воздевают руки.

— Где шофер?!

— В гастроном пошел, разгильдяй!

— На тормоз! На тормоз надо ставить!

— Да что же это такое, граждане хорошие? Куда милиция смотрит?

— Где моя посуда? Посуда-то моя где? Он же мне всю посуду подавил!

— Спасибо скажи, что сам жив остался...

— Шофер! Эй, шофер! Куда завалился-то?

— Убирай свою телегу!

Выбравшийся из развалин ларька приемщик в грязном белом халате вскакивает на подножку и ожесточенно давит на сигнал.

Потряхивая головой, чтобы избавиться от пережитого потрясения, Феликс направляется на курсы иностранных языков к знакомой своей, Наташе, до которой у него некое маленькое дельце.

По коридорам курсов он идет свободно, как у себя дома, не раздевшись и нисколько не стесняясь своих бутылок, раскланиваясь то с уборщицей, то с унылым пожилым курсантом, то с молодыми парнями, устанавливающими стремянку в простенке.

Он небрежно стучит в дверь с табличкой «Группа английского языка» и входит.

В пустом кабинетике за одним из канцелярских столов сидит Наташа, Наталья Петровна, она поднимает на Феликса глаза, и Феликс останавливается. Он ошарашен, у него даже лицо меняется. Когда-то у него была интрижка с этой женщиной, а потом они мирно охладели друг к другу и давно не виделись. Он явился к ней по делу, но теперь, снова увидев эту женщину, обо всем забыл.

Перед ним сидит строго одетая загадочная дама. Прекрасная Женщина с огромными сумрачными глазами ведьмы-чаровницы, с безукоризненно нежной кожей лица и лакомыми губами. Не спуская с нее глаз, Феликс осторожно ставит авоську на пол и, разведя руками, произносит:

— Ну, мать, нет слов!.. Сколько же мы это не виделись? — Он хлопает себя ладонью по лбу. — Ну что за идиот! Где только были мои глаза? Ну что за кретин, в самом деле! Как я мог позволить?

— Гуд ивнинг, май дарлинг, — довольно прохладно отзывается Наташа. — Ты только затем и явился, чтобы мне об этом сказать? Или заодно хотел еще сдать бутылки?

— Говори! — страстно шепчет Феликс, падая на стул напротив нее. — Говори еще! Все, что тебе хочется!

— Что это с тобой сегодня?

— Не знаю. Меня чуть не задавили. Но главное — я увидел тебя!

— А кого ты ожидал здесь увидеть?

— Я ожидал увидеть Наташку, Наталью Петровну, а увидел фею! Или ведьму! Прекрасную ведьму! Русалку!

— Златоуст,— говорит она ядовито, но с улыбкой. Ей приятно.

— Сегодня ты, конечно, занята,— произносит он деловито.

— А если нет?

— Тогда я поведу тебя в «Кавказский»! Я угощаю тебя сациви! Я угощаю тебя хачапури! Мы будем пить коньяк и «Твиши»! И Павел Павлович лично присмотрит за всем...

— Ну, естественно,— говорит она.— Сдадим твои бутылки и гульнем. На все на три на двадцать.

Но тут Феликс и сам вспоминает, что сегодняшней вечер у него занят.

— Наточка,— говорит он.— А завтра? В «Поплавок», а? На плес, а? Как в старые добрые времена!..

— Сегодня в «Кавказский», завтра в «Поплавок»... А послезавтра?

— Увы! — честно говорит он.— Сегодня не выйдет. Я забыл.

— И завтра не выйдет,— говорит она.— И послезавтра.

— Но почему?

— Потому что ушел кораблик. Видишь парус?

— Ты прекрасна,— произносит он, как бы не слушая, и пытается взять ее за руку.— Я был слепец. У тебя даже кожа светится.

— Старый ты козел,— отзывается она почти ласково.— Отдай руку.

— Но один-то поцелуй — можно? — воркует он, тщась дотянуться губами.

— Бог подаст,— говорит она, вырывая руку.— Перестань кривляться. И вообще уходи. Сейчас ко мне придут.

— Эхе-хе! — Он поднимается.— Не везет мне сегодня. Ну, а как ты вообще-то?

— Да как все. И вообще, и в частности.

— По-дурацки у нас как-то с тобой получилось...

— Наоборот! Самым прекрасным образом.

— По-деловому, ты хочешь сказать?

— Да. По-деловому.

— А чего же тут прекрасного?

— Без последствий. Это ведь самое главное, диар Феликс, чтобы не было никаких последствий. Ну, иди, иди, не отвечивай здесь...

Феликс понуро поворачивается к двери, берет авоську и вдруг спохватывается.

— Слушай, Наталья,— говорит он.— У меня же к тебе огромная просьба!

— Так бы и говорил с самого начала...

— Да нет, клянусь, я как тебя увидел — все из головы вылетело... Это я только сейчас вспомнил. У тебя на курсе есть такой Сеня... собственно, не Сеня, а Семен Семенович Долгополов...

— Ну, знаю я его. Лысый такой, из гортранса... Очень тупой.

— Святые слова! Лысый, тупой и из гортранса. И еще у него гипертония и зять-пьяница. А ему нужна справка об окончании ваших курсов. Вот так нужна, у него от этого командировка зависит за бугор... Сделай ему зачет, ради Христа. Ты его уже два раза проваливала...

— Три.

— Три? Ну, значит, он мне наврал. Постеснялся. Да пожалей ты его, что тебе стоит? Он говорит, что ты его невзлюбила... А за что? Он жалкий, невредный человек... Ну, что ты так смотришь, как ледяная? Что он тебе сделал?

— Он мне надоел,— произносит Наташа со странным выражением.

— Так тем более! Сделай ему зачет, и пусть он идет себе на все четыре стороны... Отсвечивать здесь у тебя не будет... Пожалей!

— Хорошо, я подумаю.

— Ну, вот и прекрасно! Ты же добрая, я знаю...

— Пусть он ко мне зайдет завтра в это время.

— Не зайдет! — произносит Феликс, потрясая поднятым пальцем.— Не зайдет, а приползет на карачках! И будет держать в зубах плитку «Золотого якоря»!

— Только не в зубах, пожалуйста,— очень серьезно возражает Наташа.

Вечереет. Феликс предпринимает еще одну попытку избавиться от посуды. Он встает в хвост очереди, голова которой уходит в недра какого-то подвала. Стоит некоторое время, закуривает, смотрит на часы. Затем, потоптавшись в нерешительности, обращается к соседу:

— Слушай, друг, не возьмешь ли мои? По пять копеек отдам.

Друг отзывается с мрачноватым юмором:

— А мои по четыре не возьмешь?

Феликс вздыхает и, постояв еще немного, покидает очередь.

Он вступает в сквер, тянущийся вдоль неширокой улицы, движение на которой перекрыто из-за дорожных работ. Тихая, совершенно пустынная улица с разрытой мостовой, с кучами булыжников, громоздящихся на тротуаре.

Феликс обнаруживает, что на правом его ботинке развязался шнурок. Он подходит к скамейке, опускает на землю авоську и ставит правую ногу на край скамейки, и вдруг авоська его словно бы взрывается с лязгом и дребезгом.

Невесть откуда брошенный булыжник угодил в нее и произвел в бутылках разрушения непоправимые. Брызги стеклянного лома усеяли все пространство вокруг ног Феликса.

Феликс растерянно озирается. Сквер пуст. Улица пуста. Сгущаются вечерние тени. В куче стеклянного крошева над распластанной авоськой закопался испачканный глиной булыжник величиной с голову ребенка.

— Странные у вас тут дела происходят... — произносит Феликс в пространство.

Он делает движение, словно бы собираясь нагнуться за авоськой, затем пожимает плечами и уходит, засунув руки в карманы.

В шесть часов вечера Феликс входит в зал ресторана «Кавказский». Он останавливается у порога, оглядывая столики, и тут к нему величественно и плавно придвигается метрдотель Павел Павлович, рослый смуглый мужчина в черном фракном костюме с гвоздикой в петлице.

— Давненько не изволили заходить, Феликс Александрович! — рокошет он. — Дела? Заботы? Труды?

— Труды, вашество, труды, — невнимательно отзывается Феликс. — А равномерно и заботы... А вот вас, Пал Палыч, как я наблюдаю, ничто не берет. Атлет, да и только...

— Вашими молитвами, Феликс Александрович. А паче всего — беспощадная дрессировка организма. Ни в коем случае не распускать себя! Постоянно держать в узде!.. Впрочем, вы-то сюда приходите как раз для другого. Извольте вон туда, к окну, Анатолий Сократович вас уже ждут...

— Спасибо, Пал Палыч, вижу... Кстати, мне бы с собой чего-нибудь. Домой к ужину. Ну, там, пару калачиков, ветчинки, а? Но в долг, Пал Палыч! А?

— Сделаем.

В этот момент за спиной Феликса раздаётся оглушительный лязг. Феликс подпрыгивает на метр и в ужасе оборачивается. Но это всего лишь молоденький официант Вася уронил поднос на металлический столик-каталку.

— Шляпа, дырявые руки,— с величественным презрением произносит метрдотель Павел Павлович.

Главный редактор местного журнала Анатолий Сократович Романюк любит в меру выпить, вкусно закусить и угостить приятного, а тем более — нужного человека.

— Ты, Феликс, пойми, что от тебя требуется прежде всего,— произносит он, выставив перед собой вилку с насаженным на нее ломтиком кеты.— Прежде всего требуется выразить ту мысль, что в наше время понятие смысла жизни неотделимо от высокого морально-нравственного потенциала...

Феликс трясет головой.

— Это, Анатолий Сократыч, я все уже понял... Я хочу тебе выразить, что нельзя все-таки с бухты-баракты... Надо все-таки заранее, хотя бы за неделю, а еще лучше — за две... Ты сам подумай: разве это мыслимо — за ночь статью написать?

— Журнал должен быть оперативен! Как вы все этого не понимаете? Журнал по своей оперативности должен приближаться к газете, а не удаляться от нее! Ты знаешь, я тебя люблю... Ты сильно пишешь, Феликс, и я тебя люблю... Печатаю все, что ты пишешь... Но оперативности у тебя нет!

— Так я же не газетчик! Я — писатель!

— Вот именно! Писатель, а оперативности нет! Надо выработать! Возьми, к примеру, этого... Курдюкова Котьку... Знаю, поэт посредственный и даже неважный... Но если ты ему скажешь: «Костя! Чтобы к вечеру было!» — будет. Он, понимаешь, как Чехов. За что я его и люблю. Тут же, понимаешь, на подоконнике пристроится — и готово: «По реке плывет топор с острова Колгуева...» Или еще что-нибудь в этом роде.

Феликс спохватывается.

— Ч-черт! Надо же позвонить, узнать, как он там...

— Где? — кричит редактор уже вслед убегающему Феликсу.

В вестибюле ресторана Феликс звонит на квартиру Курдюкова.

— Зюечка, это я, Феликс... Ну, как там Костя вообще?

— Ой, как хорошо, что вы позвонили, Феликс! Я только что от него! Только-только вошла, пальто еще не снимала... Вы знаете, он очень просит, чтобы вы к нему зашли...

— Обязательно. А как же... А как он вообще?

— Да все обошлось, слава богу. Но он очень просит, чтобы вы пришли. Только об этом и говорит.

— Да? Н-ну... Завтра, наверное. Ближе к вечеру...

— Нет! Он просит, чтобы обязательно сегодня! Он мне просто приказал: позвонит Феликс Александрович — скажи ему, чтобы пришел обязательно, сегодня же.

— Сегодня? Хм... — мямлит Феликс. — Сегодня-то я никак... Тут у меня Анатолий Сократыч сидит.

Зоя не слушает его.

— А если не позвонит, говорит, — продолжает она, — то найди его, говорит, где хочешь. Хоть весь город объезди... Что-то у него к вам очень важное, Феликс... И важное, и срочное...

— Ах, черт, как неудобно получается!..

— Феликс, миленький, вы поймите, он сам не свой... Ну забегите вы к нему сегодня, ну хоть на десять минут!

— Ну ладно, ну хорошо, что ж делать...

Феликс вешает трубку. Беззвучно и энергично шевелит губами. На физиономии его явственно изображен бунт.

Когда Феликс входит в палату, Курдюков сидит на койке и с отвращением поедает манную кашу в жестяной тарелке. Он весь в больничном, но выглядит в общем неплохо. За умирающего его принять невозможно. Палата на шесть коек, у окна лежит кто-то с капельницей, а больше никого нет — все ушли на телевизор смотреть футбол.

Увидевши Феликса, Курдюков живо вскакивает и так яро к нему бросается, что Феликс даже шарахается от неожиданности. Курдюков хватается за руку и принимается пожимать и трясти, трясти и пожимать и при этом говорит как заведенный, почему-то все время оглядываясь на тело с капельницей и не давая Феликсу сказать ни слова:

— Старик! Ты себе представить не можешь, что тут со мной было! Это же десять кругов ада, клянусь тебе всем святым! Сначала меня рвало, потом меня судороги били, потом меня несло, да как! Стены содрогались! Тридцать три струи, не считая мелких брызг! Страшное дело! Но и они тоже времени не теряли... Представляешь, понабежали

со всех сторон, с трубками, с наконечниками, с клистирами наперевес, все в белом, жуткое зрелище, шестеро меня держат, шестеро промывают, шестеро в очереди стоят...

Он все оглядывается и, наступая на ноги, теснит Феликса к дверям.

— Да что ты все пихаешься? — спрашивает Феликс, уже оказавшись в коридоре.

— Давай, старик, пойдем присядем... Вон там у них скамеечка под пальмой...

Они усаживаются на скамеечку под пальмой. В коридоре пусто и тихо, только вдаль дежурная сестра позвякивает пузырьками да доносятся приглушенные взрывы эмоций футбольных болельщиков.

— Потом, представляешь, кислород! — с энтузиазмом продолжает Курдюков. — Сюда — трубку, в нос — две... Ну, думаю, все, врезаю дуба. Однако нет! Проходит час, проходит другой, прихожу в себя, и ничего!

— Не понадобилось, значит, — благодушно вставляет Феликс.

— Что именно? — быстро спрашивает Курдюков.

— Ну, этот твой... мафусаил... мафуссалин... Зря, значит, я хлопотал.

— Что ты! Они мне, понимаешь, сразу клизму, промывание желудка под давлением, представляешь? Такой кислород засадили, вредители! Только тут я понял, какая это страшная была пытка, когда в тебя сзади воду накачивают... У меня, понимаешь, глаза на лоб, я им говорю: ребята, срочно зовите окулиста...

И тут Курдюков вдруг обрывает себя и спрашивает шепотом:

— Ты что так смотришь?

— Как? — удивляется Феликс. — Как я смотрю?

— Да нет, никак... — уклоняется Курдюков. — Я вижу, отец, ты малость вдетый нынче, а? Поддал, старик, а?

— Не без того, — соглашается Феликс и, не удержавшись, добавляет: — Если бы не ты, я и сейчас бы еще продолжал с удовольствием.

— Ничего! — с легкомысленным жестом объявляет Курдюков. — Завтра или послезавтра они меня отсюда выкинут, и мы с тобой тогда продолжим. Без балды. Я тебе знаешь какого коньячку выставлю? Называется «Ахтармар», прямо с Кавказа... Это, знаешь, у них такая легенда была: любила девушка одного, а родители были против, а сама она жила в замке на острове...

— Слушай, Костя, — прерывает его Феликс стесни-

гельно,— знаю я эту легенду. Ты меня извини, ради бога, но мне сегодня еще работать всю ночь. Сократыч статью заказал...

— Да-да, конечно! — вскрикивает Курдюков.— Конечно, иди! Что тут тебе со мной? Навестил, и спасибо тебе большое...

Он встает. И Феликс тоже встает — в растерянности и недоумении. Некоторое время они молчат, глядя друг другу в глаза. Потом Курдюков вдруг снова спрашивает полушепотом:

— Ты чего?

— Да ничего. Пойду сейчас.

— Конечно, иди... Спасибо тебе... Не забуду, вот увидишь...

— Ты мне больше ничего не хочешь сказать? — спрашивает Феликс.

— Насчет чего? — произносит Курдюков совсем уже тихо.

— А я не знаю — насчет чего! — взрывается Феликс.— Я не знаю, зачем ты меня выдернул из-за стола... Ни поесть толком не дал, ни выпить... Сократыч обиделся... Мне говорят: срочное дело, необходимо сегодня же, немедленно. Какое дело? Что тебе необходимо?

— Кто говорил, что срочное дело?

— Жена твоя говорила! Зоя!

— Да нет! — объявляет Курдюков и снова делает легкомысленный жест.— Да чепуха это все, перепутала она! Совсем не про тебя речь шла, и было это не так уж срочно... А она говорила — сегодня? Вот дурища! Нет, Феликс, она просто не поняла с перепугу. Ну, напугалась же баба...

Феликс машет рукой.

— Ладно. Господь с вами обоими. Не поняла, так не поняла. Выздоровел — и слава богу. А я тогда пошел домой.

Феликс направляется к выходу, а Курдюков семенит рядом, забегая то справа, то слева, то хватая его за локоть, то сжимая его плечо.

— Ну, ты ж не обиделся, я надеюсь... — бормочет он.— Ну, дура же, молодая еще... Не понимает ничего... Ты, главное, знай: я тебе благодарен так, что если ты меня попросишь... о чем бы ты меня ни попросил... Ты знаешь, какого я страху здесь натерпелся? Не дай бог тебе отравиться, Снегирев, ей-богу... Ну, ты не сердись, да? Ну скажи, не сердись?

А на пустой лестничной площадке, рядом с телефоном-автоматом, происходит нечто совсем уж несообразное. Курдюков вдруг обрывает свою бессвязицу, судорожно вцепляется Феликсу в грудь, прижимает его к стене и, брызгаясь, шипит ему в лицо:

— Ты запомни, Снегирев! Не было ничего, понял? Забудь!

— Постой, да ты что? — бормочет Феликс, пытаюсь отодрать от себя его руки.

— Не было ничего! — шипит Курдюков. — Не было! Хорошенько запомни! Не было!

— Да пошел ты к черту! Обалдел, что ли? — гаркает Феликс в полный голос. Ему удается наконец оторвать от себя Курдюкова, и, с трудом удерживая его на расстоянии, он произносит: — Да опомнись ты, чучело гороховое! Что это тебя разбирает?

Курдюков трясется, брызгается и все повторяет:

— Не было ничего, понял? Не было!.. Ничего не было!

Потом он обмякает и принимается плаксиво объяснять:

— Накладка у меня получилась, Снегирев... Накладка у меня вышла! Институт же секретный, номерной... Не положено мне ничего про него знать... А тебе уж и давно не положено! Не нашего это ума дело, Феликс! Я вот тебе ляпнул, а они уже пришли и замечание мне сделали... Прямо хоть из больницы не выходи!

Феликс отпускает его. Курдюков, морщась, принимается растирать свои покрасневшие запястья и все бубнит со слезой одно и то же:

— Накладка это... А мне уже влетело... И еще влетит, если ты болтать будешь... Загубишь ты меня своей болтовней! Секретный же! Не положено нам с тобой знать!

— Ну хорошо, хорошо, — говорит Феликс, с трудом сохраняя спокойствие. — Секретный. Хорошо. Ну чего ты дергаешься? Сам посуди, ну какое мне до всего этого дело? Не положено, так не положено... Надо, чтобы я забыл, — считай, что я все забыл... Не было и не было, что я — спорю? Что за манера, в самом деле?

Без всякой жалости он отодвигает Курдюкова с дороги и принимается спускаться по лестнице с наивозможной для себя поспешностью. Он уже в самом низу, когда Курдюков, перегнувшись через перила, шипит ему вслед на всю больницу:

— О себе подумай, Снегирев! Серьезно тебе говорю! О себе!

Феликс только сплевывает в сторону.

Дома, в тесноватой своей прихожей, Феликс зажигает свет, кладет на столик объемистый сверток (с едой от Павла Павловича), устало стягивает с головы берет, а затем снимает плащ и принимается аккуратно напяливать его на деревянные плечики.

И тут он обнаруживает нечто ужасное.

В том месте, которое приходится как раз на левую почку, плащ проткнут длинным шилом с деревянной рукояткой.

Несколько секунд Феликс оцепенело смотрит на эту округлую деревянную рукоятку, затем осторожно вешает плечики с плащом на вешалку и, придерживая полу, двумя пальцами извлекает шило.

Электрический блик жутко играет на тонком стальном жале.

И Феликс отчетливо вспоминает:

искаженную физиономию Курдюкова и его шипящий вопль: «О себе подумай, Снегирев! Серьезно тебе говорю! О себе!»;

стеклянный лязг и дребезг и булыжник в куче битого стекла на авоське;

испуганные крики и вопли разбегающейся очереди и тупую страшную морду МАЗа, накатывающуюся на него, как судьба...

Феликс, не выпуская шила из пальцев, накидывает на дверь цепочку и произносит вслух:

— Вот, значит, какие дела...

Глубокая ночь, дождь. В свете уличных фонарей блестит мокрая листва, блестит брусчатка мостовой, блестят плиты тротуара. Дома погружены во тьму, лишь кое-где горят одинокие прямоугольники окон.

У подъезда десятиэтажного дома останавливается легковой автомобиль. Гаснут фары. Из машины выбираются под дождь четыре неясные фигуры, останавливаются и задирают головы.

Женский голос. Вон три окна светятся. Спальня, кабинет, кухня... Седьмой этаж.

Мужской голос. Странно... Почему у него везде свет? Может, у него гости?

Другой мужской голос. Никак нет. Один он. Никого у него нет.

Кабинет Феликса залит светом. Горит настольная лампа, горит торшер над журнальным столиком с телефо-

ном, горит трехрожковая люстра, горят оба бра над полосатым диваном напротив книжной стенки.

Феликс в застиранной роскошной пижаме работает за письменным столом. Пишущая машинка по ночному времени отодвинута в сторону, Феликс пишет от руки. Заполненная окурками пепельница придавливает стопу исписанных страниц. На углу стола — пустая турка с перекипевшим через край кофе и испачканная кофейная чашечка. Страшное шило лежит тут же, в деревянном ящичке с каталожными карточками.

Звонок в дверь.

Феликс смотрит на часы. Пять минут третьего ночи.

Феликс глотает всухую. Ему страшно.

Он поднимается, идет в прихожую и останавливается перед входной дверью.

— Кто там? — произносит он сипло.

— Открой, Феликс, это я, — отзывается негромко женский голос.

— Наташенька? — с удивлением и радостью говорит Феликс.

Он торопливо снимает цепочку и распахивает дверь.

Но на пороге вовсе не Наташа. Давешний мужчина в клетчатом. Под пристальным взглядом его светлых выпуклых глаз Феликс отступает на шаг.

Все происходит очень быстро. Клетчатый неуловимым движением оттесняет его, проникает в прихожую, крепко ухватывает его за запястья и сразу же прижимает спиной к двери в туалет.

А с лестничной площадки быстро и бесшумно входят в квартиру один за другим:

огромный, плечистый Иван Давыдович в черном плаще до щиколоток, в руке — маленький саквояж; войдя, он только коротко взглядывает на Феликса и проходит в кабинет;

стройная и очаровательная Наталья Петровна с сумочкой на длинном ремешке через плечо, она нежно улыбается Феликсу и картинно делает ручкой, как бы говоря: «А вот и я!»;

и высокий, смуглый Павел Павлович в распахнутом сером пальто, под которым виден все тот же черный фракный костюм с той же гвоздикой в петлице, с длинным зонтиком-тростью под мышкой; войдя, он приподнимает шляпу и, сверкнув лысиной, приветствует Феликса легким поклоном.

Феликс (*обалдело*). Пал Палыч?

Павел Павлович. Он самый, душа моя, он самый...

Феликс. Что случилось?

Павел Павлович ответить не успевает. Из кабинета раздается властный голос:

— Давайте его сюда!

Клетчатый ведет Феликса в кабинет. Иван Давыдович сидит в кресле у стола. Плащ его небрежно брошен на диван, саквояж поставлен у ноги.

Феликс. Что, собственно, происходит? В чем дело?

Иван Давыдович. Тихо, прошу вас.

Клетчатый. Куда его?

Иван Давыдович. Вот сюда... Сядьте, пожалуйста, на свое место, Феликс Александрович.

Феликс. Я сяду, но я хотел бы все-таки знать, что происходит...

Иван Давыдович. Спрашивать буду я. А вы садитесь и отвечайте на вопросы.

Феликс. Какие вопросы? Ночь же на дворе...

Слегка подталкиваемый Клетчатым, он обходит стол и садится на свое место напротив Ивана Давыдовича. Он растерянно озирается, и по лицу его видно, что ему очень и очень страшно.

Хотя, казалось бы, чего бояться? Наташа мирно сидит на диване и внимательно изучает свое отражение в зеркальце, извлеченном из сумки. Павел Павлович обстоятельно устраивается в кресле под торшером и ободряюще кивает оттуда Феликсу. Вот только Клетчатый... Он остался в дверях — скрестивши ноги, прислонился к косяку и раскуривает сигарету; руки его в черных кожаных перчатках.

Иван Давыдович. Сегодня в половине третьего вы были у меня в институте. Куда вы отправились потом?

Феликс. А кто вы, собственно, такие? Почему я должен...

Иван Давыдович. Потому что. Вы обратили внимание, что сегодня вы трижды только случайно остались в живых?.. Ну вот, хотя бы это... — Он берет двумя пальцами страшное шило за кончик лезвия и покачивает перед глазами Феликса. — Два сантиметра правее — и конец! Поэтому я буду спрашивать, а вы будете отвечать на мои вопросы. Добровольно и абсолютно честно. Договорились?

Феликс молчит. Он сломлен.

Иван Давыдович. И так, куда вы отправились от меня? Только не лгать!

Феликс. В дом культуры. Железнодорожников.

Иван Давыдович. Зачем?

Феликс. Я там выступал. Перед читателями... Вот гражданин может подтвердить. Он меня видел.

Клетчатый. Правильно. Не врет.

Иван Давыдович. Кто была та полная женщина в очках?

Феликс. Какая женщина?.. А, в очках. Это Марья Леонидовна! Она завбиблиотекой.

Иван Давыдович. Что вы ей рассказывали?

Феликс. Я? Ей?

Иван Давыдович. Вы. Ей.

Клетчатый. Рассказывал, рассказывал! Минут двадцать у нее в кабинете просидел...

Феликс. Что значит — просидел? Ну, просидел... Она мне путевку заверяла... Договаривались о следующем выступлении... Она меня просила в район выехать... И ничего я ей не рассказывал! Что за подозрения? Скорее уж, это она мне рассказывала...

Иван Давыдович. И так, она завершила вам путевку. Куда вы отправились дальше?

Феликс. На курсы! Наташа, скажи ему!

Наташа. Феликс Александрович, ты не волнуйся. Ты просто рассказывай все, как было, и ничего тебе не будет.

Феликс. Да я и так рассказываю все, как было...

Иван Давыдович. Кого еще из знакомых вы встретили на курсах?

Феликс. Ну, кого... *(Он очень старается.)* Этого... ну, Валентина, инженера, из филиала, не знаю, как его фамилия... Потом этого, как его... Ну, такой мордастенький...

Иван Давыдович. И о чем вы с ними говорили?

Феликс. Ни о чем я с ними не говорил. Я сразу пошел к Наташе... к Наталье Петровне...

Иван Давыдович. Потом вы оказались в ресторане. Зачем?

Феликс. Как это — зачем? Поесть! Я же целый день не ел... Между прочим, из-за этого вашего Курдюкова!

Иван Давыдович. А почему вас там дожидался Романюк?

Феликс. Он заказал мне статью. О морально-нравственном потенциале. О смысле жизни современного человека... Вот я ее пишу, вот она!

Иван Давыдович. А зачем вам понадобилось рассказывать ему про Курдюкова?

Феликс. Про Курдюкова?

Иван Давыдович. Да! Про Курдюкова!

Феликс. Ничего я ему не рассказывал про Курдюкова! С какой стати?

Павел Павлович. Ну как же не рассказывали? Только и слышно было: Курдюков, Курдюков...

Произнеся эти слова, Павел Павлович поднимается, секунду смотрит на телефон, выдергивает телефонный шнур из розетки и снимает аппарат со столика на пол. Затем произносит: «Эхе-хе...» — и направляется к двери на кухню.

Иван Давыдович (*раздраженно*). Павел... э... Павлович! Я не понимаю, неужели вы не можете десять минут подождать?

Павел Павлович (*приостановившись на мгновение в дверях*). А зачем, собственно, ждать? (*Издевательским тоном.*) Курдюков, Курдюков...

Он скрывается на кухне, и оттуда сейчас же доносится лязг посуды.

Феликс (*нервно кричит ему вслед*). Не было этого! Может быть, и упоминали мы его один или два раза... С какой стати? (*Ивану Давыдовичу.*) А если бы даже я ему и рассказал? Что тут такого?..

Иван Давыдович. Значит, вы все-таки рассказали ему про Курдюкова?

Феликс. Да не рассказывал я! Скорее, это уж Романюк мне о нем рассказывал! Как Курдюков свои стишки пишет и все такое... А я про Курдюкова только и сказал, что он отравился и я еду к нему в больницу... И все. И больше ничего.

Иван Давыдович. А о том, что Курдюков послал вас ко мне?

Феликс. Да господи! Да конечно — нет! Да ни единого слова!

Наступает внезапная тишина. Феликс обнаруживает, что все с жадным вниманием смотрят на него. В тишине отчетливо слышно, как Павел Павлович на кухне чем-то побрякивает и напевает неопределенный мотивчик.

Иван Давыдович (*вкрадчиво*). То есть вы уже тогда поняли, о чем можно говорить, а о чем нельзя?

Феликс молчит. Глаза его растерянно бегают.

Иван Давыдович. Феликс Александрович. Будет лучше всего, если вы сами, без нашего давления, добро-

вольно и честно расскажете нам: с кем вы сегодня говорили о Курдюкове, что именно говорили и зачем вы это делали. Я очень советую вам быть откровенным.

Феликс. Да господи! Да разве я скрываю? С кем я говорил о Курдюкове? Пожалуйста. С кем я говорил... Да ни с кем я не говорил! Только с одним Романюком и говорил... Да, конечно! С женой Курдюкова говорил, с Зоей!.. Она мне сказала, чтобы я поехал к нему в больницу, и я поехал... И все. Все! Больше ни с кем!

На кухне снова слышится звон посуды, и в кабинете появляется Павел Павлович. На нем кухонный фартук, в одной руке он держит шипящую сковородку, в другой — деревянную подставку для нее.

Павел Павлович. Прошу прощения. Не обращайтесь внимания... Я у вас, Феликс Александрович, давешнюю ветчину там слегка... Вы уж не обессудьте...

Феликс (*растерянно*). Да ради бога... Конечно!

Иван Давыдович (*раздраженно*). Давайте не будем отвлекаться! Продолжайте, Феликс Александрович!

Но Феликс не может продолжать. Он с испугом и изумлением следит за действиями Павла Павловича. Павел Павлович ставит сковородку на журнальный столик и, нависнувши над нею своим большим благородным носом, извлекает из нагрудного кармана фрака черный плоский футляр. Открыв этот футляр, он некоторое время водит над ним указательным пальцем, произносит как бы в нерешительности: «Гм!» — и вынимает из футляра тонкую серебристую трубочку.

Клетчатый (*бормочет*). Смотреть страшно...

Павел Павлович аккуратно отвинчивает колпачок и принимается капать из трубочки в яичницу — на каждый желток по капле.

Наташа. Какой странный запах... Вы уверены, что это съедобно?

Павел Павлович. Это, душа моя, ухэ-тхо... в буквальном переводе — «желчь водяного». Этому составу, деточка, восемь веков...

Иван Давыдович (*стучит пальцем по столешнице*). Довольно, довольно! Феликс Александрович, продолжайте! О чем вы говорили с Романюком?

Феликс (*с трудом отрываясь от созерцания Павла Павловича*). О чем я говорил с Романюком?.. Он попросил меня написать статью. Срочно. Сегодня же... Вот эту. (*Он касается пальцем стопки бумаг под пепельницей.*)

Иван Давыдович. А о чем вы договорились с Курдюковым в больнице?

Феликс. С Курдюковым? В больнице? Н-ну... Ни о чем определенном мы не договаривались... Он обещал поставить бутылку коньяку, и мы договорились, что ее разопьем... Его ведь не сегодня завтра выпишут...

Иван Давыдович. И все?

Феликс. И все...

Иван Давыдович. И ради этого вы поперли на ночь глядя через весь город в больницу?

Феликс. Н-ну... Это же почти рядом... И потом, просил же человек...

Иван Давыдович. Курдюков ваш хороший друг?

Феликс. Что вы! Мы просто соседи! Раскланиваемся... Я ему отвертку, он мне пылесос...

Иван Давыдович. Понятно. Посмотрите, что у вас получается. Не слишком близкий ваш приятель, чувствующий себя уже вполне неплохо, вызывает вас поздно вечером к себе в больницу только для того, чтобы пообещать распить с вами бутылку коньяка. Я правильно резюмировал ваши показания?

Феликс. Д-да...

Иван Давыдович. Вы бросили на середине деловой разговор с вашим работодателем, вы забыли, что вам предстоит всю ночь корпеть над работой,— и ради чего?

Феликс. Откуда я знал? Откуда мне было знать? Ведь мне его жена баки забила: срочно, немедленно!

Иван Давыдович. О чем вы сговорились с Курдюковым в больнице?

Феликс. Ей-богу, ни о чем!

Иван Давыдович поворачивается и смотрит на Клетчатого. Тот, раскуривая очередную сигарету, отрицательно мотает головой.

Иван Давыдович (*Клетчатому*). Вы полагаете?..

Клетчатый. Врет.

Иван Давыдович (*с упрехом*). Феликс Александрович, ведь я же предупреждал вас...

Феликс (*трусливо*). В чем, собственно, дело?

Клетчатый. Брешет он, сучий потрох! Не знаю, о чем они там сговорились, но на лестнице было у них крупное объяснение! Он же по ступенькам ссыпался — весь красный был, как помидор!

Феликс. Так я и не скрываю! Я и был злой! Я бы ему врезал, если бы не больница!

Клетчатый (*уверенно*). Врет. Врет. Я же вижу: где правда, там правда, а здесь — врет!..

Павел Павлович (*негромко*). А всего-то и надо было вам, Ротмистр, сделать два шага вверх по лестнице, вот вы бы все и услышали, а мы бы здесь не гадали...

Клетчатый (*смирненно*). Виноват, ваше сиятельство. Однако были некоторые причины... А пусть-ка этот аферист объяснит нам, господа, что означали слова: «О себе подумай, Снегирев! О себе!» Эти слова я слышал прекрасно и никак не могу взять в толк, к чему бы они!

Иван Давыдович. О чем вы сговорились с Курдюковым?

Феликс. Да ни о чем мы не сговаривались! Ей-богу же — ни о чем!

Иван Давыдович. О чем вы сговорились с Курдюковым?

Феликс. Господи! Да что вы ко мне пристали, в самом деле? Нечего мне вам добавить!

Иван Давыдович. О чем вы сговорились с Курдюковым?

Феликс. Наташа! Да кто это такие? Что им нужно от меня? Скажи им, чтобы отстали!

Клетчатый коротко и очень страшно гогочет.

Иван Давыдович. Слушайте меня внимательно. Мы отсюда не уйдем до тех пор, пока не выясним все, что нас интересует. И вы нам обязательно расскажете все, что нас интересует. Вопрос только — какой ценой. Церемониться мы не будем. Мы не умеем церемониться. И должно быть тихо, даже если вам будет очень больно.

Он берет саквояж, ставит его на стол, раскрывает, извлекает из него автоклавчик и, звякая металлом и стеклом, принимается снаряжать шприц для инъекций.

Феликс наблюдает его манипуляции, покрываясь испариной.

Иван Давыдович. Разумеется, мы бы предпочли получить от вас информацию быстро, без хлопот и в чистом виде, без всяких примесей. Я думаю, это и в ваших интересах тоже...

Тем временем Клетчатый скользящим шагом пересекает комнату и намеревается встать у Феликса за спиной. Феликс в панике отодвигается вместе со стулом и оказывается загнанным между столом и книжной стенкой.

Клетчатый (*шепотом*). Тихо! Сидеть!

Феликс (*с отчаянием*). С-слушайте! Какого дьявола? Наташа! Пал Палыч!

Наташа сидит на диване, уютно поджавши под себя ноги. Она подпиливает пилкой ноготки.

Н а т а ш а (*ласково-наставительно*). Феликс, милый, надо рассказать. Надо все рассказать, все до последнего.

П а в е л П а в л о в и ч. Да уж, Феликс Александрович, вы уж пожалуйста! Зачем вам лишние неприятности?

Ф е л и к с (*он сломлен, дрожащим голосом*). Да-да, не надо...

И в а н Д а в ы д о в и ч. Отвечать будете?

Ф е л и к с. Да-да, обязательно...

И в а н Д а в ы д о в и ч. О чем вы сговорились с Курдюковым?

Феликс не успевает ответить (да он и не знает, что отвечать). Дверь в комнату распахивается, и на пороге объявляется Курдюков. Он в мокром пальто не по росту, из-под пальто виднеются больничные подштанники, на ногах — мокрые растоптанные тапки.

— Ага! — с фальшивым торжеством произносит он и вытирает рот тыльной стороной кулака, в котором зажата огромная стамеска.— Взяли гада? Хорошо! Молодцы. Но как же это вы без меня? Непорядок, беспорядок, не по уставу! Апеллирую к вам, Магистр! Не по уставу... Итак? Кто ему рассказал про Эликсир?

И в а н Д а в ы д о в и ч (*вскакивая*). Он знает про Эликсир?

Н а т а ш а (*тоже подскочив*). То есть как это?

П а в е л П а в л о в и ч. Что-что-что?

К л е т ч а т ы й. А что я вам говорил?

К у р д ю к о в. Хе! Он не только про Эликсир знает! Он мне намекал, что ему и про Источник известно! Он мне уже и Крапивкин Яр называл, сукин сын!

Все взоры устремляются на Феликса.

Ф е л и к с (*бормочет, запинаясь*). Ты что, Курдюков? Какой еще Эликсир? Крапивкин Яр — знаю, а Эликсир... Какой Эликсир?

К у р д ю к о в (*наклоняется к нему, уперев руки в боки*). А Крапивкин Яр, значит, знаешь?

Ф е л и к с. З-знаю... Кто же его не знает?

К у р д ю к о в. Ладно, ладно! «Кто ж его не знает...» А что ты мне про Крапивкин Яр намекал давеча? Помнишь?

Ф е л и к с. Про Крапивкин Яр? Когда?

К у р д ю к о в. А сегодня! В больнице! «Вот поправись, Костенька, и пойдем мы с тобой прогуляться в Крапивкин Яр...» У меня глаза на лоб полезли! Откуда?

Как узнал? «Придется тебе, Костенька, одну ложечку для меня уделить...» Ложечку ему! А?

Феликс (*орет в отчаянии*). Какую ложечку? Да ты что — опять консервами обожрался? Что ты мелешь?

Слышны глухие удары в потолок. Все притихают.

Феликс (*понижив голос*). Послушайте, ночь на дворе, мы же людям спать не даем! Что вы у меня здесь сумасшедший дом устроили?

Курдюков (*сдавленным шепотом*). Ты что — про Крапивкин Яр мне не говорил? Посмей только отпираться, скотина! И про ложечку Эликсира не говорил?

Феликс. Да ничего подобного я тебе не говорил! Дурак ты консервный, заблеванный!

Курдюков. Не отпирайся! И про Крапивкин Яр говорил, и про Эликсир говорил, и про Источник намекал... Я тебя предупреждал давеча? «Молчи! Ни единого слова! Никому!» Говорил я тебе это или нет?

Феликс. Ну, говорил! Так ведь ты про что говорил? Ты же ведь...

Курдюков. А! Признаешь! Правильно! А раз признаешь, то не надо запираться! Не надо! Честно признайся: кто тебе рассказал? Наташка? В постельке небось рассказала? Расслабилась?

Он оглядывается на Наташу и, тихонько взвизгнув, шарахается, заслоняясь кулаком со стамеской, а Наташа надвигается на него неслышным кошачьим шагом, слегка пригнувшись, опустив вдоль тела руки с хищно шевелящимися пальцами.

Наташа (*яростно шипит*). Ах ты, паскуда противная, душа гадкая, грязная, ты что же это хочешь сказать?

Курдюков (*визжит*). Я ничего не хочу сказать! Магистр, это гипотеза! Защитите меня!

Наташа вдруг останавливается, поворачивается к Ивану Давыдовичу и спокойно произносит: «Ну, все ясно. Этот патологический трус сам же все и разболтал. Обожрался тухлятиной, вообразил, что поддыхает, и со страху все разболтал первому же встречному...»

Курдюков. Вранье! Первый был доктор из «скорой помощи!» А потом санитары! А уж только потом...

Наташа. И ты им все разболтал, гнида?

Курдюков. Никому! Ничего! Он уже и так все знал!

Клетчатый, оставивши Феликса, начинает бочком-бочком придвигаться к Курдюкову. Заметив это, Курдюков валится на колени перед Иваном Давыдовичем.

Курдюков. Магистр! Не велите ему! Я все расскажу! Я только попросил его съездить к вам... Назвал вас, виноват... Страшно мне было очень... Но он и так уже все знал! Улыбнулся этак зловеще и говорит: «Как же, знаю, знаю Магистра...»

Феликс (*потрясая кулаками*). Что ты несешь? Опомнись!

Курдюков. Поеду, говорит, так и быть, поеду, но вечером мы еще с тобой поговорим! Я хотел броситься, я хотел предупредить, но меня промывали, я лежал пластом...

Феликс. Товарищи, он все врет. Я не понимаю, чего ему от меня надо, но он все врет...

Курдюков. А вечером он уже больше не скрывался! Поймите меня правильно, я волнуюсь, я не могу сейчас припомнить его речей в точности, но про все он мне рассказал специально, чтобы доказать свою осведомленность...

Феликс. Врет.

Курдюков. Чтобы доказать свою осведомленность и склонить меня к измене! Он сказал, что нас пятеро, что мы бессмертные...

Феликс (*монотонно*). Врет.

Курдюков (*заунывно, словно бы пародируя*). «В Крапивкином Яре за шестью каменными столбами под белой звездой укрыта пещера, и в той пещере Эликсира Источник, точащий капли бессмертия в каменный станкан...»

Феликс. Впервые эту чепуху слышу. Он же просто с ума сошел.

Курдюков (*воздевши палец*). «Лишь пять ложек Эликсира набирается за три года, и пятерых они делают бессмертными...»

Феликс. Он же из больницы сбежал, вы же видите...

Курдюков (*обычным голосом*). Он вас назвал, Магистр. И Наташечку. И вас, Князь. А пятого, говорит, я до сих пор не знаю...

Все смотрят на Феликса.

Феликс (*пытаясь держать себя в руках*). Для меня все это — сплошная галиматья. Горячечный бред. Ничего этого я не знаю, не понимаю и говорить об этом просто не мог.

Все молчат. И в этой тишине раздается вдруг пронзительный звонок в дверь. Все застывают.

Иван Давыдович (*глядя на Феликса*). М-м?

Феликс (*несколько ободрившись*). Я думаю, что сосед сверху. Я думаю, вы слишком тут все орете.

Снова звонок в дверь — длинный, яростный.

Иван Давыдович. Идите и извинитесь. Никаких лишних слов. И вообще ничего лишнего. Ротмистр, проследите.

Сопровождаемый Клетчатым, Феликс выходит в прихожую. Наружная дверь, оказывается, наполовину раскрыта, и на пороге маячит фигура в полосатой пижаме.

— Я, гражданин Снегирев, жаловаться на вас буду, — объявляет фигура. — Полчетвертого ночи!

Феликс. Сергей Сергеич, простите, ради бога. Мы тут увлеклись, переборщили... Правильно, Ротмистров?

Клетчатый. Переборщили. Правильно. Больше не повторится, я сам прослежу.

Феликс. Простите, Христа ради, Сергей Сергеич! С меня полбанки, а?

Сергей Сергеич (*плачуще*). Мне, Феликс Александрович, вставать в шесть утра! А вы тут, понимаете, произведения свои читать затеяли, да еще не просто читать, а на три голоса, с выражением... Сил же никаких нет!

Феликс. А что, все слышно?

Сергей Сергеич. Да вот как над ухом прямо!

Феликс (*Клетчатому*). Вот видите? Говорил же я вам, что пора уже расходиться...

Клетчатый. Все! Все, Сергей Сергеич, все. С него полбанки и с меня тоже полбанки. И полная тишина. Как в могиле. Правильно я говорю, Феликс Александрович? Как в могиле!

— И-иэх! — произносит Сергей Сергеич горестно и удаляется, шлепая тапочками.

Феликс пытается запереть дверь, но тут выясняется, что замок сломан.

Феликс (*с отчаянием*). Ну что за сволочь! Вы поглядите только, он же мне замок сломал!

Клетчатый (*с жадным любопытством*). Кто? Сергей Сергеич? А зачем?

Феликс. Да при чем здесь Сергей Сергеич? Курдюков этот ваш, псих полоумный! И что вы все свалились на мою голову? Забирайте вы его и уходите к чертовой матери, не то я милицию вызову!..

Клетчатый. Тихо! Эт-то еще что такое? А ну-ка, проходите и — тихо!

Едва Феликс вступает в кабинет, как на него сзади на- скакивает Курдюков. Он обхватывает его левой рукой за лицо, чтобы зажать рот, а правой с силой бьет стамеской в спину снизу вверх. Стамеска тупая, рука у Курдюкова со- скальзывает, и никакого смертоубийства не получается. Феликс лягает Курдюкова ногой, тот отлетает на Ивана Давыдовича, и оба они вместе с креслом рушатся на пол. Пока они барахтаются, лягаясь и размахивая кулаками, Клетчатый хватает Феликса за руки и прижимает его к стене.

Павел Павлович (*насмешливо*). Развоевались!

Наташа (*она уже возлежит на диване в позе мадам Рекамье*). Шляпа. И всегда он был шляпой, сколько я его помню...

Павел Павлович. Но соображает быстро, согласи- тесь...

Иван Давыдович наконец поднимается, брезгливо вытирая ладони о бока, а Курдюков остается на полу — лежит, скорчившись, обхватив руками голову.

Иван Давыдович. Господа, так все-таки нельзя. Так мы весь дом разбудим. Я попрошу, господа...

Клетчатый отпускает Феликса, и тот принимается ощу- пывать ушибленную спину.

Феликс (*дрожащим голосом*). Слушайте, а может, вообще хватит на сегодня? Может, вы завтра зайдете? Ведь, ей-богу, дождемся, что кто-нибудь милицию вызо- вет. А так — завтра...

Иван Давыдович. Сядьте. Сядьте, я вам говорю! И молчите. (*Курдюкову.*) А вы вставайте. Хватит валяться, вставайте!

Наташа. Пусть валяется.

Иван Давыдович (*поднимая кресло и усажи- ваясь*). Хорошо, не возражаю. Пусть валяется.

Клетчатый. А может, вы его... того?

Иван Давыдович. Да нет. Притворяется... Пере- пугался. Ладно, пусть пока лежит... Вот что, гос- пода. Ситуация переменялась. Я бы сказал, она усложни- лась.

Павел Павлович. Тогда самое время сварить кофе.

Иван Давыдович. Нет, Князь. Кофе не надо. Нельзя.

Павел Павлович. Нельзя выпить по чашке кофе? Просто кофе?

Иван Давыдович. Просто?

Павел Павлович. Да! Просто кофе! Крепкий сладкий кофе по-венски.

Иван Давыдович. Хорошо. Сварите. Вы поняли, что ситуация осложнилась?

Павел Павлович. Ну, естественно!

Иван Давыдович. Тогда займитесь.

Павел Павлович умело и аккуратно собирает на поднос джезве и чашечку со стола Феликса и уносит все это на кухню.

Иван Давыдович. Я, господа, прошу вас основательно усвоить, что сегодня нам ничего здесь делать нельзя. *(Он принимается собирать обратно в саквояж свои медицинские причиндалы.)* Если мы оставим здесь труп, милиция разыщет нас очень быстро. Это понятно?

Клетчатый. Виноват, герр Магистр, не совсем понятно. Нам же не обязательно оставлять труп здесь! Можно выкинуть его в окно... Седьмой этаж... Вдребезги! Самоубийство!

Иван Давыдович закрывает глаза, поднимает лицо к потолку и некоторое время молчит, сдерживаясь. Потом он говорит: «Пять минут назад сюда приходил человек. Вы заметили это, Ротмистр?»

Клетчатый. Так точно, заметил. Сергей Сергеевич. Это из верхней квартиры.

Иван Давыдович. Вы обратили внимание, что он вас тоже заметил, Ротмистр?

Клетчатый. Так точно.

Иван Давыдович. Он запомнил вас, понимаете? Ваш клетчатый пиджак, ваше кепи, ваши усики... Он вас опишет, и вас найдут. Самое большое — через неделю.

Курдюков *(из угла, куда он незаметно переполз)*. А по-моему, ничего страшного. Ротмистр уедет куда-нибудь, отсидится годик...

Иван Давыдович. Вас, Басаврюк, спросят: откуда вы обрели в эту самую ночь такой великолепный синяк под глазом?

Курдюков. У меня алиби! Я в настоящий момент в больнице!

Пауза. Из кухни доносится гуденье кофемолки.

Наташа *(решительно)*. Нет, господа, я тоже против. Все знают, что мы с Феликсом дружили, вчера он ко мне заходил, ночью меня не было дома... Зачем мне это надо? Затаскают по следователям. Я вообще против того, чтобы Феликса трогать. Его надо принять.

Курдюков (*выскакивает из угла, как черт из коробки*). Это за чей же счет? Шлюха ты беспардонная!

Иван Давыдович. Да тише вы, Басаврюк! Сколько можно повторять! Ти-ше! Извольте не забывать, что это по вашей вине все мы сидим здесь и не знаем, на что решиться. Так что советую вам вести себя особенно тихо... Молчите! Ни слова более! Сядьте!

Клетчатый. В самом деле, судары! Труса отпраздновали, а теперь все время мешаете...

Иван Давыдович. Я, господа, просто не вижу иного пути, кроме как поставить Феликса Александровича перед выбором...

И тут Феликс взрывается. Он изо всей силы грохает ладонью по столу и голосом, сдавленным от страха и ненависти, объявляет: «Убирайтесь к чертовой матери! Все до одного! Сейчас же! Сию же минуту! Чтобы ноги вашей здесь не было!..»

В дверях кухни появляется встревоженное лицо Павла Павловича, Клетчатый, хищно присев, делает движение к Феликсу.

Феликс (*Клетчатому*). Давай, давай, сволочь, иди! Ты, может, меня и изуродуешь, бандюга, протокольная морда, ну и я здесь тоже все разнесу! Я здесь вам такой звон устрою, что не только дом — весь квартал сбежится! Иди, иди! Я вот сейчас для начала окно высажу вместе с рамой...

Иван Давыдович (*резко*). Прекратите истерику!

Феликс (*бешено*). А вы заткнитесь, председатель месткома! Заткнитесь и выметайтесь отсюда и заберите с собой всю вашу банду! Немедленно! Слышите?

Иван Давыдович (*очень спокойно*). Вашу дочь зовут Лиза...

Феликс. А вам какое дело?

Иван Давыдович. Вашу дочь зовут Лиза, ваших внуков зовут Фома и Антон, и живут они все на Малой Тупиковой, шестнадцать. Правильно?

Феликс молчит.

Иван Давыдович. Я надеюсь, вы понимаете, на что я намекаю? Книжки читаете?

Феликс (*угрюмо*). По-моему, вы все ненормальные...

Иван Давыдович. Этот вопрос мы сейчас обсуждать не будем. Если вам удобнее считать нас ненормальными — пожалуйста. В известном смысле вы, может быть, и правы...

Феликс. Что вам от меня надо — вот чего я никак не пойму!

Иван Давыдович. Сейчас поймете. Судьбе угодно было, чтобы вы проникли в нашу тайну...

Феликс. Никаких тайн не знаю и знать не хочу.

Иван Давыдович. Пустое, пустое. Следствие закончено. Не об этом вам надлежит думать. Вам предстоит сейчас сделать выбор: умереть или стать бессмертным.

Феликс молчит. На лице его тупая покорность.

Иван Давыдович. Вы готовы сделать такой выбор?

Феликс медленно качает головой.

Иван Давыдович. Почему?

Феликс (*морщась*). Почему? Да потому что нет у меня никакого выбора... Если я выберу смерть, вы меня выкинете в окно... А если я выберу это ваше бессмертие... я вообще не знаю, какую гадость вы мне тогда сделаете. Чего от вас еще ждать?

Наташа. Святая дева! До чего же глупы эти современные мужчины! Я, помнится, моментально поняла, о чем идет речь...

Иван Давыдович. Не забывайте, мадам, это было пятьсот лет назад...

Наташа. Четыреста семьдесят три!

Иван Давыдович. Да-да, конечно... Вспомните, тогда ведь все это было в порядке вещей: бессмертие, философский камень, полеты на метле... Вам ничего не стоило тогда поверить по первому слову! А вы представьте себе, что пишете заметку для газеты «Кузница кадров», а тут к вам приходят и предлагают бессмертие...

Курдюков (*из угла*). Да врет он все. Ваньку он перед вами валяет. Давным-давно он уже все порешил и выбрал...

Иван Давыдович. Перестаньте, Басаврюк, вы уже надоели. Все это теперь несущественно. На самом деле даже интереснее, если Феликс Александрович действительно ничего не понимает. (*Некоторое время он пристально, изучающе смотрит Феликсу в лицо, а потом начинает с выражением, словно читая по тексту, говорить.*) Недалеко от города, в Крапивкином Яру, есть карстовая пещера, мало кому здесь известная. В самой глубине ее, в гроте, совсем уж никому не известном, свисает со свода одинокий сталактит весьма необычного красного цвета. С него в каменное углубление — кап-кап-кап! —

капает Эликсир Жизни. Пять ложечек в три года. Этот Эликсир не спасает ни от яда, ни от пули, ни от меча. Говоря современным языком, это некий гормональный регулятор необычайной мощности. Одной ложечки в три года достаточно, чтобы воспрепятствовать любым процессам старения в человеческом организме. Любим! Организм не стареет! Совсем не стареет. Вот вам сейчас пятьдесят лет. Начнете пить Эликсир, и вам всегда будет пятьдесят лет. Всегда. Вечно. Понимаете? По чайной ложке в три года, и вам навсегда останется пятьдесят лет.

Феликс пожимает плечами. Не то чтобы он поверил всему этому, но трезвая, разумная речь Ивана Давыдовича, а в особенности применяемые им научные термины производят на него успокаивающее действие.

Иван Давыдович. Беда, однако же, в том, что ложечек всего пять. А значит, и бессмертных может быть только пять. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понятно? Или нет?

Феликс. Шестой лишний?

Иван Давыдович. Истинно так.

Феликс (*оживляясь*). Но ведь я, кажется, и не претендую...

Иван Давыдович. То есть вам угодно выбрать смерть?

Феликс. Почему — смерть? Меня это вообще не касается! Вы идите своей дорогой, а я — своей... Обходились же мы друг без друга до сих пор!

Иван Давыдович. Я вижу, вы пока еще не поняли ситуацию. Эликсира хватает только на пятерых. Надо ли объяснять, что желающих нашлось бы гораздо больше! Если бы сведения распространились, у нас бы просто отняли Источник, и мы бы перестали быть бессмертными. Понимаете? Мы все были бы давным-давно мертвы, если бы не сумели до сих пор — на протяжении веков! — сохранить тайну. Вы эту тайну узнали, и теперь уж одно из двух: или вы присоединяетесь к нам, или, извините, мы будем вынуждены вас уничтожить.

Феликс. Глупости какие... Что же, по-вашему, я побегу сейчас везде рассказывать эту вашу тайну? Что я, по-вашему, идиот? Меня же немедленно посадят в психушку!

Иван Давыдович. Может быть. И даже навверное. Но согласитесь, уже через неделю сотни и сотни дураков выйдут на склоны Крапивкина Яра с мотыгами и лопатами... Люди так легковверны, люди так жаждут чуда! Нет,

рисковать мы не станем. Видите ли, у нас есть опыт. Мы можем быть спокойны лишь тогда, когда тайну знают только пятеро.

Феликс. Но я же никому не скажу! Ну зачем это мне, сами подумайте! Ну поверьте вы мне, ради бога! Дочь свою клянусь!

Иван Давыдович. Не надо. Это бессмысленно.

Феликс. Но вы же должны понимать: у меня дочь, внуки, как же я в таких условиях могу проговориться? Это же не в моих интересах!

Иван Давыдович. Вы прекрасно знаете, вы же писатель, что люди сплошь да рядом поступают именно против своих интересов.

В кабинете появляется Павел Павлович с подносом, на котором дымятся шесть чашечек кофе.

Павел Павлович. А вот и кофеек! Выпьем по чашечке кофе, и все проблемы разрешатся сами собой! Прошу! (*Наташе.*) Прошу, деточка... Ротмистр! Магистр, прошу вас... Вам приглянулась эта чашечка? Пожалуйста!.. **Феликс Александрович!** Я вижу, они вас совсем разволновали, хлебните черной бодрости, успокойтесь... Басаврюк, дружище, старый боевой конь, что же ты забился в угол? Чашечку кофе — и все пройдет!

Обнеся всех, он возвращается на свое место к журнальному столику с оставшейся чашечкой и, очень довольный, усаживается в кресло.

Феликс жадно, обжигаясь, выхлебывает свой кофе, ставит пустую чашечку на стол и озирается.

Один только Павел Павлович с видимым наслаждением вкушает «черную бодрость». Иван же Давыдович, хотя и поднес свою чашечку к губам, но не пьет, а пристально смотрит на Феликса. И Наташа не пьет: держа чашечку на весу, она внимательно следит за Иваном Давыдовичем. Ротмистр ищет, где бы ему присесть. А Курдюков у себя в углу уже совсем было нацелился отхлебнуть и вдруг перехватывает взгляд Наташи и замирает.

Иван Давыдович осторожно ставит свою чашечку на стол и отодвигает ее от себя указательным пальцем. И тогда Курдюков с проклятьем швыряет свою чашечку прямо в книжную стенку.

Феликс (*вздвигнув от неожиданности*). Скотина! Что ты делаешь?

Павел Павлович (*хладнокровно*). Что, муха попала? У вас, Феликс Александрович, полно мух на кухне...

Иван Давыдович. Князь! Ведь я же вас просил! Ну куда мы теперь денем труп!

Павел Павлович (*ерничает*). Труп? Какой труп? Где труп? Не вижу никакого трупа!

Наташа высоко поднимает свою чашечку и демонстративно медленно выливает кофе на пол. Ротмистр, звучно крякнув, ставит свою чашку на пол и осторожно задвигает ногой под диван.

Павел Павлович. Ну, господа, на вас не угодишь... Такой прекрасный кофе удался... Не правда ли, Феликс Александрович?

Курдюков (*остервенело*). Гад ядовитый! Отравитель! За что? Что я тебе сделал?

Иван Давыдович. Басаврюк! Если вы еще раз позволите себе повысить голос, я прикажу заклеить вам рот!

Курдюков (*страстным шепотом*). Но он же отравить меня хотел! За что?

Иван Давыдович. Да почему вы решили, что именно вас?

Курдюков. Да потому что я сманил у него этого треклятого повара! Помните, у меня был повар, Жерар Декольт? Я его переманил, и с тех пор он меня ненавидит!

Иван Давыдович смотрит на Павла Павловича.

Павел Павлович (*благодарно*). Да я и думать об этом забыл!.. Хотя повар был и на самом деле замечательный... Уникальный был повар...

Феликс наконец осознает происходящее. Он медленно поднимается на ноги. Смотрит на свою чашку. Лицо его искажается.

Феликс (*с трудом*). Так это что — вы меня отравили? Павел Павлович!

Павел Павлович. Ну-ну, Феликс Александрович! Что за мысли?

Феликс (*не слушая*). Пустите, пустите! Меня тошнит, пустите! (*Он выбирается из-за стола и, оттолкнув Клетчатого, устремляется в уборную.*)

Клетчатый (*Феликс сидит на краю ванны, весь мокрый, и вытирается полотенцем, тупо глядя перед собой, а Клетчатый, стоя в дверях, благодарно разглаживает.*) Напрасно беспокоитесь, Феликс Александрович. Это он, конечно, целился не в вас. Если бы он целился в вас, вы бы уже сейчас у нас тут похолодели... А вот в кого он целился — это вопрос! Конечно, у нас здесь теперь один лишний, но вот кого он считает лишним?..

Феликс (*бормочет*). Зверье... Ну и зверье... Прямо вурдалаки какие-то...

Клетчатый. А как же? А что прикажете делать? У меня, правда, опыта соответствующего нет пока. Не знаю, как это у них раньше проделывалось. Я ведь при Источнике всего полтора года состою.

Феликс, вытираясь полотенцем, смотрит на него с ужасом и изумлением, как на редкостное и страшное животное.

Клетчатый. Сам-то я восемьсот второго года рождения. Самый здесь молодой, хе-хе... Из молодых, да ранний, как говорится... Но здесь, знаете ли, дело не в годах. Здесь главное — характер. Я не люблю, знаете ли, чтобы со мной шутили, и никто со мной шутить не рискует. Ко мне сам Магистр, знаете ли... хе-хе... не говоря уже о всех прочих... Быстрота и натиск прежде всего, я так полагаю. Извольте, к примеру, сравнить ваше нынешнее поведение с тем, как я себя вел при аналогичном, так сказать, выборе... Я тогда в этих краях по жандармской части служил и занимался преимущественно контрабандистами. И удалось мне выследить одну загадочную пятерку... Пещерка у них, вижу, в Крапивкином Яру, осторожное поведение... Ну, думаю, тут можно попользоваться. Выбрал одного из них, который показался мне пожиже, и взял. Лично. А взявши — обработал. Обработать я уже умел хорошо, начальство не жаловалось. Ну-с, вот он мне все и выложил... Заметьте, Феликс Александрович: то, что вам нынче на блюдечке преподнесли по ходу обстоятельств, мне досталось в поте лица... Всю ночь, помню, как каторжный... Однако, в отличие от вас, я быстро разобрался, что к чему. Там, где место только пятерым, там шестому не место. А значит — камень ему на шею, а сам — в дамках...

Феликс. Так вот почему этот идиот на меня кинулся... со стамеской со своей... как ненормальный...

Клетчатый. Не знаю, не знаю, Феликс Александрович... Думаю, понормальнее он нас с вами, как говорится... Да и то сказать: вот у кого опыт. С одна тысяча двести восемьдесят второго годика! Такое время при Источнике удержаться — это надобно уметь!

Феликс. Костя? С тысяча двести? Да он же просто рифмоплет грошовый!

Клетчатый. Ну, это как вам будет удобнее... Облегчились? Тогда пойдете.

Они возвращаются в кабинет. В кабинете молчание. Наташа вдумчиво, с каким-то даже сладострастием обра-

батывает помадой губы. Павел Павлович озабоченно колдует со своими серебристыми трубочками над ломтиками ветчины, разложенными на дольках белого пухлого калача. Иван Давыдович читает рукопись Феликса, брови у него изумленно задраны. Курдюков же, заложив руки за спину, как хищник в клетке, кружит в тесном пространстве между дверью и окном. Битое лицо его искривлено так, что видны зубы. Увидев Феликса, он пятится к стене и прижимается лопатками.

Павел Павлович (*взглянув на Феликса*). Ну? Все в порядке? Мнительность, голубчик, мнительность! Нельзя так волноваться из-за каждого пустяка...

Иван Давыдович (*бодро*). Так! Давайте заканчивать. Ротмистр, пожалуйста, приглядывайте за обоими. Вы, Басаврюк, стойте где стоите и не смейте кричать. Иначе я тут же, немедленно, объявлю, что я против вас. Феликс Александрович, вы — сюда. И руки на стол, пожалуйста. И так... С вашего позволения, я буду сразу переводить на русский... М-м-м... «В соответствии с основным... э-э-э... установлением... а именно с параграфом его четырнадцатым... э-э... трактующим о важностях...» Проклятье! Как бы это... Князь, подскажите, как это будет лучше — «ахэллан»...

Павел Павлович. «Наизначительнейше наисамейшее важное».

Иван Давыдович. Чудовищно неуклюже!

Павел Павлович. Да пропустите вы всю эту белиберду, Магистр! Кому это сейчас нужно? Давайте суть, и своими словами...

Иван Давыдович. Вы не возражаете, Феликс Александрович?

Феликс. Я вам только одно скажу. Если ко мне кто-нибудь из вас приблизится...

Иван Давыдович. Феликс Александрович! Совсем не об этом сейчас речь... Хорошо, я самую суть. Случай чрезвычайный, присутствуют все пятеро, каждый имеет один голос. Очередность высказываний произвольная либо по жребию, если кто-нибудь потребует. Прошу.

Курдюков (*свистящим шепотом*). Я протестую!

Иван Давыдович. В чем дело?

Курдюков. Он же не выбрал! Он же должен сначала выбрать!

Наташа (*глядясь в зеркальце*). Ты полагаешь, котик, что он выберет смерть?

Все, кроме Курдюкова и Феликса, улыбаются.

Курдюков. Я ничего не полагаю! Я полагаю, что должен быть порядок! Мы его должны спросить, а он должен нам ответить!

Иван Давыдович. Ну, хорошо. Принято. Феликс Александрович, официально осведомляемся у вас, что вам угодно выбрать: смерть или бессмертие?

Белый как простыня, Феликс откидывается на спинку стула и в тоске хрустит пальцами.

Феликс. Объясните хоть, что все это значит? Я не понимаю!

Иван Давыдович *(с досадой)*. Все вы прекрасно понимаете! Ну, хорошо... Если вы выбираете смерть, то вы умрете, и тогда голосовать нам, естественно, не будет надобности. Если же вы выберете бессмертие, тогда вы становитесь соискателем, и дальнейшая ситуация подлечит нашему обсуждению.

Пауза.

Иван Давыдович *(с некоторым раздражением)*. Неужели нельзя обойтись без этих драматических пауз?

Наташа *(тоже с раздражением)*. Действительно, Феликс! Тянешь кота за хвост...

Феликс. Я вообще не хочу выбирать.

Курдюков *(хлопнув себя по коленям)*. Ну, вот и прекрасно! И голосовать нечего!

Иван Давыдович *(с ошарашенным видом)*. Нет, позвольте...

Наташа. Феликс, ты доиграешься! Здесь тебе не редколлегия!

Павел Павлович. Феликс Александрович, это что? Шутка? Извольте объясниться...

Курдюков. А чего объясняться? Чего тут объясняться-то? Он же этот... гуманист! Тут и объясняться нечего! Бессмертия он не хочет, не нужно ему бессмертие, а отпустить его нельзя. Так чего же тут объясняться?

Наташа *(взявшись за голову)*. Ой, да перестань ты тархтеть!

Иван Давыдович. Вы, Феликс Александрович, неудачное время выбрали для того, чтобы оригинальничать...

Павел Павлович. Вот именно. Объяснитесь!

Курдюков. А чего тут объяс...

Иван Давыдович обращает на него свой мрачный взор, и Курдюков замолкает на полуслове.

Феликс. Я в эту игру играть не намерен.

Н а т а ш а (*нежно*). Это же не игра, дурачок! Никак ты свой рационализм преодолеть не можешь. Убьют тебя — и все. Потому что это не игра. Это кусочек твоей жизни. Может быть, последний.

К у р д ю к о в. А что она вмешивается? Что она лезет? Где это видано, чтобы уговаривали?

Н а т а ш а (*указывает пальцем на Феликса*). Я — за него.

К у р д ю к о в. Не по правилам!

Н а т а ш а. Пусть он тебя удавит, а я ему помогу.

Курдюков хватается за лицо руками и с тоненьким писком съезжает по стене на пол.

П а в е л П а в л о в и ч. Магистр, а может быть, Феликс Александрович просто плохо себе представляет конкретную процедуру? Может быть, нам следует ввести его в подробности?

И в а н Д а в ы д о в и ч. Может быть. Попробуем. Итак, Феликс Александрович, когда вы выбрали бессмертие, вы тотчас становитесь соискателем. В этом случае мы утверждаем вашу кандидатуру простым большинством голосов, и тогда вам с господином Курдюковым останется решить вопрос между собой. Это может быть поединок, это может быть жребий, как вы договоритесь. Мы же, со своей стороны, сосредоточиваем свои усилия на том, чтобы ваше соревнование не вызвало нежелательных осложнений. Обеспечение алиби... избавление от мертвого тела... необходимые лжесвидетельства... и так далее. Теперь процедура вам ясна?

Ф е л и к с (*решительно*). Делайте, что хотите. В «шестой лишней» я с вами играть не буду.

П а в е л П а в л о в и ч (*потрясенный*). Вы отказываетесь от шанса на бессмертие?

Феликс молчит.

П а в е л П а в л о в и ч (*с восхищением*). Господа! Да он же любопытная фигура! Вот уж никогда бы не подумал! Писателишка, бумагомарака!.. Вы знаете, господа, я, пожалуй, тоже за него. Я — консерватор, господа, я не поклонник новшеств, но такой поворот событий! Или я ничего не понимаю, или теперь уже новые времена наступили наконец... Хомо новус?

К у р д ю к о в (*скулит*). Да какой там хомо новус! Что вам, глаза позалепило? Продаст же он вас! Продаст! Для виду сейчас согласится, а завтра же продаст! Да посмотрите вы на него! Ну зачем ему бессмертие? Он же гуманист, у него же принципы! У него же внуков двое! Как он

от них откажется? Феликс, ну скажи ты им, ну зачем тебе бессмертие, если у тебя руки будут в крови? Ведь тебе зарезать меня придется, Феликс! Как ты своей Лизке в глаза-то посмотришь?

Н а т а ш а (*насмешливо*). А что это он вмешивается? Что он лезет? Где это видано, чтобы отговаривали?

К у р д ю к о в (*не слушая*). Феликс! Ты меня послушай, я ведь тебя знаю, тебе же это не понравится. Ведь бессмертие — это и не жизнь, если хочешь, это совсем иное существование! Ведь я же знаю, что ты больше всего ценишь... Тебе дружбу подавай; тебе любовь подавай! А ведь ничего этого не будет! Откуда? Всю жизнь скрываться, от дочери скрываться, от внуков... От властей скрываться, Феликс! И так веками, век за веком! (*Зловеще.*) А потом ты станешь такой, как мы. Ты станешь такой, как я! Ты очень меня любишь, Феликс? Посмотри, посмотри повнимательнее, я — твое зеркало.

Все слушают, всем очень интересно.

П а в е л П а в л о в и ч (*блеет одобрительно*). Неплохо, очень неплохо изложено. Я бы еще добавил из Шмальгаузена: «Природа отняла у нас бессмертие, давши взамен любовь». Но ведь и наоборот, господа! И наоборот!

К у р д ю к о в (*не слушая*). Это же нужен особый талант, Феликс, — получать удовольствие от бессмертия! Это тебе не рюмку водки выпить, не повестуху настроить...

Ф е л и к с. Что ты меня уговариваешь? Ты своих вон динозавров уговаривай, чтобы они от меня отстали! Мне твое бессмертие даром не нужно...

П а в е л П а в л о в и ч. Позвольте, позвольте! Не увлекаетесь ли вы, Феликс Александрович? Как-никак бессмертие есть заветнейшая мечта рода человеческого! Величайшие из великих по пояс в крови не постеснялись бы пойти за бессмертием!.. Не гордыня ли вас обуревает, Феликс Александрович? Или вы все еще не верите?

Ф е л и к с. Во-первых, я действительно вам не верю...

П а в е л П а в л о в и ч. Но это же, простите, глупо. Нельзя же в своем рационализме доходить до глупости!

Ф е л и к с. А во-вторых, вы мне предлагаете не бессмертие. Вы мне предлагаете совершить убийство.

К у р д ю к о в (*страстно*). Убийство, Феликс! Убийство!

Ф е л и к с. Величайшие из великих — ладно. Знаю я, кого вы имеете в виду. Чингисхан, Тамерлан... Вы мне их в пример не ставьте, я этих маньяков с детства ненавижу.

Курдюков (*подхалимски*). Живодеры, садисты...

Феликс. Молчи! Ты мне никогда особенно не нравился, чего там... а сейчас вообще омерзителен. Такой ты подонок оказался, Костя, просто подлец... Но убить! Да нет, чушь какая-то... Несерьезно.

Павел Павлович. А вы что же, друг мой, хотите получить бессмертие даром? Забавно! Много ли вы в своей жизни получили даром? Очередь в кооператив получить — и то весь в грязи изваляешься... А тут все-таки бессмертие!

Феликс. Даром я ничего не получил, это верно. Но и в грязи никогда не валялся.

Курдюков. Ой ли?

Феликс. Да уж задниц не лизал, как некоторые! Я работал! Работал и зарабатывал!

Павел Павлович. Ну, вот и поработайте еще разок...

Феликс (*угрюмо*). Это не работа.

Клетчатый и Наташа (*в один голос*). Почему это не работа?

Павел Павлович ухмыляется. Феликс оглядывает их всех по очереди.

Феликс. Господи! Подумать только — Пушкин умер, а эти бессмертные! Коперник умер. Галилей умер...

Курдюков (*остервенело*). Вот он! Вот он! Моралист вонючий в натуральную величину! Неужели вы и теперь не понимаете, с кем имеете дело?

Наташа. Да-а, Феликс... Я, конечно, не Галилей, но Афродитой, помнится, ты меня называл, и не раз...

Павел Павлович (*поучительно*). Что жизнь, что бессмертие — и то, и другое нам дарует Фатум. Только жизнь дается нам — грехами родителей — бесплатно, а за бессмертие надобно платить! Так что мне кажется, господа, вопрос решен. Феликс Александрович погорячится-погорячится да потом и поймет, что жизнь дается человеку один раз, и коль скоро возникла возможность растянуть ее на неопределенный срок, то таковой возможностью надлежит воспользоваться независимо от того, какая у тебя фамилия — Галилей, Велизарий, Снегирев, Петров, Иванов... Феликсу Александровичу не нравится цена, которую придется ему за это платить. Тоже не страшно! Внутренне соберется, надуется... ну, нос зажмет в крайнем случае, если уж так его с души воротит... Кстати, вы, кажется, вообразили себе, Феликс Александрович, что вам предстоит перепиливать сопернику горло тупым ножом

или, понимаете ли... как он вас, понимаете ли... стамеской...

Курдюков. Только на шпагах.

Павел Павлович. Ну зачем обязательно на шпагах? Две пилюльки, совершенно одинаковые на вид, на цвет, на запах... (*Лезет в часовой кармашек, достает плоскую круглую коробочку, раскрывает и показывает издали.*) Вы берете себе одну, соперник берет оставшуюся... Все решается в полминуты, не более... и никаких мучений, никаких судорог, рецепт древний, многократно испытанный... И заметьте! Мук совести никаких: Фатум!

Курдюков (*кричит*). Только на шпагах!

Натasha (*задумчиво*). Вообще-то на шпагах зрелищнее...

Павел Павлович. Во-первых, где взять шпаги? Во-вторых, где они будут драться? В этой комнате? На площади? Где? В-третьих, куда деть труп, покрытый колотыми и рублеными ранами? Хотя, разумеется, это гораздо более зрелищно. Особенно, если принять во внимание, что Феликс Александрович сроду шпаги в руке не держал... Это вы совершенно правильно подметили, деточка: такие бои особенно привлекательны при явном превосходстве одной из сторон...

Иван Давыдович. Господа, я вынужден еще раз напомнить. Никаких акций в этой квартире. В том числе и с вашими пилюлями, Князь.

Павел Павлович (*вкрадчиво*). Ни малейших следов!

Иван Давыдович. Нет!

Павел Павлович. Я гарантирую вам совершенно. Просто с человеком случится инфаркт. Или апоплексический удар...

Иван Давыдович. Нет, нет и нет! Не сегодня и не здесь. Собственно, это вообще особый разговор. Вы забегаете, Князь! Давайте подбивать итоги. Вы, Князь, за соискателя. Вы, сударыня, тоже. Басаврюка я не спрашиваю. Ротмистр?

Клетчатый (*бросает окурок на пол и задумчиво растирает его подошвой*). Всячески прошу вашего прощения, герр Магистр, но я против. И вы меня извините, мадам, целую ручки, и вы, ваше сиятельство. Упаси бог, никого обидеть не хочу и никого не хочу задеть, однако мнение в этом вопросе имею свое и, можно сказать, выстраданное. Господина Басаврюка я знаю с самого моего

начала, давно уже, и никаких внезапностей от него ждать не приходится...

Н а т а ш а (*насмешливо*). И нынешнюю прелестную ночку вы тоже ожидали, Ротмистр?

К л е т ч а т ы й. В нынешней прелестной ночке, мадам, прелестного, конечно же, мало, но ничего такого уж совсем плохого в ней тоже нет. Все утрясется, все будет путем. Господин Басаврюк — человек слабый, оступился, и еще, может быть, оступится — больно уж робок. Но он же наш... А вот господин писатель, не в обиду ему будет сказано... Не верю я вам, господин писатель, не верю и никогда не поверю. И не потому я не верю, что вы плохой какой-нибудь или себе на уме — упаси бог! Просто не понимаю я вас. Не понимаю я, что вам нравится, а что вам не нравится, чего вы хотите, а чего не хотите.... Чужой вы, Феликс Александрович. Будете вы в нашей маленькой компании как заноза в живом теле, и лучше для всех для нас, если вас не будет. Совсем. Извините великодушно, ежели кого задел. Намерения такого не было.

К у р д ю к о в (*прочувствованно*). Спасибо, Ротмистр! Никогда я вам этого не забуду!

Клетчатый с заметной опаской взглядывает на него, делает неопределенный жест и принимается раскуривать очередную сигарету. И тут вдруг Курдюков, сидевший до сих пор на корточках у стены, падает на четвереньки, быстро, как паук, подбегает к Ивану Давыдовичу и стучается лбом в пол у его туфли.

И в а н Д а в ы д о в и ч (*брезгливо-небрежно*). Хорошо, хорошо, я учту... Господа! Голоса разделились поровну. Решающий голос оказался за мной...

Он со значением смотрит на Феликса, и на лице его вдруг появляется выражение изумления и озабоченности.

Феликс больше не похож на человека, загнанного в ловушку. Он сидит вольно, несколько развалясь, закинув руку за спинку своего кресла. Лицо его спокойно и отрешенно, он явно не слышит и не слушает, он даже улыбается углом рта! Наступившая тишина возвращает его к действительности. Он как бы спохватывается и принимается шарить рукой по бумагам на столе, находит сигареты, сует одну в рот, а зажигалки нет, и он смотрит на Клетчатого.

Ф е л и к с. Ротмистр, отдайте зажигалку! Давайте, давайте, я видел! Что за манеры?.. (*Ротмистр торопливо возвращает зажигалку.*) И перестаньте вы мусорить на пол! Вот пепельница, вытряхните и пользуйтесь!

Все смотрят на него настороженно.

Феликс. Господа динозавры, я тут несколько отвлекся и, кажется, что-то пропустил... Но, понимаете ли, когда до меня дошло наконец, что убивать вы меня сегодня не осмелитесь, мне значительно, знаете ли, полегчало... И знаете, что я обнаружил? У нас тут с вами, слава богу, не трагедия, а комедия! Комедия, господа! Забавно, правда?

Все молчат.

Курдюков (*неуверенно*). Комедия ему..

Наташа. Если комедия, то почему же не смешно?

Феликс (*весело*). А это такая особенная комедия! Когда смеяться нечему! Когда вприору плакать, а не смеяться!

И снова все молчат, и каждый силится понять, что же это вдруг произошло с соискателем.

Иван Давыдович. Я хотел бы поговорить с соискателем наедине.

Павел Павлович. И я тоже...

Иван Давыдович. Куда у вас здесь можно пройти, Феликс Александрович?

Феликс. Что за тайны?.. А впрочем, пройдемте в спальню.

В спальне Феликс садится на тахту, Иван же Давыдович устраивается напротив него на стуле.

Иван Давыдович. Итак, насколько я понял по вашему поведению, вы наконец сделали выбор.

Феликс. Какой выбор? Смерть или бессмертие? Слушайте, бессмертие, может быть, и неплохая штука, не знаю... но в такой компании... В такой компании только покойников обмывать!

Иван Давыдович. Ах, Феликс Александрович, как вы меня беспокоите! Но смерть же еще хуже! Да, конечно, по-своему вы правы. Когда обыкновенный серенький человек волею судьбы обретает бессмертие, он с неизбежностью превращается через два-три века в мономана... Черта характера, превалировавшая в начале его жизни, становится со временем единственной. Так появляется ваша эротоманка Наталья Петровна, маркитанточка из рейтарского обоза, — ныне в ней, кроме маркитантки, уже ничего не осталось, и надо быть, простите, Феликс Александрович, таким вот неприятным кобелем, как вы, чтобы увидеть в ней женщину...

Феликс. Ну, знаете, ваш Павел Павлович не лучше!

Иван Давыдович. Нисколько не лучше! Я не

знаю, с чего он начинал, он очень древний человек, но сейчас это просто гигантский вкусовой пупырышек.

Феликс. Недурно сказано!

Иван Давыдович. Благодарю вас... У меня вообще впечатление, Феликс Александрович, что из всей нашей компании я вызываю у вас наименьшее отвращение. Я угадал?

Феликс неопределенно пожимает плечами.

Иван Давыдович. Благодарю вас еще раз. Именно поэтому я и решил потолковать с вами без свидетелей. Чтобы не маячили рядом совсем уж омерзительные рожи. Не стану притворяться: я — холодный, равнодушный и жестокий человек. Иначе и быть не может. Мне пять сотен лет. За такое время волей-неволей освобождаешься от самых разнообразных химер: любовь, дружба, честь и прочее. Мы все такие. Но в отличие от моих компаньонов я имею идею. Для меня существует в этом мире нечто такое, что нельзя ни сожрать, ни облапить, ни засунуть под зад, чтобы стало еще мягче. За свою жизнь я сделал сто семь открытий и изобретений. Я выделил фосфор на пятьдесят лет раньше Брандта, я открыл хроматографию на двадцать лет раньше Цвета, я разработал периодическую систему примерно в те же годы, что и Дмитрий Иванович... По понятным причинам я вынужден сохранять все это в тайне, иначе мое имя уже гремело бы в истории. Всю жизнь я занимаюсь тем, что нынче назвали бы синтезированием Эликсира. Я хочу, чтобы его было вдосталь. Нет-нет, не из гуманных соображений! Меня не интересуют судьбы человечества. У меня свои резоны. Простейший из них: мне надоело сидеть в подполье и шарахаться от каждого жандарма. Мне надоело опережать свое время в открытиях. Мне надоело быть номером ноль. Я хочу быть номером один. Но мне не на кого опереться. Есть только четыре человека в мире, которым я мог бы довериться, но они абсолютно бесполезны для меня. А мне нужен помощник! Мне нужен интеллигентный собеседник, способный оценить красоту мысли, а не только красоту бабы. Таким помощником можете стать вы. По сути, Курдюков оказал мне услугу: он поставил вас передо мной. Я же вижу — вы человек идеи. Так подумайте: попадется ли вам идея, еще более достойная, чем моя!

Феликс. Я ничего не понимаю в химии.

Иван Давыдович. В химии понимаю я! Мне не нужен человек, который понимает в химии. Мне нужен человек, который понимает в идеях. Я устал быть один.

Мне нужен собеседник, мне нужен оппонент. Соглашайтесь, Феликс Александрович! До сих пор бессмертных творил Фатум. С вашей помощью их начну творить я. Соглашайтесь!

Феликс (*задумчиво*). Н-да-а-а...

Иван Давыдович. Вас смущает плата? Это пу-стяки. Нигде не сказано, что вы обязаны убирать его собственными руками. Я обойдусь без вас.

Феликс. Всунете меня в сапоги убитого?

Иван Давыдович. Вздор, вздор, Феликс Александрович! Детский лепет, а вы же взрослый человек... Константин Курдюков прожил на свете семьсот лет! И все это время он только и делал, что жрал, пил, грабил, портил малолетних и убивал. Он прожил шестьсот пятьдесят лишних лет! Это просто патологический трус, который боится смерти так, что готов пойти на смерть, чтобы только избежать ее! Шестьсот пятьдесят лет, как он уже мертв, а вы разводите антимонии вокруг его сапог! Кстати, и не его это сапоги, он сам влез в них, когда они были еще теплые... Послушайте, я был о вас лучшего мнения! Вам предлагают грандиознейшую цель, а вы думаете — о чем?

Феликс. Ни вы, ни я не имеем права решать, кому жить, а кому умереть.

Иван Давыдович. Ах, как с вами трудно! Гораздо труднее, чем я ожидал! Чего же вы добиваетесь тогда? Ведь пойдете под нож!

Феликс. Да не пойду я под нож!

Иван Давыдович. Пойдете под нож, как баран, а это ничтожество, эта тварь дрожащая, коей шестьсот лет как пора уже сгнить дотла, еще шестьсот лет будет порхать с цветка на цветок без малейшей пользы для чего бы то ни было! А я-то вообразил, что у вас действительно есть принципы. Ведь вы же писатель. Ведь сказано же было таким, как вы, что настоящий писатель должен жить долго! Вам же предоставляется возможность, какой не было ни у кого! Переварить в душе своей многовековой личный опыт, одарить человечество многовековой мудростью... Вы подумайте, сколько книг у вас впереди, Феликс Александрович! И каких книг — невиданных, небывалых!.. Да, а я-то думал, что вы действительно готовы сделать что-то для человечества, о котором с такой страстью распинаетесь в своей статье... Эх вы, мотыльки, эфемеры!..

Феликс. Вот мы уже и о пользе человечества заговорили...

Иван Давыдович поднимается и некоторое время смотрит на Феликса.

Иван Давыдович. Вам, кажется, угодно разыгрывать из себя героя, Феликс Александрович, но ведь сочтут-то вас глупцом!

Он выходит, и сейчас же в спальне объявляется Клетчатый.

Клетчатый. Прошу прощения. Телефончик...

Он быстро и ловко отключает телефонный аппарат и несет его к двери. Перед дверью он приостанавливается.

Клетчатый. Давеча, Феликс Александрович, я мог показаться вам дерзким. Так вот, не хотелось бы оставить такое впечатление. В моей натуре главное — прямота. Что думаю, то и говорю. Однако же намерения обидеть, задеть, возвыситься никогда не имею.

Феликс. Валите, валите отсюда... Да с телефоном поосторожнее! Это вам не предмет конфискации! Можете позвать следующего. Очередь небось уже выстроилась...

Оставшись один, Феликс валится спиной на кушетку и закладывает руки под голову. Бормочет: «Ничего... Тут главное — нервы. Ни черта они мне не сделают, не посмеют!...»

У двери в спальню Курдюков уламывает Клетчатого.

Курдюков. Убежит, я вам говорю! Обязательно удерет! Вы же его не знаете!

Клетчатый. Куда удерет? Седьмой этаж, сударь...

Курдюков. Придумает что-нибудь! Дайте я сам посмотрю...

Клетчатый. Нечего вам там смотреть, все уже осмотрено...

Курдюков. Ну я прошу вас, Ротмистр! Как благородный человек! Я вам честно скажу: мне с ним поговорить надо...

Клетчатый. Поговорить... Вы его там шлепнете, а мне потом отвечать...

Курдюков (*страстно, показывая растопыренные ладони*). Чем? Чем я его шлепну? А если даже и шлепну? Что здесь плохого?

Клетчатый. Плохого здесь, может быть, ничего и нет, но ведь, с другой стороны, приказ есть приказ... (*Он быстро и профессионально обшаривает Курдюкова.*) Ладно уж, идите, господин Басаврюк. И помогай вам бог...

Курдюков на цыпочках входит в спальню и плотно закрывает за собой дверь.

Феликс встречает его угрюмым взглядом, но Курдю-

кова это нисколько не смущает. Он подскакивает к тахте и наклоняется к самому уху Феликса.

Курдюков. Значит, делаем так. Я беру на себя Ротмистра. От тебя же требуется только одно: держи Магистра за руки, да покрепче. Остальное — мое дело.

Феликс отодвигает его растопыренной ладонью и садится.

Курдюков. Ну, что уставился? Надо нам из этого дерьма выбираться или не надо? Чего хорошего, если тебя шлепнут или меня шлепнут? Ты, может, думаешь, что о тебе кто-нибудь позаботится? Чего тебе тут Магистр наплел? Наобещал небось с три короба? Не верь ни единому слову! Нам надо самим о себе позаботиться! Больше заботиться некому! Дурак, нам только бы вырваться отсюда, а потом дернем кто куда... Неужели у тебя места не найдется, куда можно нырнуть и отсидеться?

Феликс. Значит, я хватаю Магистра?

Курдюков. Ну?

Феликс. А ты, значит, хватаешь Ротмистра?

Курдюков. Ну! Остальные, они ничего не стоят!

Феликс. Пошел вон!

Курдюков. Да почему? Дурак! Не веришь мне! Ну, ты мне только пообещай: когда я Ротмистра схвачу, попрिдержи Ивана Давыдовича!

Феликс. Вон пошел, я тебе говорю!

Курдюков рычит совершенно как собака. Он подбегает к окну, быстро и внимательно оглядывает раму и, удовлетворившись, устремляется к двери. Распахнув ее, он оборачивается к Феликсу и громко шипит: «О себе подумай, Снегирев! Еще раз тебе говорю! О себе подумай!»

Едва он скрывается, в спальню является Наташа и тоже плотно закрывает за собой дверь. Она подходит к тахте, садится рядом с Феликсом и озирается.

Наташа. Господи, как давно я здесь не была! А где же секретер? У тебя же тут секретерчик стоял...

Феликс. Лизавете отдал. Почему это тебя волнует?

Наташа. А что это ты такой колючий? Я ведь тебе ничего плохого не сделала. Ты ведь сам в эту историю въехал. Фу ты, какое злое лицо! Вчера ты на меня совсем не так смотрел. Страшно?

Феликс. А чего мне бояться?

Наташа. Ну, как сказать... Пока Курдюков жив...

Феликс. Да не посмеете вы.

Наташа. Сегодня не посмеем, а завтра...

Феликс. И завтра не посмеете... Неужели никто из вас до сих пор не сообразил, что вам же хуже будет?

Наташа. Слушай. Ты же не понимаешь. Они же совсем без ума от страха. Они сейчас от страха на все готовы, вот что тебе надо понять. Я вижу, ты что-то там задумал. Не зарывайся! Никому не верь, ни единому слову. И спиной ни к кому не поворачивайся — охнуть не успеешь! Я видела, как это делается...

Феликс. Что это ты вдруг меня опять полюбила?

Наташа. Сама не знаю. Я тебя сегодня словно впервые увидела. Я же думала: ну, мужичишка, ну, кобелек, на два вечерка сгодится... А ты вон какой у меня оказался! *(Она совсем придвигается к нему, и прижимается, и гладит по лицу.)* Мужчина... Хомо... Обними меня! Ну, что ты сидишь, как чужой?.. Это же я... Вспомни, как ты говорил: фея, ведьма прекрасная... Я ведь проститься хочу... Я не знаю, что будет через час... Может быть, мы сейчас последний раз с тобой...

Феликс с усилием освобождается от ее руки и встает.

Феликс. Да что ты меня хоронишь? Перестань! Вот уж нашла время и место!

Наташа *(цепляясь за него)*. В последний разочек...

Феликс. Никаких разочков... С ума сошла... Да перестань, в самом деле!

Он вырывается от нее окончательно и отбегает к окну, и она идет за ним, как сомнамбула, и бормочет, словно в бреду: «Ну почему? Почему?.. Это же я, вспомни меня... Трупик мой любимый, желанный!..»

Феликс. Слушай! Тебе же пятьсот лет! Побойся бога, старая женщина! Да мне теперь и подумать страшно!..

Она останавливается, будто он ударил ее кнутом.

Наташа. Болван.

Феликс *(спохватившись)*. Господи, извини... Что это я, в самом деле... Но и так же тоже нельзя.

Наташа. Дрянь. Идиот. Ты что — вообразил, что Магистр за тебя заступится? Да ему же одно только и нужно — баки тебе забить, чтобы ты завтра по милициям не побежал, чтобы время у нас осталось решить, как мы тебя будем кончать! Что он тебе наобещал? Какие золотые башни?

Тут в спальню заглядывает Павел Павлович. В руке у него бутерброд, он с аппетитом прожевывает лакомый кусочек.

Павел Павлович. Деточка, десять минут истекли! Я полагаю, вы уже закончили?

Н а т а ш а (злбно). С ним закончишь! И не начинали даже! (Решительными точными движениями она оправляет на себе платье, волосы.) Хотела напоследок попользоваться, но он же ни на что не годен, Князь! Не понимаю, на что вы надеетесь...

И она стремительно выходит вон мимо посторонившегося Павла Павловича.

П а в е л П а в л о в и ч. Ай-яй-яй-яй-яй! Вы ее, кажется, обидели... Задели, кажется... Напрасно, напрасно. (Садится на тахту, откусывает от бутерброда.) Весьма опрометчиво. Могли бы заметить: у нас ко всем этим тонкостям, к нюансам этим относятся очень болезненно! Обратили внимание, как наш Басаврюк попытался Маркизу подставить вместо себя? Дескать, это она все наши секреты вам по женской слабости раскрыла? Ход простейший, но очень, очень эффективный! И если бы не трусость его, могло бы и пройти. Вполне могло бы! А что в основе? Маленькое недоразумение, случившееся лет этак семьдесят назад. Отказала ему Маркиза. И не то чтобы он горел особенной страстью, но отказала! То есть никому никогда не отказывала, а ему отказала... Чувствуете? Вы не поверите, а вот семьдесят лет прошло, и еще сто семьдесят лет пройдет, а забыто не будет! А в общем-то мы все друг друга не слишком-то долюбиваем. Да и за что мне их любить? Вздорные существа, мелкие, бездарные... Магистр наш, Иван Давыдович, высоко о себе мнит, а на самом деле — обыкновенный графоман от науки. Я же специально справки наводил у него в институте... Он там вечный предместкома. Вот вам и друг Менделеева! Диву даюсь, что в нем этот Ротмистр нашел! Откуда такое собачье преклонение? Да вы не стойте в углу, Феликс Александрович, присаживайтесь, поговорим... (Феликс садится на другой край тахты, закуривает и исподлобья наблюдает за Павлом Павловичем. А тот неторопливо извлекает из своего футляра очередную серебристую трубочку, капает из нее на последний кусочек бутерброда и, закативши глаза, отправляет кусочек в рот. Он наслаждается, причмокивает, подсасывает, покачивает головой как бы в экстазе. Проглотив наконец, он продолжает.) Вот чего вы, смертные, понять не в состоянии. Иногда я стою в зале ресторана, и наблюдаю за вами, и думаю: «Боже мой! Да люди ли это? Мыслящие ли это существа?» Ведь вы же не едите, Феликс Александрович! Вы же просто в рот куски кидаете! Это же у вас какой-то механический процесс, словно грубый грязный кочегар

огромной лопатой швыряет в топку бездарный уголь, коим только головы разбивать... Ужасающее зрелище, уверяю вас... Вот, между прочим, один аспект нашего бессмертия, который вам, конечно, на ум не приходит. Я не знаю, какого сорта бессмертие даровано Агасферу. По слухам, это желчный, сухопарый старик, совершеннейший аскет. Наше бессмертие — это бессмертие совсем иного сорта! Это бессмертие олимпийцев, упивающихся нектаром!.. Эликсир — это что-то поразительное! Вы можете есть все что угодно, кроме распоследней тухлятины, которую есть вам просто не захочется. Вы можете пить любые напитки, кроме откровенных ядов, и в любых количествах... Никаких катаров, никаких гастритов, никаких заворотов кишок и прочих запоров... И при всем при этом ваша обонятельная и вкусовая система всегда в идеальном состоянии. Какие безграничные возможности для наслаждения! Какое необозримое поле для эксперимента! А вы ведь любите вкусненько поесть, Феликс Александрович! Не умеете — да. Но любите! Так что нам с вами будет хорошо. Я вас кое-чему научу, век благодарны будете... и не один век!

Феликс. Да вы просто поэт бессмертия! Бессмертный бог гастрономии!

Павел Павлович. Оставьте этот яд. Он неуместен. По сути дела, я хотел помочь вам преодолеть вашу юношескую щепетильность. Я понимаю, что у вас нет и быть не может привычки распоряжаться чужой жизнью, это не в обычаях общества... А может быть, вы просто боитесь рисковать? Так ведь риска никакого нет. Пусть он сколько угодно кричит о шпагах — никаких шпаг ему не будет. Будут либо две пилюльки, либо два шприца — Магистр обожает шприцы! — либо «русская рулетка». А тогда все упирается в чистую технику, в ловкость рук, этим буду заниматься я, как старший, и успех я вам гарантирую.

Феликс. Слушайте, а зачем это вам? Какая вам от меня польза, вашество? Чокаться вам не с кем, что ли? Нектаром...

Павел Павлович. Польза-то как раз должна быть вам очевидна. Во-первых, мы уберем мозгляка. Это поганый тип, он у меня повара сманил, Жерарчика моего бесценного... Карточные долги я ему простил, пусть, но Жерара! Не могу я этого забыть, не хочу, и не просите... А потом... Равновесия у нас в компании нет, вот что главное. Я старше всех, а хожу на вторых ролях. Почему? А потому, что деревянный болван Ротмистр держит поче-

му-то нашего алхимика за вождя. Да какой он вождь? Он пеленки еще мочил, когда я был хранителем трех Ключей... А теперь у него два Ключа, а у меня — один!

Феликс. Понимаю вас. Однако же я не Ротмистр.

Павел Павлович. Э, батенька! Что значит — не Ротмистр? Физически крепкий человек, да еще с хорошо подвешенным языком, да еще писатель, то есть человек с воображением... Да мы бы с вами горы своротили вдвоем! Я бы вас с Маркизой помирил... что вам делить с Маркизой? И стало бы нас уже трое...

Феликс. Благодарю за честь, вашество, но боюсь, что вынужден отказаться.

Павел Павлович. Почему, позвольте узнать?

Феликс. Тошнит.

Пауза.

Павел Павлович. Позвольте мне резюмировать ситуацию. С одной стороны, практическое бессмертие, озаренное наслаждениями, о которых я вынужденно упомянул лишь самым схематическим образом. А с другой стороны — скорая смерть, в течение ближайшей недели, я полагаю, причем, может быть, и мучительная. И вам угодно выбрать...

Феликс. Я резюмирую ситуацию совсем не так.

Павел Павлович. Батенька, да в словах ли дело? Бессмертия вы жаждете или нет?

Феликс. На ваших условиях? Конечно, нет.

Павел Павлович (*воздевая руки*). На наших условиях, видите ли! Да что же вы за человек, Феликс Александрович? Ужасаться прикажете вам? Склонить перед вами голову? Или развести руками?

Феликс. Погодите, вашество. Я вам сейчас объясню...

Павел Павлович (*не слушая*). Я чудовищно стар, Феликс Александрович. Вы представить себе не можете, как я стар. Я сам иногда вдруг обнаруживаю, что целый век выпал из памяти... Скажем, времена до Брестской унии помню, и что было после Ужгородской — тоже помню, а что было между ними — как метлой вымело... Так вы можете представить, сколько я этих соискателей на своем веку повидал! Кого только среди них не было... Византийский логофет, богомил-еретик, монгольский сотник, ювелир из Кракова... И как же все они жаждали припасть к Источнику! Головы приносили и швыряли передо мной: «Я! Я вместо него!» Конечно, нравы теперь не те, головы не принято отсекают, но ведь и не требуется! Простое

согласие от вас требуется, Феликс Александрович! Так нет! Отказывается! Да что же вы за человек такой? И ведь знаю, казалось бы, я вас! Не идеал, совсем не идеал! И выпить, и по женской части, и материальных потребностей, как говорится, не чужд... И вдруг такая твердокаменность! Не-ет, потрясли вы меня, Феликс Александрович. Просто в самое сердце поразили. Сначала вы не понимали ничего, потом стали понимать, но никак не могли поверить, а теперь и понимаете, и верите...

Может быть, мученический венец принять хотите? Вздор, знаете вы, что не будет вам никакого венца... Фанатик? Нет! Мазохист? Тем более — нет. Значит — хомо новус. Снимаю перед вами шляпу и склоняю голову. А я-то, грешным делом, думал: человек я знаю досконально... *(Он смотрит на часы и поднимается. Произносит задумчиво.)* Ну что ж, каждому свое. Пойдемте, Феликс Александрович, времени у нас больше не осталось.

В кабинете тем временем Наташа шарит по полкам с книгами, берет одну книгу за другой, прочитывает наугад несколько строчек и равнодушно роняет на пол. Из угла в угол по разбросанным книгам, по окуркам, по осколкам посуды снует Курдюков, руки его согнуты в локтях, пальцы ритмично движутся, словно он дирижирует невидимым оркестром. Клетчатый, стоя столбом у стены, внимательно следит за его эволюциями. А Иван Давыдович листает газетную подшивку.

Светаёт. За окнами туман. Входят Павел Павлович и Феликс.

Иван Давыдович. Наконец-то! *(Отбрасывает подшивку.)* Итак, Феликс Александрович, ваше решение!

Павел Павлович. Одну минуточку, Магистр. Я хочу сделать маленькое уточнение. Я тут поразмыслил и пришел к выводу, что Ротмистр прав. Отныне я за нашего дорогого Басаврюка. Как говорится, старый друг лучше новых двух.

Курдюков. Благодетель!

Наташа. Я тоже. К дьяволу чистоплюев.

Курдюков. Благодетельница! *(Торжественно показывает Феликсу язык.)*

Иван Давыдович *(после паузы)*. Вот как? Н-ну что ж... А я, напротив, самым категорическим образом поддерживаю кандидатуру Феликса Александровича. И я берусь доказать любому, что он, несомненно, полезен для нашего сообщества.

Он бросает короткий взгляд на Клетчатого, и тот, сделав отчетливый шаг вперед, становится рядом с ним.

К л е т ч а т ы й. Я тоже за господина писателя. Раз другие меняют, то и я меняю.

К у р д ю к о в (*плачет*). За что? Я же всегда за... Я же свой... А он сам не хочет...

П а в е л П а в л о в и ч. Во-первых, он сам не хочет. А во-вторых, Магистр, вы все-таки оказались в меньшинстве...

И в а н Д а в ы д о в и ч. Но я и не предлагаю принимать какие-нибудь необратимые решения прямо сейчас! Уже светло, сделать сегодня мы все равно ничего не сможем, мы не готовы, надо все хорошенько продумать... Господа! Мы расходимся. О времени и месте следующей встречи я каждого извещу во благовремении...

К у р д ю к о в (*хрипит*). Он же в милицию... Сию же минуту!..

И в а н Д а в ы д о в и ч обращает пристальный взор на Феликса.

И в а н Д а в ы д о в и ч. Милостивый государь! Вам были сделаны весьма лестные предложения, не забывайте об этом. Обдумайте их в спокойной обстановке. И помните, пожалуйста, что длинный язык может лишь принести вам и вашим близким непоправимые беды!

Ф е л и к с. Иван Давыдович! Да перестаньте же вы мне угрожать. Ну как можно быть таким самовлюбленным дураком? Неужели же непонятно, что я скорее откушу себе этот мой длинный язык, чем хоть кому-нибудь раскрою такую тайну? Неужели же вы не способны понять, какое это счастье для всего человечества — что у Источника бессмертия собралась именно ваша компания, компания бездарей, ленивых, похотливых ослов...

И в а н Д а в ы д о в и ч. Милостивый государь!

Ф е л и к с. Какое это безмерное счастье! Помыслить ведь страшно, что будет, если тайна раскроется и к Источнику прорвется хоть один настоящий, неукротимый, энергичный, сильный негодяй!.. Что может быть страшнее! Бессмертный пожиратель бутербродов — да это же огромная удача для планеты! Бессмертный энергичный властолюбец — вот это уже беда, вот это уже страшно, это катастрофа... Поэтому спите спокойно, динозавры вы мои дорогие! Под пытками не выдам я вашей тайны...

Они уходят, они бегут. Первой выскакивает Наталья Петровна, на ходу запихивая в сумочку свои косметические цацки. Величественно удаляется, постукивая зонти-

ком-тростью, Павел Павлович, сохраняя ироническое выражение на лице. Трусливо озираясь, удирает Курдюков, теряя и подхватывая больничные тапочки. Клетчатый не совсем улавливает пафос происходящего, он просто дожидается Ивана Давыдовича. Иван же Давыдович слушает дольше всех, но в конце концов и он не выдерживает.

Феликс (*им вслед*). Под самыми страшными пытками не выдам! Умру за вас, как последняя собака! Курдюкова буду беречь как зеницу ока, за ручку его буду через улицу переводить... И запомните: ежели что, не дай бог, случится, я в вашем полном распоряжении! Считайте, что теперь есть у вас ангел-хранитель на этой Земле!

Феликс стоит у окна и рассматривает всю компанию с высоты седьмого этажа. Курдюкова запикивают в кремовые «Жигули», Клетчатый за ним, Наташа садится за руль, Иван Давыдович — с нею рядом. Павел Павлович приветствует отъезжающую машину, приподняв шляпу, а затем неспешно, постукивая тростью-зонтиком, уходит из поля зрения.

И тогда Феликс оборачивается и оглядывает кабинет. Вся мебель сдвинута и перекошена. На полу раздавленные окурки, измятые книги, черные пятна кофе, растоптанные телефонные аппараты, осколки фарфора. На столах, на листах рукописи валяются огрызки и объедки, тарелки с остатками еды.

Дом уже проснулся. Слышно, как гудит лифт, грохают где-то двери, раздаются шаги, голоса.

И тут дверь в кабинет растворяется, и на пороге появляется дочь Феликса Лиза с двумя карапузами-близнецами.

— Почему у тебя дверь...— начинает она и ахает.— Что такое? Что у тебя тут было?

Феликс. Пиршество бессмертных.

Лиза. Какой ужас... И телефоны разбили! То-то же я не могла тебе дозвониться... В садике сегодня карантин, и я привела к тебе...

Феликс. Давай их сюда. Идите сюда скорее, ко мне. Сейчас мы с вами тут приборем. Правильно, Фома?

Фома. Правильно.

Феликс. Правильно, Антон?

Антон. Неправильно. Бегать хочу.

Туча

Под низким пасмурным небом, под непрерывным сеющим дождем по мокрому асфальтовому шоссе движется колонна машин: длинный лимузин впереди и три огромных автофургона следом. На мокрых брезентовых боках фургонов знаки «опасный груз».

На заднем сиденье лимузина, сложивши руки на груди, расположился хозяин этой колонны, известный метеоролог и атмосферный физик профессор Нурланн, человек лет сорока, с надменным лицом. Впереди рядом с шофером сидит его ассистент, личность вполне бесцветная, доведенная своим начальником до состояния постоянной злобной угодливости. О шофере и говорить нечего, голова его втянута в плечи, словно он поминутно ожидает, что его ткнут в загривок.

Ассистент, вывернувшись на сиденье, насколько позволяют ремни безопасности, говорит ядовито-сладким голосом:

— Я правильно помню, профессор, что вы не бывали здесь вот уже больше пятнадцати лет?

Нурланн молчит.

— Пятнадцать лет! С ума сойти. Я понимаю ваше волнение — вернуться в родной город, даже при таких обстоятельствах...

Нурланн молчит.

— А может быть, именно при таких обстоятельствах? Вернуться как бы избавителем. Избавителем от большой беды...

— Сядьте прямо и заткнитесь,— холодно говорит Нурланн.

Ассистент моментально выполняет приказание. На губах его довольная улыбка.

Видимость отвратительная — не больше пятидесяти метров. За пеленой дождя по сторонам дороги уносятся назад:

шеренга каких-то зачехленных громадин вдоль шоссе и спящие среди них солдаты в плащ-накидках; необозримое стадо пустых пассажирских автобусов;

походная радарная установка;

еще одна походная радарная установка, окруженная стадом пасущихся коров;

обширная асфальтовая площадка, несколько вертолетов на ней;

бензоколонка, очередь легковых машин с трейлерами, на крышах мокнут разнокалиберные чемоданы, и тут же остановился фермер с телегой и взирает на это с видом глубокой задумчивости.

И вообще: то и дело проносятся навстречу лимузину легковые машины, тяжело нагруженные барахлом.

Колонна, замедлив ход, въезжает в город. Граница города обозначена гигантским медным барельефом городского герба: обнаженный богатырь с ослиной головой поражает трезубцем гидру о трех головах — две из них мужские, третья — женская.

Сразу за барельефом в сквере стоят два танка, и тут же под навесом за походным столом кормятся несколько военных вперемежку со штатскими. Ослепительная молния вдруг обрушивается на сквер, и тотчас за ней вторая оплетает самое высокое дерево. Привычного грома нет, а есть какой-то странный свистящий шелест, но вспышки очень яркие и молнии очень страшные. Под навесом, однако, только один человек поднял голову и обернулся с недовольным видом, не переставая жевать.

В оперативном отделе штаба на огромном столе расстелена карта города. Вокруг стола стоят военные в пятнистых десантных комбинезонах без знаков различия и несколько штатских. В конусе света от лампы только карта и руки, упирающиеся в стол, лиц почти не видно.

На карте центр города занят угольно-черным пятном неправильной формы, по очертаниям немного напоминающим бабочку с распростертыми крыльями.

— Я полагаю ударить сюда, — говорит Нурланн, показывая пальцем. — Для начала рассечем ее пополам. Если повезет, мы сразу накроем активную зону. Здесь проходит магнитный меридиан, вот по этому проспекту...

— Дорога чистых душ, — негромко произносит кто-то из военных.

— Что? — надменно спрашивает Нурланн. — А! В мое время это был проспект Реформации... Очень удачно, что он проходит прямо по малой оси, можно бить прямой наводкой. Для начала, полковник, мне нужен дивизион «корсаров». Полагаю, его надо развернуть где-нибудь здесь... или здесь... А после того как она развалится надвое, будем бить в этом и этом направлении.

— А если не развалится? — насмешливо и раздраженно спрашивает кто-то.

Нурланн, резко вздернув подбородок, пытается рассмотреть в сумраке говорившего. Полковник поспешно произносит:

— Вы должны понять нас правильно, профессор. Все-таки мы здесь уже полгода. Мы испробовали чертову пропасть всевозможных средств, а помогают одни только дальнобойные огнеметы... и вообще огонь...

Тот же насмешливо-раздраженный голос вставляет:

— Пока горит.

— Вот именно,— говорит полковник.— Пока горит, она не двигается.

— Там, где горит,— вставляет голос.

— Капитан, я попросил бы вас! — сердито говорит полковник.

Нурланн, несколько смягчившись, снисходит до объяснения:

— Я привез сорок пять снарядов, начиненных «Одеколом АБ». Это коагулянт, который осаждает любое аэрозольное образование. Подчеркиваю: любое. Газетчики распространяют легенду, будто Туча — живое существо. Это вздор. Туча — это аэрозольное образование довольно сложной и не вполне понятной структуры. Поскольку оно возникло и распространяется в плотно населенном районе, у нас, к сожалению, нет возможности изучить его должным образом. Его придется уничтожить. Для этого я и приехал.

— То есть вы полагаете,— уточняет полковник,— что эвакуацию можно отменить?

Нурланн, повернув голову, смотрит на него. Полковник продолжает:

— Эвакуация практически подготовлена. Более того, если бы не... ну, некоторые обстоятельства... некоторые неконтролируемые обстоятельства, мы бы ее начали завтра. Дело в том, что скорость Тучи увеличивается, вчера на некоторых радиусах она превысила сто метров в сутки.

— Увольте, полковник,— недовольно говорит Нурланн.— В этом вопросе я не компетентен. Могу сказать только, что «Одеколон АБ» — штука очень ядовитая и людям лучше держаться от нее подальше. Таким вот образом. Может быть, еще есть вопросы?

Робкий голос:

— Правда, что вы родились в этом городе?

Нурланн ухмыляется:

— Правда. Вот здесь родился (показывает пальцем на

карте). Вот здесь жил. Здесь венчался (палец упирается в центр черного пятна). Так что, господа мои, эта штука (стучит по черному пятну) нравится мне еще меньше, чем вам, и играть с ней в научные игры, как вы, может быть, полагаете, я не намерен.

— Аминь,— произносит насмешливый голос, и все смеются с явным облегчением.

— Вот и славно,— произносит Нурланн покровительственно.— Теперь так, полковник. Первый залп назначаем на завтра, восемнадцать ноль-ноль, раньше все равно не управимся. А утром, часов в десять, я бы хотел посмотреть на нее сверху. Напоследок. Могу я рассчитывать на вертолет?

Возникает что-то вроде замешательства.

— М-м-м...— тянет полковник.— Вертолет я, конечно, дам...

— Но? — спрашивает удивленный Нурланн.

— Смысла никакого нет,— говорит полковник.— Как бы это вам объяснить...

— Вы ничего не увидите,— говорит кто-то.

— Почему? — спрашивает Нурланн.— Облачность? Но Туча выше облаков!

— Нет, вы увидите, только не то, что есть на самом деле.

— А что? Мираж?

— Мираж не мираж,— говорит полковник в затруднении и от этого сердясь.— А, да что мне — вертолета жалко? Я распорядюсь.

— Вы лучше, профессор, посмотрите на это. Это дело верное, без миражей,— говорит кто-то и высыпает веером на карту несколько фотографий.

Нурланн небрежно перебирает их одну за другой.

— Это я видел... и это видел...

Его внимание задерживается только на одной фотографии: Туча просачивается через дом. Светлый тысячеоконный фасад на фоне угольно-черной стены и тысяча черных языков, вываливающихся из окон. Нурланн бросает фотографию на стол и говорит:

— Хочу проехать по городу. Посмотрю завтрашнюю позицию и посмотрю все это (он щелкает пальцем по фотографиям) вблизи.

— Конечно,— говорит полковник.— Разрешите представить вам сопровождающего: старший санитарный инспектор Брун.

При первых словах полковника лицо Нурланна

неприятно сморщивается, но при имени Бруна оно расцветает неожиданно доброй улыбкой.

— Господи, Брун! — восклицает Нурланн. — Откуда ты здесь?

Лимузин профессора Нурланна неторопливо катит по улицам.

В городе безраздельно царит дождь. Дождь падает просто так, дождь сеется с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирается на сквозняках в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с урчанием хлещет из ржавых водосточных труб, разливается по мостовой, бежит по руслам, промытым между плитами тротуаров. Черно-серые тучи медленно ползут над самыми крышами. Человек — незванный гость на этих улицах, дождь его не жалует, и людей почти не видно.

— Как это ты заделался санитарным инспектором? — спрашивает Нурланн сидящего за рулем Бруна. — Ты же, помнится, был по дипломатической части.

— Мало ли что... Вон Хансен — сидел-сидел у себя в суде, а теперь кто? Великий бард! Менестрель!

— О да. Давно ты его видел?

— Да два часа назад, он с утра до вечера торчит в отеле, где ты поселился. В ресторане, конечно. Пьет как лошадь, старый хрен.

Вместе с дождем в городе хозяйничают молнии. Странные, очень яркие и почти бесшумные молнии. Огненными щупальцами они то и дело проливаются из Тучи и уходят в фонарные столбы, в фигурные ограды палисадников, просто в мостовую. Вдоль стены дома пробирается случайный прохожий, согнувшийся под зонтиком, и молния падает на него, оплетает тысячью огненных нитей. У человека подкашиваются ноги, он роняет зонт, хватается за стену и приседает на корточки. Это длится несколько секунд. Вот он уже опомнился, подобрал зонтик и, очумело крутя головой, заспешил дальше.

— Невозможно поверить, что это безвредно, — говорит Нурланн, провожая прохожего взглядом.

— Даже полезно, — откликается Брун.

Лимузин сворачивает за угол и останавливается.

— Это еще что такое? — озадаченно спрашивает Нурланн. — Кто они такие, что они здесь делают?

На обширном газоне расположился странный лагерь.

Прямо под дождем расставлены кровати, шкафы, столы и стулья, кресла — не походная мебель какая-нибудь, а дорогие спальни и кабинеты, безжалостно и противоестественно извлеченные из особняков и апартаментов. Тут и там торчат роскошные торшеры, которые, разумеется, не горят, трюмо и трельяжи, по зеркалам которых толстой пленкой стекает вода. И здесь полно людей, которые ходят, лежат и даже, кажется, спят под пропитанными водой одеялами. Мужчины и женщины, старики и старухи, все в одинаковых плащах-балахонах в черно-белую шахматную клетку. Кто-то из обитого бархатом кресла склонился над походной газовой плитой, помешивая в кастрюльке; кто-то стоя читает толстенький томик, видимо, молитвенник; а кто-то целой бригадой стаскивает с грузовика новую порцию диванов, торшеров и кроватей...

— Агнцы Страшного суда,— произносит Брун с неопределенной интонацией.— Прочь из-под тяжких крыш. Они не спасут, они раздавят. Прочь из затхлых обиталищ. Они не согреют, они задушат. Под небо! Под очищающее небо! Причащайтесь чистой влагой! Только тот спасется, кто успеет очиститься. И так далее. Агнцы Страшного суда. У нас их много.

— При чем здесь Страшный суд?

— А при том, что вы все считаете Тучу аэрозольным образованием. А для них это начало Пришествия Того, кто грядет. И когда Туча закроет всю Землю, начнется Страшный суд.

Сразу за лагерем Агнцев стоит на проспекте, взгромоздившись правыми колесами на тротуар, странная машина, такая помесь «скорой помощи» и пожарной, длинная, желтая, непропорционально высокая, с огромными красными крестами на бортах, усаженная всевозможными фарами, прожекторами, проблесковыми маячками, ощетиленная причудливыми антеннами, стоит тихая, странная, словно бы брошенная, и только вспыхивает у нее на крыше фиолетовый слабый огонек.

— Я развелся тогда, пятнадцать лет назад,— говорит Нурланн,— и несколько об этом не жалею...

— Да, я видел твою бывшую на прошлой неделе,— откликается Брун.— Был гран-прием у отцов города... Она у тебя очень, очень светская дама.

— Да провались она совсем,— говорит Нурланн раздраженно.— Мне дочку жалко. Так и не отдает она мне Ирму.

— У тебя дочка есть? — спрашивает Брун, насторожившись.

— Да. Вижу с ней раз в два года... то ли дочка, то ли просто знакомый ребенок. Раз в два года мамаша изволит ее ко мне отпускать, стерва высокомерная...

— Угу,— произносит Брун.— А у меня, слава богу, детей нет. По крайней мере, в этом городе.

Туча.

Она перегораживает проспект и выглядит как непроницаемо-черная стена, поднимающаяся выше всех крыш и уходящая вершиной в низкие облака. Огромные медленные молнии ползают по ней, словно живые существа. Сама же она кажется абсолютно неподвижной и вечной, как будто стояла здесь и будет стоять всегда.

— Экая красотища,— произносит Нурланн сдавленным голосом.

— Жалко? — Брун криво ухмыляется.

— Не знаю... Не об этом речь. А поближе подъехать нельзя?

— Нельзя.

— Брось, давай подьдем.

Брун цитирует:

— «Эти животные настолько медлительны, что очень часто застают человека врасплох».

Лимузин вынужден притормозить, чтобы проехать через толпу, сгрудившуюся вокруг тумбы регулировщика. В основном толпа состоит из шахматно-клеточных Агнцев, но довольно много среди них и простых горожан, они отличаются не только одеждой, но и тем, что прячутся под зонтиками — великое разнообразие зонтиков: огромные черные викторианские; пестрые веселенькие курортные; прозрачные коконы, укрывающие человека до пояса. В толпе можно видеть и военных в плащ-накидках.

Все лица обращены к человеку в клетчатой хламиде, который вдохновенно ораторствует, взобравшись на тумбу. За дождем его плохо видно и еще хуже слышно, доносятся только выкрики-возгласы:

— ...Последнее знамение!.. Бедные, бедные агнцы мои!.. Очищайтесь!.. И число его — шестьсот шестьдесят шесть!.. Отчаяние и надежда, грех и чистота, черное и белое!

Лимузин уже почти миновал толпу, и тут со свистящим шелестом изливается из облаков лиловая молния и нето-

ропливо, с каким-то даже сладострастием оплетает длинного унылого прохожего, задержавшегося на тротуаре посмотреть и послушать. Человек валится на бок, как мешок с тряпьем, но он не успевает коснуться асфальта, как вдруг раздается странный каркающий сигнал и, откуда ни возьмись, вынырнула и остановилась возле него давешняя нелепая машина с красными крестами на бортах. Сейчас на ней включено все: все прожектора, все окна, все фары, и добрый десяток красных, синих, желтых, зеленых огней одновременно перемигиваются у нее на крыше, на капоте, на боках. Расторопные люди в белых комбинезонах с красными крестами на спине, на плечах и на груди выскакивают под дождь и бегут к упавшему, волоча за собой шланги и кабели, на бегу распахивая черные чемоданчики со светящимися циферблатами и шкалами внутри. Они склоняются над пострадавшим и что-то делают с ним. Главный из них в причудливом шлеме, из которого рогами торчат две антенны, трясущиеся у самого рта тонкие лапки с набалдашниками и длинный штырь с микрофоном. Человек этот, весь красный и потный от возбуждения, нависнув над пострадавшим, орет надрывно:

— Что вы видите? Говорите! Говори! Что видишь? Говори! Скорее! Говори!

Закаченные глаза пострадавшего обретают осмысленное выражение, и он лепечет:

— Коридор... Коридор вижу... Они уходят...

Он замолкает, и глаза его вновь закатываются.

— Дальше! Дальше! — надрывается главный. — Говори! Кто в коридоре? Кто уходит? Говори! Говори!

— Малыш... — бормочет пострадавший. — Малыш и Карлсон... по коридору... Длинный...

Тут взор его окончательно проясняется, он отпихивает от себя главного и садится.

— Все. Проехало, — говорит один из санитаров.

Пострадавшему помогают встать, подают ему зонтик.

— Спасибо, — запинаясь, бормочет пострадавший. — Ох, большое спасибо.

А в толпе хоть бы кто голову повернул.

Лора, бывшая жена Нурланна, принимает бывшего мужа в своей гостиной. Гостиная обставлена не просто богато, но изысканно, поэтому очень странно видеть на безукоризненном мозаичном паркете под портьерами, закрывающими окна, обширные темные лужи.

— Я пригласила тебя сюда не для того, чтобы обмени-

ваться резкостями,— говорит Лора.— У меня к тебе дело. Однако я не хочу говорить о нем без моего адвоката. Имей терпенье. Он должен прийти с минуты на минуту.

— Прекрасно,— произносит надменно Нурланн.— Поговорим о чем-нибудь другом. Где Ирма?

— Прекрасно,— в тон ему произносит Лора.— Поговорим об Ирме. Ты, безусловно, будешь рад услышать, что твоя дочь делает большие успехи в муниципальной гимназии и что ее лучший друг — сын гостиничного швейцара.

— Во всяком случае, ничего плохого я в этом не вижу.

— Ну конечно, было бы гораздо хуже, если бы твоя дочь получила образование в Женеве или хотя бы в Президентском колледже в столице... Мы же демократы! Мы плоть от плоти народа!

Нурланн не успевает ответить, потому что в гостиной появляется рослый человек в черно-белом клетчатом пиджаке и при клетчатом же галстуке. Нурланн не сразу сообщает, что это тот самый проповедник, который давеча вещал с регулировочной тумбы.

— Знакомьтесь,— произносит Лора.— Мой адвокат. А это — мой бывший муж, профессор Нурланн.

— Прошу прощения, я несколько опоздал,— говорит адвокат, кладя на стол бювар и усаживаясь.— Но тем больше оснований у нас перейти прямо к делу. Вот бумага, профессор. Моя клиентка хотела бы, чтобы вы эту бумагу подписали, а я, как свидетель и как юрист, удостоверил вашу подпись.

Нурланн молча берет бумагу и начинает читать. Брови его задираются. Он поднимает глаза на Лору.

— Позволь,— несколько растерянно говорит он.— На кой черт тебе это надо? Кому какое дело?

— Тебе трудно поставить подпись? — холодно осведомляется Лора.

— Мне не трудно поставить подпись. Но я хотел бы понять, на кой черт это нужно? И потом, это все вранье! Ты никогда не была верной женой. Ты никогда не ходила в церковь. Аборты ты делала! Только в мое время ты сделала три аборта!

— Господа, господа,— примирительно вступает адвокат.— Не будем горячиться. Профессор, я знаю, вы атеист. Ваша подпись под этим документом не может иметь для вас никакого значения. Она ценна только для моей клиентки. И не из юридических, а исключительно из религиозных соображений. Считайте свою подпись под этим

документом просто актом прощения, актом братского примирения...

Он замолкает, потому что в глубине квартиры раздается какой-то лязг, дребезг, звон разбитого стекла. Нурланн еще успевает заметить, как внезапно побелело и осунулось лицо Лоры, как пришипился, втянув голову в плечи, клетчатый адвокат, но тут дверь в гостиную распахивается, словно от пинка ногой, и на пороге возникает Ирма.

Это девочка-подросток лет пятнадцати, высокая, угловатая, тощая, на ней что-то вроде мини-сарафана, короткая прическа ее схвачена узкой белой лентой, проходящей через лоб. Босая. И мокрая насквозь. Но ничего в ней нет от «мокрой курицы», она выглядит, как если бы в очень жаркий день с наслаждением искупалась и только что вышла из воды.

Лора и адвокат встают. Физиономии их выражают покорность, в них есть что-то овечье.

Ирма с бешенством произносит:

— Я двадцать раз просила тебя, мама, не закрывать окна в моей комнате! Что прикажешь мне делать? Выбить их совсем? Я выбила одно. В следующий раз выбью все.

Лора, совершенно белая, пытается что-то сказать, но из горла вырывается только жалобный писк. Адвокат, втянувши голову в плечи, смотрит себе под ноги. Ирма обращает взгляд на Нурланна. Тонем ниже, без всякой приветливости, произносит:

— Здравствуй, папа.

— Здравствуй, здравствуй,— говорит Нурланн озадаченно.— Что это ты сегодня так развоева...

Ирма прерывает его:

— Мы с тобой еще поговорим, папа. Может быть, уже сегодня вечером. Ты нам нужен.

И вновь — матери:

— Я в двадцать первый раз повторяю: не закрывай окна в моей комнате. В двадцать первый и последний.

Она поворачивается и уходит.

Воцаряется неловкая тишина, и адвокат, криво ухмыляясь, говорит:

— Дети — дар божий, и дети — бич божий.

И тут Лора срывается.

— Ну что — доволен? — визжит она, перегнувшись через стол к Нурланну.— Видел, как твоя дочь плюет мне в лицо? Как вытирает об меня ноги, словно не мать я ей, а половая тряпка? Тебе, наверное, тоже захотелось? Плюй!

Топчи! Унижай! Не надо со мной церемониться! Да, я грешница, я грязь, я сосуд мерзостей! Я убивала нерожденных младенцев моих, я блудила, я ненавидела тебя и блудила, с кем только могла! Я смеялась над богом... я, тля ничтожная! Это ты научил меня смеяться над богом! А теперь втоптываешь меня в ад, в вечный огонь... В серу меня смердящую, в уголья! Дождался! Вон она, тьма страшная, крошечная, надвигается на мир! Сколько еще дней осталось? Кто скажет? Это Суд идет! Последний Суд! Все перед ним предстанем, и спросится с тебя, зачем не простил женщину, которая была с тобой единой плотью и кровью, зачем толкнул ее в пропасть, когда одной лишь подписи твоей хватило бы, чтобы спасти ее! Лжец! Лжец! Чистая я! Перед Последним Судом говорю, я — чистая! Не было ничего, клеветешь! Подписи пожалел, единого росчерка!

— Да провались ты... — бормочет ошеломленный Нурланн и хватается за авторучку.

Вечер. На улицах тьма крошечная. Дождь льет как из ведра, а молний почему-то нет. Нурланн ведет машину по пустым улицам. Дворники не справляются с водой. Уличные фонари не горят, и лишь в редких окнах по сторонам улицы виден свет. В свете фар появляются посередине улицы какие-то неопределенные фигуры. Нурланн совсем сбрасывает газ и наклоняется над рулем, пытаясь разобрать, что же там происходит за серебристыми в свете фар струями дождя.

А происходит там вот что.

Половину мостовой занимает большой легковой автомобиль, стоящий с погашенными огнями и распахнутыми дверцами. На другой половине двое здоровенных мужиков в блестящих от воды плащах пытаются скрутить мальчишку-подростка, который отчаянно извивается, брыкается длинными голыми ногами, отбивается острыми голыми локтями, крутится вьюном — и все это почему-то молча.

Лимузин Нурланна останавливается в пяти шагах от этой потасовки, фары его в упор бьют светом, и тогда один из мужиков бросает мальчишку и, размахивая руками, орет:

— Назад! Пошел отсюда! Мотай отсюда, дерьмо свиныхье!

Поскольку ошеломленный Нурланн и не думает мотать отсюда, просто не успевает подчиниться, мужик в бешенстве бьет кованым сапогом по правой фаре и разбивает ее вдребезги.

Это он зря.

— Ах ты сволочь,— говорит Нурланн, достает из-под сиденья монтировку и вылезает под дождь.

Он не трус, наш Нурланн. Но откуда ему знать, что он имеет дело с профессионалом? Ленивым движением мужик в блестящем плаще уклоняется от богатырского удара монтировкой. В глазах у Нурланна вспыхивают огненные колеса, и наступает тьма.

...Четверть века назад подросток Нурланн поздним вечером возвращался из кино домой этим самым переулком. Навстречу ему вышел из подворотни могучий шестнадцатилетний дебил по прозвищу Муссолини. Не говоря ни единого слова, он ухватил Нурланна двумя пальцами за нос, стиснул так, что у того слезы из глаз брызнули, а свободной рукой обшарил деловито его карманы. Вся операция не заняла и минуты. Муссолини скрылся в подворотню, и маленький Нурланн, опозоренный, униженный и ограбленный, остался стоять в темноте с вывернутыми карманами. Слезы текли неудержимо, и вдруг подул ветер и дождь брызнул ему в лицо...

— Профессор... Профессор... Очнитесь, профессор!

Тьма расходится перед глазами Нурланна, и он видит близко над собой мокрое мальчишеское лицо, большеглазое, со свежей ссадиной на скуле. Волосы схвачены белой лентой.

Это не тот мальчик. Тот был в красном, а на этом черная безрукавка и черные шорты. Еще один голоногий и голорукий мокрый мальчик.

Нурланн, охая и кряхтя, садится, ощупывает себя. Все болит: печенки, селезенки, кишки. Машина его стоит на прежнем месте, освещая уцелевшей фарой пустую мостовую.

— А эти где? — спрашивает Нурланн.

— Уехали,— отвечает мальчик. Он сидит перед Нурланном на корточках, озабоченно оглядывая его лицо.

— А мальчик где?

— Вы можете встать? — спрашивает мальчик вместо ответа.

Нурланн с трудом поднимается на ноги, делает шаг к лимузину и хватается за дверцу, чтобы не упасть.

— Надо же, как он меня...

— Давайте я сяду за руль,— говорит мальчик.

— Валяй. Мне нужно в «Метрополь».

— Я знаю,— говорит мальчик.— Садитесь, я вас отвезу.

Лимузин катит по улицам.

— Что это было? — спрашивает Нурланн.— Кто эти громилы?

Мальчик, не сводя глаз с дороги, отвечает после паузы:

— Не знаю.

— Чего они к нему прицепились? Он что-нибудь натворил?

Пауза.

— Может быть. Только это никого не касается.

— Он удрал?

Пауза.

— Нет.

— Значит, в полицию сдали... Это твой приятель, надо понимать. Я вижу, тебе тоже попало.

Мальчик не отвечает, только осторожно поглаживает ссадину на скуле.

— Так что же вы все-таки натворили? — спрашивает Нурланн.

— Ничего особенного.

— А если ничего особенного, тогда поехали в полицию вызволять твоего приятеля. Заодно хотелось бы узнать, кто мне разворотил фару и отбил печенки.

— Нет,— твердо произносит мальчик.— Я не могу тратить время на полицию.

Лимузин останавливается перед отелем «Метрополь». Это огромное многоэтажное здание. Несколько редких светящихся окон, и еще свет падает сквозь застекленные двери в вестибюль.

— Спасибо,— говорит Нурланн.— Кстати, как тебя зовут?

— Циприан.

— Очень рад. Нурланн. Между прочим, Циприан, откуда ты все знаешь? Откуда знаешь, что я профессор, что я здесь живу?

— Мы дружим с вашей дочерью.

— Ага. Очень мило. Может быть, зайдешь ко мне, обсохнешь?

— Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти. Мне нужно позвонить. Вы позволите?

Они проходят сквозь вращающуюся дверь в вестибюль, мимо швейцара, приложившего при виде Нурланна два пальца к форменной фуражке, мимо богатых статуй с электрическими свечами. В вестибюле никого больше нет, только портье сидит за стойкой.

Пока Нурланн берет у портье ключи, у входа происходит разговор.

— Ты зачем сюда вперся? — шипит швейцар на Циприана.

— Меня пригласил профессор Нурланн.

— Я тебе покажу профессора Нурланна, — шипит швейцар. — Манеру взял — по ресторанам шляться...

— Меня пригласил профессор Нурланн, — повторяет Циприан терпеливо. — Ресторан меня не интересует.

— Еще бы тебя, щенка, ресторан интересовал! Вот я тебя отсюда вышвырну, чтобы не разговаривал...

Нурланн оборачивается к ним.

— Э-э... — говорит он швейцару. — Парнишка со мной. Так что все в порядке.

Швейцар ничего не отвечает, лицо у него недовольное.

У себя в номере Нурланн прежде всего сбрасывает мокрый плащ и сдирает с ног отсыревшие туфли. Циприан стоит рядом, с него капает, но и он, как давеча Ирма, отнюдь не выглядит «мокрой курицей».

— Раздевайся, — говорит ему Нурланн. — Сейчас я дам полотенце.

— Разрешите, я позвоню.

— Валяй.

Нурланн, прилепывая мокрыми носками, уходит в ванную. Раздеваясь там, растираясь купальной простыней и с наслаждением натягивая сухое, он слышит, как Циприан разговаривает — негромко, спокойно и неразборчиво. Только однажды, повысив голос, он отчетливо произносит: «Не знаю».

Затягивая пояс халата, Нурланн выходит в гостиную и с изумлением обнаруживает там дочь Ирму; Циприан по-прежнему стоит у дверей, и с него по-прежнему капает. Ирма расположилась боком в кресле, перекинув мокрые голые ноги через подлокотник.

— Здравсьте! — говорит Нурланн, впрочем, обрадованный.

— Слушай, папа, — капризным голосом произносит Ирма. — Где тебя носит? Я тебя двадцать часов жду!

— Где меня носит... Циприан, где меня носит? Иди в ванную и переоденься. Обсушись хотя бы.

— Что вас всех будто заклинило,— говорит Ирма.— Обсушись, оботрись, переоденься, не ходи босиком...

— Ну, мне кажется, это естественно,— благодушно произносит Нурланн, доставая из бара бутылку и наливая себе в стакан на два пальца.— Если мокрый человек...

— То, что наиболее естественно,— негромко говорит Циприан,— наименее подобает человеку.

Нурланн застывает со стаканом на полпути ко рту.

— Естественно всегда примитивно,— добавляет Ирма.— Амеба — да, она естественна. Но человек — существо сложное, естественное ему не идет.

Нурланн смотрит на Ирму, потом на Циприана, потом в стакан. Он медленно выцеживает бренди и принимает вызов.

— Ну, разумеется,— говорит он.— Поэтому давайте колотья наркотиками, одурять себя алкоголем, это ведь противоестественно. Пусть будут противоестественные прически, противоестественные одежды, противоестественные движения...

Ирма прерывает его:

— Нет! Противоестественное — это просто естественное навыворот. Мы говорим совсем не об этом...

Нурланн перебивает в свою очередь.

— Я не знаю, о чем вы говорите,— объявляет он покровительственно.— Зато я знаю, о чем вам следовало бы говорить. Не убий. Не укради. Не сладострастничай. Люби ближнего своего больше себя. Кумира себе не сотвори, лидера, пастыря, интерпретатора... Вот правила, воистину неестественные, и они-то более всего подобают человеку. Не так ли? Тогда почему же на протяжении двадцати веков они остаются красивыми лозунгами? Разменной монетой болтунов и демагогов... Нет, мокренькие вы мои философы. Не так все это просто. Никому еще пока не удалось придумать, что подобает человеку, а что — нет. Я лично думаю, что ему все подобает. Такая уж это обезьяна с гипертрофированным мозгом.

С этими словами он торжествующе наливает себе еще на два пальца и опрокидывает залпом.

Циприан и Ирма переглядываются.

— Вполне,— говорит Циприан.

— А я тебе что говорила?

— Ну, тогда я пойду.

— Подожди... Папа,— Ирма поворачивается к Нурланну,— мы приглашаем тебя поговорить.

— Говорите,— благодушно предлагает Нурланн.

— Нет. Не здесь. Наши ребята хотят с тобой встретиться. Ненадолго, на час-полтора. Пожалуйста.

— Почему со мной? Что я вам — модный писатель?

— С модным писателем мы уже встречались,— говорит Ирма.— А ты — ученый. Ты приехал спасать город. У нас есть к тебе вопросы. Именно к тебе.

— Видишь ли, у меня очень мало времени. Давайте лучше я отвечу на эти вопросы вам. Прямо сейчас. Мне даже вопросы можно не задавать. Тучу я намерен уничтожить в течение пяти — семи дней. Можете быть совершенно спокойны. Будет применен сравнительно новый коагулянт под игривым названием...

— Нет, папа,— качает головой Ирма.— Как раз это нас не интересует. Вопросы к тебе у нас совсем другие.

— Какие? Я больше ничего не знаю.

— Папа, ну пожалуйста!

— Мы вас очень просим, профессор,— присоединяется Циприан.

— Хорошо,— решается Нурланн.— Тогда завтра. Между двенадцатью и двумя. Где?

— В гимназии. Тебя устроит?

— В которой?

— В нашей... и в твоей тоже. Где ты учился.

— Где я учился...— задумчиво произносит Нурланн.— О, забытые ароматы мела, чернил, никогда не оседающей пыли... изнурительные допросы у доски... О, запахи тюрьмы, бесправия, лжи, возведенных в принцип! Договорились.

— Ну, тогда я пошел,— снова говорит Циприан.

Нурланн неохотно поднимается с кресла.

— Подожди, я тебя провожу. А то наш швейцар что-то тебя невзлюбил.

— Не беспокойтесь, профессор,— говорит Циприан.— Все в порядке. Это мой отец.

Ресторан отеля «Метрополь». Огромная зала, уставленная накрытыми столиками, белоснежные скатерти, серебро, хрусталь, цветы. Возле каждого столика торшер, но горит только один — у столика, за которым ужинают Нурланн, Брун и их школьный друг, ныне известный поэт и бард Хансен.

— Разом сработало великое множество независимых факторов,— объясняет Нурланн.— Выбросы ядерных станций на севере. Раз. На юге пятьдесят лет коптят небо металлургические заводы. Два. На западе загубили Страну Озер, бездарно разбазарили на мелиорацию. Плюс ко всему этому — специфическая роза ветров этого района. И еще какие-то факторы, которые наверняка действуют, но мы о них не догадываемся. Мы многого пока не понимаем...

— Ни черта мы не понимаем,— злобно прерывает Брун.— Невинное аэрозольное образование! Анализы не дают никаких оснований для паники! Три десантные группы были сброшены туда, и ни одна не вернулась! Три! — Он выставляет три пальца.— И ни один профессор пока не объяснил — почему.

— Да,— соглашается Нурланн.— В активной зоне — там, вероятно, происходят какие-то грандиозные процессы. Честно говоря, я не могу сообразить, почему она все время расширяется...

— Погоди,— говорит ему Хансен.— Я сейчас все объясню. На самом деле было так.

В доходном доме рядом с химическим заводом жил многосемейный коллежский секретарь Нурланн. Обстоятельства его: три комнатки, кухня, прихожая, стертая жена, пятеро зеленоватых детей, крепкая старая теща, переселившаяся из деревни. Химический завод воняет. Днем и ночью над ним стоят столбы разноцветного дыма. От ядовитого смрада вокруг умирают деревья, желтеет трава, дико и странно мутируют комнатные мухи. Коллежский секретарь ведет многолетнюю упорную кампанию по укрощению завода: гневные требования в адрес администрации, слезные жалобы во все инстанции, разгромные фельетоны в газетах, жалкие попытки организовать пикеты у проходной. Завод стоит, как бастион. На площади перед заводом замертво падают отравленные постовые. Дохнут домашние животные. Целые семьи покидают квартиры и уходят бродяжничать. В газетах появляется некролог по случаю преждевременной кончины директора завода. У нашего коллежского секретаря умирает жена, дети по очереди заболевают бронхиальной астмой.

Однажды вечером, спустившись зачем-то в подвал, он обнаруживает там сохранившийся со времен Сопrotивления миномет и два ящика мин. Той же ночью он перетаскивает все это на чердак. Завод лежит перед ним как на ладони. В свете прожекторных ламп спуют рабочие,

бегают вагонетки, плывут желтые и зеленые клубы ядовитых паров. «Я тебя убью!» — шепчет коллежский секретарь и открывает огонь. В этот день он не идет на службу. На следующий день — тоже. Он не спит и не ест, он сидит на корточках перед слуховым окном и стреляет. Время от времени он делает перерывы, чтобы охладился ствол миномета. Он оглох от выстрелов и ослеп от порохового дыма. Иногда ему кажется, что химический смрад ослабел, и тогда он улыбается, облизывает губы и шепчет: «Я убью тебя...» Потом он падает без сил и засыпает, а проснувшись, видит, что мины кончаются — осталось три штуки. Он высовывается в окно. Обширный двор завода усеян воронками. Выбитые окна зияют. На боках гигантских газгольдеров темнеют вмятины. Двор перерыт сложной системой траншей. По траншеям короткими перебежками двигаются рабочие. Быстрее прежнего снуют вагонетки, а когда ветер относит клубы ядовитых паров, на кирпичной стене открывается свежая белая надпись: «Внимание! При обстреле эта сторона особенно опасна!» В полном отчаянии коллежский секретарь выпускает последние три мины, и вот тут-то все и началось.

— Что именно? — спрашивает Нурланн.

— Лопнуло, — поясняет Хансен. — Лопнуло у них терпение. Сколько можно?

Он пьян, и Нурланн говорит снисходительно:

— Очень элегантная гипотеза. Только там, где на самом деле лопнуло, не было никакого химического завода, а была там наша муниципальная площадь, экологически вполне чистая.

— Да, муниципальная площадь, — соглашается Хансен. — Но плохо вы знаете историю родного города. На этой самой площади: тринадцатый век — восстание «серых», за день отрубили восемь сотен голов, в том числе сорок четыре детских, кровь забила водостоки и разлилась по всему городу; пятнадцатый век — инквизиция, разом сожгли полтора ста семей еретиков, в том числе триста двенадцать детей, небо было черное, неделю падал на город жирный пепел; двадцатый век — оккупация, расстрел тысячи заложников, в том числе двадцати семи детей, трупы лежали на брусчатке одиннадцать дней... Двадцатый век! А бунт сытых в шестьдесят восьмом? Две тысячи сопляков и соплячек под брандспойтами, давление пятьдесят атмосфер, сто двадцать четыре изувеченных, двенадцать гробов... Сколько же можно такое выдерживать? Вот и лопнуло.

— Да что лопнуло-то? — с раздражением спрашивает Брун. — Опять ты надрался...

— Брун, — укоризненно-весело произносит Нурланн, — ты не способен этого понять. Классическая коллизия: поэт и санинспектор.

— Это все дожди, — заявляет Хансен. — Мы дышим водой. Шесть месяцев этот город дышит водой. Но мы не рыбы, мы либо умрем, либо уйдем отсюда. А дождь все будет падать на пустой город, размывать мостовые, сочиться сквозь крыши, он смоем все, растворит город в первобытной земле, но не остановится, а будет падать и падать, и, когда земля напитается, тогда взойдет новый посев, каких раньше не бывало, и не будет плевел среди сплошных злаков. Но не будет и нас, чтобы насладиться новой Вселенной...

— О боже! — восклицает Брун. — О чем ты говоришь?

— Я говорю о будущем, — с достоинством пьяного отвечает Хансен.

— О будущем... — Брун кривит губы. — Какой смысл говорить о будущем? О будущем не говорят, его делают! Вот рюмка коньяка. Она полная. Я сделаю ее пустой. Вот так. Один умный человек сказал, что будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести. У нас нет времени рассуждать. Надо успевать поворачиваться. Если тебя интересует будущее, изобретай его быстро, на ходу, в соответствии со своими рефлексами и эмоциями. Будущее — это просто тщательно обезвреженное настоящее.

— Точка зрения санитарного инспектора, — бросает Нурланн. И тут по неподвижному лицу Хансена полились слезы.

— Они очень молоды, — произносит он чистым ясным голосом ни с того ни с сего. — У них впереди все, а у меня впереди — только они. Кто спорит, человек овладеет Вселенной, но только это будет совсем другой человек... И конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он изменит себя. Природа не обманывает, она выполняет свои обещания, но не так, как мы думали, и не так, как нам хотелось бы...

На другое утро Нурланн вылетает на вертолете обозреть Тучу сверху.

То, что он видит, потрясает его. Затопленный город. Над поверхностью воды выступают верхушки только самых высоких зданий. Торчит башня ратуши со старинными часами, плоская крыша городского банка с размечен-

ной вертолетной площадкой, крест церкви, в которой он когда-то венчался...

— Что это такое? — кричит он пилоту, тыча пальцем в иллюминатор.

— Туча, — отвечает пилот меланхолично.

— Откуда вода? Вы видите воду?

— Нет. Вижу Тучу... молнии... воронка какая-то крутится над серединой... А вы воду видите? Не беспокойтесь, здесь всегда так. Некоторые пустыню видят, верблюдов... Миражи. Только у каждого свой.

Поперек проспекта Реформации, который все почему-то называют теперь Дорогой чистых душ, высится массивная триумфальная арка, увенчанная гербом города: ослиноголовый человек пронзает трезубцем дракона с тремя человеческими головами.

Вдали за пеленой дождя едва угадывается черная стена Тучи. Все пространство между аркой и Тучей забито людьми, толпящимися вокруг дюжины огромных автобусов: идет спешная эвакуация будущего сектора обстрела. Загруженные автобусы один за другим с ревом уходят под арку и дальше вверх по проспекту.

Чуть в стороне от арки стоят зачехленные ракетно-пушечные установки «корсар», возле них, собравшись кучками, курят в кулак нахохленные экипажи в плащ-накидках.

Рядом с аркой группа начальства: Нурланн, его ассистент, двое офицеров в пятнистых комбинезонах. Нурланн держит над собой зонт, остальные мокнут.

Нурланн говорит ассистенту, указывая на верхушку арки:

— Вот удобная площадка, потрудитесь расставить там все приборы. Полагаю, что места хватит.

— Там будет мой наблюдательный пункт, — произносит один из офицеров, командир дивизиона, человек с недовольным лицом, выражающим откровенную неприязнь к штатскому.

Нурланн бросает на него взгляд и продолжает, обращаясь к ассистенту:

— Позаботьтесь о генераторе. Городская сеть ненадежна.

— К сожалению, ничего не выйдет, профессор, — отзывается ассистент, злорадно поглядывая на недовольного офицера. — Нам предлагается пользоваться генератором дивизиона.

— Не возражаю,— благосклонно кивает Нурланн.— Извольте распорядиться,— говорит он офицеру.

— У меня нет приказа,— говорит тот, едва разжимая губы.

— Вот я вам и приказываю,— отчеканивает Нурланн.

— А вы мне не начальник. И если вы попытаетесь что-нибудь поставить у меня на командном пункте, велю все сбросить вниз.

Нурланн, словно не слыша его, говорит ассистенту:

— Я буду здесь в семнадцать тридцать. Все должно быть готово и отрегулировано.

Тут вступает второй офицер. С виноватым видом он говорит — и непонятно, то ли правду говорит, то ли издевается над высокомерным шпаком:

— Я имею приказ к семнадцати ноль-ноль установить вокруг дивизиона оцепление и никого не пропускать.

Тогда Нурланн поворачивается к офицерам, и такого Нурланна они видеть не ожидали.

— Вы, государи мои,— негромко говорит он,— плохо понимаете свое положение. Здесь командую я, и вы будете выполнять любое мое приказание. А пока меня нет, вы будете выполнять приказания вот этого господина.— Он показывает на ассистента.

В вестибюле гимназии Нурланна поджидает сутулый старик в вицмундире. Это нынешний директор гимназии, но Нурланн помнит его еще своим классным наставником. Четверть века назад это был тиран, одним взглядом своим внушавший гимназистам непереносимый ужас.

— Какая честь, какая честь, профессор! — блеет директор, надвигаясь на Нурланна с простертыми руками.— Какая честь для доброй старой альма-матер! Орел навестил свое родовое гнездо! Знаю, знаю, вас ждут, и не задержу вас даже на одну лишнюю минуту. Позвольте представить вам: мой поверенный в делах...

— Мы уже знакомы,— говорит Нурланн, с изумлением обнаруживая за спиной директора клетчатую фигуру адвоката-проповедника.

— Совершенно верно,— мягко произносит адвокат, берет Нурланна под руку и увлекает его к барьеру пустующей раздевалки.— Аналогичное дело, профессор, если вам будет благоугодно...

На барьере лежит знакомый бювар и знакомая авторучка. Нурланн берет из бювара листок с текстом, про-

бегает его глазами и смотрит на адвоката. Тот легонько пожимает плечами.

— Я только заверяю подпись, и больше ничего. Я целыми днями хожу по городу и заверяю подписи.

Тогда Нурланн поворачивается к директору.

— Господин классный наставник,— говорит он.— Поймите, я не хочу вмешиваться в ваши дела. Ведь вы не религиозный маньяк, вы просвещенный человек. Во-первых, вот это,— он трясет листком,— сплошное вранье. Вы никогда не были добрым наставником юношества, вы были аспид сущий, вы были дракон, вы были семь казней египетских для нас, несчастных и нечестивых. И правильно! Только так с нами и можно было! Либо вы нас, либо мы вас. Почему вы этого теперь стыдитесь? И потом. Ну, пусть Страшный суд. Неужели вы всерьез верите, будто на Страшном суде эта бумажка, эта закорючка, которую вы у меня просите, может что-нибудь изменить!

Адвокат торопливо вмешивается:

— Этот вопрос на самом деле очень и очень сложен...

Но директор перебивает его. Голова его трясется, и усы обвисают, как мокрые, и старческие глаза слезятся.

— Молодой человек,— говорит он Нурланну.— Пройдет время, и вы тоже состаритесь. Когда вы состаритесь, вам придет пора умирать. А тогда вы обнаружите, что на очень многие вещи вы смотрите совсем иначе, чем сейчас, когда вы здоровы, энергичны и вас ждут великие дела. И не приведи вам бог ждать конца своего в такую страшную годину, как наша.

— Ты победил, галилеянин,— произносит Нурланн и берется за авторучку.

В актовом зале гимназии огромные окна распахнуты настежь, половина зала залита водой. С окон, с потолка, с люстр свешиваются пучки разноцветных нитей, и поэтому зал несколько напоминает подводную пещеру. Стулья стоят в полном беспорядке, и так же как попало и где попало расселись на этих стульях три десятка девчонок и мальчишек в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет. Все они голоногие и голорукие, у многих длинные волосы схвачены белой ленточкой через лоб, у некоторых на безрукавках с правой стороны нашит черный силуэт бабочки; не сразу понимаешь, что это очертание Тучи, как она видится сверху.

Нурланн стоит на кафедре, все глаза устремлены на него. Одни смотрят со спокойным ожиданием, другие — с явным интересом, третьи с неприязнью, а некоторые с

таким выражением, будто ждут, чтобы он поскорее отговорил и ушел и можно было бы заняться более важными делами. Циприан и Ирма сидят в сторонке у стены.

Нурланн с непринужденностью человека, привыкшего к публичным выступлениям, говорит:

— Как вам, может быть, известно, я и сам четверть века назад учился в этой гимназии. В этом зале и с этой кафедры я сделал свой первый в жизни научный доклад. Он назывался «О чувствительности рогатой гадюки к изменению среды обитания». Вторжение большой науки в мир моих одноклассников имело единственное последствие: преподавательницу зоологии с той поры наградили кличкой Рогатая Гадюка. Должен сказать, что это довольно обычное преломление достижений науки в сознании широких масс.

Пауза. Две-три улыбки. Ну что ж, и это не так уж плохо. Правда, Ирма, кажется, недовольна.

— То было хорошее время. Единственное, что нам тогда угрожало,— это семестровая контрольная по латыни. Сейчас, к сожалению, наше ближайшее будущее безоблачным не назовешь. Туча...

Его прерывает смех. Он нахмуривается.

— Я не собирался каламбурить. Ничего смешного тут нет. Город охвачен паникой, многие из ваших родителей испуганы до такой степени, что ждут Страшного суда. Город на военном положении. Готовится эвакуация. Для этого есть кое-какие основания, однако положение совсем не так плохо, как это вам, может быть, представляется. Что такое на самом деле Туча? Представьте себе...

Посредине зала воздвигается толстенький подросток с прекрасными синими глазами.

— Господин профессор,— говорит он.— Про Тучу мы все знаем. Не надо про Тучу.

— Вот как? — Нурланн прищуривается на него.— И что же вы знаете про Тучу?

Вопрос этот повисает в воздухе. Его пропускают мимо ушей.

— Меня зовут Миккель,— объявляет толстенький подросток.— Разрешите задать вопрос.

Нурланн пожимает плечами.

— Задавай.

— Что такое, по-вашему, прогресс?

— При чем здесь прогресс? — с недоумением и раздражением спрашивает Нурланн.

— Одну минуту,— громко произносит Циприан и встает.— Господин Нурланн, разрешите, я объясню. Мы бы не хотели сейчас затрагивать частные вопросы. Только общие. Самые общие. Мы обращаемся к вам не как к физику, а как к представителю авторитетной социальной группы. Мы многого не понимаем, и мы хотели бы узнать, что думают сильные мира сего.

— Послушайте,— говорит Нурланн.— Каждый должен заниматься своим делом. Если вам хочется знать, что такое прогресс, обратитесь к социологу, к философу... При чем здесь я?

— Социолога мы уже спрашивали,— терпеливо говорит Циприан.— Мы его поняли так, что никто толком не знает, что такое прогресс. Вернее, существуют разные мнения...

— Вот мы и хотим знать ваше мнение по этому поводу,— подхватывает Миккель.— Только мнение, больше ничего.

Некоторое время Нурланн смотрит на него, затем говорит:

— Хорошо, пожалуйста. Прогресс есть непрерывное увеличение знаний о мире, в котором мы живем.

— Любой ценой? — звонко спрашивает смуглая девочка, и в голосе ее звучит не то горечь, не то ненависть.

— При чем здесь цена? Конечно, существуют запреты на определенные приемы и методы; скажем, можно платить своей жизнью, но нельзя чужой, и так далее. Но вообще говоря, прогресс — штука жестокая, и надо быть готовым платить за него, сколько потребуется.

— Значит, может быть безнравственный прогресс? — Это тощая девочка прямо перед Нурланном.

— Не может, но бывает,— парирует Нурланн.— Прогресс, повторяю,— это штука жестокая.

Встает Миккель.

— Ваш прогресс — это прогресс науки. А человек?

— Это все связано. Прогресс науки — прогресс общества. Прогресс общества — прогресс человека.

— Вы верите в то, что говорите? — осведомляется Миккель.— Это же несерьезно.

— Почему несерьезно? — изумляется Нурланн.

— Потому что прогресс науки есть определенно. Прогресс общества? Возможно. А уж прогресса человека — точно нет.

Нурланн слегка сбит с толку.

— Н-ну... Это, наверное, все же не так... Есть все же разница между нами и...

Его перебивают.

— Какими вы бы хотели видеть нас в будущем?

Нурланн совсем теряется и поэтому ожесточается:

— Вас? В будущем? С какой стати я должен по этому поводу что-либо хотеть?

Все смеются.

— В самом деле,— говорит Нурланн, несколько приободрившись.— Станный вопрос. Но я догадываюсь, что вы имеете в виду. Так вот, я хотел бы, чтобы вы летали к звездам и держались подальше от наркотиков.

Пауза. Все ждут, что он скажет дальше. Нурланн сам ощущает острую недостаточность своего ответа, но он и впрямь не знает, что сказать.

— И это все? — спрашивает тощенькая девочка.

Нурланн пожимает плечами. По залу пробегает шум. Ребята переглядываются, вполголоса обмениваются репликами.

Поднимается Циприан.

— Разрешите мне. Давайте рассмотрим такую схему. Автоматизация развивается теми же темпами, что и сейчас. Тогда через несколько десятков лет подавляющее большинство активного населения Земли выбрасывается из производственных процессов за ненадобностью. Из сферы обслуживания тоже. Все сыты, никто друг друга не топчет, никто друг другу не мешает... и никто никому не нужен. Есть, конечно, миллион человек, обеспечивающих бесперебойную работу старых машин и создание машин новых... Ну, и летающих к звездам тысяч сто. Но остальные миллиарды друг другу просто не нужны. Это хорошо, как вы полагаете?

— Не знаю,— говорит Нурланн сердито.— Это и не хорошо и не плохо. Это либо возможно, либо невозможно. Нелепо ставить отметки социологическим законам. Хорош или плох второй закон Ньютона? Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов — это хорошо или плохо?

— Наверное, я неправильно выразился,— вежливо отвечает Циприан.— Я хотел спросить: нравится ли вам лично такое состояние общества? Или вот вопрос еще более общий: какое состояние общества представляется лично вам наиболее приемлемым?

— Боюсь, я разочарую вас,— высокомерно произносит Нурланн.— Меня лично вполне устраивает нынешнее состояние общества.

Смуглая девочка яростно говорит:

— Конечно, ведь вас устраивает, что можно схватить человека, сунуть его в каменный мешок и вытягивать из него все, пока он не умрет!

Нурланн пожимает плечами.

— Ну, это никому не может нравиться. Я понимаю, вы молоды, вам хочется разрушить старый мир и на его косях построить новый. Однако имейте в виду, это очень старая идея, и пока она еще ни разу не привела к желаемым результатам. То самое, что в старом мире вызывает особенное желание беспощадно разрушить,— например, тайная полиция,— особенно легко приспособляется к разрушению, жестокости, беспощадности, становится необходимым и непременно сохраняется, делается хозяином в новом мире и в конечном счете убивает смелых разрушителей.

— Боюсь, вы нас неправильно понимаете, господин профессор,— возражает Миккель.— Мы вовсе не собираемся разрушать старый мир. Мы собираемся строить новый. Только строить! Ничего не разрушать, только строить.

— За чей счет? — насмешливо спрашивает Нурланн.

— Этот вопрос не имеет смысла для нас. За счет травы, за счет облаков, за счет текучей воды... за счет звезд.

— В точности как все, кто был до вас,— говорит Нурланн.

— Нет, потому что они вытапывали траву, рассеивали облака, останавливали воду... Вы меня поняли буквально, а это лишь аллегория.

— Ну что ж, валяйте стройте,— говорит Нурланн.— Не забывайте только, что старые миры не любят, когда кто-то строит новые. Они сопротивляются. Они норовят помешать.

— Нынешний старый мир,— загадочно произносит Циприан,— нам мешать не станет. Ему, видите ли, не до нас. Прежняя история прекратила течение свое, не надо на нее ссылаться.

— Что ж, тем лучше,— говорит утомленно Нурланн.— Очень рад, что у вас все так удачно складывается. А сейчас я хотел бы уточнить относительно прогресса...

Но Миккель прерывает его:

— Видите ли, господин профессор, я не думаю, чтобы это было нужно. Мы уже составили представление. Мы хотели познакомиться с современным крупным ученым, и

мы познакомились. Теперь мы знаем больше, чем знали до встречи с вами. Спасибо.

Раздается гомон: «Спасибо... Спасибо, господин Нурланн...», зал понемногу пустеет, а Нурланн стоит на кафедре, стиснув ее края изо всех сил, и чувствует себя болваном, и знает, что красен и что вид являет собой растерянный и жалкий.

Проспект между триумфальной аркой и черной стеной Тучи пуст. На тротуарах и на мостовой огромное количество брошенных зонтиков — это все, что осталось от эвакуированных. Три «корсара» в боевой готовности выстроены шеренгой под аркой, пространство вокруг арки оцеплено солдатами в плащ-накидках, а за оцеплением волнуются толпы Агнцев Страшного суда в клетчатых балахонах.

Дождь не очень сильный, и с вершины триумфальной арки черная стена Тучи видна вполне отчетливо.

На часах без двух минут шесть.

Нурланн смотрит на Тучу в бинокль. Ассистент застыл на корточках у приборов. В нескольких шагах от него стоит, расставив ноги и перекатываясь с носка на пятку, командир дивизиона. Рядом с ним радист с микрофоном у рта.

— Синхронизации хорошей не получится, — с улыбочкой сообщает ассистент.

— Это несущественно, — отзывается Нурланн сквозь зубы.

— Готовность шестьдесят, — бросает командир дивизиона.

— Готовность пятьдесят девять, — бормочет в микрофон радист.

В этот момент Нурланн вдруг обнаруживает в поле зрения бинокля две человеческие фигурки.

— Что за черт! — говорит он громко. — Там люди!

— Где? — Командир дивизиона утыкается лицом в нарамник стереоприцела.

— Это дети, — говорит Нурланн сердито. — Отмените стрельбу.

В поле зрения его бинокля отчетливо видны двое ребят, голоногих и голоруких, они идут к Туче, причем один оживленно размахивает руками, словно что-то рассказывает.

— Где вы кого видите? — рявкает командир.

— Да вон же, у самой Тучи, посередине проспекта!

— Нет там никого! Пусто!

— Никого нет, профессор,— подтверждает ассистент.

Нурланн дико глядит на него, потом на командира.

— Отменить стрельбу! — хрипло кричит он и бросается к лестнице. Это железная винтовая лестница в одной из опор арки, в мрачном каменном колодце с осклизлыми стенами. Нурланн сыплется вниз по ступенькам, судорожно хватаясь то за ржавые перила, то за сырые плиты стен. Сверху, наклонившись в колодец, командир дивизиона орет ему вслед:

— Еще чего — отменить! Надрался, понимаешь, до чертиков и еще командует...

Нурланн бросается в лимузин, машина с диким ревом устремляется в пустой каньон проспекта, расшвыривая зонтики. Он уже простым глазом видит двух подростков на фоне черной стены, и тут...

Багровым светом озаряются стены домов, и над самой крышей лимузина, над самой головой Нурланна с раздрающим скрежетом и воем проносятся к черной стене огненные шары ракетных снарядов. Нурланн инстинктивно бьет по тормозам, машину несколько раз поворачивает по мокрому асфальту, и, когда Нурланн на дрожащих ногах выбирается из-за руля, он видит впереди, насколько хватает глаз, абсолютно пустой, абсолютно сухой, слегка дымящийся проспект, и нет больше ни черной стены, ни детей.

Шепча молитву, Нурланн долго смотрит на то место, где только что были дети, а тем временем, прямо у него на глазах, справа, слева, сверху, словно беззвучная черная лавина, заливаает открывшуюся прореху черная стена. В этот момент он окончательно приходит в себя. Лавина звуков обрушивается на него: ужасные: вопли, свист, звон разлетающихся стекол, выстрел, другой... Он оборачивается.

На позиции «корсаров» медленно кипит людская каша — Агнцы Страшного суда, прорвав оцепление, лезут на «корсары», ломая все, что им под силу...

— Никого там не было! — гремит Брун. Он стоит посередине номера Нурланна, засунув руки за брючный ремень, а Нурланн, обхватив голову руками, скрючился в кресле.— Это мираж! Галлюцинация! Она обморочила тебя, она же морочит людей, это все знают.

— Зачем? — спрашивает Нурланн, не поднимая головы.

— Откуда я знаю — зачем? Мы здесь полгода бьемся как рыба об лед и ничего не узнали. Не хотела, чтобы ты в нее палил, вот и обморочила.

— Господи,— вздыхает Нурланн.— Взрослый же человек...

Он берет бутылку и разливает по стаканам.

— Да, взрослый! — рывкает Брун.— А вот ты — младенец. Со своим детским лепетом про аэрозольные образования... Младенец ты, девятнадцатый век ты, Вольтер — Монтескье, рационалист безмозглый!

Брун опрокидывает свой стакан, подтаскивает кресло и садится напротив Нурланна.

— Слушай,— говорит он.— Ты же сегодня был в гимназии. Ты видел здешних детей. Ты где-нибудь когда-нибудь еще видел таких детей?

Нурланн отнимает ладони от головы, выпрямляется и смотрит на Бруна. В глазах его вспыхивает интерес.

— Ты что имеешь в виду? — спрашивает он осторожно.

— Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Это нашествие! Вот что ты попытайся понять. Ну, не понять, так хотя бы взять к рассмотрению как некую гипотезу. Нашествие! Только идет не марсианин и не мифический Антихрист, а кое-что вполне реальное. Будущее идет на нас. Бу-ду-ще-е! И если мы не сумеем принять немедленные меры, нас сотрут в порошок. Нам с ними не справиться, потому что они впереди нас на какие-то чертовы века!

— Ты... вот что,— произносит Нурланн встревоженно.— Ты давай-ка успокойся: Налить тебе еще? — Не дожидаясь согласия, он разливает бренди.— Ты, брат, начал меня утешать, а теперь что-то сам уж очень возбуждился.

— В том-то и трагедия,— произносит Брун, мучительно сдерживаясь.— Нам, кто этим занимается, все кажется очевидным, а объяснить никому ничего невозможно. И понятно, почему не верят. Официальную бумагу напишешь, перечитаешь — нет, нельзя докладывать, бред. Роман, а не доклад...

Тут дверь распахивается, и в номер без стука входит Хансен.

— Проходи,— бросает он кому-то через плечо, но никто больше не появляется, а Хансен с решительным видом подступает к Бруну и останавливается над ним.

— Мой сын рассказывает мне о твоей деятельности

странные вещи,— говорит он.— Как прикажешь это понимать?

— Что там еще стряслось? — раздраженно-устало произносит Брун, не глядя на него.

— Твои громилы хватают детей, бросают их в твои застенки и там что-то у них выпытывают. Тебе известно об этом?

— Чушь. Болтовня.

— Минуточку! — говорит Хансен.— У моего сына много недостатков, но он никогда не врет. Миккель! — обращается он в пустоту рядом с собою.— Повтори господам то, что ты рассказывал мне.

Наступает тишина. Брун пытается что-то сказать, но Хансен орет на него:

— Заткнитесь! Извольте не перебивать!

И снова тишина. Слышен только шум дождя за окном. На лице Нурланна явственно написано: в этом мире все сошли с ума. У Бруна лицо каменное, он смотрит в угол без всякого выражения.

— Так,— говорит Хансен.— Что вы можете на это сказать?

— Ничего,— угрюмо говорит Брун.

— Но я требую ответа! — возвышает голос Хансен.— Если вы ничего не знаете об этом, извольте навести справки! Мальчик должен быть выпущен на свободу немедленно! Вы же слышали, он может умереть в любую минуту. Его нельзя держать под замком! — Он обращается к Нурланну: — Ты представляешь, Нурланн? Твою Ирму подстерегают вечером в темном переулке, хватают, насильно увозят...

И тут до Нурланна доходит.

— Послушай, Брун,— говорит он встревоженно,— это же правда. Я своими глазами видел, как схватили мальчишку. Да я тебе рассказывал — разбили мне фару, дали по печени... а мальчишку, значит, увезли?

— Идиоты,— говорит Брун сквозь стиснутые зубы.— Боже мой, какие болваны. Слепые, безмозглые кретины! Ни черта не понимают. Жалеют их. Это надо же — сопли пораспустили! Ну еще бы — они же такие умненькие, такие чистенькие, такие юные цветочки! А это враг! Понимаете? Враг жестокий, непонятный, беспощадный. Это конец нашего мира! Они обещают такую жестокость, что места для обыкновенного человека, для нас с вами, уже не останется. Вы думаете, если они цитируют Шпенглера и Гегеля, то это — о! А они смотрят на вас и видят

кучу дерьма. Им вас не жалко, потому что вы и по Гегелю — дерьмо, и по Шпенглеру вы — дерьмо. Дерьмо по определению. И они возьмут грязную тряпку и вдумчиво, от большого ума, от всеобщей философии смахнут вас в мусорное ведро и забудут о том, что вы были...

Брун являет собой зрелище странное и неожиданное. Он волнуется, губы его подергиваются, от лица отлила кровь, он даже задыхается. Он явно верит в то, что говорит, в глазах его ужасом стынет видение страшного мира.

— Подожди... — бормочет Нурланн потерянно. — Дети-то здесь при чем?

— Да при том, что мы ничего не знаем! А они знают все! Они шляются в Тучу и обратно, как в собственный сортир, они единственные, кто знает все. Может быть, они и не дети больше. Я должен знать, кто на нас идет, и в соплях ваших я путаться не намерен!

— Вы негодяй, — холодно говорит Хансен. — Вы признаете, что схватили мальчика и пытаете его в своих грязных застенках?

Брун вскакивает так, что кресло из-под него улетает в угол номера.

— Тройной идиот! — шипит он, хватая Хансена за грудки. — Какие застенки? Какие пытки? Проклятое трепло! Пойдем, я покажу тебе застенки. Это недалеко, это не в подвале, это здесь, в министерском люксе...

Он волочит за собой по коридору вяло отбрыкивающегося Хансена, Нурланн еле поспевает за ними. У последней по коридору двери они останавливаются. Брун стучит нетерпеливо. Дверь приоткрывается, внимательный глаз появляется в щели, затем дверь распаивается.

Широко шагая, Брун проходит через холл, распаивает дверь в гостиную. В гостиной ковры, стол завален фруктами и блюдами со сладостями, беззвучно мерцает экран гигантского телевизора, валяются в беспорядке видеокассеты.

Номер огромен, в нем несколько комнат, одна роскошнее другой. Мальчика находят в последней комнате.

Он лежит под окном в луже воды, уткнувшись лицом в пол, голоногий и голорукий подросток в красной безрукавке и красных шортах. Тот самый.

Брун падает перед ним на колени, переворачивает на спину.

— Врача! — кричит он хрипло. — Скорее!

Поздняя ночь. В холле отеля, едва освещенном слабой лампочкой над конторкой портье, сидят и разговаривают сквозь плеск дождя за окнами Нурланн и швейцар.

— Что ваша ведьмочка, что мой сатаненок,— тихо говорит швейцар,— они одного поля ягоды. Что мы для них? Лужи под ногами. Даже хуже. Воду они как раз любят. Дай им волю, они бы из воды и не вылезали. Пыль мы для них, деревяшки гнилые...

— Ну зачем же так,— говорит Нурланн.— Мне ваш Циприан очень понравился, замечательный парнишка.

— Да? — Швейцар как бы приободряется.— А что, может, еще и породнимся... если так.

Оба усмеваются, но как-то невесело.

— Уж нас-то они не спросят,— говорит швейцар,— будьте покойны. Главное, никак я не пойму, лежит у меня к ним сердце или нет. Иногда прямо разорвал бы — до того ненавижу. А другой раз так жалко, так жалко их, ей-богу, слезы из глаз... Смотрю я на него и думаю: да он ли это? Мой ли это сын, моя ли кровь? Или, может, он уже и не человек вовсе? — Он наклоняется к Нурланну и понижает голос.— Говорят же, что ходят они в Тучу эту и обратно. Туда и обратно. Как хотят. Вот вы рассказываете: утром... Они же в Тучу шли! И вы не сомневайтесь, были они там, были! Офицеры — дураки, что они понимают? Слепые они. Это — таинство, так люди говорят. Это не каждому дано увидеть. Вот вам дано. Уж я не знаю, счастье это ваше или беда...

— Да уж какое счастье,— произносит Нурланн, кривя лицо.— Получается, что я их убил...

— Ну что ж,— говорит швейцар.— Значит, судьба ваша такая. Может быть, и вы. Только стоит ли огорчаться по этому поводу? Я не знаю. Убить-то вы, может, и убили, а вот кого? — Он совсем принакает ртом к уху Нурланна.— Знаете, что люди говорят? Детишки-то эти... в Тучу входят и тут же сгорают. А выходят оттуда уже не они. Обличьем похожи, но не они. Призраки выходят. Мороки. А потом смотришь ты на него и думаешь: да сын ли он мой? Моя ли это кровь?

— Призраки, мороки... — бормочет Нурланн, уставясь перед собой.— Это все нечистая наша совесть. Убиваем мы их. Каждый день убиваем. И знаете, почему? Не умеем мы с ними больше ничего делать. Только убивать и умеем. Всю жизнь мы только тем и занимались, что превращали их в таких, как мы. А теперь они отказываются превращаться, и мы стали их убивать.

Маленькому Нурланну не повезло с отцом. Отец был художником — огромный, громогласный, неумный и неопиcуемо эмоциональный человек. Он не желал слушать никаких оправданий, не терпел никаких объяснений и вообще ничего не понимал. Он не понимал шалостей. Он не понимал детских страхов. Он не понимал маленьких детских радостей. И в самых жутких кошмарах уже взрослого профессора Нурланна нависало вдруг над ним огромное, как туча, лицо. В нем все было огромно: огромные выпученные глаза, огромные усы, огромные волосатые ноздри и огромные колышющиеся волосы вокруг всего этого. Огромная, испачканная красками рука протягивалась и хватала маленького человека за ухо, и волокла мимо огромных стульев и столов в распахнувшуюся тьму огромного чулана, и швыряла его туда, и рушились сверху какие-то картонки, какая-то рухлядь, и гремел засов, и наступала тьма, в которой не было ничего, кроме плача и ужаса...

В конце проспекта Реформации (он же Дорога чистых душ), в сотне метрах от черной стены Тучи, мокрый клетчатый проповедник гремит, потрясая руками, над толпой мокрых клетчатых Агнцев Страшного суда, понурых и жалких. На другой стороне проспекта Нурланн, тоже мокрый и тоже жалкий, скрючившись, сидит на краешке роскошного дивана, брошенного поперек тротуара у подъезда покинутого дома.

— Город расположен четвероугольником! — гремит проповедник. — И длина его такая же, как и ширина... Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сардолик, седьмое — хризолиф, восьмое — вирилл, девятое — топаз, десятое — хрисопрас, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист... И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего... ибо светильник его — Агнец... Ворота его не будут запираются днем, а ночи там не будет... Среди улицы его... древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов...

Пока он говорит, от толпы Агнцев один за другим отходят адепты, человек десять или двенадцать, они идут

один за другим к стене Тучи. Им очень страшно, одного трясет, будто в лихорадке, у другого безумные глаза и губы, закушенные до крови, какая-то женщина плачет, прикрыв лицо ладонями, и спутник ведет ее под руку, сам белый как простыня.

— И принесут в него славу и честь народов! — ревет проповедник. — И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни! И ничего уже не будет проклятого! Прииди! Жаждающий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром...

Люди, идущие в Тучу, вдруг начинают петь. Сначала два жидких, неуверенных голоса, потом подхватывают третий и четвертый, и вот уже они поют все, с каждым шагом все более иступленно и уверенно. Это — псалом, это крик отчаяния и надежды, это иступленная попытка задавить в себе животный страх неизвестности.

И они уходят в Тучу один за другим, и один за другим на полуслове замолкают голоса. И вот уже остается только один, поющий высоким козлетоном, какой-то калека, изо всех сил спешащий на костылях. Он погружается в тьму, голос его обрывается, и ничего больше не слышно, кроме плеска дождя.

Нурланн, вскочивший от ужаса, медленно опускается на край дивана и закрывает лицо руками.

Темнеет. Зажглись редкие фонари вдоль проспекта Реформации. Черная стена Тучи стала ближе. Туча и в самом деле ведет себя, как подкрадывающееся животное. Только что стоял чуть покосившийся фонарный столб с разбросанными под ним перевернутыми зонтиками, наполненными водой, и вдруг что-то неуловимо меняется, и уже нет ни фонаря, ни зонтиков, а черная стена еще на пяток метров ближе, и большая лиловая молния проходит по ней наискосок.

Нурланн сидит, где и прежде, на том же диване, глубоко засунув руки в проемы плаща, и смотрит на большую лужу, пузыристую от дождевых капель. В луже появляется пара ног в тяжелых армейских башмаках и пятнистых макировочных штанинах.

— Господин профессор, — произносит прокуренный голос. — Вас ждут в штабе. Полковник просит вас явиться в штаб.

Нурланн поднимает глаза и видит перед собой молод-

цеватого вояку в берете набекрень, черноусого и чернобрового, с наглыми сержантскими глазами.

— Передайте полковнику, — с трудом ворочая губами, произносит Нурланн, — здесь нужно поставить заслон. Люди уходят туда и сгорают. Дети уходят. Нужен заслон.

Вояка мельком взглядывает на Тучу и говорит:

— Мы имеем приказ не вмешиваться в эти дела.

— Заслон, — упрямо повторяет Нурланн. — Никого не пропускать!

— Прикажут — поставим, — бодро говорит вояка. — Только вряд ли прикажут. А вас ждет полковник. Пожалуйста в машину.

Нурланн некоторое время смотрит на него, затем говорит устало и злобно:

— Оставьте меня в покое.

И уже совсем ночью озябший и измученный Нурланн слышит то ли сквозь дремоту, то ли сквозь бред и плеск дождя приближающийся странный разговор:

— Свадебные машины катят к церкви! — с издевательской торжественностью произносит ломкий юный баритон. — Это не может не тревожить!

— Мы научились критиковать религию! — в тон ему отзывается девчоночий голос. — Но не противопоставляем ей ничего своего, положительного. Критикуем обрядность, но не подкрепляем слово делом!

— Человеку нужен обряд! — с издевательским пафосом произносит третий голос, этакий ядовитый тенорок. — Обряд дает выход как положительным, так и отрицательным эмоциям!

И все трое говоривших, словно бы не выдержав, раздражаются хохотом. Этот хохот так заразителен (хотя ничего смешного, казалось бы, не сказано), что Нурланн, не в силах поднять тяжелые веки, сам улыбается в полусне.

— А вот папа сидит, — говорит девочка.

Нурланн наконец просыпается. Перед ним стоят трое подростков, все трое знакомые: дочка его Ирма, сын швейцара Циприан и синеглазый сын Хансена Миккель. Как всегда, они мокры, полны скрытой энергии и сам черт им не брат. Отблески лиловых молний от близкой Тучи то и дело выхватывают из мокрой тьмы их мокрые физиономии.

Нурланн с трудом встает.

— Это вы. Я ждал вас. Не смейте туда ходить.

— Отрекохом, — серьезно произносит Циприан. — Отрекохом от сатаны, от скверны.

— Я не шучу, Циприан, — говорит Нурланн.

— Но это же присно и во веки веков,— убеждающе произносит Миккель.— Во веки веков, профессор!

— Ребятки! — проникновенно говорит Нурлани.— Вы одурманены. Вы как мотыльки. Мотыльки летят на свет, а вы летите на тьму. А там — смерть. И хорошо еще, если моментальная... Слушайте, давайте уйдем отсюда, присядем где-нибудь, поговорим спокойно, рассудительно. Это же как липучка для мух... Я вам все объясню.

— Церковь,— серьезным голосом объявляет Миккель,— учитывая естественное стремление к прекрасному, издавна пыталась использовать красоту для религиозного воздействия на прихожан.

Это явное издевательство, но Нурлану не до свары.

— Хорошо,— говорит он.— Хорошо. Об этом мы тоже поговорим. Только пойдите отсюда! Вам хочется поиздеваться надо мной — пожалуйста. Но сейчас я плохой оппонент, сейчас со мной неинтересно. Уйдемте отсюда, и я постараюсь соответствовать...

Циприан, подняв палец, важно произносит:

— Не все одинаково приемлемо в новых ритуалах. Но сложность работы не пугает подлинных энтузиастов.

— Папа,— говорит вдруг Ирма обыкновенным голосом.— Пойдем с нами. Это так просто.

И они, больше не взглянув на него, легким шагом идут дальше к Туче. Несколько мгновений он смотрит им вслед, а затем бросается, охваченный жадой схватить, остановить, оттащить. И вдруг вселенная вокруг него взрывается лиловым огнем.

...Он видит зеленую равнину под ясным синим небом, и купы деревьев, и какую-то старую полуразвалившуюся часовню, замшелую и опутанную плющом, и почему-то идет снег крупными белыми хлопьями. На фоне синего неба один за другим, подрагивая в каком-то странном ритме, проплывают: серьезный, сосредоточенный Циприан; задумчивая, очень хорошенькая Ирма; ехидно ухмыляющийся Миккель...

И какой-то вкрадчивый полужнакомый голос шепчет ему на ухо:

— Как ты думаешь, что это такое? Что ты видишь перед собой?

— Я вижу свою дочь.

— А еще что ты видишь? Расскажи, расскажи нам, это очень интересно.

— По-моему, она повзрослела... Красивая стала девушка.

— Рассказывай, рассказывай!

— Циприан... Хорошая пара.

Голос становится назойливым и крикливым.

— Говори! Говори, Нурланн! Что ты видишь? Говори!

Видение светлого мира исчезает, заволакивается тьмой, и в этой тьме возникает лицо Бруна, мокрое, свирепое, огромный орущий рот, раскачиваются в электрическом свете блестящие штыри антенн...

— Говори, Нурланн! Говори! Говори, скотина!

Ранним утром в номер Нурланна врываются Лора и Хансен. Нурланн, измученный событиями прошлой ночи, спит одетый: как пришел накануне, как повалился на кушетку в чем был, так и заснул, словно в омут провалился.

Лора и Хансен набрасываются на него и ожесточенно трясут.

— Нурланн, боже мой, сделай что-нибудь! — стонет Лора. — Ирма ушла, оставила записку, что никогда не вернется... Боже, за что мне это? За какие грехи?

— Нурланн, надо что-то делать, — хрипит мучительно трезвый Хансен. — Дети ушли! Все! В городе не осталось ни одного ребенка. Да черт же тебя возьми, проснись же! Пьян ты, что ли?

Нурланн садится на кушетке. Он и в самом деле словно пьяный: его пошатывает, глаза не раскрываются, лицо опухло, волосы встрепаны и слиплись.

— Я боюсь, Нурланн, — ноет Лора. — Сделай что-нибудь! Я ничего не понимаю... Почему, за что?

— Сволочи! — хрипит Хансен, бегая по комнате. — Сманили детей! Но это им не пройдет. Хватит, кончилось мое терпение. Кончилось! Да поднимайся же ты, нашел время дрыхнуть!

— Ну хорошо, хорошо... — бормочет Нурланн, растирая лицо ладонями. — Сейчас. Дайте штаны надеть. Где здесь у меня штаны? Да что случилось-то, в самом деле? — Он грузно поднимается на ноги. — Что вы раскудахтались?

— Дети ушли из города! — орет Хансен. — Увели наших детей!

Когда пятьдесят лет назад детей уводили из города, это было так. Тянулась бесконечная серая колонна. Дети шли по серым размытым дорогам, шли спотыкаясь, оскальзываясь и падая под проливным дождем, шли согнувшись,

промокшие насквозь, сжимая в посиневших лапках жалкие промокшие узелки, шли маленькие, беспомощные, непонимающие, шли плача, шли молча, шли оглядываясь, шли, держась за руки и за хлястики, а по сторонам дороги вышагивали мрачные черные фигуры как бы без лиц — железные отсвечивающие каски, руки, затянутые в черные перчатки, лежат на автоматах, и дождь лил на вороненую сталь, и лаяли иноземные команды, и лаяли мокрые иноземные псы...

— Чепуха! — говорит Нурланн, трясая головой и зажмуриваясь. — Это совсем не то...

— Да очнись ты, черт тебя подери! — орет Хансен. — Их Туча заманила! Туча их сожрала, ты понимаешь?

— Погоди, — говорит Нурланн. — Надо без паники. Погоди.

— У тебя оружие есть? — спрашивает Хансен. — Пистолет какой-нибудь, автомат... Хоть что-нибудь?

— Какое оружие, дурак, — огрызается Нурланн. — При чем здесь оружие?

Лимузин Нурланна с трудом пробирается между брошенными как попало многочисленными автомобилями. За рулем Нурланн, рядом с ним истерически рыдающая, вся перемазанная расплывшейся косметикой Лора, на заднем сиденье озверелый Хансен.

Дальше ехать невозможно, и все они выбирают наружу. Кажется, весь город собрался здесь, плотно закупорив проспект Реформации, он же Дорога чистых душ. Тысячи людей, мокрых, жалких, растерянных, озлобленных, недоумевающих, плачущих, кричащих, с закаченными в обмороке глазами, оскаленных. Утонувшие в толпе автомобили — роскошные лимузины, потрепанные легковушки с брезентовым верхом, грузовики, автобусы, автокран, на стреле которого сидят несколько человек. И льет дождь. Да такой, какого Нурланн не видел никогда в жизни, он даже не представлял себе, что бывают такие дожди, — тропический ливень, но не теплый, а ледяной, пополам с градом, и сильный ветер несет его косо, прямо в лица, обращенные к еле видной черноте впереди, к мутным медленным лиловым вспышкам.

Толпа кричит, плачет, стонет, угрожает.

— Господи, за что? В чем согрешили мы, господи?

— Идиоты! Слюнтяи! Давным-давно надо было их за ухо — и вон из города! Говорили же умные люди...

— В чем отказывали? Чего для них жалели? От себя кусок отрывали, босяками ходили, лишь бы их одеть-обуть...

— Сим, меня сейчас задавят! Сим, задыхаюсь! Ох, Сим...

— Пустите меня! Да пустите же вы меня! У меня дочка там!

— Они давно собирались, я видела, да боязно было спрашивать...

— Муничка! Муничка! Муничка мой! Муничка!

— Да что же это, господа? Это же безумие какое-то! Надо же что-то делать!

— Да я его в жизни пальцем не тронула! Я видела, как вы своего-то ремнем гоняли. А у нас в доме такого и в заводе не было.

— В кр-р-ровы! Зубами рвать буду!

— Да-а, видно, совсем мы дерьмом стали, если родные дети от нас в эту Тучу ушли... Да брось ты, сами они ушли, никто их не притягивал...

— Муничек мой! Муничка!

— Надо телеграмму господину президенту! Десять тысяч подписей — это вам не шутка!

— Это мои дети, господин хороший, я их породил, я ими и распоряжаться буду, как пожелаю. Извольте их мне вернуть!

И тут раздался Голос. Он как шелестящий гром. Он идет со всех сторон сразу, и он сразу покрывает все остальные звуки. Он раздаётся как бы в мозгу у Нурланна, но тут же замирает и затихает вся толпа. Голос спокоен и даже меланхоличен, какая-то безмерная скука слышится в нем, безмерная снисходительность, будто говорит кто-то огромный, презрительный, высокомерный, стоя спиной к надоевшей толпе, говорит через плечо, оторвавшись на минутку от важных забот ради этой раздражившей его наконец пустяковины.

— Да перестаньте вы кричать, — произносит Голос. — Перестаньте размахивать руками и угрожать. Неужели так трудно прекратить болтовню и несколько минут спокойно подумать? Вы же прекрасно знаете, что дети ваши ушли от вас по собственной воле, никто их не принуждал, никто не тащил за шиворот, не одурманивал и не затягивал. Они ушли потому, что вы им стали окончательно неприятны.

Пока Голос говорит, дождь затихает, а потом прекращается вовсе, и черная стена Тучи, полосуемая медлительными молниями, становится видна совершенно отчетливо. И неподвижно стоит перед нею толпа. Люди словно боятся пошевелиться.

— Вы очень любите подражать своим предкам,— говорит Голос,— и полагаете это важным человеческим достоинством, а они — нет. Не хотят подражать вам. Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, скучными обывателями, рабами, конформистами, не хотят они, чтобы из них сделали преступников против Человечества, не хотят ваших семей и вашего государства. Поглядите на себя! Вы родили их на свет и калечили их по образу своему и подобию. Подумайте об этом. А теперь — уходите.

Толпа остается неподвижной. Может быть, она пытается думать. А у Нурланна в мозгу вспыхивают только отдельные странные и страшные картинки — собственные воспоминания вперемежку с виденным в кинохронике:

...огромное лицо отца и огромная рука его, тянущаяся с угрозой и злобной яростью...

...кучки наркоманов под мостом, жуткие морды вместо лиц, шприц вонзается в бедро прямо сквозь джинсы...

...дряхлый трясущийся Гитлер вручает железный крест мальчишке-смертнику, ласково треплет его по щечке...

...несметные толпы подростков, бессмысленно усеявших пустырь, словно огромная стая ворон на помойке...

...и подростки-фанаты, с ревом громящие стадион...

...и крепенькие румяные подростки в полувоенной форме, в золотых рубахах до колен, подпоясанные армейскими ремнями с тяжелыми пряжками, с массивными дубинками, и каждый заляпан эмблемами — эмблема на пряжке, эмблема на дубинке, эмблема на морде — и значки, значки, значки...

...и сам Нурланн омерзительно, потеряв контроль над собой, орет на молодую еще Лору, а она на него, похожая на отвратительно красивую мегеру, и маленькая Ирма с ужасом и недоумением смотрит на них, забившись в угол с большой куклой...

...и какой-то молодой отец с кружкой пива у ларька — хлебает сам и дает отхлебнуть сынишке, который держится за его брючину...

— Ну, что же вы стоите? — произносит Голос. — Пошли вон. Уходите!

И черная стена Тучи толчком продвигается на толпу, разом прыгнув метров на пятнадцать.

— Уходите! Уходите совсем из города! Города больше не будет! Убирайтесь, пока целы!

И снова Туча делает огромный шаг на толпу.

Город прорвало как нарыв.

Впереди, по обыкновению, драпают избранные, драпает магистратура и полиция, драпает промышленность и торговля, драпают суд и акциз, финансы и народное просвещение, почта и телеграф — все, все, в облаках бензиновой вони, в трескотне выхлопов, встрепанные, злобные и тупые, лихоимцы, стяжатели, слуги народа, отцы города, в вое автомобильных сирен, в истерическом стоне сигналов, во вспышках фар спецмашин — рев стоит на проспекте, а гигантский фурункул все выдавливается и выдавливается, и когда схлынул гной, тогда потекла кровь — собственно народ, на огромных автобусах, на битком набитых грузовиках, в навьюченных «фольксвагенах», «тойотах» и «фордиках», на мотоциклах, на велосипедах, угрюмые, молчаливые, потерянные, оставив позади свои дома, свои газоны, свое нехитрое счастье, налаженную жизнь, свое прошлое и свое будущее.

За народом отступает армия. Идут вездеходы с офицерами, бронетранспортеры, огромные машины полевых штабов, полевые кухни, зачехленные «корсары»... Последними идут танки, с башнями, развернутыми назад, в сторону наступающей Тучи.

И гремит над этим громадным бегством голос проповедника:

— ...Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел суд твой... И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, — ты уже не найдешь его... И голоса играющих на гусях и поющих, и играющих на свирелях и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе; и свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле...

К рассвету город опустел.

Утро хмурое, но дождь прекратился. По пустому про-

спекту Реформации мимо мрачных домов с мертвыми окнами бредет нога за ногу Нурланн, растерзанный, небритый, взлохмаченный, с отрешенным лицом, с глазами, как бы устремленными внутрь.

На асфальте проспекта, на тротуарах разбросано затопанное тряпье, валяются раздавленные чемоданы, колесо грузовика лежит посередине мостовой, и тут же неподалеку — сам грузовик, перскошенный, с распахнутой дверцей, уткнувшийся в фонарный столб; и опрокинутая детская коляска; и остатки стойбища Агнцев, а на углу переулка и какой-то Агнец лежит, клетчатый, то ли мертвый, то ли смертельно пьяный. Нурланн равнодушно проходит мимо.

Потом навстречу ему с садовой скамейки скверика поднимается взъерошенный Хансен, в руке у него наполовину опорожненная бутылка, глаза осоловелые, его шатает, и поэтому свободной рукой он сразу же вцепляется в локоть Нурланна.

— Все убежали...— доверительно сообщает он.— То есть все удрали. До последнего человека. Пустой город. Представляешь?

Нурланн ничего не отвечает. Похоже, он просто не слышит Хансена. А тот продолжает на ходу:

— А я вот решил остаться и посмотреть все-таки. Ведь это будущее, Нурланн! Ведь мы же все его ждали. Мы все на него работали. И что же теперь? Удирать? Глупо! Пусть оно нас гонит. Ну и что? А мы не пойдем. Верно, Нурланн?

Нурланн молчит. Хансен на ходу подкрепляется из бутылки.

— Очень страшно,— признается он.— Просто мороз по коже — до чего страшно. Понимаешь, Нурланн? Будущее создается тобой, но не для тебя. Вот я ненавижу старый мир. Глупость ненавижу, равнодушие, невежество, фашизм. Но с другой-то стороны — что я без всего этого? Это же хлеб мой и вода моя! Новый мир — строгий, справедливый, умный, стерильно чистый... Ведь я ему не нужен, я в нем — нуль! Восхвалять я не умею, ненавижу восхваления, а ругать там будет нечего, ненавидеть будет нечего — тоска, смерть... И выпить мне там не дадут, ты понимаешь, Нурланн, они там не пьют, совсем!

На каком-то перекрестке к ним присоединяется швейцар отеля. «Фольксваген» его поломался, стоит с задраным капотом. Швейцар, потный, злой, в форменной своей фуражке и без пиджака, в жилетке, ругательски ругается:

— Да пропади они все пропадом! Сунул их в какой-то автобус, и сразу на душе полегчало. Главное, я говорю снохе: ну, зачем тебе, дура, этот сервис? «Саксонский фарфор, саксонский фарфор, голубые мечи...» Светопреставление наступает, а ей голубые мечи, видите ли! Дал я ей коленом под задницу толстую... А вы как же, господа? Не страшно?

— Страшно,— говорит Хансен. Нурланн молчит.

— И мне страшно. А с другой-то стороны, ежели подумать как следует, ведь от них не убежишь. Днем раньше, днем позже, а они тебя достанут. Мое меня не минует, вот что я вам скажу. И опять же: дети-то наши не испугались? Может, глядят сейчас на нас из-за этой стены черной и посмеиваются... А?

Они идут и идут, черная стена Тучи все ближе и ближе, сейчас она абсолютно черная, на ней нет даже молний, и пустыми окнами смотрит на них город, покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, весь в злокачественных пятнах, словно изъеденный экземой, словно он много лет гнил на дне моря,— и от него идет пар.

Из бокового переулка выскакивает на большой скорости, едва не перевернувшись, желтая машина во всей своей красе — с фарами, мигалками и антеннами — и резко тормозит перед идущими. Из кабины выскакивает Брун, как всегда подтянутый, резкий, решительный.

— В чем дело? — спрашивает он свирепо. — Почему вы здесь?

— Идем туда,— важно отвечает швейцар.

— Куда — туда? Вы что — с ума сошли?

— Тебя не спросили,— неприязненно произносит Хансен. — Проезжай, чего встал?

Брун бешеными глазами оглядывает каждого из них по очереди.

— Предатели,— говорит он сквозь зубы. — Подонки.

Нурланн ни с того ни с сего вдруг широко улыбается.

— Бедный прекрасный утенок,— говорит он. — До чего же хлопотно тебе жить! Все суетишься, все бегаешь, совершаешь глупости, совершаешь жестокости, и все тебе кажется, что ты тормозишь будущее. А на самом деле ты тоже его строишь, тоже кладешь свои кирпичики. Пойдем с нами, Брун. Пришла пора расплачиваться.

— Идиоты! — шепчет Брун побелевшими губами, прыгает обратно в машину и с силой захлопывает за собой дверцу.

И вот они стоят перед черной стеной, все трое, и всем им страшно. И швейцар монотонно читает вполголоса:

— ...И вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить... И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч... и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей... хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; еля же и вина не повреждай... И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечем и голодом, и мором и зверями земными...

Черная стена надвигается и поглощает их.

Зеленая равнина под ясным синим небом распахнута перед ними. Все заросло высокой густой травой; неузнаваемые развалины с пустыми проемами бывших окон и дверей; груды железного хлама — сплюсненные ржавые кузова автомобилей, телевизоры с пустыми дырами вместо экранов, мотки спутанных ржавых тросов, бесформенные комки колючей проволоки между покосившимися гнилыми кольями, и тут же заплетенный плющом огромный танк, зарывшийся в траву хоботом пушки; клочья бумаги и раскисшие папки, и огромный том энциклопедии, страницы ее лениво шевелятся под ветерком. Прямо перед ними — полуразвалившаяся часовня, замшелая, опутанная плющом...

И над всем этим — ослепительно-синее небо, а над горизонтом медленно поднимается сплюсненный рефракцией румяный диск солнца. Стоит оглушительная, ошеломляющая тишина, и слышно, может быть, только, как глухо и неровно бьется сердце Нурланна.

И Нурланн начинает говорить, еле шевеля губами:

— Не надо жестокости. Милосердия прошу. Мы раздавлены. Нас больше нет. Наверное, мы заслужили это. Мы были глупы. Мы были высокомерны. Мы были жадны и нетерпеливы в своей жадности. Мы были жестоки. Не надо больше жестокости.

Пока он говорит, по сторонам от него, справа, слева, везде, из густой травы один за другим начинают подниматься люди. Ободранные, жалкие, грязные, мужчины небриты, женщины взлохмачены. Поднявшись, они стоят

неподвижно, и слушают, и смотрят на Нурланна с надеждой и ожиданием.

— Мы поносили тебя,— продолжает Нурланн.— Мы восхваляли тебя. Мы унижали тебя. Мы мастерили тебя по образу своему и подобию. Мы распоряжались друг другом, мы приказывали, мы горланили, и галдели, и пустословили от твоего имени. Мы творили мерзости от твоего имени и во имя твое. Все мы клялись умереть за будущее, но умирать норовили в прошлом. Нам и в голову не приходило, что суждено нам наконец встретиться с тобой лицом к лицу... И вот теперь, когда мы с тобой встретились, молю тебя об одном: не карай! Многие из достойных кары твоей не ведали, что творят. Они вообще не думали о тебе. Милосердия! Но если справедливость твоя все же требует наказания, то покарай меня. И если нужно покарать миллионы, тогда покарай меня одного миллионы раз.

Он замолкает. И тут же где-то в невообразимой дали возникает чистый и сильный звук трубы. И начинает идти снег. С чистого ясного неба, на котором ни облачка, медленно падают, кружась, крупные белые хлопья — на зеленую траву, на цветы, на развалины, на ржавое железо, на запрокинувшиеся грязные лица.

И новый звук возникает: глухой мерный топот копыт, и из снежной мглы, пронизанной солнцем, появляются, выплывают всадники.

Циприан, повзрослевший, с молодой русой бородкой. Он в белых парусиновых штанах, белая сорочка распахнута на груди, белая шелковая лента схватывает длинные волосы, босые ноги упираются в стремя, левой рукой он держит поводья, а правая уперта в бок. И конь под ним белый как снег.

Ирма Нурланн на рыжем коне, крепкая красивая девушка с цветком в зубах, в оранжевом рабочем комбинезоне, скачет, бросив поводья, отнеся правую руку в сторону, и на ладони у нее трепещет стеклянными крыльями большая зеленая стрекоза.

Миккель в черных трусах, голый до пояса и пунцово обгоревший на солнце, на вороном коне без седла и без уздечки, держится одной рукой за гриву, а в другой у него сверкающая золотом труба.

В неспешной рыси они проплывают мимо. Они не видят, может быть, даже и не замечают ободранных и грязных (многие встали на колени) людей.

Циприан скачет, задумавшись, подбородок его опущен на грудь, он всегда был серьезным мальчиком.

Ирма занята своей стрекозой — слегка повернув к ней лицо, словно бы помогает ей удерживаться на ладони.

У Миккеля же такой вид, будто он только что отмочил какую-то шуточку и вполне ею доволен. Он ехидно улыбается...

...и вдруг подносит трубу к губам и трубит — звонко, чисто и сильно.

Солнце уже высоко, и снег прекратился, и на горизонте из утреннего тумана возникают силуэты новых и новых всадников.

Будущее не собиралось карать. Будущее не собиралось миловать. Будущее просто шло своей дорогой.

«**Жи́ды** города **Питера...**»,
или **Невеселые** беседы при свечах

пьеса



Назвать деспота деспотом
всегда было опасно.

А в наши дни настолько же опасно
назвать рабов рабами.

Р. Акутагава

Действующие лица

КИРСАНОВ Станислав Александрович, 58 лет

ЗОЯ СЕРГЕЕВНА — его жена, 54 года.

АЛЕКСАНДР — их старший сын, 30 лет.

СЕРГЕЙ — их младший сын, 22 года.

ПИНСКИЙ Александр Рувимович — старый друг, 58 лет

БАЗАРИН Олег Кузьмич — добрый знакомый, 55 лет.

АРТУР — друг Сергея, 22 года.

ЕГОРЫЧ — сантехник, 50 лет

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК.

Действие первое

Гостиная-кабинет в квартире профессора Кирсанова. Прямо — большие окна, задернутые шторами. Между ними — старинной работы стол-бюро с многочисленными выдвижными ящичками. На столе — раскрытая пишущая машинка, стопки бумаг, папки, несколько мощных словарей, беспорядок. Посредине комнаты — овальный стол, скатерть, электрический самовар, чашки, сахарница, ваза с печеньем. Слева, боком к зрителям, установлен огромный телевизор. За чаем сидят и смотрят заседание Верховного Совета:

хозяин дома профессор Станислав Александрович Кирсанов, рослый, склонный к полноте, украшенный кудрявой русой шевелюрой и бородицей, с подчеркнуто-величавыми манерами потомственного барина, в коричневой домашней толстовке и спортивных брюках с олимпийским кантом; супруга его, Зоя Сергеевна, маленькая, худощавая, гладко причесанная, с заметной сединой, нрава тихого и спокойного, очень аккуратная и изящная (в далекой молодости — балерина), — она в строгом темном платье, на плечах — цветистая цыганская шаль;

их сосед по лестничной площадке и приятель дома Олег Кузьмич Базарин, толстый, добродушнейшего вида, плешивый, по сторонам плечи — серебристый генеральский бобрик, много и охотно двигает руками, когда говорит — для убедительности, когда слушает — в знак внимания, одет совершенно по-домашнему — в затрапезной куртке с фигурными

заплатами на локтях, в затрапезных же зеленых брюках и в больших войлочных туфлях.

Из телевизора доносится голос: «Итак, товарищи... Теперь нам надо посоветоваться... Вы хотите выступить? Пожалуйста... Третий микрофон включите...»

Кирсанов. Опять эта харя выперлась! Терпеть его не могу...

Базарин. Бывают и похуже... Зоя Сергеевна, накапайте мне еще чашечку, если можно...

Зоя Сергеевна (наливая чай). Вам покрепче?

Базарин. Не надо покрепче, не надо, ночь на дворе...

Кирсанов (с отвращением). Нет, но до чего же мерзопакостная рожа! Ведь в какой-нибудь Португалии его из-за одной только этой рожи никогда бы в парламент не выбрали!

Разговор этот идет на фоне телевизионного голоса — рывкающего, взрыкивающего, митингового: «...Я говорю здесь от имени народа... Четверть миллиона избирателей... И никто здесь не позволит, чтобы бесчестные дельцы наживались, в то время как трудящиеся едва сводят концы с концами...» Голос Нишанова: «То есть я вас так понимаю, что вы предлагаете голосовать сразу? Очень хорошо. Других предложений нет? Включите режим регистрации, пожалуйста...»

Кирсанов. Сейчас ведь проголосуют, ей-богу.

Зоя Сергеевна. А это с самого начала было ясно. Неужели ты сомневался?

Кирсанов. Я не сомневался. Но когда я вижу, что они сейчас проголосуют растратить шестнадцать миллиардов только для того, чтобы неведомый нам Сортир Сортирыч получил возможность за мой счет ежемесячно ездить в Италию... и даже не сам Сортир Сортирыч, а его зять-внук-племянник... Только для этого заключается контракт века, который по сю сторону никому решительно, кроме Сортир Сортирыча, не нужен... загадят территорию величиной с Бенилюкс... отравят двадцать четыре реки... завоняют всю Среднерусскую возвышенность... Но зато племянник Сортир Сортирыча на совершенно законном основании сможет теперь поехать за бугор и купить там себе «тойоту»...

И в этот момент в квартире гаснет свет.

Кирсанов. Что за черт! Опять?

Базарин (уверенно). Пробки перегорели. Говорил я

вам, что не надо этот подозрительный самовар включать...

Кирсанов. Да при чем здесь самовар... Подождите, я сейчас пойду посмотрю... Ч-черт, понаставили стульев...

Зоя Сергеевна. Нет, это не пробки перегорели. Это опять у нас фаза пропала.

Базарин (с недоумением). Куда пропала? Фаза? Какая фаза?

Слышны какие-то шумы и неясные голоса с лестницы (из-за кулис справа), голос Кирсанова: «А в том крыле? Что?.. Понятно... Ну и что мы теперь будем делать?..» Базарин, подобравшись в темноте к окну, отдергивает штору. За окном падает крупный снег, там очень светло: отсветы уличных фонарей, низкое светлое небо, в огромном доме напротив — множество разноцветно освещенных окон.

Кирсанов (появляется из прихожей справа). Поздравляю! По всей лестнице света нет. И по всему дому, кажется...

Зоя Сергеевна. Ну, по крайней мере, не так обидно. Фаза опять пропала?

Кирсанов. Она, подлая... (Подходит к окну.) Живут же люди, горюшка не знают! (Зое Сергеевне.) Лапа, а где у нас свечки?

Зоя Сергеевна. По-моему, мы их на дачу увезли...

Кирсанов. Ну вот! За каким же дьяволом? Это просто поразительно — никогда в доме ни черта не найдешь, когда надо!..

Базарин. Станислав, побойся бога. Зачем тебе сейчас свечи? Второй час уже, спать пора... (Спихивается.) Тьфу ты, в самом деле! У меня же в холодильнике суп, на три дня сварено. И голубцы! Теперь, конечно, все прокиснет...

Зоя Сергеевна. Ничего у вас не прокиснет, Олег Кузьмич, вынесите на балкон, и все дела.

Кирсанов (от бюро, с торжеством). Вот они! Видала! Вот они, голубчики... (Передразнивает.) «На дачу, на дачу...»

Зоя Сергеевна. Ой, а где же они были?

Кирсанов. В бюро они у меня были. В бюро! Очень хорошее место для свечей. Интересно, как бы ты без меня существовала в этом мире?.. Где спички?

Зоя Сергеевна. А в бюро их у тебя нет? Замечательное место для спичек...

Кирсанов (укрепляет свечи в канделябрах на бюро)

и расставляет по столу). Ладно, ладно, лапа, сходи на кухню, все равно стоишь...

Базарин (чиркает спичкой, свечи загораются одна за другой). Да на кой ляд вам это понадобилось, в самом деле? Спать давно пора...

Кирсанов. Ну куда тебе спать, ты же сейчас человек одинокий и даже в значительной степени холостой... Сиди, пей чай, наслаждайся беседой с умными людьми.

Из-за кулис справа появляется длинная черная фигура — рослый человек в блестящем мокром плаще до пят с мокрым блестящим капюшоном.

Черный Человек (зычно). Гражданин Кирсанов?

Кирсанов (ошеломленно.) Да... я...

Черный Человек. Станислав Александрович?

Кирсанов. Да! А в чем дело? Как вы сюда попали?

Черный Человек (зычно). Спецкомендатура Эс А! *(Обыкновенным голосом.)* У вас дверь приоткрыта, а звонок не работает. Паспорт ваш будьте добры...

Кирсанов. Какая еще комендатура? *(Достает из бюро паспорт и протягивает Черному Человеку.)* Какая может быть сейчас комендатура? Ночь на дворе!

Черный Человек берет паспорт, и тотчас же во лбу у него загорается электрический фонарь наподобие шахтерского. Внимательно перелистав паспорт, он молча возвращает его Кирсанову, а сам распахивает большой черный «дипломат» и, держа на весу, некоторое время роется в нем.

Черный Человек. Распишитесь... Вот здесь...

Кирсанов (расписываясь). А в чем, собственно, дело? Вы можете мне толком объяснить — что, куда, откуда? Войну, что ли, объявили?

Черный Человек (вручает Кирсанову какую-то бумажку). Получите.

Кирсанов (смотрит в бумажку, но ничего не видит, света не хватает). Я ничего здесь не вижу. В чем дело? Вы что — объяснить не можете по-человечески?

Черный Человек. Там все сказано. Будьте здоровы.

Фонарик его гаснет, а сам он как бы растворяется во тьме.

Базарин. Ну и дела!

Кирсанов (раздраженно). Не вижу ни черта... Зоя! Где мои очки?

Зоя Сергеевна. Дай сюда... *(Отбирает у мужа бумажку и читает вслух.)* «Богачи города Питера!..»

Базарин и Кирсанов *(одновременно)*. Что-о-о?

Зоя Сергеевна *(после паузы)*. «Богачи города Питера! Все богачи города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, двенадцатого января, к восьми часам утра на площадь перед СКК имени Ленина. Иметь с собой документы, сберегательные книжки и одну смену белья. Наличные деньги, драгоценности и валюту оставить дома в отдельном пакете с надлежащей описью. Богачи, не подчинившиеся данному распоряжению, будут репрессированы. Лица, самовольно проникшие в оставленные богачами квартиры, будут репрессированы на месте. Председатель-комендант спецкомендатуры Эс А»... Подписи нет, какая-то печать. Господи, что это значит?

Базарин. Это значит, что документы надо сразу же спрашивать, вот что! Извините... *(Осторожно берет бумажку из рук Зои Сергеевны.)* Печать!.. Я вам такую печать из школьной резинки за десять минут сварганю... *(Переворачивает бумажку.)* Так... Кирсанову Станиславу Александровичу... адрес... Правильный адрес... Ну, и как прикажете это понимать?

Кирсанов *(нервно)*. Дай сюда... *(Он уже нашел и нацепил очки.)* Не понимаю, что это может означать — Эс А? Советская Армия?

Базарин. Социалистическая Антарктида... Судорожная Аккредитация... Чушь это все собачья, и больше ничего! Двери надо за собой запирасть как следует. Интересно, Зоя Сергеевна, как там ваша шубка в передней поживает? Я у вас там, помнится, шубку видел...

Зоя Сергеевна, *подхватившись, выходит в прихожую.*

Кирсанов *(озаренно)*. Эс А — это Штурмбтайлунг!

Базарин *(непонимающе)*. Ну?

Кирсанов. Штурмовые отряды! Эс А. Ну, помнишь — у Гитлера?

Базарин. При чем здесь Гитлер? Какой может быть Гитлер в наше время?

Зоя Сергеевна *(возвратившись)*. Шуба цела... И вообще все как будто цело... Нет, это был никакой не жулик...

Базарин. А кто же тогда?

Зоя Сергеевна. Откуда мне знать? А только это был не жулик и не шутник. Может быть, военный... или милиция... или органы...

Базарин. Удивительно знакомая рожа лица! Станислав, а? Тебе не показалось? По-моему, у тебя аспирант такой есть... как его... Моргунов... Моргачев... Ну, на Новый год у вас был, длинный такой, сутулый... Зоя Сергеевна!

Кирсанов, ничего не слыша, читает и перечитывает повестку, сдвинув к себе все канделябры.

Кирсанов. Какой я им богач! Что они — совсем уже с ума походили? Нашли богача, понимаете ли... Драгоценности им подавай... Валюту... Идиоты!

Базарин. Ты что? Seriously все это воспринимаешь?

Кирсанов. Замечательно интересное кино! А как ты мне еще прикажешь все это воспринимать? Является посреди ночи какой-то гестаповец, вручает, понимаете ли, повестку... явиться, понимаете ли, со сменой белья... Послушай, дай-ка я радио включу.

Он подбегает к бюро и включает репродуктор. Комната оглашается сухим мертвенным стуком метронома.

Кирсанов. Ну вот, пожалуйста! А это как прикажете понимать?

Базарин. А что тут такого? Два часа ночи.

Кирсанов. Ну и что же, что два часа ночи? Где это ты слышал, чтобы метроном по радио передавали в мирное время?

Базарин. А что, разве не полагается? Я, честно говоря, трансляцию и не включаю никогда...

Кирсанов. Я, честно говоря, тоже никогда не включаю... Может быть, так оно и должно быть, но когда я эту хренацию слышу, я сразу же блокаду вспоминаю... Ну его к черту! *(Выключает репродуктор.)* Испортили все-таки настроение, подонки... Так хорошо сидели...

Базарин. Зоя Сергеевна, можно, я еще одну штучку выкурю?

Зоя Сергеевна *(рассеянно)*. Курите.

Кирсанов. Дай-ка мне, пожалуй, тоже...

Базарин *(укоризненно)*. Станислав!

Кирсанов. Ничего, ничего, давай... Сегодня можно. Гляди, как руки трясутся, смех и грех, ей-богу!

Базарин. Ты бы лучше корвалола выпил, чем закуривать.

Кирсанов *(закуривает от свечи)*. Нет, но как тебе это нравится! Богача отыскали!.. Только ты мне не говори,

что это чьи-то шутки. За такие шутки сажать надо! За такие шутки я бы...

Зоя Сергеевна (*прерывает его*). Позвони Сенатору.

Кирсанов. Что?

Зоя Сергеевна. Позвони Евдокимову.

Кирсанов. Да ты что — сдурела? Лапочка!

Зоя Сергеевна. Позвони Сенатору, я тебя прошу.

Кирсанов (*тыча пальцем в сторону телевизора*).

Он же на сессии сейчас сидит!

Зоя Сергеевна. Он должен был сегодня прилететь, мне Анюта говорила. Позвони, прошу тебя!

Кирсанов (*нервно*). И не подумаю. Стану я среди ночи беспокоить человека из-за какой-то дурацкой ерунды!

Базарин. Да, Зоя Сергеевна, тут вы, знаете ли... В самом деле — неловко. Конечно, это удобно — иметь среди своих добрых знакомых члена Верховного Совета, но, согласитесь, что это все-таки не тот случай...

Зоя Сергеевна. Откуда вы знаете, какой это случай?

Базарин. Н-ну... Как вам сказать... Лично я не могу к этому серьезно относиться, как хотите. И вам не советую.

Кирсанов. Главное, что я ему скажу, ты подумала? (*Язвительно*.) «Богачи города Питера!» Да он пошлет меня к чертовой матушке и будет прав. Если уж звонить, то тогда в милицию. Там, по крайней мере, хоть дежурный не спит. Во всяком случае, не должен спать, раз он за это деньги получает...

Базарин (*решительно*). Никуда звонить не надо. Совершенно очевидно, что это чей-то дурацкий розыгрыш. Сегодня же старый Новый год, вот и развлекаются какие-то кретины!

Зоя Сергеевна (*тихо*). Старый Новый год завтра.

Кирсанов (*он снова внимательно изучает повестку*). Это рэкетеры какие-нибудь! Знаете, что у них здесь на печати написано? «Социальная Ассенизация»! Идиоты! И рассчитывают на полнейших идиотов!.. Кстати, что это такое — СКК имени Ленина?

Базарин. Спортивно-концертный комплекс. Это где-то на юге, возле Парка Победы.

Кирсанов. Ну вот! Оставляю им все на столе, а сам поскачу с бельем на другой конец города...

Базарин (*с большим сомнением*). М-да, это вполне

возможно. Только, по-моему, он очень похож на твоего Моргачева...

Кирсанов. На какого Моргачева?

Базарин. Ну, на Моргунова... На аспиранта твоего, как его там...

Кирсанов. Ты, кажется, всерьез полагаешь, будто я уже не способен узнать собственного аспиранта?

Базарин. Извини, но я ничего не полагаю. Я только тебе говорю, что он очень похож...

Кирсанов. У меня нет такого аспиранта. Это не мой аспирант. Это вообще не аспирант. Это либо жулик, черт его подери, либо идиотский шутник!

Базарин. Ну, извини, я вовсе не хотел тебя обидеть. Я тоже считаю, что это идиотская шутка и что нам всем надо успокоиться. Зоя Сергеевна, я вас умоляю: успокойтесь и не берите в голову. Хотите, я чайник поставлю? Газ, я надеюсь, еще не отключили?..

В прихожей хлопает дверь, и в комнате появляется Александр Рувимович Пинский. Это длинный, невообразимо тощий человек, долговолосый, взлохмаченный, с огромным горбатым носом и с неуклюжей бороденкой. Он старый друг семьи Кирсановых, живет двумя этажами выше по той же лестнице, поэтому он в пижаме и тапочках, а поверх пижамы — в некогда роскошном восточном халате. В руке у него листок бумаги.

Пинский (возбужденно). Слава богу, вы не спите... Как вам это понравится? (Он швыряет бумажку на стол.) По-моему, это уже переходит все пределы.

К бумажке тянутся все трое, но быстрее всех оказывается Зоя Сергеевна.

Зоя Сергеевна (читает высоким, ненатуральным голосом). «Жиды города Питера!..» Что это такое?

Пинский. Читай, читай, дальше там еще интереснее.

Кирсанов (отбирает у жены листок). Позволь. Дай мне. (Читает.) «Жиды...» Так. «Все жиды города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, двенадцатого января, к восьми часам утра на стадион «Локомотив». Иметь с собой документы, а именно: свидетельство о рождении, паспорт, расчетные и абонентные книжки по оплате коммунальных услуг. Все ценности, как-то: меха, наличные деньги, сберегательные книжки, валюту, драгоценности и украшения, а также коллекции — оставить дома в надлежащем порядке. Жиды, не подчинившиеся данному

распоряжению, подлежат заслуженному наказанию...» Так. Тут у них что-то зачеркнуто... А, понятно. «Лица, самовольно проникшие в оставленные квартиры, будут наказаны...» Но это как раз вычеркнуто. То есть в оставленные квартиры проникать можно... Ну и, конечно, председатель-комендант-ассенизатор. Подписи опять нет, а печать есть. Та же самая...

Пинский (*кипя*). Ну что — узнаете? Что вы на меня вытаращились? Неужели не узнаете? Олег Кузьмич, вы же у нас в некотором роде историк, вы же у нас специалист по межнациональным отношениям!.. Вижу, что ни хрена вы не узнаете и не помните ни хрена. В сорок первом году, в Киеве немцы такое же вот расклеивали по стенам, почти слово в слово... «Жиды города Киева»... А потом — Бабий Яр! Неужели не помните?.. (*Торжествующе.*) Вот они, наконец, — высунулись ослиные уши, хулиганье фашистское, доморощенное! И ведь главное — совершенно уверены, что какой-нибудь еврей обязательно с перепугу попрется к восьми часам, а они там будут на него глазеть и ржать, как жеребцы, и пальцами на него указывать...

Зоя Сергеевна (*Кирсанову*). В последний раз тебя прошу. Позвони Евдокимову.

Кирсанов. Погоди, лапа. Дай разобраться. (*Пинскому.*) Откуда у тебя эта бумажка?

Пинский. Да только что принес какой-то гад. Наглец хладнокровный, еще расписаться заставил. Откуда я мог знать, что он мне подсовывает? Я думал, это из военкомата. Он ведь, подлец, представился: «Спецкомендатура»...

Кирсанов. Рослый такой парень, в черном плаще?

Пинский. Ну!

Кирсанов. И фонарь во лбу?

Пинский. Да! А ты откуда...

Кирсанов (*сует ему в руки свою повестку*). На, почитай.

Пинский. Зачем?

Кирсанов. Читай, читай, увидишь.

Базарин. Так-так-так. Это уже серьезно.

Кирсанов (*ехидно*). А чего тут серьезного? Ну, ходят мои аспиранты, ну, разносят шуточные повестки...

Базарин. Перестань. Может быть, и в самом деле позвонить Евдокимову?

Кирсанов. Но я же не знаю, что ему говорить! Как это все расскажешь? Свежему человеку... в третьем часу ночи...

Пинский (*прочитав кирсановскую повестку*). Что за чертовщина! Откуда это у тебя?

Кирсанов. Спецкомендатура социальной ассенизации. Здоровенный громила с кейсом и с шахтерским фонарем между глаз.

Пинский. Какой же ты, к едрене фене, богач?

Кирсанов. Да уж какой есть, извини, если не угодил.

Базарин. Вот что. Надо немедленно позвонить в милицию и сообщить, что имеют место хулиганские действия со стороны неизвестного лица.

Кирсанов (*раздраженно*). Подожди. Давай сначала разберемся. Если это хулиганские действия какого-то идиотского лица, тогда звонить совершенно незачем. Ну, дурак, ну, ходит по квартирам и разносит дурацкие повестки. Ну, пугает дюжину дураков вроде нас... Если дело обстоит таким образом, тогда звоните в милицию — сами звоните. Мне уже повестку принесли, меня уже один раз одурачили, и теперь можно спокойно ложиться спать. Вторую не принесут!

Базарин (*задумчиво*). Логично.

Кирсанов. А раз логично, тогда давайте ложиться спать. Хватит. Все.

Пинский (*алчно*). Догнать бы сейчас этого жлоба и накидать бы ему пачек, чтобы кровавыми соплями умылся, падло позорное...

Кирсанов. Сиди уж, старое дреколье. Да смотри, случайно не пукни, а то развалишься. Догнал он... пачек он накидал...

Пинский. Ничего, не беспокойся, мне бы его только поймать, а там бы я с ним разобрался, не впервой... Меня ведь главным образом что поражает. Меня наглость эта первобытная поражает. Вот они уже по квартирам пошли. Вы понимаете, что это означает? Это означает, что они адрес мой — знают. Спрашивается: откуда? Кто им дал? Зачем? Чувствуете?..

Кирсанов. Между прочим, мой адрес они тоже знают...

Пинский (*отмахивается*). Да перестань ты! Ты-то здесь при чем? Подумаешь, богачом его обозвали! В первый раз в жизни... Меня жидом всю мою жизнь обзывают! Устно, а теперь вот и письменно начали...

Кирсанов. Знаешь, когда в нашей стране обзывают богачом, ничего хорошего в этом нет, уверяю тебя. Еще неизвестно, что хуже.

Пинский. Ах, тебе неизвестно, что хуже? Может быть, ты предпочел бы оказаться жидом?

Кирсанов. Я бы предпочел, чтобы на меня не наклеивали ярлыков. Никаких.

Пинский. А жид — это вовсе не ярлык. Жид — это имманентное состояние. Перестать быть богачом можно, а жидом — нет.

Базарин. Да не о том вы говорите, не о том! Оба хуже, вот в чем беда! Так уж у нас сложилось, что миллионы людей это думают. Что еврей, что богач — плохо. Плохо, и все! И мы не имеем права ни в чем винить этих людей. У них есть основания так думать. Их так воспитали...

Кирсанов. Но позволь, в самом деле! Какой же я, к черту, богач?

Базарин. Да. Ты богач. С точки зрения тети Моти, которая получает семьдесят рублей пенсии, да еще трешку в месяц ей посылает дочка из Сызрани... с точки зрения этой тети Моти, ты — богач! У тебя пять тысяч на книжке, у тебя автомобиль, у тебя дача, у тебя трехкомнатная квартира, у тебя жена может не работать...

Кирсанов. Так у тебя, наверное, не пять тысяч, у тебя, может быть, двадцать тысяч на книжке... Я же знаю, ты на вторую квартиру копишь...

Базарин. И я богач! И Александр Рувимович богач. Хотя у него «Жигулей» и нет пока...

Кирсанов. У меня «Жигули» второй год под брезентом стоят, резину не могу купить ни за какие деньги!..

Базарин. «Жигулей» у него пока нет, но он зато дочку отправил в Америку, и она ему оттуда подбрасывает... и не трешку в месяц, уж будьте уверены!

Пинский (*рвкает*). Я дочку в Америку не отправлял! Это ваш Госконцерт говенный ее туда выжил!

Базарин. Этого тетя Мотя ничего не знает. И знать не хочет. Она одно знает: всю жизнь вкальвала, как проклятая, а сейчас старуха, по помойкам бродит, бутылки собирает.

Пинский. И виноват в этом, конечно, еврей Пинский.

Кирсанов. И богач Кирсанов.

Базарин. Да! Еврей Пинский и богач Кирсанов! Потому что никаких других объяснений у тети Моти нет!

Пинский. Как это — нет! А куда же смотрит работник политпросвещения товарищ Базарин Олег Кузьмич?

Базарин (*не слушая*). Потому что сначала ей очень хорошо объяснили, что во всем виноваты вредители. Потом ей объяснили, что во всем виноват Гитлер. Да только она не дура. Сорок лет уже нет ни Гитлера, ни вредителей, а жизнь-то все хуже и хуже... И всю свою жизнь она видит где-нибудь то барина в трехкомнатной квартире с телефоном, то сытого еврея из торговли...

Пинский. А еврея, который в говенном котле всю смену лежит и заклепки хреном выколачивает,— такого еврея она не видела? Так пусть посмотрит! (*Тычет себя большим пальцем в грудь.*)

Базарин. Представьте себе — такого еврея она не видела. Потому что, простите меня, Александр Рувимович, такой еврей и в самом деле большая редкость...

Кирсанов. Ну ладно, хватит вам, что вы опять сцепились... Не об этом же речь идет. Ей-богу, Олег Кузьмич, ну что ты, в самом деле... Ты что же хочешь мне сказать — сидит где-то какая-то тетя Мотя и сочиняет эти повестки?

Пинский. Не-ет, это не тетя Мотя сочиняет. Это сочиняет сытый, гладкий, вчерашний молодежный вожак, и «Жигули» у него есть, и квартира с телефоном, да только вот бездарный он, к сожалению, серый, как валенок, а потому — убежденный юдофоб... У нас же юдофобия спокон веков — бытовая болезнь, вроде парши, ее в любой коммунальной кухне подхватить можно! У нас же этой пакостью каждый второй заражен, а теперь, когда гласность разразилась, вот они и заорали на весь мир о своей парше... Вы, Олег Кузьмич, всегда их, бедненьких, защищаете! Я вас понимаю, сами-то вы выше этого, сами вы все норовите с высот пролетарского интернационализма проблему обозревать, поэтому у вас всегда и получается, что все кругом бедненькие... даже богатенькие... Мне иногда кажется, Олег Кузьмич, что вы мне просто простить не можете.... Это ж надо же, ведь такой был образцово-показательный еврей-котельщик, рыло чумазое, каждое второе слово — мат, подлинное воплощение пролетарского интернационализма,— так нет же, в институты полез, изобретателем заделался, начлабом, дочку в консерваторию пристроил.

Базарин. Перестаньте, Александр Рувимович! Вы прекрасно знаете, что ничего подобного я не думаю, что ничего подобного я не говорил. Я только одно хотел сказать: что в каждой шутке есть доля истины. Даже в самой дурацкой. Мы вот с вами возмущаемся по поводу этих

бумажек, а нам бы не возмущаться надо, а задуматься, потому что солома показывает, куда дует ветер...

Пинский хочет ему что-то ответить, но тут Зоя Сергеевна резко поднимается и берет ближайший канделябр.

Кирсанов (*всполошившись*). Лапа, ты куда? (*Пинскому и Базарину.*) Да заткнитесь вы, наконец! Хватит! Что вы опять сцепились, как цепные собаки! (*Зое Сергеевне.*) Лапа, не уходи, они больше не будут.

Зоя Сергеевна. Три часа уже. Я пойду вещи соберу.

Кирсанов. Какие вещи?

Зоя Сергеевна. Я еще сама толком не знаю, надо посмотреть... Что они там глупости пишут — смена белья. Зима на дворе. Носки надо обязательно взять, рейтузы теплые...

Базарин. Позвольте, Зочка Сергеевна...

Зоя Сергеевна. Тошно мне вас слушать, честное слово. Вы все делаете вид, будто это шутка, будто развлекается кто-то. Будто вы не чувствуете, что это всем нам конец, начало конца...

Кирсанов (*беспомощно*). Ты что же — серьезно считаешь, что я должен туда идти?

Зоя Сергеевна. Я ничего не считаю. Я знаю только, что идти придется и что ты пойдешь, и я бога молю, чтобы меня пустили с тобой, потому что без меня ты там погибнешь на третий день...

Кирсанов. Лапушка, опомнись! Ну что ты такое говоришь? Ведь это же все ерунда! Ну хочешь, я в милицию позвоню? Подожди, я сейчас же позвоню! (*Он подкакивает к телефону, торопливо набирает 02.*) Алло... Товарищ лейтенант, с вами говорят из дома шестнадцать по Беломорской улице. У нас тут по лестницам ходит какой-то деятель и вручает гражданам хулиганские повестки... (*Замолкает, слушает.*) Так почему же вы ничего не предпринимаете? (*Слушает.*) То есть как это так? А кто же, по-вашему, должен этим хулиганством заниматься? Что? (*Слушает.*) Да, получил... (*Слушает.*) В каком смысле, простите? (*Слушает.*) Позвольте, вы что же хотите мне сказать... (*Слушает, потом медленным движением опускает трубку и поворачивается к остальным.*)

Базарин. Ну?

Кирсанов. Он говорит: получили предписание — выполняйте...

Базарин. Та-ак. Этого и следовало ожидать.

Кирсанов. Он говорит: это не только у вас в доме, это везде. Милиции это, говорит, не касается.

Зоя Сергеевна, не сказав ни слова, уходит в спальню налево.

Базарин. Проклятье. Я тебе тысячу раз говорил, Станислав: не распускай язык! Тебе не двадцать лет. И даже не сорок. В твоём возрасте нельзя быть таким идиотом и горлопаном!

Пинский. Золотые слова! И главное, такие знакомые... Всю жизнь я их слышу. Иногда с добавлением «жидовская морда».

Кирсанов. Какой я вам горлопан? Что вы городите?

Базарин. На митинге Народного фронта ты речи произносил или папа римский? Кто тебя туда тянул? Что они — не обошлись бы без тебя?..

Кирсанов. Так это когда было... А потом, при чем здесь Народный фронт? Ведь я же богач! Богач я! У меня же драгоценности! У меня меха!

Пинский. Э! Э! Не примазывайся! Меха — это у меня.

Базарин. Вот теперь и я считаю — хватит. Звони Сенатору.

Кирсанов молчит, выкапывает из пепельницы окурки, затягивается.

Кирсанов. Не хочу. Звони сам.

Базарин. Ну, знаешь ли! Как угодно. Только я с ним за одной партой не сидел...

И тут за окном в доме напротив разом гаснут все оставшиеся еще освещенными окна. И сейчас же гаснут фонари на улице. Остается только светлое низкое небо над крышами. В комнате делается заметно темнее.

Пинский (*подбежав к окну*). Ого! И в доме десять тоже погасло... Так... И в доме восемь... А вы знаете, панове, во всем квартале света нет! Знаешь что, Слава, кончай-ка ты выгибать грудь колесом и звони-ка ты своему Евдокимову... если, конечно, он захочет теперь с тобой разговаривать, в чем я вовсе не уверен.

Кирсанов. Нет. Я никогда никого ни о чем не просил и просить не намерен. Пусть будет, что будет.

Пинский. А кто говорит, чтобы просить? Спросить надо, а не просить...

Кирсанов. А что, собственно, спрашивать? Тебе вполне определенно сказано: предписание получили? Выполняйте! Старший лейтенант милиции Ксенофонов...

Из передней доносится стук дверей, топот, приглушенное ржание. Шипящий голос произносит: «Ш-ш-ш! Тихо ты, сундук африканский!..» Щелкает выключатель. «И здесь света нет...» Другой голос отзывается нарочитым баском: «Взлэзаеть... но так — нэвысоко!..» И снова раздается сдавленное ржание. Из прихожей появляется Сергей Кирсанов, младший сын профессора, ладный, сухощавый, среднего роста молодой человек в мокрой кожаной куртке, в «варенках», на голове огромная меховая шапка. И сразу видно, что он основательно навеселе.

Сергей. О, веселые беседы при свечах! Старшему поколению!.. *(Срывает с головы шапку и отвешивает низкий поклон. Говорит через плечо в прихожую.)* Заходи смело, они, оказывается, не спят. Причем их тут навалом.

Появляется Артур — тоже ладный, тоже сухощавый, но на голову выше ростом. Одет он примерно так же, но на первый взгляд производит впечатление странное: он негр, и лица его в сумеречном свете почти не видно.

Артур *(отряхивая о колено свою огромную шапку)*. Здравствуйте. Извиняюсь за вторжение. Мы почему-то думали, что вы уже спите.

Сергей *(в прежней шутовской манере)*. Олег Кузьмич! *(Кланяется.)* Дядя Шура Пинский. *(Кланяется.)* Батюшка. *(Кланяется.)* А это, позвольте вам представить, Артур Петров, Артур Петрович! Мой друг! Вернее, мой боевой соратник. А еще вернее — мой славный подельщик...

Кирсанов *(очень неприветливо)*. Так. Иди-ка ты к себе.

Сергей. Незамедлительно! Мы ведь только представиться. Акт вежливости. А где мамуля?

Кирсанов. Она занята.

Сергей *(Артуру)*. А глаза добрые-добрые!

Оба ржут — довольно неприлично. Из спальни слева появляется Зоя Сергеевна.

Сергей. О! Мамуля! А мы тут тебя ждем. Закусочки бы, а? Немудрящей какой-нибудь. А то ведь мы усталые, с работы, мороз, транспорт отсутствует, в такси не содят...

Зоя Сергеевна. Хоршо, хорошо, пойдете.

Слегка подталкивая, она вытесняет обоих приятелей в прихожую и выходит за ними.

Кирсанов (Пинскому, неприязненно). Вот оно, твое потакание!

Пинский. А в чем, собственно, дело? Парнишке двадцать лет. Попытайся вспомнить, каким ты сам был в двадцать лет...

Кирсанов. В двадцать лет у меня не было денег на выпивки.

Пинский. А у него есть! Потому что он работает. Ты в двадцать лет был маменькин сынок, а он работяга. И работа у него, между прочим, достаточно поганая. Ты бы в такой цех не пошел, носом бы закрутил...

Кирсанов. Цех! Ты еще мне скажи — промышленный гигант. Кооперативная, понимаешь, забегаловка на три станка...

Пинский. Ну, конечно! Ну, разумеется! Ведь наши дети могут подвизаться только на великих стройках! Все-таки ты, Станислав, иногда бываешь поразительно туп. Воистину, профессор — это всегда профессор.

Базарин. Мне другое не нравится. Что это за манера такая — водить в дом иностранцев! Нашел время...

Пинский. Э, у них — свое время. А на наше время они поплевают. И правильно делают...

Кирсанов. Боже мой, какое счастье, что электричества нет! Ведь он едва только приходит, как сейчас же включает свой громоподобный агрегат... эту свою лесопилку!.. Особенно когда поддатый...

И тут же, словно по заказу, взрывается оглушительная музыка. Словно заработала вдруг гигантская циркулярная пила. Впрочем, некая милосердная рука тотчас сводит этот рев почти на нет. Все трое смеются, даже Кирсанов.

Пинский. У него же портативный есть, на батарейках!

Кирсанов (Базарину). Да, Кузьмич, оставляем мы тебе команду не в добром порядке.

Базарин. Ты что, собственно, имеешь в виду?

Кирсанов. А то я имею в виду, что меня вот заби-

рают. Шурку забирают, и остается мой оболтус, хочешь ты этого или не хочешь, на тебе.

Базарин. Перестань! Никуда вас особенно не забирают... и потом, позволь напомнить тебе, у Сергея Александр же еще остается. Как-никак старший брат...

Кирсанов. Александр... Александра тоже придется тебе тянуть. Если уж на то пошло, то скорее уж Сережка не пропадет — он в этом мире как рыба в воде. А вот Александра тебе придется тащить. И двух его детей. И двух его бывших жен. И третью жену, между прочим. У меня, честно говоря, такое впечатление, что там уже третья намечается...

Пинский. Да, Олег Кузьмич, вы еще сто раз пожалуете, что сами повестки не получили. Представляете? «Словоблуды города Питера!» И — никаких вам хлопот с чужими детьми.

Вбегают Сергей.

Сергей. Пардон, пардон и еще раз пардон! Пап, мамуля сказала, что у тебя свечки лишние найдутся. Дай парочку, не пожалей для любимого сына!

Кирсанов (*роясь в бюро*). Обязательно надо перед приходом домой надраться...

Сергей. Да кто надрался-то? Пивка выпили, и все.

Кирсанов. Тысячу раз просил не являться домой в пьяном виде!.. Кто этот негр, откуда взялся? Зачем таскаешь в дом иностранцев?

Сергей. Да какой же он иностранец? Петров Артур Петрович, наш простой советский человек. Мы с ним под Мурманском служили. Я ведь тебе рассказывал. Он же меня в эту фирму пристроил.

Базарин. А почему он тогда такой черный?

Сергей. А потому, что у него папан — замбийский бизнесмен. Он тут у нас учился. В Лумумбе. А потом, натурально, уехал — удалился под сень струй.

Базарин. Ах вот оно как. То есть он, получается, замбиец...

Сергей. Ну, положим, не замбиец, а га...

Базарин. Что? В каком смысле — га? Не понимаю.

Сергей. Объясняю. Папан у него из племени га. Есть такое племя у них в Замбии. Га. Но на самом деле Артур, конечно, никакой не га, а самый обыкновенный русский.

Базарин (*глубокомысленно*). Ну да, разумеется, поскольку мать у него русская, то вполне можно считать...

Сергей. Мать у него не русская. Мать у него вепска.

Пинский (*страшно заинтересовавшись*). Кто, кто у него мать?

Сергей. Вепска. Ну, карелка! Ну, я не знаю, как вам ее еще объяснить. Народ у нас есть такой — вепсы...

Кирсанов. Ладно. Бери свечи и удались с глаз долой.

Сергей. Слушаюсь, ваше превосходительство! Премного благодарны, ваше превосходительство! (*Уходит.*)

Базарин. Ну и поколение мы вырастили, господа ты боже мой!

Пинский. Да уж. С чистотой расы дело у них обстоит из рук вон плохо. По-моему, все они русофобы.

Базарин. Ах, перестаньте вы, Александр Рувимович! Вы же прекрасно понимаете, что я имею в виду. Нельзя жить без идеалов. Нельзя жить без авторитетов. Нельзя жить только для себя. А они живут так, будто кроме них никого на свете нет.

Кирсанов. Жестокие они — вот что меня пугает больше всего. Живодеры какие-то безжалостные... Во всяком случае, так мне иногда кажется... Без морали. Ногой — в голову. Лежачего. Не понимаю...

Пинский. Не понимаешь... Мало ли чего ты не понимаешь. А понимаешь ты, например, почему они при всей своей жестокости так любят детей?

Кирсанов. Не замечал.

Пинский. И напрасно. Они их любят удивительно нежно и... не знаю, как сказать... бескорыстно! Любят трогать их, тискать, возиться с ними любят. Радуются, что у них есть дети... Это совершенно естественно, но согласитесь, что у нашего поколения все это было не так... А то, что ты их не понимаешь... так ведь и они тебя не понимают.

Кирсанов. Не собираюсь я с тобой спорить, я только вот что хочу сказать: я не огорчаюсь, если люди не понимают меня, но мне становится очень неуютно, когда я не понимаю людей. Особенно своих детей.

Пауза.

Пинский (*ни с того ни с сего*). Был бы я помоложе, взял бы сейчас ноги в руки, только бы меня здесь и видели. Вынырнул бы где-нибудь в Салехарде, нанялся бы механиком в гараж, и хрен вам в зубы...

Кирсанов. Ну да — без паспорта, без документов. Всю жизнь скрывайся, как беглый каторжник...

Пинский. Да что ты понимаешь в документах, про-

фессор? Тебе какой документ нужен? Давай пять сотен, завтра принесу.

Пауза.

К и р с а н о в. Ноги в руки тебе надо было в прошлом году брать. Сидел бы сейчас в Сан-Франциско — и кум королю!

П и н с к и й. Нет уж, извини. Я всегда тебе это говорил и сейчас скажу. Они меня отсюда не выдавят, это моя страна. В самом крайнем случае — наша общая, но уж никак не ихняя. У меня здесь все. Мать моя здесь лежит, Маша моя здесь лежит, отца моего здесь расстреляли, а не в Сан-Франциско... Я, дорогой мой, это кино намерен досмотреть до конца! Другое дело — голову под топор подставлять, конечно, нет охоты. Вот я и говорю: молодость бы мне. Годиков ну хотя бы пятнадцать скинуть... дюжину хотя бы...

Звонит телефон. Все вздрагивают и смотрят на аппарат. Затем Кирсанов торопливо хватается трубку.

К и р с а н о в. Да!.. Это я... Ну? *(Слушает.)* А что случилось? *(Слушает.)* Ты мне скажи, дети в порядке?.. Ну спускайся, конечно... *(Вешает трубку.)* Это Санька. У него какой-то нетелефонный разговор. Посреди ночи. *(Замечает, что в дверях стоит Зоя Сергеевна.)* Это Санька звонил, лапонька. С детьми все в порядке, но есть какой-то нетелефонный разговор. Сейчас он спустится.

З о я С е р г е е в н а. Повестку получил.

К и р с а н о в *(ошеломленно)*. Откуда ты взяла?

Зоя Сергеевна, не отвечая, подходит к столу и протягивает что-то Кирсанову.

З о я С е р г е е в н а. На, прими нитронг.

К и р с а н о в. Чего это ради? Я нормально себя чувствую. *(Кладет таблетку на язык, запивает из чашки.)* Я совершенно спокоен. И тебе советую.

Входит Александр Кирсанов, старший сын. Такой же, как отец, рослый, рыхловатый, русокудрый, но без бороды и без какого-либо апломба. Живет он на последнем этаже по этой же лестнице. Видимо, только что разбужен — лицо помятое, волосы всклокочены, он в пижаме, в руке его листок бумаги.

А л е к с а н д р. Папа, я ничего не понимаю! Посмотри, что мне принесли. *(Протягивает отцу листок. Обращается к Базарину и Пинскому.)* Здравствуйте.

Зоя Сергеевна со словами «дай сюда» перехватывает листок и склоняется у свечи. Все молчат. Зоя Сергеевна читает, потом молча возвращает листок мужу, а сама садится у стола и роняет лицо в ладони.

Кирсанов (плачущим голосом). Ну что же это за мерзость, в самом деле! «Распутники города Питера...» Ну как вам это нравится?

Базарин. Распутники?!

Кирсанов. «Распутники города Питера! Явиться к восьми утра на стадион «Красная Заря»...»

Александр (ноет). Я не понимаю, как я это должен понимать... Я сначала подумал, что это розыгрыш какой-то... Но ведь приходил настоящий посыльный в какой-то черной форме... расписаться потребовал...

Зоя Сергеевна (не отнимая рук от лица). Дети проснулись?

Александр. Да нет, они спят. И потом, там у меня... В общем, там есть человек... Папа, ты что, считаешь, что это серьезно?

Пинский. Понимаешь, Саня, мы с папой тоже такие повестки получили. Во всяком случае, похожие.

Александр. Да? Ну, и что теперь надо делать? Идти туда надо, что ли? За что? Папа, ты бы позвонил кому-нибудь.

Кирсанов. Кому?

Александр. Ну, я не знаю, у тебя же полно знакомых высокопоставленных... Объясни им, что у меня двое детей, не могу же я их бросить, в самом деле... Как же это можно? Что у нас сейчас — тридцать седьмой год? Тогда — враги народа, а тут вот распутником объявили ни с того ни с сего... Какой я им распутник? У меня двое детей маленьких! Пап, ну позвони хотя бы ректору! Он же все-таки член бюро горкома.

Пинский. Саня, сядь. Вот выпей чаю. Он остыл, но это ничего, хороший чай, крепкий... Не унижайся. Не унижайся, пожалуйста. И отца не заставляй унижаться. Они ведь только этого и хотят — чтобы мы перед ними на колени встали. Им ведь мало, чтобы мы им просто подчинялись, им еще надо, чтобы мы у них сапоги лизали...

Александр. Так ведь надо же что-то делать, дядя Шура... Может быть, это ошибка какая-нибудь вышла... Может, можно как-то договориться. В крайнем случае отсрочку какую-нибудь получить... Ну позвони, пап!

Зоя Сергеевна. У тебя там Галина сейчас?

Александр (*расстроено*). Да.

Зоя Сергеевна. Она завтра сможет побыть с детьми?

Александр. Откуда я знаю? Сможет, наверное...

Зоя Сергеевна (*поднимается*). Пойдем со мной, я тебе дубленку отдам.

Александр. Зачем? Какую еще дубленку?

Зоя Сергеевна. Твою. На которой я пуговицы перешила. (*Направляется к двери в спальню.*)

Пинский. Не надо ему дубленку. Отберут у него эту дубленку в первый же день.

Александр (*безвольно следуя за матерью*). Да кому она нужна, старая, облезлая... Папа, ты пока позвони... Ну надо же что-то делать... (*Уходит.*)

Кирсанов. Мерзость... Мерзость!!! Ну хорошо, не угодили вам, не потрафили — посадите в тюрьму, к стенке поставьте, но ведь этого вам всегда мало! Надо сначала в лицо наплевать, вымазать калом, в грязи вывалить! Перед всем честным народом — обгадить, опозорить, в парию обратить! «Богач!» «Распутник!» Это Санька-то мой — распутник! Да он же ни с какой бабой в постель лечь не может без штампа в паспорте, для него же половой акт — это таинство, освященное законом, а иначе — порок, срам, грех! Нет, он, видите ли, распутник... Ну какая же все-таки подлая страна! Ведь силища же огромная, ни с чем не сравнимая, из любого человека может сделать мокрое пятно, из целого народа может сделать мокрое пятно!.. Но почему же обязательно не просто, не прямо, а с каким-нибудь подлым вывертом?..

Базарин. Станислав, прекрати.

Кирсанов. Нет уж, я скажу. Я и тебе скажу, и завтра им все это скажу! Ведь я чего-нибудь вроде этого ждал. Мы все этого ждали. «Товарищ, знай, пройдет она, эпоха безудержной гласности, и Комитет госбезопасности припомнит наши имена!..» Прекрасно знали! Что не может у нас быть все путем, обязательно опять начнут врать, играть мускулами, ставить по стойке «смирно»! Но вот такого! Презрения этого... унижения!.. Я давно пытаюсь представить себе, как должен выглядеть человек, отдельный человек, личность, обладающая теми же свойствами, что наша страна... Вы только подумайте, какой это должен быть омерзительный тип — чванный, лживый, подлый, порочный... без единого проблеска благородства, без капли милосердия...

Базарин. Перестань сейчас же, я тебе говорю! Как

тебе не стыдно? Это уже действительно чистая русофобия!

Пинский. Ах-ах! Ну конечно же — русофобия. Обязательно! Везде же русофобы! Я только теперь понимаю, почему меня в пятидесятом на физфак не приняли! Русофобы! Пронюхали, подлецы, что у меня бабушка русская... Стыдитесь, Олег Кузьмич! При чем здесь русофобия? Он же слова дурного про русских не сказал! Зачем же передергивать! И так тошно.

Базарин. Нет уж, голубчики! Это уж вы не извольте передергивать, Александр Рувимович и Станислав Александрович! Я и без вас все прекрасно понимаю! Точно так же, как и вы, я полагаю, что происходящее недостойно, но я-то считаю, что оно недостойно страны. Не страна у нас недостойная, как вы изволите утверждать, а то, что с нами происходит сейчас, — недостойно нашей страны. Это разные вещи, и путать их не надо. Проще простого — свалить в одну кучу и страну, и всех дураков с негодьями, которые в ней водятся... Я понимаю, мы с вами не в равном положении сейчас. Вы — под ударом, а я как бы выхожу чистенький... Но уверяю вас, если бы эта молния ударила и в меня тоже, я бы закричал, конечно, потому что больно, потому что обидно, понимаю, но я бы заставил себя задуматься: почему? Почему выбрали именно меня? Может быть, все-таки не зря выбрали? Может быть, я жил как-то неправильно?.. Ведь все наши дураки и негодяи, они же к нам не с неба свалились, они же из нас, из гущи нашей, они глупые, однако нутром своим они всегда выражают именно гущу, ту самую, от которой мы все оторвались, отгородились своими окладами, своей чистенькой работкой, и когда нам говорят: ну, ты, гад, выйди из строя, на колени! — может быть, не об унижении своем барском думать надо, а о том надо думать, что это наш последний шанс уразуметь, почему мы чужие, и покаяться... Не перед дураками покаяться, которые нас из строя выдернули, а перед строем...

Кирсанов. Да каяться-то в чем? В чем каяться? И перед каким таким строем? Перед общественным, что ли?

Базарин. Я не знаю, в чем ты должен каяться. Это тебе виднее. Я тебе уже говорил, что с определенной точки зрения и ты, и я, и он, мы все — зажавшиеся баре, которые берут много, а отдают мало. Мы привыкли к этому, и нам кажется, что так и должно быть. Мы сами построили себе свой модус вивенди, мы сами построили себе удобную

в употреблении мораль... Ты вот защищаешь Саньку, что он у тебя бабник не простой, а законопослушный, но ты пойми, что, с точки зрения тети Моти, он и есть самый настоящий распутник! В тридцать лет — две жены, каждой по ребенку заделал, а теперь пожалуйста — у него еще и какая-то Галина... Ну что это — не распутство?

Пинский. Ну, хорошо. Положим, Саньку можно кастрировать в крайнем случае. А со мной что вы прикажете делать? Тетя Мотя ведь не еврей, а я еврей, дрянь этакая...

Базарин. Перестаньте, Александр Рувимович! При чем здесь опять евреи? Вы меня знаете, я не антисемит, но эта ваша манера сводить любую проблему к еврейскому вопросу...

Пинский. Ну да, конечно! А как насчет вашей манеры — все сводить к мнению тети Моти?..

Базарин (*проникновенно*). Когда я говорю о тете Моте, я имею в виду мнение большинства. Того самого большинства, к которому все мы склонны относиться с таким омерзительным высокомерием... Я подчеркиваю: я тоже грешен! Но я хотя бы пытаюсь хотя бы иногда встать на эту точку зрения и посмотреть на себя с горы...

Пинский (*с нарочитым еврейским акцентом*). Таки себе хорошенький пейзажик, наверное, открывается с этой вашей горы!

Базарин. Вы, Александр Рувимович, совершенно напрасно все время стараетесь меня вышутить. Остроты отпускать — самое простое дело и самое пустое! Вы понять попытайтесь. Понять. Не до шуток сейчас, поверьте вы мне...

Пинский. А это уж позвольте мне самому решать. По мне так с петлей на шее лучше уж острить, чем каяться. А если уж и каяться, то никак уж не перед вами и не перед загадочной вашей тетей Мотей!

Базарин (*бормочет*). Гордыня, гордыня... Все мимо ушей...

Кирсанов (*вдруг*). Да, гордыня. Это верно. Хватит (*Подходит к телефону, набирает номер.*) Сенатор? Ох, слава богу, что ты не спишь... Это Слава говорит. Слушай, мы здесь попали в какую-то дурацкую переделку. Представь себе: моему Саньке вдруг приносят повестку... (*Замолкает, слушает.*) Нет... Нет-нет... «Распутники города Питера»... (*Слушает.*) Понятно... Понятно... И что ты намерен делать? (*Слушает.*) Нет, Зоя не получала, а я получил... (*Слушает.*) Понятно... Ну, значит, все будет,

как будет. Прощай. *(Вешает трубку.)* Он уже упаковался. Он у нас отныне «политикан города Питера»!

Освещенное небо за окном гаснет. Город погружается в непроглядную тьму.

Конец первого действия

Действие второе

Два часа спустя. Та же гостиная, озаренная свечами. Кирсанов за столом, придвинув к себе все канделябры, что-то пишет. Зоя Сергеевна пристроилась тут же с какой-то штопкой. Больше в комнате никого нет. Тихо. На самом пределе слышимости звучит фонограмма песен современных популярных певцов.

Зоя Сергеевна. Что ты пишешь?

Кирсанов *(раздраженно)*. Да опишь эту чертову составляю...

Зоя Сергеевна. Господи. Зачем?

Кирсанов *(раздраженно)*. Откуда я знаю? *(Перестает писать.)* Надо же чем-то заняться... *(Пауза.)* А эти молодцы все развлекаются?

Зоя Сергеевна. Надо же чем-то заняться...

Кирсанов. Надрались?

Зоя Сергеевна. Нет. Во всяком случае, в меру. Слушают музыку и играют в какую-то игру. На специальной доске.

Кирсанов. В нарды, что ли?

Зоя Сергеевна. Нет. Какое-то коротенькое название. То ли японское, то ли китайское...

Кирсанов. В го?

Зоя Сергеевна. Да. Правильно. В го.

Пауза.

В отдалении Гребенщиков стонущо выводит:

«Этот поезд в огне — нам не на что больше жать.

Этот поезд в огне — нам некуда больше бежать.

Эта земля была нашей, пока мы не погрязли в борьбе...»

Кирсанов. Вождь из племени га сидит и играет в го.

Зоя Сергеевна. Сережка деньги отдал. Двести рублей.

Кирсанов. Что еще за двести рублей?

Зоя Сергеевна. Говорит, ты ему давал в долг. В прошлом году.

Кирсанов. Гм... Не помню. Но похвально. *(Пауза.)* Ты ему все рассказала, конечно...

Зоя Сергеевна. Конечно.

Кирсанов. Ну, и как он отреагировал?

Зоя Сергеевна. Сначала заинтересовался, стал спрашивать, а потом ехидно спросил: «Веревку велено свою приносить или казенную там на месте дадут?»

Кирсанов. Замечательное все-таки поколение. Отца забирают черт-те знает куда, а он рассказывает по этому случаю анекдот и садится играть в го...

Зоя Сергеевна. Он считает, что нам с тобой вообще никуда не следует ходить...

Кирсанов *(раздраженно)*. Ну да, конечно! Он хочет, чтобы они пришли сюда, чтобы вломились, заковали в наручники, по морде надавали... *(Некоторое время угрюмо молчит, а потом вдруг с невеселым смешком произносит нарочито дребезжащим старческим голосом.)* Что, ведьма, понарожала зверья? Санька твой иезуит, а Сережка фармазон, и пропьют они добро мое, промотают!.. Эх, вы-и!

Зоя Сергеевна *(утешающе)*. Я думаю, ничего особенно страшного не будет. Отправят куда-нибудь на поселение, будем работать в школе или в детском доме... Обыкновенная ссылка. Я помню, как мы жили в Карабу-таке в тридцать девятом году. Была мазанка, печку кизяком топили... Но холодина была зимой ужасная... А вместо сортира — ведро в сенях. Тетя Юля, покойница, она язы-кастая была... вернется, бывало, из сеней и прочтет с выражением: «Я люблю ходить в ведро, заносить над ним бедро, писать, какать, а потом возвращаться в теплый дом»... Две женщины немолодые, девчонки — и ничего, жили...

Кирсанов *(с нежностью)*. Бедная ты моя лапа... *(Слышится стук в наружную дверь.)* Погоди, я открою. Это, наверное, Кузьмич, совесть его заела...

Он выходит в прихожую и возвращается с Пинским. Пинского не узнать: он в старом лыжном костюме, туго перетянутом солдатским ремнем, на голове — невообразимый трехх, на ногах — огромные бахилы. В руке у него тощий облезлый рюкзак типа «сидор».

Пинский. Я решил лучше у вас посидеть. Одному как-то тоскливо. Кстати, куда мне ключ девать? Сережке

отдать, что ли? Я надеюсь, ему повестку еще не принесли.

Кирсанов. Еще не принесли, но могут и прислать. «Разгильдяи города Питера!»

Пинский. Да нет, вряд ли. Молод еще. Хотя, с другой стороны, тетя Мотя у нас ведь непредсказуема.

Кирсанов. Правильнее говорить не «тетя Мотя», а «Софья Власьевна».

Пинский. А это одно и то же. Софья Власьевна, а кликуха у ей — тетя Мотя.

Кирсанов. Да-а, юморок у нас с тобой, Шурик... предсмертный.

Пинский. Типун тебе на язык, старый дурень! Не дрейфь, прорвемся. В любом случае это ненадолго. Агония! Предсмертные судороги административно-командной системы. Я даю на эти судороги два-три года максимум...

Кирсанов. Знаешь, в наши годы — это срок.

Пинский. Зоя, что это ты делаешь?

Зоя Сергеевна. Молнию пришиваю.

Пинский. Ну и глупо. Завтра она у него сломается, и что тогда прикажете делать? Пуговицы надо! Самые здоровенные... И никаких молний, никаких кнопочек... Слушай, пойдём посмотрим, что ты там ему упаковала... Пошли, пошли!

Кирсанов. Тоже мне, старый зек нашелся.

Пинский. Давай, давай, поднимайся... Зек я там или не зек, а на зеков нагляделся — я с ними две стройки коммунизма воздвиг, пока ты в кабинетах задницу наедал!..

Все трое уходят в спальню, и некоторое время сцена пуста. Слышен сдавленный голос Виктора Цоя:

*«Мы хотели пить — не было воды,
Мы хотели света — не было звезды,
Мы шли под дождь и пили воду из луж...
Мы хотели песен — не было слов.
Мы хотели спать — не было снов».*

Из прихожей справа появляется Базарин.

Базарин. Можно? У вас там опять замок заклинило...

Проходит на середину комнаты, озирается, останавливается у стола и, зябко потирая руки, читает оставленную на столе опись. Потом пожимает плечами, снова озирается, берет телефонную трубку и быстро набирает номер. Некоторое время слушает, потом нервным движением бросает трубку. Из спальни выходит Кирсанов.

Кирсанов. А, это ты... Куда звонишь?

Базарин. Да так... Занято все время. Ну, можешь меня поздравить. «Дармоед города Питера».

Кирсанов (*не поняв*). То есть? (*И тут до него доходит.*) Ну да?! Тоже получил?

Базарин. Пожалуйста, прошу полюбоваться... (*Вынимает из нагрудного кармана и протягивает Кирсанову сложенную повестку.*)

Кирсанов (*кричит*). Шурка! Зоя! Идите сюда! Кузьмич повестку получил!

Первым выскакивает Пинский, за ним появляется Зоя Сергеевна с теплыми кальсонами в руках.

Пинский. Что такое? Что случилось? Епиходов кий сломал?

Кирсанов. Нашего полку прибыло. (*Читает с выражением.*) «Дармоеды города Питера! Все дармоеды города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, двенадцатого января, к восьми часам утра на площадь перед городским крематорием...» Ого! Ничего себе, выбрали местечко!

Пинский. Какие все-таки подонки!

Кирсанов (*продолжает читать*). «...иметь при себе документы, в том числе: аттестат, диплом и удостоверения об окончании специализированных курсов, а также необходимые письменные принадлежности...» Заметьте, ни о деньгах, ни о драгоценностях — ни слова. «Дармоеды, не подчинившиеся данному распоряжению, будут мобилизованы приводом. Председатель-комендант...» Ну, и так далее. Что ж, все как у людей.

Пинский (*глубокомысленно*). Это они, видимо, придурков набирают.

Кирсанов (*с укоризной*). Шура!

Пинский. Что такое? Ты не понимаешь! Придурок в лагере — фигура почтенная, дай нам бог всем стать придурками... Олег Кузьмич, а кто вам эту штуку доставил? Все тот же самый?

Базарин. Представьте себе, нет. Такой маленький, толстенький, немолодой уже... В очках, очень вежливый. Но ничего, конечно, толком не объяснил, потому что и сам не знает.

Пинский. Ясно. Ну что ж, Олег Кузьмич, надо вам собираться... Позвольте несколько советов. Берите вещи теплые, поношенные, прочные, но самые неказистые. Никакого новья, никакой «фирмы», вообще лучше ника-

кого импорта... Сало есть у вас дома? Возьмите сала.

Базарин. Да откуда у меня сало?

Пинский. А что — вы не любите сало? Вот странно! Глядя на вас, никогда бы не подумал...

Базарин. Я, если хотите знать, вообще свинины не люблю и не ем.

Кирсанов (*мрачно усмехаясь*). «Для чего же ты не ешь свинины? Только турки да жида не едят свинины...»

Зоя Сергеевна (*из спальни*). Слава, иди сюда!

Кирсанов. Иду! (*Уходит.*)

Пинский. Прошу прощения, Олег Кузьмич, я тоже вас покину, а то они там без меня наворотят... Этот оболдуй электробритву хотел с собой взять, еле-еле я успел перехватить... (*Уходит.*)

Базарин сейчас же подходит к телефону и снова набирает номер. Видимо, снова занято.

Базарин. Ч-черт...

Вешает трубку, принимается нервно ходить взад-вперед, лихорадочно моя руки воздухом. Слышно, как в отдалении играет музыка и Юрий Шевчук хрипло кричит: «Предчувствие-е-е... гражданской войны!..» Базарин останавливается около телефона, кладет руку на трубку и снова настроженно озирается. Потом снимает трубку и набирает номер.

Базарин. Алло. Семьсот два дайте, пожалуйста... Николай Степанович? Ах, это Сергей Сергеевич... Пардон, не узнал вас... Да, богатым будете... Вы знаете, Сергей Сергеевич, мне тут не совсем удобно разговаривать, поэтому разрешите, я коротко. Понимаете, я получил довольно странную повестку. Я бы даже сказал, оскорбительную. И дело не в том, что я напуган, как здесь некоторые, мне бояться нечего, но я не желаю принимать этот тон, все эти выражения, это оскорбительно... мне кажется, я этого не заслужил. Во-первых, я не понимаю, кто, собственно, проводит это мероприятие... что это за организация такая — «Социальная Ассенизация»? И что это за должность такая — «председатель-комендант»? Это же несерьезно, это же оперетта какая-то! Такое впечатление, будто это мероприятие имеет только одну цель — оскорбить человека... Что? Представьте себе: в крематорий! Это же просто издевательство какое-то... Что?

Входит Александр, волоча за лямку потрепанный рюкзак. Базарин смотрит на него, но в то же время как бы и не видит — все внимание его приковано к разговору.

Базарин. Это я понимаю... Это я п... Да, все это правильно, но я всегда полагал, что есть граждане, само положение которых... Что?.. Ах, вы так ставите вопрос... Ну, тогда конечно... хотя я со своей стороны... Да, разумеется... Хотя я со своей стороны... Да, разумеется... Хотя я со своей стороны... Что? Слушаюсь. Понял. Хорошо. *(С расстроенным видом кладет трубку.)* Канцелярия чертова, аппаратчики...

Александр *(жадно)*. А что они вам сказали?

Базарин. Что они мне сказали? Хе! Что они мне могли сказать? *(Словно очнувшись.)* Кто это — «они»? Ты про кого спрашиваешь?

Александр. Ну эти... с которыми вы разговаривали. Я понял, это какое-то большое начальство...

Базарин *(неприятно)*. Начальство, мочальство... Ты, собственно, чего сюда приперся? Рано же еще.

Александр. Не знаю. У меня там все спят. А я заснуть никак не могу... Так что они вам сказали?

Базарин *(язвительно)*. Они мне сказали, что мероприятие находится под контролем. Под полным контролем! Так что, голубчик мой, можешь собирать свои вещички и отправляться в крематорий!

Александр *(тупо)*. Мне не в крематорий назначено, мне на стадион «Красная Заря»... А может быть, еще кому-нибудь позвоните, Олег Кузьмич?

Базарин. Все. Больше никому.

Александр *(нещадно хрустя суставами пальцев)*. Я все-таки не могу понять, что же это такое с нами происходит? Куда нас, в конце концов, забирают? Это что — мобилизация какая-то? Или, наоборот, наказание? Или еще чего-то? Что мы там — каналы будем копать? Или это переподготовка какая-нибудь? Или перевоспитание очередное? А может быть, и вообще тюрьма? Только если это тюрьма, то абсолютно непонятно — за что? У нас же сейчас не тридцать седьмой год! Даровая рабсила понадобилась? Опять же не те времена: мы же съедим больше, чем настроим. Сколько раз уже сказано было и доказано было, что рабский труд нерентабелен... И вообще, как это можно — всех под одну гребенку? А если у меня бронхиальная астма? Я хоть завтра достану справку, что у меня бронхиальная астма... Я вообще не понимаю, кому это все понадобилось? Зачем? Это же просто экономически невыгодно! И без того вся экономика по швам трещит, а они тут разыгрывают такие мероприятия... Я, между прочим, системный программист, какой же

смысл меня на лопату ставить, на киркомотыгу какую-нибудь?

Базарин (*проникновенно*). Я другого не могу понять. Я самого принципа понять не могу! Ну, хорошо: евреи. Это я понимаю. Это еще можно как-то понять...

Александр. А что они? Вы знаете что-нибудь?

Базарин. Подожди, не отвлекайся... Я могу понять экспроприацию. В конце концов финансовое положение действительно требует чрезвычайных мер. Но не таких же! Пусть будет реформа, сколь угодно жесткая... Пусть будет налоговая система, самая беспощадная... И даже не в этом дело! В конце концов есть же люди, которые, так сказать, являются опорой! Так сказать, костяком! Нельзя же опору подрывать! Я понимаю, что настала пора радикального лечения организма. Я, кстати, давно уже это утверждаю... и призываю... Однако это уже получается не лечение, это уже какой-то мрачный анекдот! Усекновение головы — лучшее средство от мигреней...

Александр (*вставляет*). Главное, непонятно, чего они этим хотят добиться...

Базарин (*отмахивается от него*). Чего они хотят добиться — это как раз понятно. Контроль утрачен над обществом, неужели ты не видишь? Страна захлебывается в собственных выделениях... Крутые меры необходимы! Ассенизация необходима! Вот оно — откуда у них это слово! Слишком далеко мы зашли — понимаешь, в чем дело? Теперь легко не отделаемся, и поделом нам всем — по вору и мука!

Александр. Ну да... А я-то здесь при чем? Тоже мне — нашли вора... Сами напахали невесть чего, а я должен за это расплачиваться?

Базарин. Конечно, должен! Тебе, Саня, между прочим, уже тридцать годиков миновало, не маленький! Не только мы пахали, но и вы пахали!

Александр. А дети мои при чем?

Базарин. Это несерьезный разговор. Чего ты от меня хочешь? Таковы законы истории. Когда приходит время расплачиваться, расплачиваются все — и виноватые, и ни в чем не повинные. Это тебе не ресторан, не жди, никто не скажет: «Счет — мне, пожалуйста».

Из спальни слева выходят Пинский, Зоя Сергеевна и Кирсанов.

Пинский (*втолковывает*). ...А самое правильное —

взять сейчас твой «Жигуль» и дернуть куда-нибудь подальше...

Кирсанов. Ну что ты за глупости опять порешь! Ну поймают же, за ухо приволокнут, как поганых щенков...

Пинский (*орет*). Да кто тебя будет ловить? Кому ты нужен? Отсидишься у себя в Псковской — и вся-кот!

Кирсанов (*орет*). Сам ты дурак! Я же тебе объясняю: колес нет, ни одной целой покрывки нет, ни одной!

Пинский. У тебя никогда ничего нет, когда нужно.

Кирсанов. Да! У меня никогда ничего нет! И отстань от меня! Я на старости лет зайца из себя изображать не намерен! Ты второй раз разговор на эту тему заводишь, и я тебе окончательно говорю: не желаю слушать!

Пинский (*с отчаянием*). Господи ты боже мой, ну кто мог подумать, что все это будет так мерзко, так срамно, унижительно, позорно... Беспомощные дряхлые старикашки, ведь это мы итоги с вами подбиваем! Срамная жизнь, срамное подыхание!

Кирсанов (*топает в бешенстве ногами*). Прекрати! Не желаю этого слушать! Не позволю! Откуда ты знаешь? Мы еще посмотрим! Вот соберется нас пятьдесят тысяч на площади, мы еще посмотрим, что из этого получится! Это тебе не прежние времена! Рабов больше нету! Я на этой площади уже один раз выступал, я и второй раз выступить могу! Они еще пожалеют, что согнали нас всех в одно место!..

Голос у него срывается, и он принимается надрывно кашлять. Зоя Сергеевна торопливо подсовывает ему чашку остывшего чая, а он отстраняет эту чашку и все тшцится провозгласить еще что-то, но только отчаянно сипит и больше ничего не может.

Пинский (*перепугавшись*). Да ладно тебе, ну хорошо, хорошо, успокойся только, ради бога... (*Дергает Кирсанова за мочку уха и похлопывает его ладонью между лопаток, издавая губами поцелуйные звуки.*) Черт знает что они с нами делают.

Зоя Сергеевна (*сердито*). А ты бы, между прочим, язык свой мог бы поменьше распускать...

Пинский. Ну, хорошо, ну, виноват, не буду больше... (*Базарину.*) Ну, как вы тут, Олег Кузьмич? Что это вы там про рестораны рассуждали?

Базарин (*с изумлением*). Я? Про рестораны?

Пинский (*поспешно*). Наверное, мне послышалось. Виноват... (*Александрю.*) Что, Саня, собрался уже? Это

хорошо. Молодец. *(Решительно.)* Знаешь что? Пойдешь со мной.

Александр. У меня же «Красная Заря»...

Пинский. А наплевать на «Красную Зарю». Давай мне твою повестку, сейчас я там все переправлю и напишу «исправленному верить»... *(Спыхватывается.)* Нет, это я чепуху говорю. С жидами тебе лучше не связываться. От жидов, голуба моя, держись сегодня подальше. А вот если с отцом тебя наладить — это хорошая идея! Ты как считаешь, Станислав Александрович?

Александр *(тупо повторяет)*. У меня же «Красная Заря», дядя Шура. «Красная Заря»...

Пинский *(нетерпеливо)*. Господи, да неважно это. Кому какое дело? Давай повестку, я тебе сейчас же все переправлю...

Александр *(отступая на шаг)*. Ну нет, не надо... Еще хуже будет. Зачем это мне?.. Вот если бы папа со мной пошел...

Пинский *(некоторое время смотрит на него ошеломленно, затем кривится в усмешке)*. Да, это замечательная идея. Там, в твоей компании, папа будет как раз на месте — самый старый распутник города Питера.

Кирсанов *(севшим голосом)*. Я требую, чтобы здесь перестали нагнетать ужасы! Неужели непонятно, что сейчас не те времена? Настоящий террор невозможен — я утверждаю это с полной ответственностью. Все это — очередная глупость нашего начальства, и ничего больше. Сегодня же вечером все мы будем дома. *(Жадно пьет остывший чай из стакана.)* А если и не будем, то все равно не пропадем...

Голос из прихожей. Хозяева! Есть тут кто?

В дверях появляется Егорыч, местный сантехник, неопределенных лет мужчина, кургузый, в кургузом пиджаке и изжеванных брюках. В руке у него мотается зажатая свечка, на ногах он держится нетвердо.

Егорыч. Я извиняюсь, я звоню, звоню, никто не выходит, а дверь открытая... С-нислав С-саныч, я извиняюсь, конечно, я тебя спросить хочу... Хглупость какая-то. Прихожу домой, супруга моя не спит, говорит: повестку тебе принесли, доигрался. Фамилие мое, адрес мой. Явиться на Вторую сортировочную. Ладно. Все понятно. Одно непонятно: какие-то удивительные слова

попадают... какой-то мздоним... нзаданим... Посмотри, пожалуйста. Может, это вообще не ко мне?

Пинский (*берет у него повестку*). Какой еще там бздоним?.. Гм... Действительно, какое-то странное слово. И еще вдобавок от руки накорябано... А-а-а! (*Хохочет.*) Ну, так все правильно, Егорыч! «Мздоимцы города Питера»!

Егорыч. Какие?

Пинский. Мздоимцы! Которые мзду имут, понимаешь?

Егорыч. Ну?

Пинский. Ну вот и явишься. Куда там тебе? Вторая сортирочная?

Базарин. Перестаньте издеваться над человеком, Александр Рувимович! (*Раздраженно выхватывает повестку из руки Пинского.*) Дайте сюда... (*Читает про себя.*) Черт знает что...

Пинский. Вот именно, Олег Кузьмич! Только не черт знает что, а правильнее сказать: мать иху так. Как видите, и до тети Моти добрались.

Егорыч. Я извиняюсь...

Пинский (*обнимая его за плечи*). Не надо, Егорыч, не извиняйся. Иди ты к себе домой и собирай манатки. Теплое бери и курева дня на три... А драгоценности, которые ты стяжал, оставь на столе. Да опись не забудь приложить... в трех экземплярах.

Егорыч (*бубнит*). Я, Александр Рувимыч, все понимаю. Я ведь насчет слова пришел... Слово какое-то непонятное. И супруга моя не знает...

Егорыч и Пинский удаляются в прихожую.

Базарин (*ни с того ни с сего*). Сантехник — это еще не народ.

Кирсанов (*сморщившись*). Я только умоляю тебя, Олег. Не надо никаких высокопарностей. Народ, не народ... Одна половина народа погонит другую половину народа рыть канал. Так у нас всегда было, так у нас и будет. Вот и все твоё политпросвещение.

Базарин. Ты, кажется, призывал не паниковать.

Кирсанов. А я и не паникую. Я высокопарностей не люблю. Ты еще нам про родниковые ключи истоков расскажи... или про почву исконную, коренную... (*Обрывает себя и обращается к Александру.*) Александр, тебе денег дать?

Александр (*уныло*). Мне уже мама дала.

Кирсанов (*роется в бюро*). Хорошо, хорошо... Не помешает. Вот тебе еще сотня. Сунь ее куда-нибудь... в носок, что ли...

Пинский (*вернувшись*). Подожди, подожди... Ты что ему — одной бумажкой даешь? Совсем сдурел на старости лет! Мелкими давай! Мелкими! Есть у тебя?

Кирсанов. Есть тут что-то... Мало.

Пинский. Ничего, ничего, зато целее будут... (*Александр*.) Возьми. Рассуй по разным карманам.

Александр (*уныло*). Спасибо... Папа, так ты, может быть, действительно со мной пошел бы?

Кирсанов. Нет. Ты пойдешь со мной. И не спорь. И перестань ныть! Дай твою повестку... (*Берет у сына повестку и рвет ее на клочки*.)

Александр (*ужасным голосом*). Что ты наделал?!

Кирсанов. Все! Ты свою повестку потерял! И не ныть! Взрослый мужик, стыдись!

Зоя Сергеевна (*Александр*у). Хорошо, хорошо, правильно. За отцом присмотришь. И вообще вдвоем вам будет легче...

Александр (*ноет*). Ну а если спросят? Что я им скажу тогда? Что?

Пинский. Скажешь, что подтерся по ошибке... (*Взрывается*.) Да кто там тебя спросит, оболдуй с Покровки? Кому ты там нужен? Паспорт отберут, и весь разговор... Слушайте, панове, а может, паспорт не брать с собой? Ну потерял я паспорт, начальник! Еще в прошлом году потерял! По пьяному делу! А?

Базарин (*неприятно*). По-моему, это противозаконно. Обман властей.

Пинский. Ах-ах-ах! Власти обманул гадкий мальчик! Власть к нему всей душой, а он, пакостник, взял ее — и обманул! Дед плачет, бабка плачет...

Кирсанов. Да нет, не в этом же дело, Шура. Противно же это, мелко... Лганье какое-то семикопеечное... У тебя получается, что если власть у нас подоночная, так и мы все должны стать подонками...

Пинский. Ну, нет так нет, я же не настаиваю. Я только хотел бы подчеркнуть, что чистенький, подлиненький паспортишко, где-нибудь в хорошеньком загашнике, — это вещь архиполезная, государи мои!..

Из прихожей, из коридора, ведущего в комнату Сергея, доносятся топот и шарканье, слышится голос Артура: «Ничего, ничего, пошли, не упирайся...» И вот Артур

появляется в гостиной, таща за собой за руку вяло сопротивляющегося Сергея.

А р т у р. Вот, я его вам привел. *(Сергею.)* Говори, закаканец! Ведь тебе же хочется это сказать. Ну! Говори!

С е р г е й *(смущенно и сердито)*. Отстань, африканец, отпусти руку! Не делай из меня попугая.

А р т у р *(отпускает его)*. Я тебя прошу: скажи. Думай, что хочется; делай, что хочется; и говори, что хочется!..

К и р с а н о в. Сергей, что ты еще натворил?

С е р г е й *(моментально окрысившись)*. Да ничего я не натворил! Сразу — натворил! *(Артуру.)* Говорил же я тебе, сундук кучерявый!..

А р т у р. Станислав Александрович, я вас очень прошу: ну помолчите вы несколько минут! Почему вы никогда не чувствуете, когда надо помолчать? Вам надо помолчать, а вы все норовите поскорее принять меры, даже и не попытавшись узнать, в чем дело... *(Сергею.)* Будешь говорить? Нет? Тогда я скажу. Понимаете, он испытал жалость. Мы там сидели, как люди, ловили кайф, и было все нормально, и вдруг он сказал: мы вот сидим здесь с тобой, а они там — одни, и помирают со страху, и у них ведь теперь ничего не осталось... Я удивился, а он сказал: у них на старости лет осталась одна погрешка — ихняя демократия и гласность, а теперь вот у них и это отбирают. Потрясли перед носом и тут же отобрали. Насовсем. Он сказал: мне их жалко, мне до того их жалко, что даже плакать хочется. И я увидел, что он плачет...

С е р г е й. Не было этого! Хватит ерундить-то!

А р т у р. Было это, Серый, было! Ты уже этому не веришь, я и сам-то не очень верю, хотя ведь и пяти минут не прошло, да только — было! И я тогда вдруг понял: это минута добра. Бывает момент истины, знаете? — а это была минута добра. И я опять удивился: как же так? Откуда же оно взялось, это добро? Да еще целая минута! Через какую щель оно проползло? И кто его сюда пропустил? И вообще, при чем тут я? И я сказал ему: не бери в голову, Серый! Они получили только то, что сами хотели получить, — ни рюмкой больше, ни рюмкой меньше. А он мне сказал: ну и что же? Тем более они несчастны, и еще больше их от этого жалко... Я снова попытался объяснить ему, что вы уже сделали свой выбор... неважно — почему, неважно — как... но сделали! И тогда он сказал... он согласился со мной и сказал: да, сделали, но, боже мой, до чего же это жалкий выбор! И тут жалость охватила и меня

тоже. Я схватился было за бутылку, но сразу же понял: нельзя. Я подумал: вы тоже должны узнать об этом... Теперь-то я вижу, что сделал глупость, никому из вас этого не надо, но — все равно. Это была минута добра. Очень большая редкость в нашей жизни.

Воцаряется неловкое молчание. И вдруг Зоя Сергеевна подходит к Артуру и целует его, а затем целует Сергея.

Сергей. Ну... что ты, мама? Ну что ты? Ничего! Все будет нормально.

Базарин (сварливо). Минуточку, минуточку...

Пинский. Олег Кузьмич, помолчите, ради бога.

Базарин. Нет уж, пардон! Я очень благодарен молодому поколению за те добрые чувства, которые вызывал у него целую минуту...

Кирсанов. Боже мой, какая зануда!.. Кузьмич!

Базарин. Нет уж, позволь. Молодые люди мягко упрекают нас в том, что мы сделали не тот выбор. Очень хотелось бы знать, какой выбор сделали бы молодые люди, если бы им принесли аналогичные повестки? «Нигилисты города Питера!»

Сергей. Но ведь не принесли же!

Базарин. Но ведь могли принести? И может быть, еще принесут!

Сергей. А вот не могли! И не принесут! Вы этого не понимаете. Приносят тем, кто сделал выбор раньше — ему еще повестку не принесли, а он уже сделал выбор! Вот маме повестку не принесли. Почему? Потому что плевала она на них. Потому что, когда они вербовали ее в органы в пятьдесят пятом, она сказала им: нет! Знаете, что она им ответила? Глядя в глаза! «Я люблю ходить в ведро, заносить над ним бедро...» И вся вербовка! И когда в партию ее загоняли в шестьдесят восьмом, она снова сказала им: нет! «Да почему же нет, Зоя Сергеевна? Что же в конце концов для вас дороже — Родина или семья?» А она им, ни секунды не размышляя: «Да конечно же, семья». И все. А вот вы, Олег Кузьмич, в партию рвались, как в винный магазин, извините за выражение.

Кирсанов (грозно). Сергей!

Сергей. Папа, я же извинился. И я вообще ничего плохого сказать не хочу. Ни про кого. Я только одно вам объясняю: выбор свой люди делают до повестки, а не после.

Кирсанов. Это я, спасибо, понял. Откуда только ты все это про нас знаешь, вот чего я не понял.

Сергей. Знаю. Мы вообще много о вас знаем. Может быть, даже все. Мы же всю жизнь ходим среди вас, слышим вас, наблюдаем вас, хватаем ваши подзатыльники и поэтому знаем все. Про ваши ссоры, про ваши тайны, про ваши болезни...

Артур. Про ваши развлечения...

Сергей. Про ваши неудачи, про ваши глупости...

Артур. Про ваши аборты...

Сергей. Мы только стараемся все это не брать в голову, не запоминать, но оно само собой запоминается, лучше любого школьного урока, хоть сейчас вызывай к доске...

Пинский (*вкрадчиво*). Я так понимаю, что минута добра благополучно истекла...

Сергей. Дядя Шура Пинский, я ведь извинился... Артур, пойдем отсюда. Я же говорил тебе, что все кончится скандалом...

Кирсанов. Да сиди уж ты... жалостливый. Не будет тебе никакого скандала. Не до скандалов нам сейчас.

Базарин (*отдуваясь*). Да уж, какие тут могут быть скандалы... Я только хотел напомнить молодым людям, что прийти за ними могут и без всяких повесток.

Пинский. Представляете, открывается вот эта дверь, и входят трое в штатском...

Артур (*мотает головой*). Нет. Не входят.

Пинский. Почему же это?

Вместо ответа Артур молниеносным движением выхватывает из-за спины большой никелированный револьвер и становится в классическую позу: широко расставленные, согнутые в коленях ноги, обе руки, сжимающие револьвер, вытянуты вперед и направлены в зрительный зал. «Пух, пух, пух», — произносит он, поворачиваясь корпусом слева направо и посылая воображаемые пули веером. Потом тем же неуловимым движением забрасывает револьвер за спину и выпрямляется.

Артур. Вот почему. Зачем, спрашивается, им с нами связываться? Мы опасны. С нас гораздо спокойнее взять деньгами.

Базарин (*ошеломленно*). Позвольте, откуда у вас оружие?

Артур (*широко улыбаясь*). Из Республики Замбия. Папа прислал.

Пинский (*настороженно*). Настоящий?

Артур. Нет, конечно. Пугач.

Пинский (*многозначительно*). Гм... естественно: Рэкетиров отпугивать... да и вообще...

Сергей (*с чувством*). Дядя Шура Пинский! Я вас люблю.

Пинский. Да. Я тебя тоже люблю. Лоботряс.

Сергей. Я вас всех люблю. Я даже Саньку нашего, полупротухшего, тоже люблю. Не ходите вы никуда утром. Повестки эти свои порвите, телефон выключите, дверь закройте... Мы с Артуром сейчас вам замок наконец починим. И ложитесь все спать. Не поддавайтесь вы, не давайте вы себя сломать!

Кирсанов (*горько*). Ах, какие вы у нас смелые, какие несломленные! И ничего-то вы не понимаете! Ведь это сейчас они не нас ломают, нас они сломали давным-давно, еще поколение назад. Сейчас они вас ломают! Это ведь они не нам повестки прислали — они вам повестки прислали, чтобы вы на всю жизнь запомнили, кто в этом мире хозяин...

Он замолкает. Слышны тяжелые удары в дверь.

Сергей. Спокуха! Говорить буду я. Артур, встань тут в тенечек.

В дверях возникает знакомая фигура — давешний рослый человек в блестящем мокром плаще.

Черный Человек (*зычно*). Гражданин Кирсанов?

Кирсанов (*поднимается, издает горлом сдавленный жалкий писк*). Ы-ы...

Черный Человек. Станислав Александрович?

Кирсанов (*справившись наконец с голосом*). В чем дело?! Кажется, наше время еще не вышло!

И тут Сергей подхватывает Черного Человека под локоток и ловко выводит его на авансцену.

Сергей. Старик. Давай по-доброму. Что мы, не люди? Давай спокойненько договоримся...

Черный Человек (*обычным голосом*). Чего договоримся? Насчет чего?

Сергей. Спокуха! Все будет нормалек. Ты нас не видел, мы тебя не видели. Дверь заперта, хозяев нет, уехали... Два столыника. И все тихо.

Черный Человек. А. Нет. Не получится.

Сергей. Ну почему не получится? Тихо, мирно, по-доброму... Ну, три стольника — пойдет?

Черный Человек. Нет. Не хочу. Брось.

Сергей. Три стольника за минуту молчания. Соображаешь, нет?

Черный Человек (*пытаясь освободиться*).

Пусти. Я же тебе сказал: нет!

Сергей (*уже другим голосом — злым и напряженным*). Четыре!

Черный Человек. Нет.

Сергей. Четыре стольника, козел!

Черный Человек. Пусти! Я же тебе сказал — нет!

Сергей отпускает его, отшатывается и, как бы падая, вдруг выбрасывает ногу, сделавшуюся невероятно длинной и прямой. Тяжелый ботинок попадает Черному Человеку прямо в голову. Кейс вылетает у него из-под мышки и кувырком катится по полу, извергая кипы белых листов. Черный Человек с трудом удерживает равновесие, фонарь вдруг вспыхивает у него во лбу, и он становится похож на неуклюжего испорченного робота. И тут из тьмы вылетает Артур, и они вдвоем с Сергеем, издавая устрашающие кошачьи вопли, складываясь и раздвигаясь, как огромные циркули, принимаются избивать Черного Человека ногами. Это длится всего несколько секунд. Слышны только кошачьи вопли и екающие плотные удары. Потом Зоя Сергеевна кричит страшно, отчаянно, как будто бьют ее самое.

Зоя Сергеевна. Перестаньте! Прекратите! Не смейте!

Черный Человек мокрой блестящей точкой валяется на полу среди разбросанных листков. Артур и Сергей нависают над ним, еще напряженные, еще готовые бить и убивать. Зоя Сергеевна подбегает к ним и хлещет по физиономии — сначала одного, затем другого.

Зоя Сергеевна. Звери! Зверье! (*Падает на колени возле избитого, кричит.*) Свет! Свет мне дайте!

И в тот же миг вспыхивает электрический свет. Все остолбенело стоят, ошеломленные, подслеповато моргающие. Пол сплошь усеян белыми листочками, высыпавшимися из распахнувшегося кейса.

Зоя Сергеевна. Сергей! Неси аптечку из ванной! Саня! Воду мне сюда холодную! Таз!..

Она поднимает избитому голову, кладет к себе на колени.

Черный Человек (жалобно и хрипло бормочет сквозь стоны). За что? Ну за что? Что я тебе сделал? За что?..

Базарин опускается на корточки и принимается торопливо собирать рассыпанные листки, складывает их в пачку, старательно подравнивает дрожащими пальцами, потом читает один листок, садится на пятки, читает другой...

Базарин. Слушайте! Они же все отменили! (Падает на четвереньки, ползает, ища что-то, наконец находит и садится задом на пол. Читает срывающимся голосом.) «Базарину... Олегу Кузьмичу... Во изменение нашего предыдущего распоряжения... предписание вам прибыть... отменяется...» Отменяется! «Впредь до специального распоряжения. Председатель-комендант...» (Трясет перед собой пачкой мятых листков.) Всем отменяется! Станислав! Александр Рувимович! И вам тоже отменяется!..

Черный Человек (стонет). За что? Ой, больно... Осторожнее!..

Базарин (поднявшись на ноги и потрясая листками). Ведь я же говорил! Невозможно это! Я же сразу вам сказал! Невозможно это! Невозможно это! Невозможно!..

Начинает звонить телефон и звонит долго, но все стоят в полном ошолбенении, и никто не берет трубку.

К о н е ц

7 апреля 1990 года. Москва

Сталкер

литературная запись кинофильма



От автора сценария

В коротеньком предисловии к первому изданию сценария «Машина желаний» А. Стругацкий писал:

«Несколько лет назад нам выпала честь участвовать в создании фильма «Сталкер». Режиссер Андрей Арсеньевич Тарковский первоначально взял за его основу четвертую главу нашей повести «Пикник на обочине». Однако в процессе работы (около трех лет) мы пришли к представлению о картине, ничего общего с повестью не имеющей. И в окончательном варианте нашего сценария остались от повести лишь слова-термины «Сталкер» и «Зона» да мистическое место, где исполняются желания. Фильм вышел на экраны и у нас, и за рубежом. О нем много и разнообразно говорят, но сходятся в одном: он чрезвычайно сложен и многозначен. Кроме того, никто не сомневается, что это работа высшего международного класса. И да не будут приняты эти слова за самохвальство! Главная заслуга в создании фильма «Сталкер» принадлежит А. Тарковскому, мы же были только его подмастерьями.

А сейчас читателю предлагается один из первых вариантов сценария, в котором будущий «Сталкер» едва проглядывается. Нам любезно предложили опубликовать его, полагая, видимо, что картина, будь она снята по нему, тоже имела бы право на существование». (НФ, 1981 год, выпуск 25)

Мне хотелось бы добавить кое-что к этому тексту.

Работать над сценарием «Сталкера» было невероятно трудно. Главная трудность заключалась в том, что Тарковский, будучи кинорежиссером, да еще и гениальным кинорежиссером вдобавок, видел реальный мир иначе, чем мы, строил свой воображаемый мир будущего фильма иначе, чем мы, и передать нам это свое, сугубо индивидуальное видение он, как правило, не мог — такие вещи не поддаются вербальной обработке, не придуманы еще слова для этого, да и невозможно, видимо, такие слова придумать, а может быть, и не нужно. В конце концов слова — это литература, это высоко символизированная действительность, совсем особая система ассоциаций, воздействие на совсем иные органы чувств, наконец, в то время как кино — это живопись, это музыка, это совершенно реальный, я бы даже сказал — беспощадно реальный мир, элементарной единицей которого является не слово, а звучащий образ...

Впрочем, все это теория и философия, а на практике приходилось вести бесконечные, изматывающие, приводящие иногда в бессильное отчаяние дискуссии, во время коих

режиссер, мучаясь, пытался объяснить, что же ему нужно от писателей, а писатели в муках пытались разобраться в этой мешанине жестов, слов, идей, образов и сформулировать для себя наконец, как же именно (обыкновенными русскими буквами, на чистом листе обыкновеннейшей бумаги) выразить то необыкновенное, единственно необходимое, совершенно непередаваемое, что стремится им, писателям, втолковать режиссер.

В этой ситуации возможен только один метод работы — метод проб и ошибок. Дискуссия — разработка примерного плана сценария — текст — обсуждение текста — новая дискуссия — новый план... новый вариант... и опять не то... и опять непонятно, что же надо... и опять невозможно выразить словами, что же именно должно быть написано СЛОВАМИ в очередном варианте сценария... Всего получилось не то семь, не то восемь, не то даже девять вариантов. Почти все они утрачены. Последний вариант мы написали в приступе совершеннейшего отчаяния, когда Тарковский решительно и окончательно заявил: «Все. С таким Сталкером я больше кино снимать не буду»...

Это было летом 1977-го. Тарковский только что закончил съемки первого варианта фильма, где Кайдановский играл крутого парня Рэдрика Шухарта, фильм при проявлении запороли, и Тарковский решил воспользоваться этим печальным обстоятельством, чтобы начать все сначала.

Аркадий был там с ним, на съемках в Эстонии. И вот он вдруг, без всякого предупреждения, примчался в Ленинград и объявил: «Тарковский требует другого Сталкера». — «Какого?» — «Не знаю. И он не знает. Другого. Не такого, как этот». — «Но какого именно, трам-тарарам!» — «Не знаю, трам-трам-трам-и-тарарам!!! Другого!»...

Это был час отчаяния. День отчаяния. Два дня отчаяния. На третий день мы придумали Сталкера-юродивого. Еще за два дня переписали сценарий, и АНС помчался с ним обратно в Таллин (тогда Таллин писался с одним «н»). Тарковский остался доволен, фильм был переснят. Этот последний вариант сценария был опубликован под названием «Сталкер» в сборнике «Пять ложек Эликсира» в 1990 году. И сохранился (чудом!) самый первый вариант — он приведен здесь под названием «Машина желаний».

Мне кажется, знатокам и любителям как повести «Пикник на обочине», так и фильма «Сталкер» будет небезлюбопытно сравнить, насколько первый вариант киносценария отличается от повести, а фильм — и от того, и от другого.

Сталкер

литературная запись кинофильма

Режиссер Андрей Тарковский
Сценарий Аркадия и Бориса Стругацких

Титры. За титрами сумрачный, нищий бар. Сначала в нем пусто, затем появляется бармен, зажигает свет. Входит Профессор, бармен подает ему кофе и уходит за стойку. Профессор пьет кофе. Кончаются титры, на экране текст:

...Что это было? Падение метеорита?
Посещение обитателей космической бездны?
Так или иначе, в нашей маленькой стране
возникло чудо из чудес — ЗОНА.

Мы сразу же послали туда войска.
Они не вернулись.

Тогда мы окружили ЗОНУ полицейскими кордонами...
И, наверное, правильно сделали...
Впрочем, не знаю, не знаю...

Из интервью лауреата Нобелевской премии
профессора Уоллеса корреспонденту RAI

Полутемная комната, у задней стены — кровать; на ней — Сталкер, его жена и дочь. Слышен шум проходящего поезда. Жена и дочь спят, Сталкер лежит неподвижно и смотрит на дочь. На стуле рядом с кроватью вата, какое-то лекарство и стакан с водой.

Сталкер потихоньку встает, снимает часы со спинки кровати, надевает брюки и сапоги. Выходит и, не сводя глаз с жены и дочери, прикрывает дверь. Идет на кухню, умывается.

Вспыхивает и перегорает лампа.

В дверях появляется жена; в руках у нее стерилизатор.

Ж е н а. Ты зачем мои часы взял? Куда ты собрался, я тебя спрашиваю?! Ведь ты же мне слово дал, я же тебе поверила! Ну, хорошо, о себе ты не хочешь думать. А мы? Ты о ребенке своем подумай! Она же к тебе еще и привыкнуть не успела, а ты опять за старое?!

Сталкер чистит зубы.

Ж е н а. Ведь я же старухой стала, ты меня доконал!

Сталкер. Тише, Мартышку разбудишь.

Жена. Я не могу все время ждать. Я умру!

Сталкер полощет рот, отходит к окну, берет тарелку.

Жена. Ведь ты же собирался работать! Тебе же обещали нормальную человеческую работу!

Сталкер (*ест*). Я скоро вернусь.

Жена. Ой! В тюрьму ты вернешься! Только теперь тебе дадут не пять лет, а десять! И ничего у тебя не будет за эти десять лет! Ни Зоны, и... ничего! А я... за эти десять лет сдохну! (*Плачет.*)

Сталкер. Господи, тюрьма! Да мне везде тюрьма. Пусти!

Жена. Не пущу! (*Пытается его удержать.*)

Сталкер (*отталкивает ее*). Пусти, тебе говорят!

Жена. Не пущу!

Сталкер уходит в комнату, возвращается с курткой в руках и выходит на улицу, хлопнув дверью.

Жена (*кричит*). Ну и катись! И чтоб ты там сгнил! Будь проклят день, когда я тебя встретила, подонок! Сам Бог тебя таким ребенком проклял! И меня из-за тебя, подлеца! Подонок!

Рыдая, падает на пол и бьется в истерическом припадке.

Слышен шум проходящего поезда.

Выйдя из дома, Сталкер переходит через железнодорожное полотно и останавливается — очевидно, заметив Писателя. Слышен голос Писателя за кадром.

Писатель. Дорогая моя! Мир непроходимо скучен, и поэтому ни телепатии, ни привидений, ни летающих тарелок... ничего этого быть не может. Мир управляется чугунами законами, и это невыносимо скучно. И законы эти — увы! — не нарушаются. Они не умеют нарушаться.

На экране — Писатель и Дама. Писатель говорит, нервно расхаживая вокруг нее.

Писатель. И не надейтесь на летающие тарелки. Это было бы слишком интересно.

Дама. А как же Бермудский треугольник? Вы же не станете спорить, что...

Писатель. Стану спорить. Нет никакого Бермудского треугольника. Есть треугольник а бэ цэ, который равен треугольнику а-прим бэ-прим цэ-прим. Вы чувствуете, какая унылая скука заключена в этом утверждении? Вот в средние века было интересно. В каждом доме жил домовый, в каждой церкви — Бог... Люди были

молоды! А теперь каждый четвертый — старик. Скучно, мой ангел, ой как скучно.

Теперь видно, что они стоят у элегантного автомобиля.

Дама. Но вы же сами говорили, что Зона — порождение сверхцивилизации, которая...

Писатель. Тоже, наверное, скука. Тоже какие-нибудь законы, треугольники, и никаких тебе домовых, и уж, конечно, никакого Бога. Потому что если Бог — это тот самый треугольник... хм, то я уж просто и не знаю...

Дама кокетливо смеется. Она совершенно выпадает из антуража фильма — со вкусом одета, причесана, оживлена. Писатель, хоть и не выглядит таким пришибленным, как Сталкер, и вполне прилично одет, все-таки принадлежит нищему и грязному миру, который уже проявился на экране.

Писатель видит Сталкера.

Писатель. Э-э... Это за мной. Прелестно! Прощайте, друг милый. Э... извините, м-м... (*Сталкеру*) эта дама любезно согласилась идти с нами в Зону. Она — мужественная женщина. Ее зовут... э... простите, вас, кажется, зовут... э...

Дама. Так вы что, действительно сталкер?

Появляется Сталкер, подходит к машине. Теперь, при дневном свете, видно, что голова его не то обожжена, не то изуродована лишаем.

Сталкер. Сейчас... Я все объясню. (*Подходит к Даме и говорит неразборчиво.*) Идите...

Дама (*Писателю*). Кретин!

Садится в машину и уезжает.

Сталкер. Все-таки напились?

Писатель. Я? В каком смысле? Я просто выпил, как это делает половина народонаселения. Другая половина — да, напивается. Женщины и дети включительно. А я просто выпил. (*Глохнет из бутылки*).

Они подходят к бару. Сталкер проходит внутрь, Писатель на крыльце спотыкается и падает.

Писатель. Черт, поналивали тут...

Бар. За столиком Профессор пьет кофе. Это угрюмый и замкнутый на вид человек. Он в куртке, темной лыжной шапочке, у ног — рюкзак. Сталкер пожимает руку бармену, что-то говорит ему, поворачивается к Профессору.

Сталкер. Пейте, пейте, рано еще.

В бар вваливается Писатель.

Писатель. Ну что? Может, по стаканчику на дорогу, а? Как вы считаете? *(Ставит на стол Профессора свою бутылку, берет у стойки стаканы.)*

Сталкер. Уберите это...

Писатель. А-а, понятно. Сухой закон. Алкоголизм — бич народов. Ну что ж, будем пить пиво. *(Идет к бармену, тот наливает ему пива.)*

Профессор *(Сталкеру)*. Это что, с нами?

Профессор явно недоволен происходящим.

Сталкер. Ничего, он протрезвеет. Ему тоже туда надо.

Писатель. А вы что, действительно профессор?

Профессор. Если угодно...

Писатель ставит на стол стаканы с пивом.

Писатель. Ну что ж, в таком случае разрешите представиться. Меня зовут...

Сталкер. Вас зовут Писатель.

Профессор. Хорошо, а как зовут меня?

Сталкер. А вас... вас — Профессор.

Писатель. Ага, понятно, я — писатель, и меня, естественно, все почему-то зовут Писатель.

Профессор. И о чем же вы пишете?

Писатель. Ой, о читателях.

Профессор. Ну очевидно, ни о чем другом и писать не стоит...

Писатель. Ну конечно. Писать вообще не стоит. Ни о чем. А вы что... химик?

Профессор. Скорее, физик.

Писатель. Тоже, наверное, скука. Поиски истины. Она прячется, а вы ее всюду ищете, то здесь копнете, то там. В одном месте копнули — ага, ядро состоит из протонов! В другом копнули — красота: треугольник а бэ цэ равен треугольнику а-прим бэ-прим цэ-прим. А вот у меня другое дело. Я эту самую истину выкапываю, а в это время с ней что-то такое делается, что выкапывал-то я истину, а выкопал кучу, извините... не скажу чего.

Сталкер кашляет. Профессор понуро смотрит в стол.

Писатель. Вам-то хорошо! А вот стоит в музее какой-нибудь античный горшок. В свое время в него объедки кидали, а нынче он вызывает всеобщее восхищение лаконичностью рисунка и неповторимостью формы. И все охают, ахают... А вдруг выясняется, что никакой он не античный, а подsunул его археологам какой-нибудь шутник... Веселья ради. Аханье, как ни странно, стихает. Ценители...

Профессор. И вы все время об этом думаете?

Писатель. Боже сохрани! Я вообще редко думаю. Мне это вредно...

Профессор. Ведь невозможно писать и при этом все время думать об успехе или, скажем, наоборот, о провале.

Писатель. Натюрлих! Но с другой стороны, если меня не будут читать через сто лет, то на кой мне хрен тогда вообще писать? Скажите, Профессор, зачем вы впустились в эту... в эту историю? А? Зачем вам Зона?

Профессор. Ну, я в каком-то смысле ученый... А вот вам зачем? Модный писатель. Женщины, наверное, на шею гроздьями вешаются.

Писатель. Вдохновение, Профессор. Утеряно вдохновение. Иду выпрашивать.

Профессор. Так вы что же — исписались?

Писатель. Что? Да-а... Пожалуй, в каком-то смысле.

Сталкер. Слышите? Это наш поезд (*смотрит на часы*).

Сталкер вынимает из кармана темный сверток, Профессор отдает ему ключи — по-видимому, от машины.

Сталкер. Да, вы крышу с машины сняли?

Профессор. Снял, снял...

Писатель и Профессор выходят на крыльцо.

Сталкер (*бармену*). Люгер, если я не вернусь, зайти к жене.

На крыльце Писатель оглядывается и возвращается к двери.

Писатель. Тьфу, черт, сигареты забыл купить.

Профессор его останавливает.

Писатель. А?

Профессор. Не возвращайтесь, не надо.

Писатель. А что?

Профессор. Нельзя.

Писатель. Вот вы все такие.

Профессор. Какие?

Писатель. Верите во всякую чепуху. Придется оставить на черный день. (*Уходят из кадра.*) И вы действительно ученый?

Сталкер выходит из бара.

Видимо, «лендровер» стоит где-то неподалеку; улица грязная, запруженная лужами. Писатель и Профессор идут к машине; шлепая по лужам, к ним подбегает Сталкер. Они

садутся в машину, вспыхивают фары, и «лендровер» едет по таким же грязным проулкам, со скрежетом сворачивает в какие-то ворота и резко тормозит.

Сталкер выскакивает из машины и падает на землю.

Сталкер. Ложись! Не двигайтесь!

Профессор и Писатель пригибаются, так что их не видно из-за низких бортов.

Вдали показывается мотоциклист — подъезжает, и становится видно, что это полицейский. Он удаляется, Сталкер возвращается в машину, разворачивает ее и уезжает.

«Лендровер» останавливается у раскрытых ворот какого-то помещения — по-видимому, склада.

Сталкер. Посмотрите, там никого нет? *(Писатель выходит из машины, вбегает в ворота, оглядывается.)* Да быстрее вы, ради Бога!

Писатель. Никого нет.

Сталкер. Идите к тому выходу!

«Лендровер» уезжает. Сквозь ворота видно, что следом за ним проходит тепловоз. У противоположного выхода Писатель садится в машину, и тут же Сталкер замечает, что мотоциклист снова появился в проулке.

Сталкер. Ну что же вы, Писатель!..

Он останавливает машину, отъезжает назад — полицейский мотоциклист выезжает на улицу, и Сталкер ведет «лендровер» дальше.

Ворота, перегораживающие железнодорожные пути, — по-видимому, где-то совсем рядом, на той же улице. Железнодорожник открывает проволочные ворота, пропуская тепловоз с платформами, груженными огромными изоляторами. Вплотную за ним проскакивает «лендровер» — железнодорожник смотрит ему вслед, закрывает ворота и убегает.

По улице проезжает полицейский мотоциклист.

Полутемный подвал. «Лендровер» въезжает в него, Сталкер выходит из машины.

Сталкер. Поглядывайте здесь, пожалуйста.

Он пробирается внутрь, к окну, и видит, как от ворот убегает железнодорожник.

Сталкер. Вы канистру не забыли?

Профессор. Здесь, полная. *(Идет к другому окну.)*

Писатель, сидя в машине, продолжает разговор с Профессором.

Писатель. Вот я давеча говорил вам... Вранье все

это. Плевал я на вдохновение. А потом, откуда мне знать, как назвать то... чего я хочу? И откуда мне знать, что на самом-то деле я не хочу того, чего я хочу? Или, скажем, что я действительно не хочу того, чего я не хочу? Это все какие-то неуловимые вещи: стоит их назвать, и их смысл исчезает, тает, растворяется... как медуза на солнце. Видели когда-нибудь? Сознание мое хочет победы вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по кусочку сочного мяса. А чего же хочу я?

Профессор слушает, стоя у окна.

Писатель. Я...

Профессор. Да мирового господства...

Сталкер. Тихо!

Профессор. ...по меньшей мере. А зачем в Зоне тепловоз?

Сталкер. Он заставу обслуживает. Дальше он не пойдет. Они туда не любят ходить.

Застава на железнодорожных путях — шлагбаум, два здания по сторонам пути, прожектора. По путям пробегает полицейский. Слышны голоса.

Первый голос. Все по местам! Все на местах?

Второй голос. Дежурные пришли. И пусть телевизор выключат.

Шлагбаум открывается. В пространство заставы въезжает тепловоз с платформами; полицейские окружают и осматривают состав.

Сталкер видит это через окно — бежит к машине.

Сталкер. Скорей!

«Лендровер» выезжает из подвала, визжа тормозами на повороте.

Состав уходит с заставы через ворота; машина Сталкера проскакивает за ним и сейчас же сворачивает в сторону. Полицейские открывают огонь, воеет сирена. Пули крошат фарфоровые изоляторы на платформе, срезают с фонарного столба консоль с проводами.

«Лендровер» выезжает из какого-то укрытия во двор. Стрельба продолжается, во дворе рушатся ящики, вылетает оконная рама.

Машина останавливается у развалин — из земли торчат остатки стен, пространство между ними залито водой.

Сталкер. Послушайте, идите посмотрите, там есть на путях дрезина?

Писатель. Какая дрезина?

Сталкер. Идите, идите...

Писатель выходит из машины и идет вперед. Выстрелы. Пули падают поблизости, и Писатель в испуге валится на траву.

Профессор. Идите назад, я сам.

Профессор проходит мимо Писателя и осторожно идет дальше, вдоль огромной лужи. Автоматные очереди; пули бьют в воду.

На железнодорожной насыпи стоит дрезина. Шлепая по воде, Профессор подходит к ней, освобождает тормоз, пробует, свободны ли колеса, и машет рукой. Подъезжает «лендровер».

Сталкер. Канистру!

Писатель. Тьфу ты, черт... *(достаёт канистру)*.

Сталкер и Писатель, задыхаясь, пробираются к дрезине. Писатель тащит канистру.

Сталкер. Давайте!

Профессор кладет в дрезину канистру и свой рюкзачок.

Писатель. Да бросьте вы свой рюкзак наконец! Он же мешает.

Профессор. Это вы, я гляжу, налегке, как на прогулку.

Выстрелы. Пули попадают в воду рядом с дрезиной.

Сталкер. Если кого-нибудь заденет, не кричать, не метаться: увидят — убьют... Потом, когда все стихнет, ползите... назад к заставе. Утром подберут.

Сталкер заводит мотор дрезины, и они уезжают.

Дрезина тарыхтит мимо свалки, мимо каких-то строений.

Писатель. А они нас не догонят?

Сталкер. Да что вы... Они ее боятся, как огня.

Писатель. Кого?

Долгий путь на дрезине. Писатель дремлет, Профессор угрюм и спокоен, Сталкер напряженно всматривается в окрестности. Только теперь видно, как изуродована его голова, как странно его лицо — это человек, который видел то, чего людям видеть не надо...

Дрезина останавливается на высокой насыпи.

Сталкер. Ну вот... мы и дома.

Профессор. Тихо как!

Сталкер. Это самое тихое место на свете. Вы потом сами увидите. Тут так красиво! Тут ведь никого нет...

Писатель. Мы же здесь!

Сталкер. Ну, три человека за один день не могут здесь все испоганить.

Писатель. Почему не могут? Могут.

Сталкер. Странно! Цветами почему-то не пахнет. Я... Вы не чувствуете?

Писатель. Болотом воняет — это я чувствую.

Сталкер. Нет-нет, это рекой. Тут же река... Тут недалеко цветник был. А Дикобраз его взял и вытоптал, с землей сровнял! Но запах еще долго оставался. Много лет...

Профессор. А зачем он... вытоптал?

Сталкер. Не знаю. Я тоже его спрашивал: зачем? А он говорит: потом сам поймешь. Мне-то кажется, он просто возненавидел... Зону.

Писатель. А это что, ф-фамилия такая — Дикобраз?

Сталкер. Да нет. Кличка, так же, как и у вас. Он годами людей в Зону водил, и никто ему не мог помешать. Мой учитель. Он мне глаза открыл. И звали его тогда не Дикобраз, а так и называли — Учитель. А потом что-то с ним случилось, сломалось в нем что-то. Хотя, по-моему, он просто был наказан. Помогите мне. Тут вот гайки, к ним вот эти бинтики надо привязать. А я пройду, пожалуй. Мне тут надо... (Пауза.) Только не разгуливайте здесь... очень.

Сталкер отдает профессору сумку и уходит. Профессор стоя возится с сумкой — спиной к зрителю.

Писатель. Куда это он?

Профессор. Может быть, просто хочет побыть один.

Писатель. Зачем? Здесь и втроем-то как-то уютно.

Профессор. Свидание с Зоной. Он же сталкер.

Писатель. И что из этого следует?

Профессор. Видите ли... Сталкер — в каком-то смысле призвание.

Писатель. Я его другим представлял.

Профессор. Каким?

Писатель. Ну, Кожаные Чулки там, Чинганчуки, Большие Змеи...

Профессор (садится на шпалу). У него биография пострашней. Несколько раз в тюрьме сидел, здесь калечился. И дочка у него мутант, жертва Зоны, как говорится. Без ног она будто бы.

Писатель. А что там насчет этого... Дикобраза? И что значит «был наказан»? Это что — фигура речи?

Профессор. В один прекрасный день Дикобраз вернулся отсюда и неожиданно разбогател. Немыслимо разбогател.

Писатель. Это что, наказание такое?

Профессор. А через неделю повесился.

Писатель. Почему?

Профессор. Тише!

Слышен гранный воющий звук, не живой и не мертвый.

Писатель. Это что еще такое?

Поляна или лесная опушка. В траве валяется что-то металлическое, дерево оплетено паутиной. Вдали видно заброшенное здание.

Сталкер опускается в густую траву ложится ничком, переворачивается на спину.

Профессор сидит на шпале, Писатель стоит рядом.

Профессор. Примерно лет двадцать тому назад здесь будто бы упал метеорит. Спалил дотла поселок. Метеорит этот искали, ну, и, конечно, ничего не нашли.

Писатель. Хм, а почему «конечно»?

Профессор. Потом тут стали пропадать люди. Уходили сюда и не возвращались.

Писатель. Ну?

Профессор (*говорит и вяжет бинтики к гайкам*). Ну, и наконец решили... что метеорит этот... не совсем метеорит. И для начала... поставили колючую проволоку, чтоб любопытствующие не рисковали. Вот тут-то и поползли слухи, что где-то в Зоне есть место, где исполняются желания. Ну, естественно... Зону стали охранять как зеницу ока. А то мало ли у кого какие возникнут желания.

Писатель. А что же это было, если не метеорит?

Профессор. Ну я ж говорю, не известно.

Писатель. Ну, а сами-то вы что думаете?

Профессор. Да ничего я не думаю. Что угодно. Послание человечеству, как говорит один мой коллега... Или подарок.

Писатель. Ничего себе подарочек. Зачем им это понадобилось?

Сталкер (*за кадром*). Чтобы сделать нас счастливыми!

Сталкер взбирается на насыпь, к дрезине.

Сталкер. А цветы снова цветут, только не пахнут почему-то. Вы извините, что я вас тут бросил, но идти все равно рано было.

Снова слышен странный звук.

Писатель. О, слышали?

Профессор. А может, это правда, что здесь живут?

Сталкер. Кто?

Профессор. Ну, вы же сами мне рассказывали эту историю. Ну туристы эти, которые стояли здесь, когда возникла Зона.

Сталкер. В Зоне никого нет и быть не может. Ну что же, пора...

Сталкер заводит мотор пустой дрезины — с легким постукиванием она уходит в туман. Все смотрят ей вслед.

Писатель. А как же мы вернемся?

Сталкер. Здесь не возвращаются...

Писатель. В каком смысле?

Сталкер. Пойдем, как условились. Каждый раз я буду давать направление. Отклоняться от этого направления опасно. Первый ориентир — вон, последний столб. *(Показывает.)* Идите... Идите первый, Профессор. *(Профессор спускается с насыпи.)* Теперь вы. *(Писатель кричит.)* Старайтесь след в след.

Писатель спускается, идет — на довольно большом расстоянии от Профессора. Сталкер смотрит, как они идут.

Ржавый полуразвалившийся автобус, внутри которого как будто человеческие останки. Появляются Сталкер и Профессор, за ними — Писатель. Профессор мельком глядит внутрь автобуса, отворачивается. Писатель смотрит на останки с ужасом.

Писатель. Господи! А где же... Они что, так здесь и остались? Люди?!

Сталкер. А кто их знает. Помню только, как они грузились у нас на станции, чтобы идти сюда, в Зону. Я еще мальчишкой был. Тогда все думали, что нас кто-то завоевать хочет. Умники... *(Кидает гайку, она падает в замусоренную траву.)* Давайте вы, Профессор. *(Профессор идет.)* Вы, Писатель...

Писатель снова с ужасом смотрит в автобус, идет вниз. Сталкер — за ним. Перед ними поле, на котором разбросана полусгнившая военная техника: танки, бронетранспортеры... Писатель поднимает гайку. Подходит Профессор, они смотрят куда-то.

Сталкер. Вон там и есть ваша Комната. Нам туда.
Писатель. Что же вы, цену набивали? Это же рукой подать!

Сталкер. Да, но рука должна быть о-очень длинной. У нас такой нет. *(Кидает гайку в другую сторону.)*

Гайка падает в траву. Очень осторожно подходит Профессор, поднимает гайку. За ним фланирующим шагом, насвистывая, идет Писатель. Подойдя к Профессору, нагибается, дергает деревцо и свистит еще громче.

Сталкер *(испуганно)*. Оставьте! Нельзя! *(Хватает кусок трубы из-под ног.)* Не надо... Не трогайте!

Кидает железку — она не попадает в Писателя, но тот пригибается. Сталкер идет к нему и кричит.

Сталкер. Да не трогайте же вы!

Писатель. Да вы что? Спятели? Вы что?

Сталкер. Я же говорил, тут не место для прогулок. Зона требует к себе уважения. Иначе она карает.

Писатель. «Карает»!.. Только попробуйте еще раз что-нибудь такое... У вас что, языка нет?

Сталкер. Я же просил!

Профессор. Нам туда?

Сталкер. Да, подняться, войти и... сразу налево. Только мы здесь не пойдем. Мы пойдем кругом.

Писатель. Это еще зачем?

Сталкер. Здесь не ходят. В Зоне вообще прямой путь не самый... короткий. Чем дальше, тем меньше риска.

Писатель. Ну, а если напрямик — это что, смертельно?

Профессор. Ведь вам же сказали, что это опасно.

Писатель. А в обход не очень?

Сталкер. Тоже опасно, конечно, но я же говорю: здесь не ходят.

Писатель. Да мало ли кто где не ходит. Ну, а если я все-таки...

Профессор. Послушайте, вы... что...

Писатель. Тащиться куда-то в обход! А здесь все перед носом. И здесь риск, и там риск. Какого черта!

Сталкер. Знаете, вы очень легкомысленно к этому относитесь.

Писатель. Надоели все эти гайки с бинтиками. Ну их! Вы как хотите, а я пойду!

Профессор. Да он просто невменяем!

Писатель. Сами вы, знаете ли... *(Суетливо достаёт бутылку.)*

Сталкер *(очень вежливо)*. Можно мне?..

Писатель отдает ему бутылку. Сталкер отходит в сторону.

Сталкер. Ветер поднимается... чувствуете? Трава...

Выливает спиртное из бутылки и ставит ее на бетонную плиту.

Писатель. Ну что ж, тогда тем более.

Профессор. Что «тем более»?

Профессор и Писатель трогаются с места. Профессор идет чуть впереди, посматривает на Писателя, будто хочет что-то сказать, но не решается. Сталкер догоняет их, берет Писателя за плечо.

Сталкер. Пойдите!

Писатель. Да уберите вы руки!

Сталкер. Хорошо. Пусть тогда Профессор будет свидетелем, я вас туда не посылал. Вы сами идете, по доброй воле...

Писатель. Сам и по доброй. Что еще?

Сталкер (*очень мягко*). Ничего. Идите. (*Писатель идет.*) И дай Бог, чтобы вам повезло.

Писатель отходит на порядочное расстояние. Сталкер кричит.

Сталкер. Послушайте! Если в-вы вдруг что-то заметите или даже только почувствуете, что-то особое, немедленно возвращайтесь. Иначе...

Писатель. Только не кидайте мне железки в затылок.

Писатель медленно идет к зданию. Останавливается, оглядывается, очень медленно двигается дальше. Поднимается ветер.

Голос (*за кадром*). Стойте! Не двигайтесь!

Сталкер и Профессор. смотрят в сторону здания.

Сталкер взбирается на каменную плиту, оглядывается на Профессора.

Сталкер. Зачем вы?

Профессор. Что «зачем»?

Сталкер. Зачем вы его остановили?

Профессор. Как? Я думал, это вы...

Писатель еще некоторое время стоит, потом поспешно, задыхаясь, бежит обратно.

Писатель. Что случилось? Зачем вы меня остановили?

Сталкер. Я вас не останавливал.

Писатель (*Профессору*). А кто? Вы? (*Профессор пожимает плечами.*) Черт его знает...

Профессор. А вы молодец, гражданин Шекспир.

Вперед идти страшно, назад совестно. Вот и скомандовал сам себе не своим голосом. Даже отрезвел со страху.

Писатель. Что-что?

Сталкер. Прекратите.

Писатель. З-зачем вы мою бутылку вылили?

Сталкер (*кричит*). Прекратите, я требую наконец! (*Уходит в сторону*). Зона — это... очень сложная система... ловушек, что ли, и все они смертельны. Не знаю, что здесь происходит в отсутствие человека, но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. Бывшие ловушки исчезают, появляются новые. Безопасные места становятся непроходимыми, и путь делается то простым и легким, то запутывается до невозможности. Это — Зона. Может даже показаться, что она капризна, но в каждый момент она такова, какой мы ее сами сделали... своим состоянием. Не скрою, были случаи, когда людям приходилось возвращаться с полдороги, не солоно хлебавши. Были и такие, которые... гибли у самого порога Комнаты. Но все, что здесь происходит, зависит не от Зоны, а от нас!

Писатель. Хороших она пропускает, а плохим — отрывает головы...

Сталкер. Н-нет, не знаю. Не уверен. Мне-то кажется, что пропускает она тех, у кого... надежд больше никаких не осталось. Не плохих или хороших, а... несчастных? Но даже самый несчастный гибнет здесь в три счета, если не умеет себя вести! Вам повезло, вас она предупредила, а могла бы и не предупредить!..

Профессор. А вы знаете, я вас, пожалуй, здесь подожду, пока вы назад не пойдете. Осчастливленные. (*Снимает рюкзак, садится.*)

Сталкер. Это невозможно!

Профессор. Уверяю вас, у меня с собой бутерброды, термос...

Сталкер. Во-первых, без меня вы здесь и часа не выдержите.

Профессор. А во-вторых?

Сталкер. А во-вторых, здесь не возвращаются тем путем, каким приходят.

Профессор. И все-таки я предпочел бы...

Сталкер. Тогда мы все вместе немедленно идем обратно. Деньги я вам верну. Разумеется, за вычетом некоторой суммы. За... ну, за беспокойство, что ли...

Писатель. Отрезвели, а, Профессор?

Профессор. Ладно. (*Встает, надевает рюкзак.*)
Бросайте вашу гайку.

Сталкер бросает гайку. Профессор идет вперед, за ним — Писатель и Сталкер. Невдалеке кукует кукушка.

Титры второй серии. За титрами Сталкер — оглядывается идет вперед.

Сталкер стоит у здания — очевидно, того, к которому они пробирались. Кукушка слышна громче.

Сталкер. Эй! Где вы там? Идите сюда!

Писатель лежит на камнях, Профессор сидит рядом с ним.

Сталкер. Вы что, устали?

Профессор встает с крихтением, видно, что он очень устал.

Писатель. О, Господи! Опять, кажется, наставления будет читать... Судя по тону...

Слышен грохочущий и булькающий звук. Вода в канализационном колодце поднимается столбом, бурлит, постепенно успокаивается. В это время за кадром голос Сталкера.

Сталкер. Пусть исполнится то, что задумано. Пусть они поверят. И пусть посмеются над своими страстями; ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевная энергия, а лишь трение между душой и внешним миром. А главное, пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети, потому что слабость велика, а сила ничтожна...

Сталкер пробирается по карнизу стены — видимо, плотины. Продолжается его внутренний монолог.

Сталкер. Когда человек рождается, он слаб и гибок, когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко, а когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила спутники смерти, гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому что отвердело, то не победит. *(Спускается внутрь здания, говорит вслух.)* Идите сюда! *(Появляются Писатель и Профессор.)* Очень неплохо мы идем. Скоро будет «сухой тоннель», а там уж легче.

Писатель. Смотрите, не сглазьте.

Профессор. Мы что, уже идем?

Сталкер. Конечно, а что?

Профессор. Подождите! Я думал, что вы... что вы только хотите нам что-то показать! А как же мой рюкзак?

Сталкер. А что случилось с рюкзаком?

Профессор. Как «что случилось»? Я его там оставил! Я ж не знал, что мы идем!

Сталкер. Теперь уж ничего не поделаешь.

Профессор. Нет, что вы. Надо вернуться.

Сталкер. Это невозможно!

Профессор. Да я не могу без рюкзака!

Сталкер. Здесь не возвращаются! Поймите, еще никто здесь той же дорогой не возвращался!

Профессор растерянно оглядывается.

Писатель. Да плюньте вы на этот рюкзак. Что у вас там — бриллианты?

Сталкер. Вы забыли, куда идете. Комната даст вам все, что захотите.

Писатель. Действительно. Сверх головы закидает рюкзаками.

Профессор. А далеко до этой Комнаты?

Сталкер. По прямой — метров двести, да только здесь не бывает прямых, вот в чем беда... Идемте.

Идут к выходу.

Писатель. Оставьте свой ползучий эмпиризм, Профессор. Чудо вне эмпирики. Вспомните, как чуть не утонул святой Петр.

Сталкер останавливается над чем-то — мы не видим, над чем, и роняет туда гайку. Всплеск.

Сталкер. Идите, Писатель.

Писатель. Куда идти?

Сталкер. Вот по этой лестнице. *(Писатель уходит.)*
Профессор, где вы?

Сталкер выходит к лестнице. Внизу река.

Сталкер и Писатель оглядываются. Перед ними — выход из тоннеля, потоки воды, с грохотом падающие с плотины. Сталкер и Писатель останавливаются.

Сталкер. Ну вот и «сухой тоннель»!

Писатель. Ничего себе сухой!

Сталкер. Это местная шутка. Обычно здесь вообще вплавь надо!

Сталкер идет под арку плотины, нащупывая дорогу палкой. Писатель останавливает его.

Писатель. Постойте, а где Профессор?

Сталкер. Что?

Писатель. Профессор пропал!

Сталкер. Профессор! Эй, Профессор! Ну что же вы! Он же за вами шел все время!

Писатель. Отцепился, видимо, и заблудился.

Сталкер. Да не заблудился он! Он за рюкзаком, наверное, вернулся! Теперь он не выберется!

Внезапно темнеет.

Писатель. Может, подождем?

Сталкер. Да нельзя здесь ждать! Здесь каждую минуту все меняется. Придется вдвоем!..

Грохот воды стихает, становится светло. На экране битый кафельный пол, прямо у воды тлеют угли. Слышны голоса.

Писатель. Смотрите, что это? Откуда?

Сталкер. Я же вам объяснял!

Писатель. Что «объяснял»?

Сталкер. Это Зона, понимаете? Зона! Идемте скорее, здесь... Идемте!..

Пол залит водой, на нем шприцы, бумага.

Писатель и Сталкер выходят из тоннеля и видят Профессора; он сидит у костра и пьет кофе.

Писатель. Вот и он!

Профессор. Я, разумеется, весьма признателен вам, что вы... Только...

Сталкер. Как вы сюда попали?

Профессор. Большую часть пути я... прополз на четвереньках.

Сталкер. Невероятно. Но как вам удалось обогнать нас?

Профессор. Как «обогнать нас»? Я вернулся сюда за рюкзаком.

Сталкер. За рюк...

Писатель. А откуда здесь наша гайка?

Сталкер (*говорит, задыхаясь*). Боже мой, это... это же ловушка! Здесь же Дикобраз специально гайку повесил. Как же Зона нас пропустила? Господи, да я теперь шагу не сделаю, пока... Хорошенькое дело. Все! Отдых! (*Пошатываясь, обходит костер Профессора.*) Только держитесь подальше от этой гайки, на всякий случай. Я уже грешным делом думал, что Профессор не выберется. Я ведь... (*кашляет*) я ведь никогда не знаю заранее, каких людей я веду. Все выясняется только здесь, когда уже поздно бывает.

Пока он говорит, Писатель отходит в сторону. Профессор заливает костер.

Писатель. Мы-то ладно, главное — профессорский мешок с подштанниками цел остался!

Профессор. Ну и не суйте свой нос в чужие подштанники, если не понимаете.

Писатель. А что тут понимать, собственно? Подумаешь, бином Ньютона...

Писатель ложится на крошечном сухом острове у берега канала.

Писатель. Тоже мне — психологические бездны. В институте мы на плохом счету, средств на экспедицию нам не дают. Эх.. набьем-ка мы наш рюкзак всякими манометрами-дерьмометрами, проникнем в Зону нелегально... И все здешние чудеса поверим алгеброй.

Профессор приваливается к пологой стене.

Писатель. Никто в мире про Зону понятия не имеет. И тут, конечно, сенсация! Телевидение, поклонницы кипятком пьсают, лавровые веники несут...

Сталкер ложится на камни, кашляет.

Писатель. ...появляется наш Профессор весь в белом и объявляет: мене-мене, текед, упарсин. Ну, натурально, все разевают...

Профессор лежит, поджав ноги.

Писатель. ...рты, хором кричат: Нобелевскую ему!..

Профессор. Писателишка вы задрипанный, психолог доморощенный. Вам бы стены в сортирах расписывать, трепло бездарное.

Писатель. Вяло. Вяло! Не умеете!..

По воде бежит собака. Останавливается.

Писатель. Не знаете вы, как это делается.

Профессор. Ну хорошо. Я иду за Нобелевской премией, ладно. А вы за чем поспешаете? Хотите одарить человечество...

Сталкер лежит на камнях ничком, опустив голову на руку.

Профессор. ...перлами своего покупного вдохновения?

Писатель. Плевал я на человечество. Во всем вашем человечестве...

Вода — виден бинт, осколок зеркала, рука Сталкера. Сталкер поворачивает лицо к говорящим.

Писатель. ...меня интересует только один человек. Я то есть. Стою я чего-нибудь, или я такое же дерьмо, как некоторые прочие.

Профессор. А если вы узнаете, что вы в самом деле...

Писатель. Знаете что, господин Эйнштейн? Не желаю я с вами спорить. В спорах рождается истина, будь она проклята. Послушайте, Чинганчук...

Сталкер лежит с закрытыми глазами.

Писатель. ...ведь вы приводили сюда множество людей...

Сталкер. Не так много, как бы мне хотелось..

Писатель. Ну-у, все равно, не в этом дело... Зачем они сюда шли? Чего они хотели?

Сталкер. Скорей всего, счастья.

Писатель. Ну да, но какого именно счастья?

Сталкер. Люди не любят говорить о сокровенном И потом, это ни вас не касается, ни меня.

Писатель. В любом случае вам повезло А я вот за всю жизнь не видел ни одного счастливого человека.

Сталкер открывает глаза, поворачивает к нему голову

Сталкер. А я тоже. Они возвращаются из Комнаты, я веду их назад, и больше мы никогда не встречаемся. Ведь желания исполняются не мгновенно.

Писатель. А сами вы никогда не хотели этой комнаткой, э... попользоваться? А?

Сталкер. А... а мне и так хорошо.

К Сталкеру подбегает собака, ложится у его согнутых ног. Сталкер отворачивается. В воде рядом с ним бронзовый сосудик, кусок обгорелой газеты.

Писатель лежит, подложив под голову руку. Говорит, постепенно засыпая.

Писатель. Профессор, послушайте.

Профессор. Ну?

Писатель. Я вот все насчет покупного вдохновения. Положим, войду я в эту Комнату и вернусь в наш Богом забытый город гением. Вы следите?.. Но ведь человек пишет потому, что мучается, сомневается. Ему все время надо доказывать себе и окружающим, что он чего-нибудь да стоит. А если я буду знать наверняка, что я — гений? Зачем мне писать тогда? Какого рожна? А вообще-то я должен сказать, э, существуем мы для того, чтобы...

Профессор. Сделайте любезность, ну оставьте вы меня в покое! Ну дайте мне хоть подремать немного. Я ж не спал сегодня всю ночь. Оставьте свои комплексы при себе.

Писатель. Во всяком случае, вся эта ваша технология... все эти домны, колеса... и прочая маета-суета — чтобы меньше работать и больше жрать — всё это костыли, протезы. А человечество существует для того, чтобы создавать... произведения искусства... Это, во всяком случае, бескорыстно, в отличие от всех других человеческих дей-

ствий. Великие иллюзии... Образы абсолютной истины... Вы меня слушаете, Профессор?

Профессор. О каком бескорыстии вы говорите? Люди еще с голоду мрут. Вы что, с Луны свалились?

Профессор лежит с закрытыми глазами.

Писатель. И это наши мозговые аристократы! Вы же абстрактно мыслить не умеете.

Профессор. Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни? И мыслить заодно?

Писатель. Бесплезно. Вы хоть и Профессор, а темный.

На экране река, покрытая плотной желтоватой пеной. Ветер гонит над рекой хлопья пены, колышет камыши. Сталкер лежит с открытыми глазами и слышит голос своей жены.

Жена. И вот произошло великое землетрясение, и Солнце стало мрачно, как власяница, и Луна сделалась, как кровь...

Сталкер спит.

Жена. ...И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих... *(Смеется.)* И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и скройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто сможет устоять? *(Смех.)*

Вода. В ней видны шприцы, монеты, картинки, бинт, автомат, листок календаря. Рука Сталкера в воде.

На бетонной площадке лежит собака. Собака встает.

Сталкер спит, тяжело дыша во сне. Просыпается и садится.

Сталкер *(шепчет)*. В тот же день двое... из них...

Профессор и Писатель спят рядом друг с другом.

Сталкер *(шепчет)*. ...шли в селение отстоящее стадий на шестьдесят... *(неразборчиво)* называемое... *(неразборчиво)* и разговаривали между собой о всех сих событиях, и когда они разговаривали и рассуждали между собой... *(неразборчиво)* и Сам, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны *(Писатель просыпается, смотрит на Сталкера)*... так что они не узнали Его. Он же сказал, о чем это вы *(вздыхает)* все рассуж-

даете между собой и отчего вы печальны. Один из них, именем...

Профессор лежит с открытыми глазами и внимательно смотрит на Сталкера.

Взгляд Сталкера обращен на воду, потом на Писателя и Профессора, потом Сталкер снова отворачивается.

Сталкер. Проснулись? Вот вы говорили о смысле...

Мох, камни, неподвижная вода в реке.

Сталкер. ...нашего... жизни... бескорыстности искусства... Вот, скажем, музыка... Она и с действительностью-то менее всего связана, вернее, если и связана, то безыдейно, механически, пустым звуком... Без... Без ассоциаций... И тем не менее музыка каким-то чудом проникает в самую душу! Что же резонирует в нас в ответ на приведенный к гармонии шум? И превращает его для нас в источник высокого наслаждения...

Профессор и Писатель сидят рядом с ним и слушают.

Сталкер. ...И потрясает? Для чего все это нужно? И, главное, кому? Вы ответите: никому. И... И ни для чего, так. «Бескорыстно». Да нет... вряд ли... Ведь все, в конечном счете, имеет свой смысл... И смысл, и причину...

Темнеет. Слышен странный шум. Сталкер и двое других стоят у входа в подземный коридор — у металлической двери, какие бывают в бомбоубежищах.

Писатель. Хм, это что же — туда идти?

Сталкер. Э... к сожалению... другого пути нет.

У открытой двери стоят Профессор и Писатель, за ними Сталкер.

Писатель. Как-то тускло, а, Профессор? Тут мне как-то идти первым нежелательно, Большой Змей добровольцем не бывает...

Сталкер. Простите, видимо, надо тащить жребий. Вы не против?

Писатель. Нет, здесь я все-таки предпочел бы добровольца.

Сталкер (*Профессору*). У вас спички есть? (*Профессор достает спички, отдает их Сталкеру.*) Спасибо... Пойдет длинная. (*Писатель тащит спичку.*) Длинная... На этот раз не повезло.

Писатель (*сует спичку в рот*). Вы бы хоть гаечку туда бросили, что ли.

Сталкер. Конечно... Пожалуйста...

Подбирает большой камень, бросает — и сразу захлопывает дверь. Открывает дверь и смотрит туда.

Сталкер. Еще?

Писатель. Ладно... Иду...

Эхо. И... ду...

Писатель идет по коридору. Он проходит несколько шагов. Глядя на него, Сталкер отодвигает Профессора от двери и отходит сам. Писатель скрывается за поворотом.

Сталкер. Быстрей, Профессор!

Профессор впереди и Сталкер за его спиной перебегают по коридору. Сверху течет вода.

Писатель испуганно оглядывается. Профессор и Сталкер останавливаются и выглядывают из-за угла коридора. Писатель медленно, хрипло дыша, идет дальше. Спотыкается, падает. Сталкер идет, прячась за спиной Профессора. Они тоже останавливаются. Писатель опять идет дальше, так же медленно и тяжело. Те двое делают еще перебежку. Писатель, задыхаясь, идет по битому стеклу. Останавливается, кричит.

Писатель. Здесь... Здесь дверь какая-то!

Эхо. Здесь дверь какая-то...

Профессор и Сталкер подбегают, выглядывают из-за поворота.

Сталкер. Теперь туда! Открывайте дверь и входите!

Писатель смотрит на металлическую дверь. Достает пистолет, взводит курок.

Писатель. Опять я... И входить я...

Сталкер. Вам же жребий выпал... Идите, тут нельзя долго... Что у вас там?.. Тут... Тут нельзя с оружием! Вы же погибнете так и нас погубите! Помните танки!. Бросьте, я вас очень прошу!..

Профессор. Вы что, не понимаете?

Сталкер (*Профессору*). Тише! (*Писателю жалобно-настойчивым голосом.*) Если... если что-нибудь случится, я вас вытащу, а так... Ах... Я вас очень прошу! В кого... (*Почти плачет.*) Ну в кого вы там будете стрелять?

Эхо. Стрелять...

Писатель бросает пистолет.

Сталкер. Идите! (*Эхо. Идите...*) У нас мало времени!

Писатель (*открывая дверь*). Тут вода!

За дверью видно затопленное помещение. На противоположной его стороне — железная лестница, поднимающаяся из воды.

Сталкер. Ничего! Держитесь за поручни и спускайтесь!

Писатель спускается в воду по плечи, проходит несколько шагов и поднимается по лестнице.

Сталкер. Только не ходите никуда! Ждите наверху, у выхода!

Профессор подходит к двери.

Сталкер. У вас, надеюсь, ничего такого нет?

Профессор. Чего?

Сталкер. Н-ну, вроде пистолета?

Профессор. Нет, у меня на крайний случай ампула.

Сталкер. Какая ампула?

Профессор. Ну ампула зашита, яд.

Сталкер. Боже мой! Вы что же, умирать сюда пришли?

Профессор *(начинает спускаться по лестнице)*. А-а... Это так, на всякий случай ампула.

Профессор идет по воде, держа рюкзак над головой. Сталкер смотрит вниз. На камнях лежит пистолет. Сталкер осторожно толкает его в воду.

Сталкер. Писатель! Назад! Да вернитесь же, самоубийца! Я ж вам сказал, ждате у входа! Стойте! Не двигайтесь!

Писатель проходит дальше, оглядывается. Виден обширный зал, засыпанный песком.

У входа в зал показываются Профессор и Сталкер. Сталкер кидает гайку, и они оба бросаются на песок.

Гайка медленно прыгает по песчаным барханам.

Писатель закрывает лицо ладонью.

Над песком летит большая птица. За ней — вторая; садятся на бархан.

Профессор поднимает голову и смотрит на Писателя.

Профессор. Это все ваша труба!

Сталкер. Что?

Профессор. Ничего! Вам бы по ней первому! Вот он и полез не туда — с перепугу.

Они снова прячутся за барханом.

Писатель лежит в луже. С трудом встает, с него льется вода, садится на край колодца, кашляет. Встает, берет камень и бросает его в колодец. *(Гудящий звук.)* Сидит на краю колодца.

Писатель. Вот еще... эксперимент. Эксперименты, факты, истина в последней инстанции. Да фактов вообще не бывает, а уж здесь и подавно. Здесь все кем-то выдуманно. Все это чья-то идиотская выдумка. Неужели вы не чувствуете?.. А вам, конечно, до зарезу нужно знать, чья.

Да почему? Что толку от ваших знаний? Чья совесть от них заболит? Моя? У меня нет совести. У меня есть только нервы. Обругает какая-нибудь сволочь — рана. Другая сволочь похвалит — еще рана. Душу вложишь, сердце свое вложишь — сожрут и душу, и сердце. Мерзость вынешь из души — жрут мерзость. Они же все поголовно грамотные, у них у всех сенсорное голодание. И все они клубятся вокруг — журналисты, редакторы, критики, бабы какие-то непрерывные. И все требуют: «Давай! Давай!..» Какой из меня, к черту, писатель, если я ненавижу писать. Если для меня это мука, болезненное, постыдное занятие, что-то вроде выдавливания геморроя. Ведь я раньше думал, что от моих книг кто-то становится лучше. Да не нужен я никому! Я сдохну, а через два дня меня забудут и начнут жрать кого-нибудь другого. Ведь я думал переделать их, а переделали-то меня! По своему образу и подобию. Раньше будущее было только продолжением настоящего, а все перемены маячили где-то там, за горизонтами. А теперь будущее слилось с настоящим. Разве они готовы к этому? Они ничего не желают знать! Они только жр-р-ут!

Вдали от Писателя стоят Профессор и Сталкер.

Сталкер. Ну и везет же вам! Боже мой... да теперь... Теперь вы сто лет жить будете!

Писатель. Да, а почему не вечно? Как Вечный Жид?

Писатель встает и идет к ним, поднимая пыль.

По-видимому, помещение за песчаным залом. Наверно, здесь была лаборатория. Все страшно запущенное, полуразрушенное. Комната рядом затоплена, в воде лежат и плавают колбы.

Сталкер. Вы, наверное, прекрасный человек! Я, правда, и не сомневался почти, но все же вы такую муку выдержали! Эта труба страшное место! Самое страшное... в Зоне! У нас его называют «мясорубкой», но это хуже любой мясорубки! Сколько людей здесь погибло! И Дикобраз брата тут... подложил. *(Подходит к окну.)* Такой был тонкий, талантливый... Вот послушайте:

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.

Все, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
Только этого мало.

Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Все горело светло,
Только этого мало.

Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло.
Только этого мало.

Листьев не обожгло,
Веток не обломало...
День промыт как стекло,
Только этого мало*.

Хорошо, правда? Это его стихи.

Писатель. Что ты все юлишь? Что ты суетишься?
Хорошо?..

Сталкер. Я просто...

Писатель. Смотреть тошно!

Сталкер. Вы не представляете с-себе, как я рад! Это ведь не часто бывает, чтобы все дошли, кто вышел. А вы правильно вели себя! Вы — хорошие, добрые, честные люди, и я горжусь тем, что не ошибся.

Писатель. Он, видите ли, рад до смерти, что все хорошо получилось! «Судьба»! «Зона»! Я, видите ли, прекрасный человек! А ты думаешь, я не видел, как ты мне две длинных спички подсунул?

Сталкер. Нет-нет! Вы не понимаете...

Писатель. Ну конечно, куда мне! Вы меня извините, Профессор, но... я не хочу сказать ничего дурного, но вот этот гнус почему-то вас выбрал своим любимчиком...

Сталкер. Зачем вы так!

Писатель. А меня...

Вбегает собака.

Писатель. ...как существо второго сорта, сунул в эту трубу! «Мясорубка»! Слово-то какое! Да какое ты

* Стихи Арсения Тарковского.

право имеешь решать, кому жить, а кому в «мясорубки» лезть?!

Залитая водой комната. Посередине на стуле сидит Профессор. Писатель стоит у окна. Рядом садится Сталкер. Звонит телефон.

Сталкер. Я ничего не выбираю, поверьте! Вы сами выбрали!

Писатель. Что я выбрал? Одну длинную спичку из двух длинных?

Сталкер. Спички — это ерунда. Еще там, под гайкой, Зона пропустила вас, и стало ясно (*звонит телефон*) — уж если кому и суждено пройти «мясорубку», так это вам. А уж мы за вами.

Телефон настойчиво звонит.

Писатель. Ну, знаете ли...

Сталкер. Я никогда сам не выбираю, я всегда боюсь! Вы не представляете себе, как это страшно — ошибиться... Но ведь кто-то должен идти первым!

Писатель (*снимает трубку*). Да! Нет, это не клиника. (*Кладет трубку.*) Видите ли, «кто-то должен»! Как вам это нравится?

Профессор тянется к телефону.

Сталкер. Не трогайте!

Профессор берет трубку, набирает номер.

Женский голос (*по телефону*). Да?

Профессор. Девятую лабораторию, пожалуйста!

Женский голос. Одну минутку...

Профессор выходит из комнаты с телефоном.

Мужской голос. Слушаю.

Профессор. Надеюсь, не помешал?

Мужской голос. Что тебе надо?

Профессор. Всего несколько слов. Вы — спрятали, я — нашел, старое здание, четвертый бункер. Ты меня слышишь?

Мужской голос. Я немедленно сообщаю в корпус безопасности.

Профессор. Угу... Можешь! Можешь сообщать, можешь писать на меня свои доносы, можешь натравливать на меня моих сотрудников, только поздно! Я ведь в двух шагах от того самого места. Ты меня слышишь?

Теперь видно, что у Профессора на пальце обручальное кольцо.

Мужской голос. Ты понимаешь, что это конец тебе как ученому?

Профессор. Ну так радуйся!

Мужской голос. Ты понимаешь, что будет... Что будет, если ты посмеешь.

Профессор. Опять пугаешь? Да, я всю жизнь чего-то боялся. Я даже тебя боялся. Но теперь мне совсем не страшно, уверяю тебя...

Мужской голос. Боже мой! Ты ведь даже не Герострат. Ты... Тебе просто всю жизнь хотелось мне нагадить. За то, что двадцать лет назад я переспал с твоей женой, и теперь ты в восторге, что тебе наконец удалось со мной сквитаться. Ладно, иди, делай свою... гнусность. Не смей вешать трубку! Тюрьма — еще не самое страшное, что тебя ожидает. Главное, что ты сам себе никогда не простишь этого. Я знаю... Да я просто вижу, как ты висишь над парашей на собственных подтяжках!

Профессор кладет трубку.

Писатель. Что это вы там такое затеяли, а, Профессор?

Профессор. А вы представляете, что будет, когда в эту самую Комнату поверят все? И когда они все кинутся сюда? А ведь это вопрос времени! (*Возвращается в комнату.*) Не сегодня, так завтра! И не десятки, а тысячи! Все эти несостоявшиеся императоры, великие инквизиторы, фюреры всех мастей. Этакие благодетели рода человеческого! И не за деньгами, не за вдохновением, а мир переделывать!

Сталкер. Нет! Я таких сюда не беру! Я же понимаю!

Профессор. Да что вы можете понимать, смешной вы человек! Потом, не один же вы на свете сталкер! Да никто из сталкеров и не знает, с чем сюда приходят и с чем отсюда уходят те, которых вы ведете. А количество немотивированных преступлений растет! Не ваша ли это работа? (*Расхаживает по комнате.*) А военные перевороты, а мафия в правительствах — не ваши ли это клиенты? А лазеры, а все эти сверхбактерии, вся эта гнусная мерзость, до поры до времени спрятанная в сейфах?

Писатель. Да прекратите вы этот социологический понос! Неужели вы верите в эти сказки?

Профессор. В страшные — да. В добрые — нет. А в страшные — сколько угодно!

Писатель. Да бросьте вы, бросьте! Не может быть у отдельного человека такой ненависти или, скажем, такой любви... которая распространялась бы на все человечество! Ну деньги, баба, ну там месть, чтоб начальника машиной переехало. Ну это туда-сюда. А власть над миром! Справедливое общество! Царство Божье на земле! Это ведь не

желания, а идеология, действие, концепции. Неосознанное сострадание еще не в состоянии реализоваться. Ну, как обыкновенное инстинктивное желание.

Сталкер, до того смотревший на Писателя с интересом, встает.

Сталкер. Да нет. Разве может быть счастье за счет несчастья других?

Писатель. Вот я совершенно ясно вижу, что вы замыслили сокрушить человечество каким-то невообразимым благодеянием. А я совершенно спокоен! И за вас, и за себя, и уж тем более за человечество, потому что ничего у вас не выйдет. В лучшем случае получите вы свою Нобелевскую премию, или, скорей всего, будет вам что-нибудь такое уж совсем несообразное, о чем вы вроде бы и думать не думаете. Телефонное... Мечтаешь об одном, а получаешь совсем другое. *(Включает рубильник. Вспыхивает свет.)*

Сталкер. Зачем вы? *(Лампочка перегорает.)*

Писатель. Телефон... Электричество... *(Подбирает коробку с лекарством.)* Смотрите, замечательное снотворное. Сейчас такого уже не выпускают. Откуда здесь столько?

Сталкер. Может быть, пойдем туда? Скоро вечер, темно будет возвращаться.

Профессор выходит из комнаты.

Писатель. Между прочим, я прекрасно вижу, что все эти чтения стихов и хождения кругами есть не что иное, как своеобразная форма принесения извинений. *(Выходит из комнаты.)* Я вас понимаю. Тяжелое детство, среда... Но вы не обольщайтесь. *(Писатель до того вертел в руках то ли ветку, то ли проволоку. Теперь он ее скрутил и надел на голову наподобие тернового венца.)* Я вас не прошу!

Сталкер. А вот этого не надо, я прошу вас... *(Выходит из комнаты.)*

На полу лежит и скулит собака. В углу у стены два обнявшихся скелета. Открываются и закрываются ставни.

Сталкер *(за кадром)*. Профессор, подойдите к нам.

Профессор идет от окна к Писателю и Сталкеру по краю затопленного зала. В воде лежат и плавают колбы.

Сталкер. Одну минуточку, не надо торопиться.

Писатель. А я и не тороплюсь никуда.

Сталкер отходит от них. Слышно, как поют птицы. Сталкер садится на корточки перед входом куда-то.

Сталкер. Я знаю, вы будете сердиться... Но все

равно я должен сказать вам... Вот мы с вами... стоим на пороге... Это самый важный момент... в вашей жизни, вы должны знать, что... здесь исполнится ваше самое заветное желание. Самое искреннее! Самое выстраданное! (*Подходит к ним.*) Говорить ничего не надо. Нужно только... сосредоточиться и постараться вспомнить всю свою жизнь. Когда человек думает о прошлом, он становится добрее. А главное... (*Пауза. Идет к Комнате.*) Главное... верить! Ну, а теперь идите. Кто хочет первым? Может быть, вы? (*Писателю.*)

Писатель. Я? Нет, я не хочу.

Сталкер. Я понимаю. Это не так просто. Но вы не беспокойтесь, это сейчас пройдет.

Писатель. Едва ли... это пройдет. Во-первых, если я стану вспоминать свою жизнь, то вряд ли стану добрее. А потом, неужели ты не чувствуешь, как это все... Срамно?.. Унижаться, сопли распускать, молиться.

Профессор подходит к рюкзаку, возится с ним.

Сталкер. А что дурного в молитве? Это вы из гордости так говорите. Вы успокойтесь, вы просто не готовы. Это бывает, довольно часто. (*Профессору.*) Может быть, раньше вы?

Профессор (*подходит к ним*). Я... (*Возвращается к рюкзаку, достает из него продолговатый предмет.*)

Писатель. Вуаля! Перед нами новое изобретение профессора Профессора! Прибор для исследования человеческих душ! Душемер!

Профессор. Это всего-навсего бомба.

Сталкер. Что-что?

Писатель. Шутка...

Профессор. Нет, просто бомба. Двадцать килотонн.

Писатель. Зачем?

Профессор собирает бомбу. Лица его не видно — только руки. Слышится его голос.

Профессор. Мы собрали ее... с друзьями, с бывшими моими... коллегами. Никому, как видно, никакого счастья это место не принесет. (*Набирает шифр. Заканчивает сборку.*) А если попадет в дурные руки... Впрочем, я теперь уже и не знаю. Нам тогда пришлось в голову... что разрушать Зону все-таки нельзя. Если это... Если это даже и чудо — это часть природы, а значит, надежда в каком-то смысле. Они спрятали эту мину... А я ее нашел. Старое здание, четвертый бункер. Видимо, должен существовать принцип... никогда не совершать необратимых действий. Я ведь понимаю, я ведь не маньяк (*вздыхает*), но пока эта

язва здесь открыта для всякой сволочи... ни сна, ни покоя. Или, может быть, сокровенное не позволит? А?

Писатель смотрит на Профессора.

Писатель. Бедняжечка, выбрал себе проблемку...

Мимо проходит растерянный Сталкер. Профессор встает и подходит к Сталкеру. Сталкер кидается на Профессора.

Сталкер. Отдайте!

Он пытается отнять бомбу. Профессор падает, Писатель бросается к Сталкеру, сшибает его с ног. Сталкер падает, встает и снова кидается на Профессора.

Сталкер. Отдайте!

Писатель ударом сшибает его, он падает в воду.

Профессор (*Писателю*). Вы же интеллигентный человек!

Сталкер опять кидается на Профессора, Писатель отбрасывает его.

Профессор (*Писателю*). Зачем вы? Вы что?

Писатель. Ты, лицемерная гнида...

Сталкер (*плачет*). За что? За что вы... меня? Он же хочет это уничтожить, он же надежду вашу хочет уничтожить! Отдайте!

Писатель отбрасывает его в сторону. Сталкер встает, всхлипывая и вытирая рот рукой.

Сталкер. Ведь ничего не осталось у людей на земле больше! Это ведь единственное... единственное место, куда можно прийти, если надеяться больше не на что. Ведь вы же пришли! Зачем вы уничтожаете веру?!

Хочет снова кинуться на Профессора, но Писатель отталкивает его.

Писатель. Да замолчи! Я же тебя насквозь вижу! Плевать ты хотел на людей! Ты же деньги зарабатываешь на нашей... тоске! Да не в деньгах даже дело. Ты же здесь наслаждаешься, ты же здесь царь и Бог, ты, лицемерная гнида, решаешь, кому жить, а кому умереть. Он еще выбирает, решает! Я понимаю, почему ваш брат сталкер сам никогда в Комнату не входит. А зачем? Вы же здесь властью упиваетесь, тайной, авторитетом! Какие уж тут еще могут быть желания!

Сталкер. Это н-неправда! Неправда! Вы... Вы ошибаетесь! (*Стоит на коленях в воде, смывает слезы и кровь с лица, плачет.*) Сталкеру нельзя входить в Комнату! Сталкеру... вообще нельзя входить в Зону с корыстной целью! Нельзя; вспомните Дикобраза! Да, вы правы, я — гнида, я ничего не сделал в этом мире и ничего не могу

здесь сделать... Я и жене не смог ничего дать! И друзей у меня нет и быть не может, но моего вы у меня не отнимайте! У меня и так уж все отняли — там, за колючей проволокой. Все мое — здесь. Понимаете! Здесь! В Зоне! Счастье мое, свобода моя, достоинство — все здесь! Я ведь привожу сюда таких же, как я, несчастных, замученных. Им... Им не на что больше надеяться! А я могу! Понимаете, я могу им помочь! Никто им помочь не может, а я — гнида (*кричит*), я, гнида, — могу! Я от счастья плакать готов, что могу им помочь. Вот и все! И ничего не хочу больше. (*Плачет.*)

Профессор смотрит на Сталкера, отходит к окну, одергивает мокрую куртку. Писатель падает рядом со Сталкером и садится, обняв его.

Писатель. Не знаю. Может быть. Но все равно — ты меня извини, только... Да ты просто юродивый! Ты ведь понятия не имеешь, что здесь делается! Вот почему, потвоему, повесился Дикобраз?

Сталкер. Он в Зону пришел с корыстной целью и брата своего загубил в «мясорубке», из-за денег...

Писатель. Это я понимаю. А почему он все-таки повесился? Почему еще раз не пошел — теперь уже точно не за деньгами, а за братом? А? Как раскаялся?

Сталкер. Он хотел, он... Я не знаю. Через несколько дней он повесился.

Писатель (*говорит очень уверенно*). Да здесь он понял, что не просто желания, а сокровенные желания исполняются! А что ты там в голос кричишь!..

Все трое сходятся у входа в Комнату. Сталкер садится на пол, опускает лицо в колени.

Писатель. Да здесь тó сбудется, что натуре своей соответствует, сути! О которой ты понятия не имеешь, а она в тебе сидит и всю жизнь тобой управляет! Ничего ты, Кожаный Чулок, не понял. Дикобраза не алчность одолела. Да он по этой луже на коленях ползал, брата вымаливал. А получил кучу денег, и ничего иного получить не мог. Потому что Дикобразу — дикобразово! А совесть, душевные муки — это все придумано, от головы. Понял он все это и повесился. (*Пауза. Профессор наклоняется к воде, смачивает шею.*) Не пойду я в твою Комнату! Не хочу дрянь, которая у меня накопилась, никому на голову выливать. Даже на твою. А потом, как Дикобраз, в петлю лезть. Лучше уж я в своем вонючем писательском особняке сопьюсь тихо и мирно. (*Профессор рассматривает бомбу.*) Нет, Большой Змей, паршиво ты в людях разби-

раешься, если таких, как я, в Зону водишь. А потом... э... А откуда ты взял, что это чудо существует на самом деле? (Профессору.) Кто вам сказал, что здесь действительно желания исполняются? Вы видели хоть одного человека, который здесь был бы ошастливлен? А? Может, Дикобраз? Да и вообще, кто вам рассказал про Зону, про Дикобраза, про Комнату эту?

Профессор. Он.

Писатель. Ой!

Споткнувшись, Писатель чуть не падает через порог в Комнату, но Сталкер его удерживает.

Звонит телефон. Профессор разбирает бомбу, бросает детали в воду в разные стороны. Писатель и Сталкер сидят на полу, прижавшись друг к другу.

Профессор. Тогда я вообще ничего не понимаю. Какой же смысл сюда ходить?

Писатель хлопывает Сталкера по плечу. Профессор садится рядом с ними, все еще возится с бомбой.

Сталкер. Тихо как... Слышите? (Вздыхает.) А что, бросить все, взять жену, Мартышку и перебраться сюда. Никто их не обидит.

Начинается дождь. Профессор бросает в воду последние детали. Они сидят неподвижно. Дождь кончается. Залитый водой кафельный пол. В воде лежат детали и циферблат бомбы. Над ними плавают рыбы. Наплывает большое пятно мазута. Слышен шум проходящего поезда.

У входа в бар жена Сталкера прислоняет к скамейке детские костыли, сажает дочь на скамейку. Потом поднимается на крыльцо, входит в бар.

Писатель и Профессор стоят у столика. За ними — Сталкер. Он кормит собаку. Входит жена Сталкера.

Жена. Вернулся? (Замечает собаку.) А это откуда?

Сталкер. Там пристала. Не бросать же ее.

Жена обессиленно садится на подоконник. Через открытую дверь бара видна скамейка, на которой сидит Мартышка.

Жена (ласково). Ну что, пойдём? Мартышка ждёт. А? Идем?

Идет к выходу мимо бармена. Бармен грустно смотрит ей вслед. Писатель пьет пиво. Сталкер бросает взгляд на собаку и тоже направляется к выходу.

Жена. Вам никому собака не нужна?

Писатель. Х-хе, да у меня таких пять штук дома.

Жена подходит к двери и останавливается. К ней идет собака.

Жена. Вы что же, любите собак?

Писатель. Э-э, что?

Жена. Это хорошо...

К ней подходит Сталкер, отдает ей сумку.

Сталкер. Ладно, пойдем.

Спускаются с крыльца, подходят к двери. Писатель и Профессор смотрят им вслед. Писатель закуривает.

Сталкер несет дочь на плечах, у жены в руках костыли. Они спускаются по откосу и идут по краю огромной грязной лужи или пруда. Собака бежит следом.

Девочка едет на плечах у отца. У нее замкнутое, невыразительное лицо. Голова замотана красивым и, видимо, дорогим платком.

Комната Сталкера. Жена наливает молоко в миску. Собака громко лакает. Сталкер ложится на пол, вытягивается.

Сталкер (*вздыхает*). Если б вы только знали, как я устал! Одному Богу известно! И еще называют себя интеллигентами. Эти писатели! Ученые!

Жена. Успокойся!

Сталкер. Они же не верят ни во что! У них же... орган этот, которым верят, атрофировался!

Жена. Успокойся!

Сталкер. За ненадобностью!..

Жена. Перестань, перестань. Пойдем. Ты ляг. Не надо... Ты ляг, ляг... Тебе здесь сыро... Тебе здесь нельзя...

Сталкер. Ум-м (*кряхтит*).

Жена. Сними...

Сталкер тяжело дышит, вздыхает. Жена помогает ему встать, ведет к постели. Помогает раздеться, укладывает в постель и садится рядом.

Сталкер. Боже мой, что за люди...

Жена. Успокойся... Успокойся... Они же не виноваты... Их пожалеть надо, а ты сердисься.

Сталкер. Ты же видела их, у них глаза пустые.

Жена дает ему лекарство, гладит его, обтирает лицо платком. Он плачет, отворачивается.

Сталкер. Они ведь каждую минуту думают о том, чтобы не продешевить, чтобы продать себя подороже! Чтoб им все оплатили, каждое душевное движение! Они знают, что «не зря родились»! Что они «призваны»! Они ведь живут «только раз»! Разве такие могут во что-нибудь верить?

Жена. Успокойся, не надо... Постарайся уснуть, а?..
Усни...

Сталкер. И никто не верит. Не только эти двое. Никто! Кого же мне водить туда? О, Господи... А самое страшное... что не нужно это никому. И никому не нужна эта Комната. И все мои усилия ни к чему!

Жена. Ну, зачем ты так. Не надо. *(Обтирает ему лицо.)*

Сталкер. Не пойду я туда больше ни с кем.

Жена *(жалостливо.)* Ну... Ну хочешь, я пойду с тобой? Туда? Хочешь?

Сталкер. Куда?

Жена. Думаешь, мне не о чем будет попросить?

Сталкер. Нет... Это нельзя...

Жена. Почему?

Сталкер. Нет-нет... А вдруг у тебя тоже ничего... не выйдет.

Жена отходит от него, садится на стул, достает сигареты. Потом идет к окну, присаживается на подоконник, закуривает и говорит, обращаясь к зрителю.

Жена. Вы знаете, мама была очень против. Вы ведь, наверное, уже поняли, он же блаженный. Над ним вся округа смеялась. А он растяпа был, жалкий такой... А мама говорила: он же сталкер, он же с-смертник, он же вечный арестант! И дети. Вспомни, какие дети бывают у сталкеров... А я... Я даже... Я даже и не спорила... Я и сама про все это знала: и что смертник, и что вечный арестант, и про детей... А только что я могла сделать? Я уверена была, что с ним мне будет хорошо. Я знала, что и горя будет много, но только уж лучше горькое счастье, чем... серая унылая жизнь. *(Всхлипывает, улыбается.)* А может быть, я все это потом придумала. А тогда он просто подошел ко мне и сказал: «Пойдем со мной», и я пошла. И никогда потом не жалела. Никогда. И горя было много, и страшно было, и стыдно было. Но я никогда не жалела и никогда никому не завидовала. Просто такая судьба, такая жизнь, такие мы. А если б не было в нашей жизни горя, то лучше б не было, хуже было бы. Потому что тогда и... счастья бы тоже не было, и не было бы надежды. Вот.

Дочь Сталкера сидит на кухне у стола — читает книгу. Она по-прежнему замотана платком. Опускает книгу, начинает безжизненно шевелить губами. Слышен ее голос.

Мартышка. Люблю глаза твои, мой друг,
С игрой их пламенно-чудесной,
Когда их приподынешь вдруг
И, словно молнией небесной,
Окинешь бегло целый круг...
Но есть сильнее очарованья:
Глаза, потупленные ниц
В минуты страстного лобзанья,
И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огонь желанья*.

На столе стоит посуда. Мартышка смотрит на нее — и под этим взглядом по столу начинают двигаться... сначала стакан, потом банка... бокал. Скулит собака. Бокал падает на пол. Девочка ложится щекой на стол.

Грохочет мчащийся поезд. Дребезжат стекла. Музыка все громче, наконец слышно, что это ода «К Радости». Затемнение. Дребезжание стекол.

К о н е ц

Записали Я. Н., А. М.

* Стихотворение Ф. И. Тютчева.

Публикации

ДЕНЬ ЗАТМЕНИЯ

Сценарий

1987 — в журнале «Знание — сила», №№ 5—8

1990 — в книге «Пять ложек Эликсира», Москва

ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ

Сценарий

1990 — в журнале «Уральский следопыт», № 5

МАШИНА ЖЕЛАНИЙ

Сценарий

Первоначальный вариант; публикуется впервые. Выходили в свет два других варианта:

1981 — под названием «Машина желаний» в сборнике научной фантастики «НФ», выпуск 25, Москва

1990 — под названием «Сталкер» в книге «Пять ложек Эликсира» Москва

ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

Сценарий

1990 — под названием «Дело об убийстве» в книге «Пять ложек Эликсира», Москва

ПЯТЬ ЛОЖЕК ЭЛИКСИРА

Сценарий

1985 — в журнале «Изобретатель и рационализатор», №№ 7, 8

1988 — в сборнике «Современная фантастика», Москва

1989 — в журнале «Советский Союз», №№ 3—5, 7, 8

1990 — в книге «Пять ложек Эликсира», Москва

1991 — в книге «Проба личности», Москва; в книге «Пять ложек Эликсира», Таллинн

ТУЧА

Сценарий

1987 — в журнале «Химия и жизнь», №№ 8—10

1989 — в книге «Посллок на краю Галактики», Москва

«ЖИДЫ ГОРОДА ПИТЕРА...», или НЕВЕСЕЛЫЕ БЕСЕДЫ ПРИ СВЕЧАХ

Пьеса

1990 — в журнале «Нева», № 9

1991 — в фантастическом альманахе «Завтра», выпуск 2, Москва

Составил А. Л. Керзин

Содержание

5 СЦЕНАРИИ

- 7** День затмения
- 62** Понедельник начинается в субботу
- 109** Машина желаний
- 150** Отель «У Погибшего Альпиниста»
- 201** Пять ложек Эликсира
- 255** Туча

- 301** «Жида города Питера...»,
или Невеселые беседы при свечах. Пьеса

- 343** Сталкер. Литературная запись кинофильма

- 382** Публикации

Аркадий Натанович Стругацкий
Борис Натанович Стругацкий

СЦЕНАРИИ, ПЬЕСА

Собрание сочинений,
1-й дополнительный том

Редактор Я. Л. Нагинская
Художественный редактор В. Б. Прищепа
Технический редактор Л. Е. Синенко
Корректоры Т. В. Калинина, Н. М. Пущина

Стругацкий А., Стругацкий Б.
С87 «День затмения», «Машина желаний», «Туча»
и др. сценарии. «Жиды города Питера...», или
Невеселые беседы при свечах: Пьеса. «Сталкер»:
Литературная запись кинофильма.— М.: Текст,
1993.— 383 с.

С 4702010201-042 подп.
93

ISBN 5-87106-065-X

Сдано в набор 30.06.92. Подписано в печать 25.01.93.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Таймс»
Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отг. 21,42. Уч.-
изд. л. 21,86. Тираж 100 000 экз. Заказ № 8505. С 18.

Издательство «Текст»
125190, Москва, А-190, а/я 89

Литературно-издательская студия «РИФ»
101000, Москва, Чистопрудный бульвар, д. 12-а

Международный фонд развития кино и телевидения для детей
и юношества («Фонд Ролана Быкова»)

Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга»
Мининформпечати РФ. 127018, Москва, Сушевский вал, 49

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»



Извне Путь на Амальтею Стажеры
Полдень, XXII век Далекая Радуга
 Попытка к бегству
Трудно быть богом Хищные вещи века
 Понедельник начинается в субботу
 Сказка о Тройке
Улитка на склоне Второе нашествие марсиан
 Отель «У Погибшего Альпиниста»
 Обитаемый остров Малыш
Пикник на обочине Парень из преисподней
 За миллиард лет до конца света
 Повесть о дружбе и недружбе
 Град обреченный Хромая судьба
 Жук в муравейнике
Волны гасят ветер Отягощенные злом
 Шесть киносценариев
 «Жиды города Питера...»,
или Невеселые беседы при свечах
 Страна багровых туч
 Рассказы, статьи, интервью

